

МИХАИЛ
САДОВЯНУ

МИХАИЛ
САДОВЯНУ



8p. 203.

ТОБЯКОВИЧ
1933



МИХАИЛ САДОВЯНУ



Перевод с румынского

Государственное Издательство
Художественной Литературы

МОСКВА
1954

Составитель В. СУГОНЯЯ .

Вступительная статья
БОРИСА ПОЛЕВОГО



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О М. САДОВЯНУ

В 1945 году осенью мне довелось гостить в Румынии. Тогда это было еще Румынское королевство, потрясавшее иностранца на каждом шагу своими разительными контрастами. Подчеркнутая и крикливая провинциальная пышность сочеталась здесь с вопиющей нищетой. У дворцовых ворот, как большие терракотовые куклы, стояли часовые королевской гвардии. Их кирасы сверкали на солнце, как тазы для варки варенья, начищенные рачительной хозяйкой. Ветер пошевеливал белые хвосты на их касках. А рядом, почти у их ног, сидели загорелые крестьянки в темных шалях с босыми, посиневшими от холода ногами и пронзительными голосами предлагали виноград, абрикосы и иной свой товар, принесенный в плетеных корзинках. Толпы нищих в самых живописных лохмотьях жались у огромных, сверкающих огнями окон ночных ресторанов. На центральной площади Бухареста, рядом с дворцом, догнивал ветхий деревянный заборишко, в щели которого любопытный мог рассмотреть свалку какого-то хлама. Оказывается, эту свалку устроил здесь владелец этого куска земли в пику муниципалитету, не желавшему платить ему несусветную сумму, которую он за эту землю заломил.

Тучи вездесущих газетчиков по вечерам свирепствовали на улицах, рекламируя свой товар. Из их истошных криков не привыкший к таким вещам иностранец узнавал удивительные вещи: американцы готовятся сбросить атомную бомбу на Бухарест, если на следующих выборах победят коммунисты. Во Франции родился трехголовый теленок. Многие жители Аргентины видели собственными глазами таинственные летающие блюдца, которые, по заключению американских военных авторитетов, рассылают с неизвестными, но ужасными целями правительство Москвы.

И всё же новое, радостное, небывалое, что родилось в стране с приходом Советской Армии, что начало крепнуть в дни освобождения страны от власти иноземных германских и собственных доморожденных фашистов, уже ошутительно входило в жизнь. Трудолюбивый, талантливый румынский народ распрямил спину, все больше спланивался вокруг Коммунистической партии Румынии. На заводских окраинах, в цехах, на нефтяных промыслах, в деревнях — всюду бушевали кипучие митинги. Борьба обострялась. То там, то тут звучали выстрелы и падал рабочий агитатор или сельский активист, сраженный из-за угла пульей неразоружившегося железногвардейца.

Так вот в эти дни, когда борьба за независимую от иноземных империалистов, за свободную Народную Румынию еще только началась, мне вместе с советским скульптором В. И. Мухиной довелось присутствовать на торжественном заседании в великолепном здании Бухарестской филармонии. Перед началом заседания в центральной ложе, в толпе раззолоченных придворных в опереточных мундирах появился король. При выходе этого молодого офицера с фарфоровым, маловыразительным лицом все поднялись, согласно ритуалу.

В зале остался сидеть только один человек. Это был грузный седовласый величественный старец с большой львиной головой. Он сидел, точно не замечая, что вокруг него происходит. Его широкое лицо было каменно спокойным, но на полных губах дрожала чуть заметная улыбка, брюзгливая и насмешливая. На этом неподвижном лице жили только глаза, цепкие, ясные, должно быть все, все замечающие, и в них, в этих глазах, отражались сразу и озорноватая насмешка, и незамаскированное презрение, и даже, пожалуй, такая неловкость, которую чувствует человек такого склада, когда в его присутствии совершается нечто странное и нелепое.

— Смотрите, смотрите, какая замечательная голова! А глядит, глядит он как! — шепнула мне на ухо В. И. Мухина и тут же со вкусом добавила: — Вот бы его заспать.

Мы тихо спросили у переводчика — кто это? Тот взглянул на нас удивленно, как на людей, не знающих того, что всем давным-давно известно.

— Это же Михаил Садовяну... Наш классик... великий писатель...

Я начисто позабыл за эти годы, что было на этом заседании дальше, о чем на нем говорилось, совершенно забыл короля, которого, признаюсь, рассматривал тогда весьма тщательно, как некую диковинку, а вот этот массивный старец, один сидящий в небрежной позе среди стоящих людей, его седина, его неподвижная, гордо посажен-

ная голова, небольшие зоркие глаза охотника и презрительная улыбка — все это четко запомнилось.

И хотя я после этого много раз встречался с М. Садовяну, близко познакомился с ним и с его творчеством, он запомнился таким, каким мы увидели его тогда, в первый раз.

У этого человека, по праву считающегося одним из самых интересных художников современности, удивительная и, я бы сказал, символическая судьба. Символическая потому, что, как мне кажется, на примере его можно проследить путь, проделанный в этом веке передовой частью европейской интеллигенции.

Рожденный в 1880 году в маленьком провинциальном городке Пашкань, что в Северной Молдове, в интеллигентной семье, близко связанной с деревней, Михаил Садовяну с раннего детства узнал и полюбил свой талантливый народ, своеобразную, очень красивую природу своего края, полюбил тружеников разных профессий с окраин своего городка и из окрестных сел.

Это первое знакомство ребенка из интеллигентной среды с окружающим его сложным миром, с противоречиями и борьбой этого мира, первые полученные им жизненные уроки, разочарования и радости писатель хорошо запечатлел в небольшой изданной у нас повести «Остров цветов», в значительной своей части, по его собственному признанию, автобиографической. Читая эту повесть, можно пронаблюдать, как с юных лет росла и крепла в писателе любовь к своему народу, которая потом сделала глаз писателя острым, а сердце чутким ко всем бедам угнетаемых и эксплуатируемых тружеников и согрела его произведения теплом большого, немеркнувшего гуманизма.

Садовяну начал писать рано, еще на школьной скамье. В первом же его юношеском произведении — небольшой по объему повести «Ион Урсу» — он показывает себя наблюдательным, вдумчивым человеком, рисуя страшные картины разорения и обнищания деревни, трагедию мужика, изгнанного нищетой со своей земли и продающего капиталисту последнее, что у него еще осталось, — свою силу рабочих рук.

И уже в этой первой нарисованной писателем картине, местами еще загроможденной лишними деталями, сказалась несомненная сила художественного мастерства Садовяну и то, что сделало его потом самым популярным писателем в Румынии, что принесло ему мировую славу — его любовь к униженным и оскорбленным. Это не была просто любовь, бездейственная и платоническая, нет, это была творческая любовь. Он отдал всю силу своего таланта борьбе за права тружеников. В большинстве его произведений звучит то приглушенно, то ярко и страстно выраженная ненависть к боярам, помещикам,

кулакам, попам, продажным полтиканам, ко всем, кто жадно и безжалостно отнимал у Иона Урсу все его заработки, кто устраивал ему на земле кромешный ад.

И эти любовь и уважение к своему народу и ненависть к его угнетателям Михаил Садовяну гордо пронес через все сто томов своих сочинений, написанных им за долгую и плодотворную жизнь.

Литературными учителями Садовяну критики называют обычно известного летописца Иона Некулче и славного писателя-реалиста, классика румынской литературы — Иона Крянгэ, на произведениях которых воспитывался его литературный вкус. Все это так, конечно. Садовяну — писатель глубоко национальный, продолжающий в своем творчестве лучшие традиции румынской литературы. Но мне не раз доводилось самому слышать, с какой восторженностью отзывался он о русской классической литературе, которую он жадно поглощал в дни своей юности.

— Иван Тургенев и Лев Толстой! Они показали, как надо наблюдать мир. Первые их книги, прочитанные мной, были целым откровением. Прочтешь, отложишь книгу, оглянешься кругом, и будто начинаешь видеть то, чего раньше не замечал, — говорил он.

Первые свои рассказы и повести Михаил Садовяну посвятил румынскому крестьянству. И с тех пор, вот уже более полувека, жизнь крестьянства остается основной темой в его творчестве. Он выступает в своих произведениях как глубокий реалист, любящий свой народ, верящий в его будущее.

С какой любовью, сочувствием, теплом, с каким глубоким уважением набрасывает он в своих произведениях образы пахарей, лесорубов, пастухов, сплавщиков леса, гордых и честных крестьянских девушек, умеющих пронести свою девичью честь и любовь сквозь самые жуткие жизненные испытания, трудолюбивых, мужественных матерей, часто несущих на себе бремя забот о всей семье.

Целые толпы героев смотрят со страниц его книг, и каждый образ, если речь идет об образе труженика, выписан не только тщательно, но и индивидуально, со своим особым характером, душевным складом, привычками, внешностью. Ни один его герой не похож на другого, но всех их, этих тружеников, запечатленных на страницах его ста книг, за редким исключением роднит общая черта — большое душевное благородство.

О тружениках Садовяну рассказывает с той интонацией, с какой обычно говорят о близких друзьях, которые при всех своих недостатках любимы, дороги. Повествуя о них, о их любви, о жизненных испытаниях, о их злой судьбе в капиталистическом зверином мире, о их борьбе, писатель — романист и новеллист — превращается в

лирического поэта, как это, например с особой силой чувствуется в прекрасной повести «Вэлинашев омут».

Зато каким острым, колючим, злым становится перо, когда он рисует портреты угнетателей простого народа — бояр, землевладельцев, откупщиков, купцов, судебных чиновников, представителей местных властей, буржуазных парламентариев. Тут Садовяну грозен и беспощаден. И нередко он пускает в дело бич сатиры.

Но уже и на том, что включено в этот сравнительно небольшой сборник, можно заметить характерные черты творчества писателя, — богатство его палитры.

Таков роман «По Серету мельница плыла», в котором Садовяну смело и глубоко правдиво показывает вырождение старого боярства, приход ему на смену нового эксплуататорского класса, и повесть «Кроты», в которой с предельной беспощадностью нарисован модернизированный сверхэксплуататор — помещик Аврэмяну, похожий на колониального плантатора.

В сборнике представлена лишь незначительная часть литературных произведений М. Садовяну. Но и перечисленных примеров достаточно для того, чтобы стало понятным, почему так боялись и так ненавидели этого большого, честного художника заправилы и хозяева королевской Румынии.

Они всячески старались привлечь его на свою сторону, завербовать его в свои ряды. Ни на что при этом не скупились: ни на газетную рекламу, ни на большие гонорары, ни на пышные литературные титулы, ни на всяческие почести и посты. Писатель решительно отверг все эти подкупы и продолжал идти своим, однажды намеченным путем — путем защитника угнетаемого, оскорбляемого народа, непримиримого врага его врагов. Применить к нему административные репрессии, как это иной раз делалось в прежней Румынии в отношении представителей передовой интеллигенции, они, однако, не решились: слишком велика была его международная слава.

Видя, что ни уговорить, ни подкупить, ни сломить писателя не удастся, в отношении его решили применить иную тактику: заживо похоронить этого славного мастера, отделить его от читателя стеной молчания. Критики и эстеты пустили версию: Садовяну устарел, исписался, он старомоден и уже не может создать ничего интересного. Книги Садовяну продолжали выходить, но их старались замалчивать. Ведь это действительно страшно для писателя — не слышать отзвук своего творчества, быть незамечаемым. У тех, кто этот заговор молчания совершал, была надежда: не выдержит пытки молчанием, сдастся.

Писатель не сдался. Он остался верен себе. Он продолжал неутомимо работать, и все, что выходило из-под его пера, было

попрежнему согрето любовью к своему несчастному и талантливому народу.

В дни, когда по гитлеровскому образцу в стране установилась фашистская диктатура и железногвардейцы с дубинками стали командовать общественным мнением, произведения Садовяну изымались из библиотек и сжигались на площадях. Это очень страшно для писателя — видеть такие костры, видеть, как пылают плоды его долгих раздумий, его почти полувековые труды. Но Садовяну перенес и это. Он не сломился и даже не согнулся. Пламя этих костров выжгло в нем остатки кое-каких буржуазно-демократических иллюзий, в частности в решении крестьянского вопроса, еще имевшихся у него и иногда довольно ощутительно проявлявшихся в его творчестве.

Когда же, разгромив войска гитлеровцев и румынских доморощенных фашистов, Советская Армия освободила страну и народ впервые за всю свою историю получил право сам самостоятельно решать свою судьбу, лучший писатель Румынии Михаил Садовяну сразу и безоговорочно встал на сторону народа в ряды борцов и строителей новой Румынии. И тут мы видим чудесный пример того, как под сенью истинной свободы растет, расцветает все лучшее, что только таится в народе. Для Михаила Садовяну, человека уже преклонного возраста, которого королевское правительство и капиталистическая печать стремились заживо похоронить, началась вторая творческая молодость.

Мне никогда не забудется первая беседа с Михаилом Садовяну осенью 1945 года у него на даче, в маленьком кабинете. Это была пустая комната, едва ли не самая меньшая в доме, выходящая окнами на виноградник. У окна стоял рабочий стол самого простецкого образца, заваленный рукописями. Он был невелик по размеру, но почему-то казалось, что он занимает большую часть комнаты. Еще был стул, книжный шкаф и тахта, на которой лежал скомканный плед. И все.

Мы уселись на тахту. Как водится, завязался литературный разговор. О политике будто бы даже и не говорили. Но я очень хорошо помню, что по каким-то двум-трем замечаниям, сделанным хозяином, стало ясно, что этот большой, малоподвижный человек, тогда уже почти полвека работавший в литературе, в курсе политической жизни страны, что он целиком на стороне народа, что он живо интересуется программой коммунистической партии.

Кто-то из нас помянул о терроре, который в те дни начали в стране железногвардейские охвостья вкупе со сторонниками реакционных «исторических» партий.

— Выск,— сказал сквозь зубы Садовяну.

Даже наш переводчик, хорошо знавший румынский язык, встал в тупик. Хозяин ломанил нас к окну. Там, за ржавым осенним виноградником, вдали виднелось могучее дерево, все оплетенное каким-то ярким зеленым растением вроде плюща. Вершина дерева уже отсохла.

Оказалось, что это растение — паразит, карабкается на деревья, запускает под кору свои жадные корешки и высасывает из дерева соки до тех пор, пока то не умирает. Тогда паразит своими отростками подползает к следующему дереву и атакует новую жертву.

Трудно было подобрать для характеристики реакционных партий и той предательской политики, какую они ведут под прикрытием трескучих фраз о «Великой Румынии», о «любви к пахарю и сеятелю», более меткую и точную характеристику. И стало совершенно ясно, на чьей стороне симпатии этого старого друга своего народа.

Ближайшие годы это подтвердили. Михаил Садовяну был одним из тех первых румынских интеллигентов, кто сразу же стал активным строителем новой Румынии. В мой следующий приезд в Румынию он был уже заместителем председателя Президиума Великого Национального Собрания, председателем Союза румынских писателей, а когда по земному шару развернулось благородное движение сторонников мира, он стал членом Всемирного Совета Мира и руководителем Комитета сторонников мира своей страны.

Во всю мощь развернулся его недюжинный талант. Активно участвуя в политической жизни своей страны, он пишет много и плодотворно, как в юные годы. Верный своей генеральной теме, он с интересом следит за процессом общественного переустройства, что идет сейчас в освобожденной румынской деревне.

В повести «Митря Кокор», получившей заслуженную известность не только в Румынии, но и далеко за ее пределами, неоднократно издававшейся и переиздававшейся у нас, он вдохновенно рассказал, как бесправный бедняк-крестьянин, вдохнувший наш животворный воздух, возвратившись домой из плена, стал активным строителем новой жизни, как перерождается и расцветает земля, освобожденная от своего извечного и проклятого яра. Кроме этой отличной повести, выходит из-под пера Садовяну «Малая Пэуна» и рассказ «Железный клюв», посвященные также великому перелому и классовой борьбе, и исторический роман «Никоарэ Подкова».

А сколько планов роится сейчас в неутомимом, нестареющем, молодом мозгу писателя! И как многообразны и разносторонни эти его планы, о которых он рассказывал нам, своим советским коллегам, в последний приезд в СССР. Тут и исторические романы о народных

героях прошлого, в книги о чудесном преображении трудящегося человека в свободной стране, и лингвистические работы, и, наконец, самая заветная мечта — совершить большое путешествие по советской стране и написать книгу о первой в мире социалистической державе.

Я думаю, что выражу в заключение общее мнение читателей этой книги и всех многочисленных советских поклонников боевого и ясного таланта Михаила Садовяну, пожелав ему плодотворного завершения всех этих его планов, замыслов и мечтаний.

Борис Полевой



ПО СЕРЕТУ
МЕЛЬНИЦА
ПЛЫЛА

роман



Глава первая

ПОКАЗЫВАЕТ, НА ЧТО СПОСОБЕН ВЕТЕР, ПРИГНАВШИЙ ТУЧИ ИЗ НЕВЕДОМЫХ ДАЛЕЙ

Два месяца стояла в 1888 году нестерпимая засуха, истощая земли Бучуменского имения боярина Александру Филоти и сжигая хлеба на крестьянских полях в девяти подвластных ему деревнях. Воздух горел; облака проплывали далеко на краю небосклона. Священник, трижды поднимая по субботам иконы, шел с крестным ходом к источникам у холма. Гнев господень! Люди и помышлять о дожде перестали. На пастбищах ветер взвивал облака пыли; сухой, печальный шелест несся по лугам. Обожженная зноем кукуруза свертывала листья.

Только на полях боярина удалась пшеница. В четырех концах имения бормотали на токах возле скирд молотилки, окруженные людьми с потными лицами, черными от пыли, перемешанной с половой и дымом. У скирд то и дело появлялся огромного роста управитель, господин Филипп Накович, носившийся целыми днями на своем белом иноходце из конца в конец по имению; приблизившись, он слезал с коня и принимался кричать, ероша густые желтоватые усы и угрожающе потрясая высоко поднятой правой рукой, украшенной жирно смазанным арапником. В потоке яростных ругательств, которые он, выпучив глаза и багровея, беспорядочно извергал, выделялось одно слово: «барин». Он выговаривал его с особой нежностью, почтительно и заботливо:

— Барин! Барин тратит деньги, барин терпит убытки!

Подгоняемые приказчиками, люди суматошно кидались из стороны в сторону под палящим зноем, снопы один за другим летели в пасть молотилки, и неумолчный рев окутывал всех, словно в каком-то безумье. Господин Накович садился на коня, угрожая арапником, оборачивался в последний раз, потом удалялся мерной иноходью, и на току наступала мучительная передышка, — глаза людей сверкали нездоровым блеском сквозь мякинную мглу. По растрескавшимся дорогам медленно тянулись влекомые волами водовозные бочки с тепловатой водой. Еще медленнее двигались повозки, нагруженные соленьями — пищей для работающих. А в илистых ручейках, барахтаясь и накальваясь на острые края тростников, цыгане в одних исподних рубахах старались раздобыть угря для трапезы какого-нибудь зрителя.

* * *

После Ильина дня над краем пронесся сильный ветер. Четыре дня гудел он. Метались деревья, словно хотели с корнем вырваться из земли. К господину Филиппу, в его расположенный позади барской усадьбы дом, приходили с жалобой люди: пахать стало невмочь, ветер иссушает их и сводит с ума.

— Уж не ведаем, как нам и быть, господин Чилипп. Ежели и теперь, после эдакого ветрища, не польет, — быть беде. Пришла на нас погибель: плуг идет, как по кремню. А господин примарь знай себе стражников за нами гоняет; горе людское ему нипочем.

— А как же, братцы, — басовито гудел в ответ господин Филипп. — Вы в долгах, что в репьях, а барская работа — дело святое, ее не бросишь!

Люди глухо стонали: «Ох, горе, горюшко!» — и, понурив головы, отворачивались.

А к госпоже Аглае, жене управителя, крестьянки приносили яйца и тощих кур. На лице госпожи мелькала странная улыбка, в глазах появлялся острый блеск.

— Что ж мне с ними делать, с курами-то вашими, бабы?

— Дай сколько не жалко. Кормить ведь их нечем.

Госпожа Аглая принималась без умолку болтать: пускалась в расспросы о том о сем, о госпоже попадье, о жене учителя и под конец с превеликим удивлением вопрошала:

— И чего он дует так, этот ветер?

— Знать, удавился кто — не иначе, — отвечали бабы и с печальной улыбкой ожидали, что скажет им госпожа Аглая насчет хохлаток.

— Сколько же мне вам дать? — трещала госпожа, презрительно оглядывая кур. — Прямо сама не знаю. Что я буду с ними делать?

— Откормишь да на базар, — осмеливалась какая-нибудь просительница.

Госпожа Аглая делала вид, будто не слышит, и опять принималась недоуменно лепетать о курочках и о том, как вздорожали деньги за последнее время.

Но однажды утром над линией горизонта из гнездилища бурь начали подниматься черные тучи. Они мчались торопливо, проносились мимо, а следом гурьбой набегали новые. И вдруг в отдалении померк свет. В горячую пыль дороги упали первые капли. Жители Бучумен выбегали из хат, всматривались в небо над горами и, крестясь, молили о дожде: «Дай боже!»

Капли перестали падать. Полчаса спустя посыпались снова мельче и гуще, потом опять прекратились, словно рождались в муках. Наконец, пепельно-серый свет окутал землю, облака нависли над нею грузной громадой, и торопливым потоком хлынул настоящий дождь.

Дождь лил много дней и ночей подряд, лил неделю, другую. Люди ходили повеселевшие, беспечно шлепая по лужам. А потом на целый день установилась хорошая погода, и с запада над горами засверкало солнце.

— После грозы ведро, после горя радость, — говорили люди.

Однако ночью опять захлестал рьяный ливень. И снова будто на веки вечные серой пеленой окутали землю нескончаемые проливные дожди. Ручьи вздулись и залили поля. Потерпевшие почесывали затылки; прочие философски бормотали:

— И все же это лучше засухи.

Только много позже, после жарких, насыщенных горячими испарениями дней, после новых косохлестов, как будто установилась хорошая погода.

В середине августа прошел по деревне слух, что Серет выиграл и грозит снести мост. Унесет его — и надвое разрежет боярское имение. Господин Якобаке, примарь, не мешкая вышел со всеми служащими примэрии, а Гицэ,

ражий широкоплечий боярский слуга, встал на верхнем краю деревни, широко расставив ноги и подбоченясь, сдвинул кэчулу¹ на затылок и закричал по своему обыкновению так, что голос его был слышен в долине, за десять переулков:

— Слушайте... люди! Идет большая вода и уносит мост!.. Слушайте приказ боярина: с каждой улицы выйти двум хуторянам!

— Эх его! Опять трубит на краю деревни,— говорили люди, а представитель власти горделиво входил тем часом в барский шинок, к Берку.

Собрались в ту среду поздним утром у моста люди. Ночью вода поднялась на сажень с лишним. Лоханообразный мост, перекинутый на четырех лодках, был теперь поднят волнами и выгнулся наподобие лука, то и дело треща на стыках, покачиваясь и сотрясаясь под напором волн. Дед Пахомие, стороживший мост, укрепил крючок барабана, на котором был намотан канат, и стал спокойно дожидаться дальнейших событий. Это был высокий и тощий старик с лицом, изборожденным глубокими, точно из камня высеченными морщинами, с маленькими колючими глазками под рыжеватыми бровями. Люди расположились тут же на солнцепеке. Домик на пригорке был вне опасности.

Широкоплечий и плотный стражник Йордаке Настратин, пригнавший людей, заговорил, водя по сторонам бесесыми глазами:

— Стало быть, дедушка Пахомие, послал меня господин Чилипп к тебе с подмогою. Ни за что, говорит, не давать мосту уплыть, не то река перережет наше именье пополам. Так они, господин Чилипп, и сказали.

Сторож долго оглядывал Настратина с ног до головы. Легкая усмешка тронула его губы.

— Ага! Пришли, значит, с Серетом тягаться,— осклабился он.— Ну-ка, Настратин, скажи еще разок, как там приказывал господин Чилипп. Важные слова сказал он, твой господин Чилипп.

— Стало быть, сказали господин Чилипп так: не упустить моста, не то Серет надвое разрежет наше именье.

— Вон как! Именье ваше разделится на две части. А тебе, значит, брат Йордаке, прямо-таки свет не мил от горя.

¹ Островерхая баранья шапка.

Люди засмеялись. Йордаке скуки ради почесал затылок, улыбка появилась и на его лице, крупном и одутловатом, красном от выпитого зелья.

— Стало быть, пришли посмотреть, как мост уходит! — крикнул сторож хуторянам.

— Пришли,— весело отозвались они, собираясь у завалянки.

Пахомие достал кисет из свиного пузыря и стал насыпать табаку в огрызок кукурузного листа. Не было для него большего удовольствия, как выкурить цыгарку да уколоть кой-кого острым словцом.

— Что же мне теперь делать, милые мои.— начал он.— С бабой-то с моей, выходит, все счета кончены. Скажу одно — молчит. Скажу другое — опять молчит. Я на нее: «Хэй!» — она ни с места. Глухая она, сердешная, и сидит в закуте. Я ей: «Слушай, Катрина, хочу себе молодуху привесть». Она моргает на меня глазами, точно филин. «Теперь-то что, говорит, мало нам осталось. Уйдем скоро за сынами». И опять молчит. Сгорбится в своем углу и вздыхает. Как тут быть? С ней словом не перемолвишься — вот и отводишь в кои веки душу с хуторянами, когда они сюда заглядывают. Все вроде как скорее время бежит.

Дед Пахомие задумался, не спуская глаз с моста. Люди молча смотрели на бурно мчавшиеся желтые воды полной ровень с берегами реки. Лодки то и дело подскакивали на волнах, и скрепы моста непрерывно трещали. Ниже по течению луга были залиты водой. В ней плавали старые ивы, похожие на стога, и солнце сверкало в зеркале разлива, точно сказочное перо жар-птицы. А на той стороне, за гладью вод, на пологом холме виднелись, словно в далеком чужом краю, омытые тихим светом деревни и боярская усадьба.

Хуторяне вели неторопливый разговор. Внезапно дед Пахомие отбросил недокуренную цыгарку и оборотился к ним. Протянув руку, он указал им на том берегу столб, к которому был прикреплен канат. Вода наполовину залила его и била, покрывая пеной.

— Там слабое место,— сказал он спокойно.— Ну, теперь прощай мост.

— Как это можно? — вскрикнул Йордаке Настратин, выпучив глаза.

— Теперь уж иметье ~~трескается~~ на две части,— продолжал старик все с той же злобной усмешкой.

— Так я же пригнал людей, и господин Чилипп приказали...

— Люди, парень, посмотрят, как уплывает мост, а ты им поможешь.

Окружающие смеялись. Настратин тоже попытался было рассмеяться и по обыкновению своему крепко почесал затылок.

— Я эту воду,— продолжал дед Пахомие,— знаю не хуже своей бабы. Уж тридцать лет сижу на барской службе. И не раз доводилось слышать, как скрипел вот эдак и плакал мост. Имей я столько тысяч, сколько раз это слышал, барином бы стал. Нахлынет большая вода — мост горбится; волны бьют по тому столбу, пока не свалят. А люди стоят на этом самом месте, кидаются туда-сюда, орут и руками машут. Но Серет знай свое делает и уносит мост. Что с него возьмешь? Стоим и смотрим. Не так оно делается, как бы нам хотелось, а как ему хочется.

Мутные струи гневно бились у противоположного берега, свертываясь воронками, которые мчались, кружась, по стремнине. Мост дрожал и стонал, как живой, лодки кренились во все стороны. Канат слабел, столб на том берегу медленно наклонялся, волны яростно хлестали в него, напрягались, вздувались и наносили новые удары.

Люди, вооруженные баграми, найденными в доме сторожа, беспорядочно засуетились, шумно перекликаясь и шлепая босыми ногами по воде вдоль берега.

По стремнине плыли обрубки балок вперемежку с мусором, и рядом, причудливо кувыряясь, скользили вырванные с корнем ивы. Между ними плыл животом вверх разбухший теленок с вытянутыми окоченевшими ногами. Балки со звоном ударили по мосту. Внезапно раздался страшный скрежет; казалось, это крик отчаяния. Шум волн усилился. Конец каната на противоположной стороне опустился. Стремительно посыпались балки, брусья, доски. Лодки, окруженные обломками, словно раздумывая, двинулись в путь по быстрине реки, к городу Галацу. Часть моста на противоположном берегу повисла в воздухе. А люди смешно и беспомощно махали баграми вслед удаляющейся флотилии.

— Кончено,— молвил Пахомие.— Ничего, приволокут их обратно, такой порядок. И опять привяжем к столбу эту змею,— сказал он, указывая на канат.— А шуму-то, шуму-то! Страшное дело — вода. Одна моя старуха,

сердешная, ничего не слышит. Знай сидит себе в своем закутке... Хоть из пушки пали — ее не проймешь.

Вода быстро уносила вниз по течению лодки и обломки моста. Люди, махнув рукой, вернулись к сторожу. Дед Пахомие зло осклабился.

— Вот и вся недолга, — сказал он. — Покалякаем, что ли? День-то как-никак рабочий, а у нас, стало быть, одной заботой меньше. Что скажешь еще, Настратин? Беспременно порадуешь господина Чилиппа своими подвигами.

Серетский змей поглотил лодки за поворотом. Вода притихла. Люди слонялись без дела. Настратин стоял на углу завалинки, слегка наклонив вперед голову, и удивленно смотрел в одну точку.

* * *

Кто-то отправился в деревню дать знать о случившемся в примэрию и в усадьбу. Время близилось к полудню. И тут на высокой горе Халм внезапно раздался протяжный и печальный зов бучума¹. Казалось, звук этот тоже приплывает на гребнях волн.

— Это бучум Василе Бребу, — сказал дед Пахомие. — Что-то тамстряслось.

Люди снова зашевелились. Кое-кто отправился вверх по течению. Но все вокруг было спокойно, и у домика радостно щебетали ласточки.

На воде опять показались скопления балоков, плывущие нивесть откуда. Одно время шел какой-то дымчато-серый навоз. Потом внезапно на берегу показались люди, спешившие сверху по направлению к мосту. Они размахивали руками и кричали:

— Дом! Дом плывет!

— Вот тебе на! — молвил сторож. Потом крикнул: — Да где он?

— Сюда, сюда плывет, — отвечали, запыхавшись, люди и указывали рукой в ту сторону, откуда только что пришли.

— А вот и сам Василе идет, — заметил кто-то.

Василе Бребу, сторож с горы Халм, спускался к Серету. Он уже вышел из прибрежной рощи и шагал по тро-

¹ Духовой народный музыкальный инструмент.

пинке у всех на виду, статный, с мрачным взглядом. Шляпа на его голове была величиной с колесо телеги, на боку висел пастуший башлык. В правой руке он держал балтаг¹. Медные украшения кимира² так и сверкали в лучах солнца. Он быстро приближался, широко ступая.

Бребу подошел к людям и поздоровался. Быстрым взглядом он окинул собравшуюся толпу и правой рукой коснулся черных усов.

— Слыхали мы тут голос бучума,— сказал дед Пахомие.— Ты трубил, крестник? Насчет того дома, что ли, который, говорят, сюда плывет?

— Да,— отвечал сторож с Халма.— Следить-то я за ним давно слежу, да все невдомек было, что это такое. Я насчет моста хотел упредить. Да мост, как вижу, вода унесла. Может, остановим дом-то. А нет — так у него хоть место есть, где пройти. А вон и братец Андроне. Спросим его. Я думаю, попытка — не пытка; может, все-таки задержим дом.

Старик опять зло ухмыльнулся.

— Как же, как же,— сказал он.— Для чего же послал наш примарь сюда народ? Ловить на воде дрова да всякую падаль.

К домику сторожа шел берегом вверх по течению реки тот, кого Василе назвал «братцем». То был стройный человек с проседью в кудрях и бороде. Носил он короткую сермягу и круглую шляпчонку. Андроне приближался легким шагом, и на лице его был какой-то отсвет доброты. Следом за ним жеребенком скакал племянник, обутый в новенькие кожанцы, в безрукавке, расшитой суташом, и в такой же, как у старика, шляпчонке.

— Мир честному народу,— сказал Андроне. Он остановился, выставив вперед палочку.

Ему отвечали со всех сторон.

— Видишь, какие тут дела, крестник Андроне,— неторопливо заговорил сторож моста. Покою мне нет. Мост уплыл, стало быть заботы меньше. Так нет же: теперь другое. Дом, видишь ли, плывет. Кто его знает, может, это Ноев ковчег.

— Оттого ты и трубил, Василе? — спросил Андроне Бребу.

¹ Топорик с двумя лезвиями, служащий оружием у молдаван.

² Широкий пояс с отделениями для денег, табака, трубки и т. д.

— Ага,— отвечал тот.— А потом спустился сюда. Думаю, надо попытаться здесь задержать дом. Ишь сколько тут народу собралось.

Его слова потонули в гомоне голосов. Все вопили: «Плывет, плывет!» И снова люди угрожающе подняли багры, снова рассыпались по берегу. Потом приумолкли в ожидании.

У верхней речной излучины показалось бревенчатое строение. Среднее течение било ему в бок и медленно поворачивало, толкая к высокому берегу, где стояли люди.

Враз заговорило несколько удивленных голосов:

— Так это ж мельница! Глянь, колесо!

— Новое дело,— ухмыльнулся Пахомие.— А ну, поманите ее сюда рукой. Обманите зерном.

— Плывет к берегу,— кричали люди с баграми.

— То-то! Что я говорил?

— Нет, поворачивает на середину,— возразил Андроне. И тут же громко прибавил изменившимся голосом: — Люди добрые, ведь это ж мельница Кирилэ из Коту-Елий, имения нашего барина. Вон и сам Русу сидит в ней. И дочь его Аница, должно, с ним. Унесла их вода на рассвете.

Стоявшие на берегу застыли в изумлении. А из мельницы неожиданно донесся веселый крик петуха. Стражник Йордаке Настратин рассмеялся, но, взглянув на Андроне Бребу, умолк и смущенно почесал затылок.

Взъерошенный, до смерти перепуганный мельник Кирилэ высунулся в слуховое окно мельничного чердака. Он что-то вопил во весь голос: виден был только широко раскрытый рот, шум воды заглушал крики.

Случилось так, как утверждал Андроне Бребу: мельница стала заворачивать на середину реки; казалось, ее тянули туда балки, которые прыгали, словно резвые кони, впереди нее.

— Люди,— крикнул сторож Василе.— У ивняка ее прибьет течением к берегу. Там и остановим ее...

Злую улыбку будто смыло с лица деда Пахомие. Теперь и он не находил себе места, взволнованно оглядывая мельницу.

— Крестник Андроне, нельзя же ее так бросить. Там души человеческие.

— Задержим у ивняка,— откликнулся Андроне.

И люди побежали вслед за ним вниз по течению. У

пологого берега некоторые торопливо разделись и зашагали по спокойно разлившейся воде. Тут же на водной глади появилась и лодка. Василе и Андроне бережными движениями направляли ее против течения.

Мельница прошла мимо того места, где недавно стоял мост, и плавно скользила теперь по направлению к лугам. Мельник неумолчно вопил из слухового окна. На миг испуганное лицо его скрылось во мраке чердака, и в окне показалось молодое женское лицо; заметив рядом людей в лодке, женщина рассмеялась.

Василе зацепил крюком за стену и прислонил лодку к мельнице. Андроне привязал к нижним бревнам строения конец заранее подготовленной бечевы, а второй конец бросил стоявшим в воде людям. Напрягаясь и мерно потягивая бечеву, полураздетые волосатые мужики подводили бревенчатое строение к ивняку.

— Вот и выходит, что тянете корабль бечевой,— радостно подал голос Пахомие.

Мельница остановилась у прибрежной рощи и, сотрясаясь, села на землю. Тотчас же из нее выскочил мельник Кирилэ, весь еще во власти ужаса, но целый и невредимый, а за ним, подбирая юбку, зашагала по воде, дошедшей до лодыжек, Аница, его дочь. Это была белая стройная бабенка с маленькими руками и ногами; под длинными бровями в глазах стояла, казалось, какая-то синяя мгла. После пережитого страха лицо ее внезапно расцвело. Она разругивалась и весело разглядывала толпившихся возле мельницы крестьян.

— Люди добрые, неужто она и в самом деле дочь Русу? — удивленно шепнул дед Пахомие.— Каким чудом могла уродиться такая красotka у этого страшилища и пьяницы Кирилэ?

— Так ведь ее родительница — наша, молдаванка,— разяснил кто-то.— Красивая была баба.

Мельник, широко раскрыв рот, ошалело спотыкался и наскакивал на людей. Ступив на твердую землю, он схватил себя за взъерошенные волосы и запричитал:

— И что это за напасть, милые вы мои, свалилась на мою голову! Сперва разбудил меня какой-то гром. Я было подумал — может, мельница на нас рухнет или молния ударила. Девка моя скорей к образам, пасхальную свечку зажигать. Пришел я в себя и только тут смекнул, что приключилось: порвала вода все крепления и понесла нас

вниз по течению. Девка взывала, как по покойнику. Ну, думаю, конец! Пойдем мы рыбам на корм.

И старик весело захохотал, широко раскрывая большой беззубый рот и ласково поглядывая на собравшихся. Аница молчала, сложив руки под передником и еле приметно улыбаясь; в глазах ее, устремленных вдаль, отражалось видение только что промелькнувшей смерти.

— А ты, дочь,— сказал Кирилэ, толкнув ее рукой в плечо,— порадуйся святому солнышку и осени себя святым крестом. Встретили мы божьих людей, и спасли они нас от погибели.

— Слушай, братец,— вмешался старый Пахомие,— как же вы доплыли до наших мест? Неужто никто не видел вас, не поднялся честной люд?

— А кто его знает! Воды разлились аж вон куда. Люди глазели, да только издаля, нивесть откуда. Думали — мельница, дескать, без мельника, пускай себе плывет. И принесло нас вишь куда. А в мельнице-то все пел этот чертов петух, и я все крестился и думал про себя, что пришла, видно, моя смертушка. И то! Не будь этих добрых людей с лодкой, не спаслись бы.

Аница повернула глаза к Андроне Бребу и сторожу с Халма.

— Что же нам теперь делать? — неожиданно спросила она Василе.

Тот не ожидал вопроса и только улыбнулся, услышав ее пискливый голосок. Андроне Бребу со смехом возвратил ей:

— Не в дебри же вы попали, молодуха. С голоду не помрете. Найдется где спать. Бог и пташек небесных не забывает, не то что своих христиан. Да к тому же вы на боярских землях находитесь.

— Ну, раз мы на боярской земле, конечно! — заключил совершенно успокоившийся Кирилэ.— Теперь пускай хоть весь свет на меня глазеет. Серет понес и приволок меня сюда. А коли Серет приволок, что тут поделаешь? Где же мне с Серетом тягаться!

Он расставил руки, словно желая показать, что теперь то он уж вовсе ни при чем. Конечно!

Сторож Василе Бребу смотрел на Аницу. Она смеялась. И он внезапно почувствовал какой-то трепет во всем теле, какое-то смутное томление любви. Нечто необыкновенно волнующее струилось из ее затененных глаз.

Старый мельник Кирилэ что-то удовлетворенно бормотал про себя. Он собрал кучу хвороста и вынул кресало, чтоб развести небольшой костер.

— Кончено! — говорил он. — Уж и надрожался и натерпелся я; пришел теперь черед петуху. Хватит, довольно распевал он на мою голову, пока мельница плыла. А найдется ловкий паренек, так я при всей своей бедности дал бы немного денег, чтоб принес он из города бутылочку. Угостить бы мне православных за доброе дело.

— На такое дело товарищи завсегда найдутся, — сказал Пахомие. — Есть у меня и пузатая бутылка, я ее купил на Фолтиченской ярмарке в тот год, когда злодеи прогнали Кузу-Водэ¹ с престола.

Тут же выискался ловкий паренек, который помчался с бутылкой времен Кузы в трактир. Вскоре у роши поднялся дымок и замерцал махонький язычок пламени, ровно такой, какой нужен, чтобы прикурить трубки и цыгарки, и люди сгрудились около, толкуя о событиях дня.

Кирилэ еще не совсем опомнился. В ожидании водки у него раскраснелся нос; он сокрушенно покачивал головой:

— Вы что думаете, люди добрые, народ честной, шуточное это дело? Хе-хе. Девять лет живу я в своей мельнице, а такого еще не бывало. Вот до чего обманчива вода.

— Яко змея и женщина, — с улыбкой отозвался Андроне Бребу. — Так и в книгах сказано.

— То-то, — пробормотал старик.

Аница смеялась, понимающе поглядывая на сторожа с Халма.

— А я-то, милые мои, и думать не думал о таком, — продолжал словоохотливый мельник. — А тут сразу слышу: трах! — и айда, понесла нас вода. А петух, черти бы его побрали, знай свое — кукарекает и кукарекает.

Он смеялся, широко раскрывая большой беззубый рот, и все рассказывал про удивительный случай.

Внезапно Кирилэ замолчал. Люди зашевелились,

¹ Куза Александру — первый господарь объединенных румынских княжеств (1859—1866). Низложен реакционным боярством в 1866 году.

подняли головы. На дороге послышался стук приближающейся подводы. У моста показался высокий и худой серый конь, впряженный в небольшую бричку с плетеным кузовом, окрашенным в красный цвет. Человек в серой фетровой шляпе с длинными черными бакенбардами, стоя в бричке, оглядывался по сторонам. Он повернул голову в роще и, увидав костер и собравшихся крестьян, быстро соскочил с брички, оставив ее на попечение серого коня.

— Господин Якобаке, примарь! — вскрикнул, спохватившись, Настратин.

— Сын дьякона Алеку... Вечная ему память, дьякону Алеку, — спокойно проговорил Андроне Бребу, не двигаясь с места.

Все встали. Жирный, приземистый господин Якобаке спешил к ним, широко шагая и размахивая руками. Его городское немецкое платье, казалось, было ему узко и коротко. По мере того как примарь приближался, он все более гневно расправлял бакенбарды, и на его смугловатом, изрытом оспой лице утверждалось выражение оскорбленного достоинства. У костра он остановился со сложенными за спиной руками, нахмурил брови и выпятил круглый живот.

— Это еще что такое? — заговорил он густым, хриплым голосом. — Откуда взялся этот дом?

Несколько человек медленно сняли головные уборы. Никто не отвечал. Примарь вытянул правую руку, указывая в сторону мельницы:

— Что это, я вас спрашиваю? А? Этого раньше тут не было. А мост где? Я послал людей, чтоб удержать мост. Где мост, а? Что вы смотрите на меня разинув рты? Это что еще за разговоры? Болтать расположились? А вода тем временем унесла мост?

— Прощения просим, господин Йордаке, — заговорил дед Пахомие. — Раз Серет взял такую силу, что мы могли поделаться с мостом? Уж сколько лет сторожу я боярский мост — и когда приходит большая вода, она уносит его, ничего не поделаешь. А мельница эта приплыла по реке, и мы подтащили ее к роще. Вон и мельник Кирилэ из Коту-Епий, тоже с боярского имения.

— Это что еще за разговоры? — все так же громко, но еще более важно закричал примарь, попрежнему хмурия брови. Мосты уплывают, мельницы приплывают... Как тебя зовут? — повернулся он к мельнику.

— Кирилэ зовут меня, господин примарь, дай бог вам здоровья.

— Как Кирилэ? Какой Кирилэ? Где ты находишься? Шапку долой, когда разговариваешь со мной! Вот так. Что с мельницей?

— Вода унесла ее, господин примарь, а я, значит, и дочка моя приплыли в ней.

— А ты чего там стоишь? — накинулся господин Якобаке на девушку. — Почему смотришь в сторону, когда я с тобой говорю? Так-то вы охраняете имущество боярина?

— А что мне ваша мельница? Ничего я о ней не знаю, — тихо отвечала Аница, пожимая плечами и украдкой взглядывая на господина Якобаке.

— Ничего не знаешь? А за чем глядит твой отец? В кутузку его! Уж я докопаюсь, как тут было дело, распутаю клубок. Знаю я вас.

Кирилэ, охваченный страхом, застыл на месте и раскрыв рот уставился на примаря. А тот, сердито фыркая, опять заложил руки за спину и строго огляделся.

Андроне Бребу сказал, не двигаясь с места:

— Что зря убиваться, господин примарь... Виноватому все одно ничего не сделаешь. И в кутузку его не засадишь.

Якобаке на мгновенье окаменел от изумления и только помаргивал глазами.

— Серет, сударь, — робко пояснил Пахомие.

Тогда представитель власти затопал ногами и злобно набросился на Андроне:

— Как Серет? Какой Серет? Ты что это вмешиваешься в разговор? Ты что мне всегда мутишь душу? Я тебе покажу, Андроне! Думаешь, долго еще тебе со мной тягаться?

— А я со своей правдой куда хочешь дойду, — отвечал Бребу. Присутствие людей и вольные места, где он находился, придавали ему смелости. — Зачем зря кричать и ругаться, когда ничего такого и не случилось? Раз ты, скажем, власть, так уж обязательно людей за горло хватать?

— Па-прашу не безобразничать, — заорал Якобаке, тараша глаза. — Я с тобой за все разделаюсь, я тебе покажу, кто я такой! Не тебе, мужлану, учить меня уму-разуму. Я примарь и делаю, что хочу, слышишь?

— Знавал я твоего родителя, покойного дьякона Алеку. То был наш человек.

Глаза примаря налились кровью. Упоминание о происхождении обожгло его, как пощечина. Он с ненавистью воззрелся на крестьянина и процедил сквозь зубы страшное ругательство. Потом накинулся было снова на него, но в это мгновение люди внезапно отскочили в сторону, словно их смыло волной. Запряженная двумя воронными коляска свернула у моста и мчалась теперь к роще, а за нею, на белом скакуне, спешил верховой.

— Барин! Барин! — шептали крестьяне, обнажая головы.

Якобаке дважды коротко кашлянул, поднял руку к шее, торопливо застегнулся на все пуговицы, затем повоенному приставил ногу. На лице его появилась странная улыбка — словно кто-то смазал ему губы маслом. Коляска поровнялась с людьми и внезапно остановилась. Необыкновенно толстый цыган застыл, словно изваяние, на козлах. Господин Филипп соскочил со своего белого коня и подошел к подножке боярской коляски. Примарь тоже сделал два шага. Крестьяне подались вперед. Дед Пахомие и Кирилэ локтями пробивали себе дорогу в первые ряды.

Раздалось несколько голосов:

— Целуем ручки, батюшка.

Примарь ссутулился и, смиренно поклонившись, хрипло проговорил:

— С глубочайшим почтением!

Из богатой коляски, откинувшись на голубые подушки и прищулив глаза, глядел на стоявших перед ним боярин Александру Филоти Бучуману. Это был бледный усталого вида человек, переваливший за сорок. Круглая черная борода его загибалась кверху, а крючковатый нос смотрел вниз; на тонких полуоткрытых губах блуждала еле заметная, изящная и рассеянная улыбка. Он был одет в широкую серую куртку, а на голове носил русскую фуражку с лакированным козырьком.

— Бонжур, бонжур, — отвечал он в нос. Затем, спохватившись, прибавил, нервно мигая: — Благодарствуйте, добрые люди. Что случилось, примарь? Говорят, мост уплыл?

— Да-с, — произнес примарь, держа в руках шляпу. — Честь имею доложить, боярин, что мною было немедленно произведено расследование.

— Хорошо, хорошо. Какое там расследование! Я и сам вижу: вода унесла мост.

Господин Филипп продолжал стоять у подножки, держа под уздцы коня. Он смотрел хозяину в рот, готовый в любое мгновение ответить на вопрос, вскочить на коня, исполнить всякое барское приказание. На его широком, пухлом и красном лице то и дело молнией пробежал тик у правого глаза.

Наступила тишина. Старый Пахомие решил, что теперь пришел и его черед; он сделал шаг вперед и что есть силы крикнул:

— Государь наш, дозвожь слово сказать!

Примарь и управитель разом поворотились к нему с таким видом, точно старик совершил небывалое преступление.

— Что такое? Говори! — медленно, равнодушно проговорил Филоти.

— Ну говори, что хотел!.. — тихо произнес примарь, хватая старика за рукав.

— Батюшка, — выкрикнул старик. — Тридцать лет стою я у этого моста и берегу его как зеницу ока. Теперь, значит, ежели пришла большая вода и унесла его, чем же мы тут виноваты? Ишь вода приволокла сюда и мельницу твоей милости из Коту-Епий.

— Какую мельницу?

Управитель Филипп коротко, негромко и очень почтительно вставил:

— Коту-Епий, на границе с Рошканами... А мельницу я и впрямь вижу здесь.

— А, мельницу эту приволок Серет? Курьезно! — пробормотал боярин, и улыбка оживила его бледное лицо. Тут же счастливо улыбнулись примарь и управитель, а осмелевший Кирилэ предстал перед лицом боярина.

— Государь, я и есть мельник. Это я приплыл в мельнице по Серету.

— Хорошо, Филипп, — весело сказал Филоти, — но ведь это же презабавный случай. Как же мы ничего до сих пор не знали?

Филипп наклонил ухо к боярину, косо уставившись в одну точку, будто глубоко о чем-то задумался.

— Так мы же, кормилец, только что прибыли, — сказал мельник. — С час не боле, как эти добрые христиане выволокли нас на берег. В мельнице были я да моя дочь, а петух все пел, и вода мчала нас к Галацу. Слышь, Аница, подойди-ка, пусть их милость на тебя посмотрят.

Аница вышла вперед и, как полагается, стыдливо опустила глаза, а боярин долго разглядывал ее. Люди хранили настороженное молчание. Филоти, казалось, задумался.

— Может, будут какие приказания, господин Алеку? — спросил, наострив ухо, управитель.

— Что? Нет, никаких приказаний. Мост выстроить. А как тебя зовут? — обратился он к дочери Кирилэ.

— Аница, барин, — шепнула она.

— Был у нее и муж, — вмешался в разговор Кирилэ, — да непутевый оказался; ушел себе с богом.

— Так ты, выходит, вдовушка? — спросил, улыбаясь, боярин (и вновь сверкнула молния у правого глаза управителя), — в таком случае выходи замуж, не оставайся так...

Девка смотрела на него и смеялась, бегая глазами. Боярин думал:

«Недурна эта дочь Кирилэ. Совсем не похожа на отца...» И, как это часто с ним бывало, он высказал свою мысль вслух. Управитель и примарь были, казалось, очень довольны подобным замечанием и тоже весело поглядели на Аницу.

Люди ждали: разговор мог пойти о мосте, о мельнице. Кто знает, может быть, заговорят и об урожае, о земле, о дождях, хотя они хорошо знали, что боярин ни о чем не думает и все дела отдает в руки управителя.

И господин Филипп и Якобаке — оба стояли, склонив голову, и дожидались приказов, но боярин все о чем-то думал.

— Поворачивай, Димаки, — обратился он внезапно к жирному кучеру.

Димаки деликатно коснулся лошадей кончиком кнута и повернул. Управитель торопливо вскочил на коня; примарь поискал глазами стражника, сделал ему знак следовать за ним и кинулся к своей бричке. Он прыгнул в бричку; на запятки вскарабкался стражник, и серый конь примаря поровнялся с иноходцем Филиппа.

* * *

На лице господина Филиппа Наковича, гарцевавшего вслед за коляской, появилось обычное лениво-равнодушное выражение. А примарь в своей бричке о чем-то оза-

боченно думал. То и дело хмурил он брови и подстегивал лошадь кнутом. Настратин сидел на запятках как-то боком, неловко повернувшись в сторону.

— Грубиян он и задира,— возбужденно бормотал примарь, касаясь бакенбардами груди.

— Слушаюсь, господин Якобаке,— вздрогнул стражник и вытянул шею.

— Ничего, ничего,— отозвался примарь.— О чем там толковал Андроне до моего приезда?

— О чем ему толковать? Ничего такого он не говорил.

— Обо мне он... гм... того... не распространялся?

Стражник не знал, что и ответить. Он молчал. Обернувшись, примарь пронзил его гневным взглядом.

— Какого же черта ты там сидел, как осел?

— Да я сидел... как было приказано...— отвечал стражник.— Велели же вы гнать людей к Серету, я и погнал.

— И чего ты на меня так уставился?

Господину примарю страсть как хотелось выругаться или пройтись разок-другой кнутом по спине стражника, чтобы отвести душу, но они находились поблизости от боярской коляски, да и стражник отодвинулся слишком далеко назад. Якобаке злобно фыркнул. Он оборотился к управителю.

— Видел ты, господин Филипп, того негодяя Андроне? Управитель вздрогнул.

— Кого, кого?— спросил он, наклоняясь в сторону примаря.

— Андроне Бребу.

— Видел, как же. А что с ним?

— Нельзя ли его, господин Филипп, маленько поприжать? Уж больно зубаст стал мужик.

— Что ж, прижмем,— равнодушно согласился управитель.— Только ведь на барщину он не ходит. Человек он, как мне известно, работающий.

— Он из говорливых, господин Филипп. Опасный человек. Не куснем его, неладно может получиться. Надо же нам и политикой хотя бы немного позаняться.

Управитель и на этот раз ничего не расслышал из-за грохота экипажей.

— Чем заняться?

— Политикой, господин Филипп. Хотя бы немного.

Управитель так ничего и не понял, но не потрудился

переспросить. Он продолжал все с тем же безучастным видом раскачиваться в седле. А примарь, рассерженный пуще прежнего, ткнул кнутовищем сидящего позади стражника.

— Эй ты, слышал?

— Что мне слышать, господин Якобаке?

— Слышал, да? Так иди и выложи им слово в слово. Расскажи им, понятно?

— Есть рассказать, господин Якобаке. Только кому и что?

Бывший вахмистр, вконец разозленный, плюнул в сторону и несколько раз подряд вытянул кнутом свою серую лошадь.



Со стороны деревни по окаймленной ивами дороге шел из кабака мальчонка с угощением мельника Кирилэ. Мчавшаяся боярская коляска обдала его облаком пыли. На обветренном курносом лице мальчугана изобразилось нечто похожее на робость. Засунув под короткий полушубок бутылку с водкой, он застыл на месте, устремив глаза на Настратина: стражник, сидевший в бричке примаря, морща одутловатое лицо, делал ему отчаянные знаки головой и руками, чтоб он поскорее снял свою кушму¹. Мальчик испуганно схватил левой рукой старую и потертую кушму и не без труда сорвал ее с вихрастой головы. Но господ с оглушительным грохотом уже промчались мимо. Тиликэ водворил на место кушму и не спеша побрел к реке.

Он пришел туда к заходу солнца. Кое-кто из хуторян успел разойтись по домам, другие примчались из деревни подивиться на то, как унесла вода мост и как приплыла по Серету мельница.

— Ты пришел, Тиликэ? — спросил дед Пахомие, лукаво усмехаясь. — Тебя, братец, только за смертью и посылать.

Мальчонка рассмеялся, собирая в морщинки лицо и широко раскрывая рот. Он отдал бутылку мельнику, затем плотнее закутался в полушубок и собрался уходить во-свосяси.

— Куда же ты, парень? — весело спросил мельник.

¹ Баранья шапка.

— К скотинке надо идти, а то, не доглядишь, так залезет в кукурузу; узнает батя,— убьет.

— Ступай, а после приходи обратно. Я тебе оставлю глоток водки и краюху хлеба. Аница, дочка, сбегай в ту хибарку да принеси хлебца. Ну и удивился же боярин такому происшествию!

Девка встала, подняла юбку выше щиколоток и зашагала по мутной воде к мельнице. Сторож с Халма дружелюбно рассмеялся, когда она таким же образом прешла назад.

— Аница, голубушка, да не сторонись же ты нас, мы ведь больше на бутыль деда Кирилэ поглядываем.

Аница поджала губы и укоризненно покачала головой, лукаво скосив глаза в сторону Василе. Андроне Бребу задумчиво сидел, вертя в пальцах палочку. Мельник ласково взглянул на него и протянул ему бутыль.

— Сделай одолжение, брат Андроне. Эту бутыль мы опорожним за тебя и за этого парня Василе. А с примарем, видать, не поделили вы чего-то. Так ты к сердцу-то близко не принимай.

— С нашим примарем невоготу стало,— заговорил дед Пахомие, не отрывая взгляда от бутылки.— Знаю я его: вражье у него сердце. Много натерпелся я на своем веку, потому и думаю: лучше уж снять шапку и покориться. Они говорят черное — и ты черное. Повинную голову меч не сечет. А иначе и жить нельзя на белом свете.

— Правду говоришь,— серьезно ответил Бребу.— Трудно стало жить, и все по причине людской злобы. Мне до примаря дела нет, да и бояться его нечего. Просто так вот гляжу на него. Помню я его еще таким, как Тодирицэ, мой племянник. В ту пору он тоже шнырял промеж нас и приносил старикам водку, как нынче Тиликэ. Был он, стало быть, нашим. Не знаю, что он там делал потом, где побывал, только глядь — уже ходит в узких штанах и ругается скверными словами. Про мать-отца и не вспомнит: могилы родительские совсем забросил. Смотрю, полез к господам. А теперь, выходит, и он тоже господин. Хуже этого, крестный Пахомие, и не придумаешь. Вот я ему и говорю: «Знавал, мол, тебя, еще эдаким сопляком. И отца твоего Алеку, да простит его господь, тоже знал». А он, как услышит такое, начинает кипятиться и глаза у него на лоб лезут. Был когда-то человек как человек, а полез в бары, и окаменело в нем сердце, как у змеи.

А так, что мне в нем? Как-то рассказал я ему притчу: жаловался, мол, один, что у него глаза повывкололи. «Кто же тебе, братец, глаза выколол?» — «Брат». — «Вот, значит, почему он их колупнул так глубоко!» А он смотрит так, словно вот-вот вцепится в меня зубами и ногтями. Что с ним поделаешь?

Лукавая улыбка осветила на мгновение лицо Андроне Бребу.

— Что ж, дай бог веселья и братства между людьми, — сказал он, поднимая бутылку. — И еще говорят: «Бог шельму мегит». Недаром на щеках у Якобаке выросли такие космы.

— Прямо черт с рогами, — откликнулась со своего места Аница и, прикрыв рот ладонью, тихонько рассмеялась.

Бутылка переходила из рук в руки. Люди толковали между собой, солнце медленно заходило. Андроне встал, собираясь уходить.

— Закинул я сети в укромном местечке на озере, — сказал он. — Пойду посмотрю: может, что попалось. Тебе, Тодирицэ, наверно, есть хочется. Пойдем со мной, а потом отведу тебя к матери. А ты, брат, — прибавил он, обращаясь к Василе, — почаще вылезай из своей берлоги, заходи, а то оборотишься медведем и начнешь людей грызть.

Сторож засмеялся, но ничего не сказал в ответ.

Андроне ушел. За ним вприпрыжку следовал мальчик. Они сперва обогнули рошу, залитую водой, затем пошли по выющейся среди пашен тропинке. День был погожий, над полями царила бескрайняя тишина.

— Дедушка Андроне, — заговорил внезапно мальчик, задрав кверху носишко и сверкая глазенками, — а что, боярин, тот, который в шапке, — плохой человек?

— Нет, не плохой он, Тодирицэ.

— А очень он богатый?

— Богатый.

— Дочка Савила Нистора говорила, будто у боярина есть такой конь, что его кормят горящими углями. А в погребу у него такая куча золотых, что боярин их мерками считает.

— Может статься, Тодирицэ. А есть тебе не хочется?

— Нет, не хочется, — крикнул племянник и помчался вперед.

Адроне шагал неторопливо, как человек, не утруженный делами. А люди, оставшиеся у костра, толковали о нем. Этому Андроне Бребу уже перевалило за сорок пять, и жил он одиноко. Молодость провел он бурно, любил одну девушку и в восемнадцать лет женился на ней. Но детей у него не было, жена умерла молодой. И человек от великой своей скорби стал подумывать о затворнической жизни. Он было пристроился при Нямецком монастыре, но через год вернулся в деревню. От мысли о монашеской жизни он не отказывался, но крепко был привязан к Бучуменам. Стал он часто навещать церковь; дома читал книги, особливо «Жития святых», купленные за большие деньги и после долгих хлопот в самом городе Яссы. Землю он получил при реформе и имел в саду небольшую пасеку. Вел он хозяйство сам, как научили его нямецкие монахи. Никогда не пропускал постов и вечерних молитв. Долго грызла его тоска, но теперь он успокоился. То был человек, пытавшийся засветить у своего изголовья лампаду самопознания. Он всегда обдумывал свои слова и старался быть справедливым к односельчанам и чтоб совесть его была перед ними чистой. А быть справедливым для него означало прежде всего никому не вредить. Впрочем, был он скряжлив, любил деньгу копить и чаще всего помогал ближнему в нужде одними советами. Правда, советы его оказывались порой весьма дельными, при этом изобиловали разнообразнейшими притчами — ведь как-никак предлагал их человек ученый. Молва о нем шла, как о хорошем врачевателе людей и скота. Достаток сделал его более смелым, и потому-то господских людей он дальше ворот не допускал и на барщину не хаживал. Сейчас он шел проведать свои рыбные тайники и мерно шагал, бережно упирая в землю свою гладкую кизилковую палку. В лице его было что-то от покоя окружающих полей.

— Я одно тебе скажу, Василе,— говорил дед Пахоние.— Андроне — божий человек. Посты соблюдает, молиться молится, пить не пьет, с бабами не балует вроде тебя... правда, и времечко его уже отошло. Помню, захворала как-то моя баба. Свалилась и руку вывихнула. Тогда она, родимая, слышала, и я еще не собирался ее менять. Ну, позвал я Штефэноаю; потом пришла Урсэрица, мать кучера Димаки. Никак! Распухла рука, одеревенела, что твой пень. Послал я знахарок к чертям и позвал Андроне.

Приходит он, значит, и начинает эдак шупать руку, а баба подскакивает и орет. «Умру, говорит, если потянешь». — «Не потяну, — отвечает Андроне, — пусть еще распухнет». Вздохнула моя баба и повернулась лицом к стенке. Тут Андроне хватъ ее за руку, да как дернет, да как повернет! Заорала моя баба так, что я думал — дом валится. Накинул Андроне полшубок на плечи и был таков. А баба моя на второй же день почувствовала, что рука у нее на месте.

— Да, он много чего знает, — обрадованно отозвался Василе, горделиво заложив руки за кожаный ремень. — Никто лучше него в скотине не разбирается. Он и «Аликсэндрию» читал.

— Вот как! — удивился Кирилэ, разевая беззубый рот. — Слушал я как-то эту книгу. Больно там все красиво. Как попал в рай и в ад Александр Макидон. Эх, тот, кто грамоте понимает, знает, что за жизнь была в старину. Землицы и скота было у людей тогда вдоволь, не то что теперь. Нынче что? Совсем плохо стало: близок день страшного суда. И еще читал у нас дьякон Антохи про антихриста. И сказано в книгах, что до последнего часа осталось недолго. Тогда не станут разбирать, кто богат, кто беден, — все помрут. А потом справятся в книгах про их дела. И кто несправедливо отнял хотя бы гвоздь, тому вобьют этот гвоздь в лоб, и кто кривдой взял хотя бы копейку, расплавят ангелы ту копейку и ею зальют ему горло.

Костер дотлевал. Дед Кирилэ, разгоряченный выпивкой, говорил, глядя на собеседников сверкающими глазами. С запада, из-за реки трепетно лились последние разноцветные лучи. День угасал. В тишине приумолкшей рощи послышалось позвякивание конских пут, затем раздался тонкий голосок Тиликэ, а вскоре показался и сам мальчуган со своим вздернутым носом и рыжим полшубком.

Он приближался, стегая траву длинным веревочным кнутом. Потом подсел на корточках к костру, и дед Кирилэ задумчиво протянул ему бутылъ.

— Выпей, парень, — сказал он тихо, — за упокой души моей старухи.

Тиликэ попробовал водку, поморщился, скорчил гримасу, вытер губы рукавом и жадно накинулся на хлеб. А потом припала ему охота поговорить.

— Шел я только что за конями. Смотрю, выходит на тропинку Лиса Патрикеевна и глядит на меня. Я как хлопну кнутом! А она отошла, села и опять повернула морду ко мне...

Сторож Василе поднялся.

— Пойду проверю, что на Халме деется. Все сено на горе под моим присмотром. Как-нибудь еще заверну сюда. Будьте здоровы,— громко закончил он, глядя в сторону Аницы.

У догоревшего костра остались Тиликэ,— он ел, стоя на коленях, лук с мамалыгой,— мельник, Аница и дед Пахомие.

— А мы, девка, притащим сюда подстилки да и уснем под звездами небесными. Сказать тебе по правде, боязно мне, как бы вода опять не унесла нас. А что до мельницы — посмотрим, как барин прикажет. Завтра-послезавтра пойду в усадьбу и спрошу.

Сумерки сгущались. Дед Пахомие тоже молча поднялся.

— Погляжу-ка я, как там у меня в халупе,— промолвил он и, вставая, тихо застонал. Затем, ссутулясь, направился к краю обломанного моста.

У костра остались три молчаливые тени. Над водою стелился туман. Сквозь этот туман, словно короткий порыв ветра, прошелестела стая диких уток. Потом стало слышно, как она шумно опустилась далеко в заводи. Все замерло. Изредка слабо вспыхивала трубка Кирилэ, освещающая черную мельницу, которая стояла, причудливо скособочившись, словно хотела спрятаться позади раки.

Дед Пахомие, стуча башмаками, вошел в халупу. В печи на огне еле слышно похлупывал горшок. Рядом на стульчике, сгорбившись, сидела слабая и тщедушная бабка Катрина. По ее высохшему лицу скользил луч света. Казалось, он озаряет лицо мертвеца: две дымчатые впадины подо лбом и черную черту под носом...

Она не расслышала, как вошел старик, но почувала, что кто-то ходит рядом.

— Пришел? — тихо промолвила она, не двигаясь с места.

Старик закричал что есть духу в тихой халупке, кривя по своему обыкновению губы:

— Вода унесла-таки мост.

Старуха чуть повернула голову и вновь неподвижно застыла.

— Тут и господа побывали! — крикнул опять Пахомие. Потом пододвинул себе стульчик к печи.— Эх ты, старуха,— заговорил он уже тише,— плохи стали твои дела! Серет демона пригнал! — крикнул он опять над самым ухом старушки.

— А?

— Демона, чертовку! В мельнице. И барин глядел на нее. Слышь-ка, ведь это для нее поет Василе на Халме. А девка слушает и все понимает. Да только думает-то она о боярской улыбке.

— Ага! — равнодушно заговорила старуха.— Ну и пусть. Знаешь, дед, я вот задремала здесь чуток, у печки, и опять увидела мальчиков. Будто вода не унесла их... Будто ходили они по комнате и пели тихо... тихо.

— Гм, опять начнешь их оплакивать,— проворчал старик.— Когда их унесла вода, они были здоровыми парнями, а тебе все мальчиками мерещатся. Какого беса ты мне вечно о них толкуешь, когда я сажусь есть? Чтобы кусок в горло не шел? Что ж все плакать, сердце бередить? Много воды с той поры утекло, а ты все поминаешь их. Черт бы тебя побрал!

По увядшим щекам старухи текли слезы. Она молча плакала, уже окутанная вечной мглой, под сень которой спешили все герои этого памятного дня...

Глава вторая

МОЛОДОЙ БАРИН КОСТИ ЗАМЕЧАЕТ ТЕНЬ В ЛЕСУ

Чистым и ясным утром во флигель, отведенный боярской челяди, пришел Василе Охотник. Он разыскал господина Маноле, камердинера молодого барина, и доложил, что явился, как было приказано.

— Какой такой приказ? — спросил господин Маноле, зевая и почесывая за ухом.

— Боярский приказ, господин Маноле. Молодого барина. Вечер, только что моя баба опрокинула на стол мамалыжку, гляжу, идет Гицэ Крецу. Так, мол, и так — вернулся господин Кости с учения, из-за границы, один

только день и отдыхал, а вчера пожелал, значит, выйти на охоту...

— Ах, да,— зевнув, неторопливо отвечал господин Маноле.— Ведь это я и приказывал Гицэ Крецу пойти к тебе сказать, чтобы ты не вздумал послушаться — не то господин Кости страсть как разгневаается.

— Боже сохрани,— решительно возразил охотник, встряхивая седыми кудрями.— Да нешто я могу не явиться? Ведь и ружье-то в руки господина Кости я вложил. Я Гицэ Крецу так и ответил, что явлюсь, дескать, немедленно. А теперь, значит, прошу тебя, господин Маноле, доложи молодому барину, что я дожидаюсь.

Камердинер искося, с легким презрением взглянул на крестьянина.

— Да погоди ты, Василе,— промолвил он после непродолжительного молчания,— не бросать же мне свой кофий с молоком. Таков уж у меня обычай: встал — пью кофий с молоком. Мыться не моюсь — сперва нужно кофию с молоком выпить. В привычку вошло: не выпью, заболею.

— Что ж, у каждого, стало быть, свое,— покорно согласился Василе.— Лишь бы его милость не гневался.

— Как это гневаться? С чего бы ему гневаться? Уж я то порядка знаю.

И, чтобы показать охотнику, с кем тот имеет дело, господин Маноле вытащил из кармана своей узкой, как жилет, куртки деревянную коробку и, открыв ее, выбрал себе тонкую, изящную боярскую сигарету. Из другого конца коробки он вынул спичку, чиркнул ее об стену и закурил. Выпуская с большим удовольствием дым, он любовался оживлением во дворе, отхлебывал несколько глотков кофе из чашки и ставил ее затем на подоконник. Немного спустя ему показалось, что кофе остыл, да и маловато его для оставшегося окурка. С чашкой в одной руке и папирсой в другой он направился по коридору в кухню. До слуха крестьянина сразу донеслись сердитые крики. Он ухмыльнулся. Мимо, не замечая его, прошли какие-то слуги. Охотник поглядел им вслед и покачал головой.

— Вон и солнышко выглянуло,— пробормотал он, как только на крыше засверкали серебристые молнии.

Господин Маноле вернулся разгневанный, держа в руке дымящуюся чашку.

— Я вам покажу! — грозно бросил он, обратив в сторону коридора свои выпученные глаза.

Крестьянин оглядел его с любопытством: веселые морщинки заиграли в уголках глаз. «Сам-то, по роже видать, из черномазых,— думал он,— а ходит и ведет себя ни дать ни взять барин».

— Видна птица по полету,— фыркнул господин Маноле.— Цыган всегда цыганом и останется.

— Ты это о поваре, господин Маноле? — спросил Василе.

— А то о ком же? — презрительно отозвался камердинер.

Но выражение отвращения тут же исчезло с его лица. Ловким движением фокусника он поставил чашку на подоконник, перескочил через перила веранды возле самого охотника и помчался к главному подъезду. По ступеням спускался молодой барин Кости, с винтовкой в руке и охотничьей сумкой на боку. Собака прыгала около хозяина, предельвая всевозможные выкрутасы.

— Охотник только что явился, господин Кости,— подобострастно встретил его камердинер.

— Знаю, в окно видел,— ответил юноша.— Почему же меня раньше не разбудили? И где кабриолет?

— Готов, готов, сей момент здесь будет,— торопливо отозвался Маноле и ринулся к конюшням.

Правой рукой крестьянин снял шляпу, левой коснулся усов. С улыбкой он поджидал молодого барина.

— Ну, как дела, Василе? — радостно заговорил юноша, направляясь к нему.— Настреляем сегодня перепелов и куропаток?

— Целуем ручку, батюшка! Настреляем, а то как же!

— А куда мы поедем?

— Куда прикажете... Думаю, не худо бы к Мэкэрештам.

— Хорошо. Отправимся туда. Тише, стоп! — и тыльной стороной руки Кости оттолкнул обхватившую его передними лапами собаку.— Если бы ты знал, до чего он радуется,— продолжал Кости, оборотясь к охотнику.— Позавчера только увидел меня и сразу же узнал: запрыгал, заскулил от удовольствия.

— Как же ему не узнать тебя, барин, когда ты сам изволил выучить его охотничьему ремеслу. Ты к нему по-немецки, а он все понимает.

Кости рассмеялся, и черные глаза его, с длинными ресницами, сверкнули, будто тронутые слезой.

— А я привез себе новое ружье,— дружелюбно заговорил он с охотником, протягивая ему ружье. Крестьянин положил шляпу и почтительно взял ружье в руки.

— Красивое ружье, барин, и стоит, должно, немало. А я все со своим ржавым ружьишком. Давно мы с ним знакомы и хорошо понимаем друг друга.

— А это, Василе, французское ружье, такого во всей стране не сыщешь.

Василе казался донельзя удивленным, он поворачивал ружье и так и этак, держа его кончиками пальцев.

— Ай-ай! Расписано золотом да серебром...

— Не понимаю, отчего до сих пор нет кабриолета,— проговорил юноша, вскинув глаза, и бледное лицо его выразило нетерпение.— Ага, вот и он! Наконец-то! Хорошо, что уже едет, не опоздать бы. Надевай шляпу, садись. Да побыстрей. А ты, Маноле,— обратился он к камердинеру,— почему не соизволил разбудить меня рано утром, как я приказывал? В другой раз я рассержусь, так и знай. Ты готов, Василе? Собака сядет возле меня.

— Она свое место знает,— отвечал Василе с запяток.— Сидит рядом с тобой, словно человек.

— Ну, едем,— крикнул молодой барин кучеру.— Чего стоишь? Садись и держи ружье. Едем в сторону Мэкэрештов! Правда, Василе?

— Так, так, батюшка, как приказываешь. А ружье-то давай мне сюда, я еще им полюбуюсь.

Беседуя таким образом, они двинулись в путь, а господин Маноле, прорвав кольцо собравшихся слуг, пошел, ни на кого не глядя, к веранде, допивать свой кофе с молоком.

Молодой барин сам правил воронами. Простая радость бытия переполняла его, он дрожащими ноздрями вдыхал холодный утренний воздух. Колеса кабриолета приглушенно стучали по дорожке парка. На лаковой упряжи и серебряных монограммах заиграли вскорости солнечные зайчики. Резкий стук копыт разбудил главную улицу городка. Сонные евреи отпирали лабазы и выдвигали свои прилавки. Они снимали шапки и подобострастно кланялись молодому барину. Охотники промчались по городку среди прижавшихся друг к другу хибарок.

Оставив по левую сторону село Бучумены, они поехали по проселочной дороге к еле различным вдали вершинам холмов, покрытых перелесками и подернутых дымкой тумана. Очутившись в долине за селом, юноша удивленно залюбовался Серетом: покрытые белесой мглой излучины выглядели таинственно, сказочно. Он испытывал такое чувство, будто видит их впервые.

— Василе,— обратился он к охотнику,— когда мы туда поедем?

— Куда, барин?

— В серетские заводи.

— Когда прикажешь, батюшка. Только лучше попозже, к осени, когда дикие утки собираются в стаи. Там есть у меня хорошие укромные местечки — ни одна душа про них не знает.

Кости молчал, взволнованный словами охотника. Потом он попытался восстановить в памяти места, куда они направлялись.

— Сдается мне, что и в прошлом году мы бывали в Мэкэрештах, Василе?

— Должно, так, батюшка... Красиво там по-над старыми лесами. Мы и с боярином в молодости туда хаживали.

Кости не сомневался, что бывал уже в этих местах. Однако он все не узнавал их. Охваченный каким-то смутным недовольством, он поднимался на невысокие холмы и спускался в овраги, стараясь воскресить в памяти знакомые картины и звуки. Час спустя кони остановились посреди небольшой лужайки. Кости забыл эту лужайку, но тотчас узнал ее, волнуемый все тем же странным ощущением первого утра молодости.

— Это Родниковая лужайка,— пояснил охотник, когда они вышли из кабриолета.

Кости ничего не ответил. Он повернулся лицом к солнцу и полям, на которых блестело уходящее вдаль жнивье.

— А мне куда, барин? — обратился к нему сидевший в кабриолете цыганенок.

Молодой барин вопрошающе взглянул на Василе.

— Поезжай к леснику Георгиану, на тот конец лужайки,— сказал охотник.— Распряги лошадей да скажи его жене, чтоб свернула шею какому-нибудь курчонку. Дескать, барин пожалует к обеду. А мы тем временем

зайдем в жнивье, а затем и в кукурузные поля хуторян. Потом придем на часок отдохнуть.

И эти слова, и окружающие виды, и утреннее августовское солнце — все вызывало у молодого охотника чувство глубокого наслаждения, которое он ощущал всем своим существом, словно дуновение ветерка.

Собака усердно рыскала по кустам. Кости подозвал ее и проверил пистоны; они зашагали по жнивью, а кабриолет покатиł по извилистому проселку к лесной сторожке.

При первом же выстреле крестьянин подивился ловкости барина и его меткости. Кости почувствовал себя счастливым и уверенным. Стоп неумоимо рыскал, как настоящий английский пойнтер. Он делал внезапно стойку, останавливался как вкопанный, с вытянутым хвостом и чуть повернутой в сторону мордой, и крестьянин каждый раз смотрел на него, как на заморское чудо. Когда раздавался выстрел и перепелка падала, собака приносила ее, деликатно держа за одно крыло.

— Я думаю, батюшка,— промолвил Василе,— что собак этих учат в школах. Ведь вот знаю ее с прошлого года, а все никак не надивлюсь.

Сегодня все должно было доставлять юноше удовольствие. Обрадованный удивленными возгласами крестьянина, он протянул ему пачку табаку. Василе принял ее с чуть приметной хитрой усмешкой.

У пышного тернового куста на краю жнивья Стоп неожиданно пополз. Кости хорошо понимал этот знак: собака учуяла куропаток. Однако при звуке их неожиданного, стремительного полета юноша вздрогнул, глаза его затуманились. Он дважды промахнулся.

— Стреляй! — азартно крикнул он крестьянину.

Василе долго и старательно целился, выстрелил и... тоже промахнулся. Кости сразу успокоился: теперь он легко примирился со своей неудачей. Собака настороженно замерла между ними. Охотники напряженно следили за волнообразным полетом птиц, грациозно опускавшихся в отдалении у другой гряды кустов.

— Наши они теперь, батюшка,— сказал с улыбкой Василе.— Идем за ними.

День был безветренный, и к полудню солнце уже начало изрядно припекать. Охотники вышли из кукурузы и повернули к Родниковой лужайке.

К лесной сторожке они пришли как раз в то время, когда жена Георгиана отходила от костра с подрумяненным на вертеле цыпленком. Это была полная высокая женщина с раскрасневшимся от жара лицом. При всей ее дородности голос у нее был по-девичьи пискливый. Как всегда, услышав этот голос, Кости не мог удержаться от смеха.

— Готов обед? Готов?

— Готов, батюшка, а то как же: и борщ и жаркое. Хозяин-то мой сторожил вас и заметил, когда вы сюда шли. Теперь он мамалыгу помешивает в избе... Пожалуйста в тень, под грушу.

В тени на овсяных снопах были разложены подстилки. У подножья старой груши в бочонке слегка бродил, как и прежде, грушевый квас.

Лесник Георгиан вынес из дому на деревянном подносе мамалыжку, за ним следовала жена с горшком борща. Кости пододвинулся к низкому столику на трех ножках, а Василе тем временем раскладывал в стороне ружья и ягдташи, наполненные дичью.

Лесник низко поклонился боярину.

— Целуем ручки, батюшка.

— Здравствуй, дед Георгиан. Как поживаешь?

— Да как! Стареем, твоя милость. Сына, значит, женил, теперь вдвоем с бабкой век коротаем. Одно мне осталось: лысину растить.

Женщина с притворным смехом наливала борщ в большую миску.

Стоп внезапно зарычал, повернулся к дороге и, тьякнув два раза, успокоился. Из-за угла с визгом и шумом выскочило несколько поджарых щенков. Со стороны Родников приближалась подвода, запряженная каурым тощим и длинноногим конем. Мальчонка, одетый в рваный, чересчур просторный сюртук, непрерывно тряс вожжами. Рядом с ним сидела опрятно одетая стройная женщина в зеленом платке.

Молодой барин вскочил с места и принялся ее разглядывать. Женщина заметила его лишь в последнее мгновение и поспешно отвернулась. Телега мелькнула за кустами и исчезла; Кости подождал, пока отошла лесничиха, затем равнодушно спросил, нагибаясь над дымящейся миской:

— Что это за девушка?

Василе не знал.

— Да она вовсе не девка,— вмешался лесник.— Это здешняя бабенка.

Лесник, повидимому, больше ничего не собирался добавить, хотя молодой барин ждал пояснений. Кости ел, прислушиваясь к тарыхтенью скрывшейся в лесу подводы. Тело его отдыхало, охваченное какой-то теплой, приятной усталостью. Пообедав, он выпил кружку квасу и растянулся на снопах лицом вверх, подложив руки под голову и устремив в небо задумчивый взор. Охотник крутил толстую цыгарку из хорошего боярского табака. Чтоб положить конец молчанию, он отважился задать вопрос:

— Так вот сидим мы, батюшка, иной раз и думаем: что подельывает твоя милость в тех заграницах, где изволишь бывать?

— Я учился в большой школе,— ответил Кости.

— Вот как!

— Да. И называется она Луи-ле-Гран.

— Гм. Это, почитай что в самом французском государстве?

— Да. В Париже.

— Что ж, стало быть, так надо.

Василе принялся копать в кимире, и немало времени прошло, пока он высек огонь и задымился жгут. Когда он, наконец, затянулся и оборотился к Кости, раздумявшийся юноша спал, слегка похрапывая. Сидевший на завалинке лесник поманил охотника к себе. Василе осторожно встал и тихонько пробрался к Георгиану. Они вошли в полутемную избу, уселись на лавку, и лесник тоже скрутил себе цыгарку.

— Видел ты, Василе,— тихо заговорил он,— ту бабенку, что проехала в телеге лесничего?

— Видел. Ты сказывал, что она здешняя. А барчонок глядел ей вслед, и глаза у него так и сверкали.

— Вот как. Значит, и ты это приметил. Ну, попадем мы с тобой, Василе, в беду.

— Почему так, дядя Георгиан?

— Не знаешь ты ничего. Да и откуда тебе знать! А ведь девку-то привез к Францу лесничему сам господин Филипп. Устроил он ее в охотничьем доме. Приказал там держать и никого к ней не допускать. И чтоб никто про то не ведал. Никто чтобы и словом не обмолвился.

— Вот оно что! Прodelки старого барина, надо полагать. Не пришел ему, значит, срок угомониться.

— Не пришел, вестимо. Видел я его третьего дня в двуколке, одного. О ту пору лесничиха к сестре отправилась, к жене машиниста. А немец притворился, будто занят в лесу допоздна. Говорят, вчера боярин наведывался еще раз, тем же порядком.

— Боярин?

— Боярин.

— Гм, вот те на! А что будет, дядя Георгиан, ежели барчонок начнет ее искать и найдет?

— А я об чем говорю? Затем тебя и звал. Ты, значит, иди и занимайся с ним своими делами, а я сбегаю засветло к немцу. А то долго ли до беды, не сносить нам тогда головушек.

— Это я понял, дядя Георгиан. Да уж коли тут такая тайна, невдомек мне, чего ради таскается она по дорогам среди бела дня в телеге лесничего?

— Разве ты не знаешь, братец, что с бабой сам черт не сладит? Купаться захотелось, а то еще стекляшек каких купить в городе. Правда, до сегодняшнего дня я ее и в лицо не видал. Да и знать бы ничего не знал, кабы не бабьи сплетни. От своей-то и прознал я, что тут великая тайна.

Когда они вышли из избы, Кости лежал с открытыми глазами на своем ложе из снопов.

* * *

Уже вечерело, когда кабриолет стал приближаться к городку. Сегодня было чем гордиться. И Кости в который уже раз обсуждал с охотником свои меткие выстрелы: пусть и кучер о них знает и дивится. Всем был он доволен: и собакой и ружьем; глаза его горели. А Василе все рылся в кимире и не находил, чего искал.

— Скажи на милость, куда мог пропасть табак? Кончился, что ли?

— Ничего, дома получишь еще пачку,— пообещал молодой барин. И тут же вспомнил, что и прошлым летом, возвращаясь с охоты, Василе пустил в ход ту же самую уловку, чтоб еще получить боярского табаку. Он засмеялся. Как и все происходившее за день, это открытие тоже доставило ему удовольствие.

Недалеко от городка на повороте у боярского родника они нагнали коляску. Поровнявшись с нею, Кости остановил лошадей и выскочил из кабриолета, бросив вожжи сидевшим сзади.

Стоп выпрыгнул за ним следом. По краю шоссе, впереди пустой коляски, медленно шагала женщина. Дымчатая вуаль окутывала ее седые волосы. Она была одета в простое, но изящное черное платье, в правой руке держала тросточку из черного дерева.

Женщина повернула голову, и заходящее солнце осветило ее широкую белозубую улыбку. Юноша подскочил к ней, схватил обе ее руки, поцеловал их и, задержав на мгновенье, полюбовался ее тонкими, длинными пальцами.

— Какие у тебя красивые руки, тетушка! — восхищенно сказал он по-французски.

— Тебя отец искал, Кости, — промолвила женщина низким грудным голосом, казавшимся странным при ее изяществе. — Ты не говорил с ним вчера о своих планах на сегодня...

— А разве это было необходимо? Я ведь тебе сказал...

— Правда. Да ничего тут особенного и нет. Просто на него напала сентиментальность. Он хотел побеседовать с тобой, попросить совета. Вспомнил, что ты уже взрослый. Ведь тебя и узнать стало трудно — так ты вырос.

— Что ж, побеседуем сегодня. Я готов дать ему любой совет, — отвечал, смеясь, Кости.

— Не нужно. Я думаю, он уже забыл...

Она улыбнулась и слегка оперлась на руку племянника.

У источника дети горожан с ведрами и кружками дожидались своей очереди. Они притихли, а потом и совсем замолкли, когда мимо прошли сестра и сын боярина. На окраине, около шлагбаума, боярыня остановилась. Кучер в ливрее торжественно выпрямился, коснулся кнутом коней и поднял вожжи на уровень груди.

— Целую ручку, госпожа Матильда, — раздался ласковый и дружелюбный голос.

Госпожа Матильда, уже собиравшаяся сесть в коляску, обернулась при этих словах.

— Это ты, Аглая?

— Я, С Лауренцией и вашей крестницей.

— С Уточкой? Вот как? Подойди ко мне, Утенок.

Госпожа Матильда изъяснялась по-румынски с еле

уловимым иностранным акцентом и, слегка грассируя, нежно выговаривала «р».

Женщина, которую она назвала Аглаей, торопливо подошла вместе с дочерьми к боярской ручке. Госпожа Матильда ласково потрепала девушек по щечкам.

— Идут вам белые платья. Мне нравится, Аглая, как ты их одеваешь. А что делает твой мальчик?—И, не дожидаясь ответа Аглаи, госпожа Матильда схватила за ухо свою крестницу.— Ну как, Уточка, теперь ты можешь прочитать французскую книгу?

— Могу,— шепнула девушка, краснея, и стала как будто еще меньше и приземистой.

Лауренция, наоборот, была стройная, ростом пошла в мать. Зная, что Кости разглядывает ее, она упорно смотрела в сторону, где только что скрылось солнце, и улыбалась едва уловимой, смущенной улыбкой.

— Вы гуляете или с визитом? — несколько иронически осведомилась госпожа Матильда.

— В погожие дни мы выходим встречать Филиппа,— ответила своим покорным и ласковым голосом жена управителя.

— А, хорошо, это мне нравится,— сказала в заключение госпожа Матильда, протягивая для трех поцелуев белую ручку.— Пусть девушки навещают меня.

Она легко вскочила в экипаж и подобрала оборки, освобождая место для Кости. Кучер пустил лошадей по главной улице мелкой рысью.

— Через полчаса вернется и наш отец,— обратилась управительша к дочерям голосом уже более решительным и уверенным.— Пройдемся еще разок до примэрии.

Мерцали последние отблески заката. Все трое зашагали обратно в город вдоль улицы, где стояла примэрия. Девушки шли впереди, мать следовала сзади, то и дело отвечая на приветствия легким движением подбородка.

— Добрый вечер, мадам Александреску,— сказала она, останавливаясь возле калитки дома с верандой.

— Добрый вечер, дорогая мадам Накович,— отвечала жена примаря.— Решили пройтись?

— Жду, как всегда, своего Филиппа. Я вот только что здесь проходила, а вы даже не изволили выйти на веранду. Да и теперь далековонько стоите. Подойдите-ка поближе. Сейчас у шлагбаума мы повстречали госпожу Матильду. Потолковали с ней! Знаете, о том о сем... Девочки, прогу-

ляйтесь немножко, только недалеко. Ну-с, а теперь поговорим, только ради бога тише. Подойдите поближе. Со вчерашнего дня, дорогая мадам Александреску, стало известно, где она...

— Кто? — шепнула мадам Александреску.

— Как это кто? Дочка мельника Русу из Коту-Епий.

— Ах, вот оно что! Ой, как интересно!..

— Она у Франца, в охотничьем доме. Как увидите боярина в двуколке, запряженной вороним, так и знайте: к ней катит.

— Вот еще! И что ему в этой глупой крестьянке?

— Это у него старая привычка. И раньше за ним такие грешки водились и еще будут. Где уж ему разбирать, такому несуразному, госпожа ли, крестьянка ли? Мой Филипп говорит, что он этим занимался и при боярыне. Да бог с ним. Нам-то что за дело до его глупостей? Тут другое посмешнее. Они пожелали купаться.

— Кто?

— Дочь Русу. А уж коли захотелось, что оставалось делать бабе Франца? Запрягли они кобылу и покатали к Серету. Разделись там, и немка Паулина вытаскивает две красные рубахи. Одну на себя натянула, другую дает Анице — так ее зовут. А та ни в какую: холодно ей, видите ли, в мокрой рубашке. Плюхается в чем мать родила в Серет и плывет прямо к омуту. Лесничиха так и обомлела: думала, девка топиться собралась. Ну и смеялась же я, когда про это узнала! Да и какая может быть деликатность у дочери мельника?

— Мама, мама, отец едет, — кричали девушки, торопливо подходя в вечерних сумерках.

Жена примаря продолжала смеяться одна у калитки, а госпожа Аглая двинулась навстречу управителю.

— Проголодался и устал, как собака, — басисто прогудел господин Филипп, слезая с коня и беря его под уздцы. — Сегодня я больше в усадьбу не еду. Увидимся с боярином завтра, тогда и поговорим обо всем. Но как я ни устал, а после ужина все-таки немножко послушаю, как наши барышни играют на фортепиано.

Он поцеловал девушек в лоб, и все заспешили к расположенному позади барской усадьбы дому с верандой, обвитой диким виноградом. В комнатах светились огни. Приятный запах жареного мяса несся из распахнутых дверей. Втягивая широко раздувающимися ноздрями

благовонный аромат, Филипп впустил иноходца во двор и, как был, весь в пыли, направился в чистую столовую, схватил со середины стола кувшин и налил себе большой стакан красного вина. Опрокинув его, он повернулся к двери, в которую вступала кухарка в клубках пара от дымящихся блюд.

Госпожа Аглая и девушки больше делали вид, что кушают. Сын Адам, только что вышедший из своей кельи, сидел на углу стола, молчаливо и сосредоточенно съедая все, что ему накладывала в тарелку мать. То был смуглый, задумчивый человечек лет четырнадцати, взъерошенный, с высоким лбом.

— Наш сынок непременно будет философом,— заметил господин Филипп, жадно глотая куски и заливая соусом одежду.— Много прочитал сегодня книг?

— Оставь ребенка в покое,— заступилась госпожа Аглая, и в ее голосе звучала нежная любовь к сыну.— Мне доставляет удовольствие видеть его за книгой.

— Что лишку — то вредно,— объявил господин Филипп с полным ртом.

Мальчик молчал.

Осилив суп, курицу с абрикосами, нашпигованное чесноком жаркое, пирог с творогом, господин Филипп, наконец, удовлетворенно вздохнул и откинулся на спинку стула. Потом «для ровного счета» выпил еще стакан красного вина и, блаженствуя, подумал о том, как хорошо он скоротает вечер в гостинной, где его ждет большая чашка кофе со сливками, толстая сигара и музицирование дочерей.

— Вот так!..— проговорил он с тяжким вздохом, словно пуды ворочал языком.— Теперь послушаем концерт. А боярин-то проведаль, что я купил девочкам фортепиано. Обрадовался. «Музыка, говорит, радует душу».

— И кто тебя тянул за язык? — недовольно прервала его госпожа Аглая.

— Как? Что? Да я же ничего ему не говорил. Он сам проведаль.

— Уж, верно, какой-нибудь доброжелатель нашелся.

— Какой такой доброжелатель? Что я, не имею права из своего достатка фортепиано купить дочерям?

Мальчик поднял глаза и наморщил лоб, как всегда, когда отец говорил слишком громко. Направляясь мимо него в гостиную, господин Филипп погладил его по мяг-

кому бобрику волос. Затем в ожидании концерта развалился на софе. Госпожа Аглая внесла вторую лампу. Девушки, вытянувшись на высоких табуретках, шумно заиграли в четыре руки.

— А где мальчик? — спросил господин Филипп, зевая.

Но тот уже был опять в своей берлоге. Госпожа Аглая подала мужу знак молчать.

После первой вещицы Лауренция заиграла одна выученную в пансионе сонатину, показавшуюся, как и в прежние вечера, господину Филиппу несколько странной. Окончив ее, девушка выбрала другую тетрадь; полилась торжественно-строгая мелодия.

— Вот слушаю я эти французские штучки, — не вытерпел управляющий, — и, сказать по правде, не нравятся они мне.

— Это Бах, папа, классик, — тонким, но решительным голоском заявила Лауренция.

— Возможно. Отчего ж все-таки не учат вас там и нашим, настоящим песням?

— Да не докучай ты им, — резко заметила госпожа Аглая.

— Не докучаю, милая. Но могу же и я иметь свои вкусы. Столько денег заплатил за этот ящик — так хоть бы одну настоящую песню услышать.

Лауренция встала из-за фортепиано, и красивое лицо ее внезапно исказилось негодованием.

— А я кое-что умею играть по слуху! — весело воскликнула Уточка, садясь за фортепиано. — У Чобану и Турку выучилась, когда они играли папе в день ангела.

— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, — протянул управитель.

После первых же зажигательных аккордов брыульца¹ он запрыгал на софе.

— Вот это да! — в восторге закричал он. — Это я понимаю! Молодец, Мэриоара. Твоя песня дорогого стоит. Что там еще? — неожиданно вскинулся он и угрожающе повернулся к двери.

У дверей стояла босая кухарка, широко расставив руки, выступавшие из засученных рукавов.

Звуки фортепиано замерли.

— Господин Чилипп, — хрипло проговорила женщина, часто моргая. — Господин Чилипп...

¹ Веселый народный танец.

— Что такое? Что тебе здесь нужно? — строго спросил управитель. — Опять деньги понадобились для господина Берку?

— Нет, — решительно ответила кухарка, сердито отворачиваясь. — Пришел господин Франц.

— Ну и что из того, что пришел господин Франц! — передразнил ее управитель. — Что ему надобно, твоему господину Францу?

— А я почему знаю? Непременно желает поговорить с вами.

С этими словами она повернулась и ушла.

Госпожа Аглая, несмотря на присутствие девушек, сочла необходимым сделать замечание:

— Не понимаю тебя, Филипп: передразниваешь, говоришь с ней так, словно ты ей не хозяин.

— Ну и ладно, — медленно и равнодушно ответил муж. — Пойду-ка лучше узнаю, что нужно немцу. Что-то уж там, видно, стряслось...

Госпожа Аглая насторожилась.

— Что случилось?

— Я-то почему знаю? Посмотрим. Что-нибудь да случилось, если он заявляется в поздний час. Эх, как подумаешь иногда: труден и горек боярский хлеб.

Госпожа Аглая попыталась взглядом напомнить ему о присутствии девочек. Но господин Филипп при всей своей тучности так проворно шагнул к двери, будто его огрели арапником; через мгновение голос его уже звучал в передней.

— Ты здесь, Франц? Пройди в кабинет.

Госпожа Аглая глубоко вздохнула и опустилась на прежнее место. Между бровей залегла у нее глубокая складка. Девочки, склонив друг к другу головки, весело щебетали под лампой, перелистывая ноты. Когда полчаса спустя управитель вернулся, госпожа Аглая была одна.

— Ну, что? — шепнула она настороженно.

— Ничего особенного. Расскажу, когда вернусь. Сейчас я должен срочно послать человека за Василе, охотником господина Кости, а сам пойду в усадьбу: нужно поговорить с боярином.

Госпожа Аглая неслышными шагами вышла на балкон и увидела во мраке удалявшиеся по направлению к усадьбе черные силуэты лесничего и мужа.

Боярский дворец, как всегда, был ярко освещен. Слуги подавали ужин. В просторной, отделанной дубом столовой под громадной висячей люстрой ужинали, весело переговариваясь, Филоти, госпожа Матильда и Кости. Дворецкий, в черном сюртуке и белых перчатках, принимал у открытой двери длинные подносы и торжественно доставлял их к столу.

На лице Александру Филоти блуждала его обычная усталая, отсутствующая улыбка. Юноша с увлечением рассказывал о приключениях дня.

— Ты доставил мне особое удовольствие тем, что принес тетеревов,— медленно заговорил Филоти по-французски.

— А почему, папа?

— Потому, что хороший повар может изготовить из этих птиц очаровательные вещи. Я позову завтра Луку, дам ему рецепт и научу его.

— Александру,— возразила, смеясь, госпожа Матильда,— мне кажется, эта роль пристала больше мне.

— Да, да,— проговорил в нос боярин, словно речь шла о другом.

Дворецкий, убирая величественным жестом тарелку, стоявшую перед госпожой Матильдой, предложил ей рыбу под майонезом.

— Я не буду,— сказал Филоти, отодвигая тарелку.— А что там у тебя, Панаите,— прибавил он, следя за тарелкой.— Что за рыба?

— Усач, сударь,— коротко ответил дворецкий.— Сегодня выловили в Серете.

— В таком случае я возьму.

Другим таким же красивым движением Панаите подставлял рыбу под самую бороду боярина. Обслужив затем молодого барина, он отставил блюдо в сторону и исполненным достоинства движением разлил вино в хрустальные бокалы.

— Кости,— как-то нерешительно начал Филоти.— Я хотел сегодня поговорить с тобой.

— Да, папа, мне tante Mathilde говорила.

— Так вот. Ты здесь три дня, а у нас не нашлось и получаса для дружеской беседы. Ты уже бакалавр, настоящий мужчина. И я должен познакомить тебя с нашими делами. Мы ведь долго жили вдали друг от друга.

— Александру,— заметила с улыбкой госпожа Матильда,— сегодня у тебя второй приступ сентиментальности. Это меня начинает беспокоить. В чем дело? Разве мало вы встречались с мальчиком на каникулах и мало виделись в Париже?

— Нет, нет, дорогая сестра, тогда он был еще ребенок. Теперь он мужчина, стало быть мне есть от чего быть грустным. У меня большие затруднения,— со вздохом воскликнул Филоти, откидываясь на спинку стула. Потом улыбнулся сыну невидящими глазами.

После того как было съедено мороженое, Панаите почтительно и таинственно склонился над плечом боярина.

— Ваша милость, не прикажете ли подать кофе в кабинет? С полчаса, как вас дожидается господин Филипп.

— Что?

— Господин Филипп дожидается вас, и лесничий с ним пришел. Говорит — срочное дело.

— А где они? — вздрогнул Филоти.— Почему ты мне раньше не сказал? Я скоро вернусь,— добавил он, целуя мимоходом руку госпожи Матильды.

— Найдешь нас у меня, Александру,— сказала ему сестра.

В небольшом салоне госпожи Матильды, уставленном хрупкой мебелью рококо,— в этой обители детства, обители прошлого,— Кости уютно устроился на диванчике, а хозяйка уселась в кресле и придвинула к себе столик и табуретку. Осторожно приладив золотые очки, она открыла начатую книгу.

— Ты попрежнему верна Ламартину, тетушка?

Она погрозила ему пальцем и улыбнулась, оторвав на мгновенье глаза от строк. Горничная тетушки, невысокая цыганка («тонкая, словно былинка»,— отметил про себя Кости), бесшумно внесла чашечки с кофе. Затем торопливо вошел Филоти; грудь его вздымалась чаще обычного.

— Твой кофе стынет, Александру,— сказала госпожа Матильда.

Он бросил мимолетный, насмешливый взгляд в сторону сына, молча подсел к своей чашечке и закурил папиросу.

— Все, папа? Ничего плохого? — спросил Кости.

— Ничего особенного,— равнодушно отозвался Филоти.

30 АВГУСТА БЫЛ ДЕНЬ АНГЕЛА БОЯРИНА
АЛЕКСАНДРУ ФИЛОТИ БУЧУМАНУ

Тридцатого августа во дворе усадьбы собралось великое множество народу. По давно заведенному обычаю в день ангела боярина в усадьбу должны были являться все служащие и старосты с людьми. Хуторяне принесли дары: каракулевых ягнят и хохлатых кур. Служащие, как и полагалось, пришли с пустыми руками, чисто одетые, в кимирах и сумках, на которых так и сверкали медные бляхи. Дожидаясь боярина, чтобы принести ему свои поздравления и пожелания, они толпились кучками, степенно беседуя или перекидываясь шутками. Взрывы смеха, мгновенно приглушенные шиканьем, вспыхивали чаще всего в группе, окружавшей великана в высокой бараньей шапке с балтагом в руках. Ребятишки, одетые в точности как родители, почтительно разглядывали издали этого рослого человека. И особенно Тодирицэ, племянник Андроне Бребу, был до крайности поражен тем, что он тут слышал.

— Подите-ка сюда, ребята,— созывал товарищей мальчуган постарше, стараясь говорить басом,— вы-то небось и не знаете, кто это такой?

— А кто он, батяня Глигоре? — отважился задать вопрос самый маленький и тут же, робея, спрятался за спину товарищей.

— Эге, братец мой, это Симион Олоеру! Он прежде был конокрадом, такого конокрада и нет больше на свете. У него есть разрыв-трава, и ничего он не боится. А теперь он боярский лесник в Кухоарском лесу.

Дети восхищенно взглянули в сторону Симиона, который в это время, лукаво подмигивая, рассказывал окружающим что-то занятное.

У открытого окна под старыми ветвями недавно отцветшей японской мимозы то и дело появлялось сухое бритое лицо Жана Кавалье, камердинера Филоти. Тогда люди умолкали и обращали к нему глаза. Длительный утренний туалет боярина казался всем им чудесным и необъяснимым.

— Камандинер этот — ни дать ни взять рыба,— сказал

Симион Олоеру, подмаргивая.— Все бегаёт к окну да глотает свежего воздуху.

— То господин Кавалер, француз,— вздохнул худой и смиренный скотник, кутаясь в зипун.— Мне бы его деньги... ой, ой!

— Так ты, Ифтим, заведи его как-нибудь ночью в овраг у Кукоары... со всеми его коробками, когда он соберётся обратно домой.

— Да кто его знает, дядя Симион, соберётся ли? Слышать, будто боярин дал ему земли и строит он себе на краю города домишко.

— И этот здесь остаётся...— произнес изменившимся голосом Олоеру и, сунув топорик подмышку, принялся искать в торбе трубку, табак и кресало.— А боярин, видать, замешкался,— прибавил он.

— А как же,— вздохнул Ифтим.— Пока встанет да пока его приберёт и оденет господин Кавалер. Потом, как раздаст золотые, идёт в храм господний, и служит там поп Некулай с монастырским игумном да молодой Рошканский поп,— за помин души родителей, значит, богу молятся. Ему-то сподручно и за службы платить и все прочее справлять. А что мне с моими покойниками делать? — захныкал он, проводя рукавом зипуна по редким и взъерошенным усам.

Олоеру презрительно оглядел его и ухмыльнулся, подыскивая в уме острое словечко. Андроне Бребу степенно сказал:

— А ты смирись, Ифтим, крепись духом и молись. Господь твою молитву услышит.

— Так-то так,— жалобно продолжал скотник.— Да, окромя молитв, есть и другое. Слушай, что я тебе скажу: вчера ночью привиделся мне батя во сне.— Тут Ифтим вздохнул и приумолк. Окружающие внимательно выжидали.— И будто вошел он в дверь, а за ним, понимаешь, идет такая черная большая собака. И говорит он мне: «Вот уж четырнадцать лет, как я вас оставил; одно время заботились обо мне, а теперь забыли, а мне холодно», говорит, и за душой у меня ничего нет». Проснулся я, и страх меня взял, дядя Андроне, и отправился утром к господину Чилиппу. Так, мол, и так, говорю, дай мне, господин Чилипп, денег на восемь хлебов, на два литра водки и на восемь свечей, хочу, дескать, на помин души усопшего отца отдать: чтобы там, где он находится, были

у него еда, и питье, и свет. А Чилипп ничего мне не дал. Ему что? Отругал меня — и в шею! А ночью опять мне бата привиделся и за ним бредет та черная собака.

Бребу слушал, сдвинув слегка брови. Олоеру задумчиво попыхивал трубкой. Мимо них сквозь гомонящую толпу пробирался, не поворачивая головы, еврей с седой бородой, с закрытым и глубоко запавшим, вытекшим левым глазом. Здоровый глаз был открыт только наполовину, но и с его помощью старик очень хорошо ориентировался, лавируя между группами людей. Семеня ногами, он поднялся по ведущим к балкону ступеням и встретил наверху управителя. Еврей остановился и улыбнулся так широко, что здоровый глаз его почти полностью скрылся в складках век. Он приветствовал господина Филиппа, подняв два пальца к черной войлочной шляпе.

— Повременил бы ты еще, господин Шапса, — осклабься, встретил его господин Филипп.

— А что, разве их милость гневается? — спросил Шапса, озабоченно взглянув на управителя.

— Ладно, ладно, пройдем в переднюю. Тебя немедленно вызовут.

Шапса собрался было войти, но тут же, униженно кланяясь, отодвинулся в сторону. На балкон выходил Кости. Люди во дворе, обнажив головы, встретили его дружелюбным хором голосов. Молодо и счастливо улыбаясь, Кости кивнул им, не замечая еврея.

— Почтительно приветствую вас, — шепнул Шапса.

Кости искоса, сверху вниз, взглянул на него и ответил только легким движением бровей. Еврей проскользнул в переднюю.

— Сейчас пожалует и боярин, — обратился Филипп к Кости. — Только поговорит с Шапсой и тут же выйдет.

— А, так это банкир и маклер отца? А я его совсем забыл, — улыбнулся Кости.

— Да... Впрочем, он порядочный и трудолюбивый человек, — продолжал, смеясь, управитель. — Кто знает? Возможно, когда-нибудь он понадобится и вам...

— Так уж, видно, суждено, — отвечал Кости. — Никогда мы не сможем обойтись без подобных людей.

— Да, — согласился Накович, несколько озадаченный словами юноши. — Не помню, рассказывал ли я вам, господин Кости, как начинал здесь Шапса.

— А как он начинал? Вы мне этого не говорили, —

рассеянно бросил юноша, следя за тем, что происходило во дворе.

— Начал он прямо-таки замечательно. Сами посудите. Появился Шапса в городе сразу же после войны, в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году. И была у него лавка, а в лавке три трубки, кусок каменной соли и бидон с керосином... А Клипич,— ходит сейчас такой цыган и попрошайничает,— был тогда коммунальным стражником. И так как господин Шапса не мог платить подати, то Клипич гонялся за ним с арапником по колючкам до самой примэрии. А потом Шапса бросил лавку, занялся другими делами и быстро оперился. Он всегда оказывал нам помощь при продаже урожая,— боярину нравится, как Шапса говорит, держится, как служит ему. А теперь у него много денег.

— У кого?

— У Шапсы. Только хитрит старый,— все жалуется, что денег, мол, нет, а берет он их, видите ли, у яских банкиров за проценты. Одним словом, умеет обдeldывать свои делишки.

— Мне кажется, отец просто не может без него обойтись.

Управитель улыбнулся.

— Да... уж таковы бояре.

Со стороны кухни стремглав примчался Стоп и принялся обнюхивать одежду хозяина, усердно виляя хвостом.

— Сегодня мы на охоту не едем,— сказал ему Кости, схватив собаку за ухо и теребя ее.— Ну, хватит! Послушайте, господин Накович,— возобновил он разговор,— здесь есть еще один интересный еврей; я беседовал с ним несколько раз.

— О да! Тот — философ, зовут его Фишел Блок. Сегодня попозже он тоже заявится сюда с делегацией, чтобы поздравить боярина. Фишел рассказывал мне, что вам нравится с ним беседовать. Он питает к вам большое уважение...

В двери передней показалась верхняя половина туловища камердинера Филоти.

— Monsieur Philippe? — произнес он тонким гнусавым голосом и тут же исчез.

Накович торопливо поправил галстук.

— Боярин зовет,— шепнул он погительно и вошел вслед за французом.

Двор оживился, люди зашевелились, готовясь к встрече.

Симеон Олоеру встряхнул головой, подмигнул, кивнув в сторону балкона, и, сохраняя на лице невозмутимое выражение, зашептал окружающим хуторянам очередную небылицу.

Кости пересек балкон и остановился в конце его, разглядывая простиравшийся до церкви парк, деревню и долину Серета. По одной из аллей прогуливалась госпожа Матильда с нераазлучной тросточкой в руках. На повороте она увидела Кости и ласково помахала ему рукой в черной перчатке.

Александр Филоти перешел в библиотеку, и Кавалье тотчас провел туда Шапсу. Еврей вступил в комнату, низко кланяясь; и, прежде чем взглянуть на боярина, он робко окинул полузакрытым глазом комнату, словно опасался западни. От Филоти пронзительно пахло духами.

— Принес? — коротко спросил боярин.

— Уж для вас, господин Алеку, я всегда найду, — отвечал Шапса, напевно выговаривая слова. — Прежде всего примите мои почтительные поздравления.

— Хорошо, хорошо, отвечай на вопрос.

— Принес, ваша милость. Позвольте мне только сказать, что дела наши день ото дня все хуже. Чтобы раздобыть нужные вам золотые, мне пришлось сесть в поезд и отправиться в Яссы. А там тоже мучения: ходи, говори, ищи, спрашивай. Здесь нет, там нет, а тут хоть и есть, да проценты высокие.

— Брось глупости, Шапса. Думаешь, досуг мне тебя слушать, — сказал, улыбаясь, Филоти. — Разве ты не видел, что мне предстоит? И это еще не все. Нынче день у меня тяжелый и длинный.

— Так оно и полагается столь большому и богатому боярину. Извольте...

Достав из-под сюртука мешочек с золотом, Шапса заботливо положил его на стол и отступил на два шага. Вошел Накович.

— Филипп, развяжи мешок и сосчитай золотые, — сказал Филоти. Потом, внезапно задумавшись, принялся расхаживать перед столом, заложив руки за спину.

Управитель поднес руку ко рту и кашлянул.

— Дозволь, государь, прежде пожелать тебе долгой жизни, — проговорил он своим густым голосом.

/

Филоти остановился и удивленно поднял глаза, потом улыбнулся:

— Спасибо, Филипп, спасибо. Узнай, пожалуйста, сколько принес Шапса, и веди счет.

Накович шагнул на цыпочках к столу и развязал мешочек.

— С пшеницей договорились? — продолжал Филоти и снова зашагал, будто и не ожидал ответа.

— Я думаю, договорились, ваша милость, — отвечал еврей. — Нашел я тут одних жидов, они берут ее и денежки на стол кладут: грузят пароход для Англии. Правда, не дотянули мы с ними пятьдесят монет с вагона, да в конце концов столкнемся. Я говорил о всей пшенице, ваша милость, и о здешней и о той, что в Мэрджиненах и Фунденах. Показывал им и пробы. Посмотрели они и согласились. А как погрузим здесь, сядем на поезд и отправимся в другие поместья. Только сказал я им, пшеницу у Язу-Кручий мы продаем готовой мукой. Там — мельница, ее тоже кормить надо. Уверен, что они купят и муку. Эти люди, ваша милость, не гонятся за мелочами. Они делают солидные дела и берут с англичан хорошие деньги. Так что, если прикажете сбавить цену, я сегодня же приведу их к господину Филиппу и сразу возьмем задаток.

— Что ж, договорись с Филиппом, — сказал Филоти. — Мне нужны деньги. Слушай, Филипп, насколько я понимаю, в этом году с именьями в Мэрджиненах и Фунденах получилось не совсем ладно. Большие хорошие именья... Сдается мне, что мои управители ведут себя нечестно.

— Что поделаешь, господин Алеку, — вздохнул Накович. — Только с такими людьми и приходится в наше время работать.

Шапса съежился и крепче зажмурил глаз.

— Ваша светлость, — заговорил он, — я все-таки не понимаю, зачем вам нужно столько служащих, иными словами, столько забот? Поместья, ничего не скажешь, хорошие, богатые, все это знают, но ведь они в Ботошанском уезде, а не под рукой? Здесь, где находитесь и вы и господин Филипп, здесь дело иное, здесь при хозяйском глазе и мука другая мелется. Я уже просил вас: извольте только приказать, слово молвите. Подыщу вам таких арендаторов, что дадут хорошую цену. Не будет у вас никаких хлопот. Получайте себе положенные деньги в день святого

Георге да в день святого Думитру, а убытки пусть арендаторы терпят — зачем же вам деньги терять.

— Я думаю, Шапса прав,— проговорил Филоти, останавливаясь и обращаясь к висевшему над столом портрету.— Ты кончил, Филипп? Тогда сделаем маленький расчет и выйдем, уже поздно. Слушай, Шапса,— продолжал он, понизив голос, и, встав перед евреем, поглядел ему прямо в лицо.— Еще об одном хочу с тобой поговорить. Придется тебе отправиться в Яссы.

— Хорошо, ваша милость. Ради вас я готов ехать куда угодно. Какое-нибудь дело?

— Слушай. Ты поедешь в Яссы. Прежде всего мне там нужна квартира в три-четыре комнаты.

Шапса повернулся ухом к боярину, жадно внимая его словам и неотрывно глядя себе под ноги.

— Можно найти,— негромко отвечал он.

— Знаю. Но квартира должна принадлежать немке-вдове.

— Немке-вдове? Почему обязательно немке, ваша милость? А если француженке?

Филоти развеселился.

— Хорошо, пусть будет француженка. Ты только найди ее.

— Для вас найдется. Я разыщу учительницу, немку либо француженку, и вы останетесь довольны. Я всегда стараюсь, чтоб вы были мной довольны.

— Шапса, ты умный еврей,— заключил, смеясь, Филоти.

Филипп Накович равнодушно ждал с видом ничего не понимающего человека.

* * *

К десяти часам они вышли на балкон, и Кости встал рядом с отцом. Толпа крестьян во дворе заволновалась. Люди придвинулись к балкону и, обнажив головы, загомонили:

— Дай тебе бог здоровья, батюшка, и долгой жизни.

— Дай вам тоже бог здоровья, добрые люди,— отвечал Филоти, застегивая черный сюртук и бросая рассеянный взгляд на толпу.— Благодарю вас за подарки. Давайте их сюда.

Спустившись по ступенькам, он коснулся первой ярочки, а управитель положил в руку дарителя золотую

монету. Подошли и другие; слуги относили ярк в загон, а курочек в курятник. Некоторые хуторяне, отойдя в сторону, склонялись над новенькими золотыми и разглядывали их. Затем выстроились служащие и получили наполеоны прямо из рук боярина.

— Все они красивые и крепкие люди,— обратился Филоти к сыну по-французски.— Я их очень люблю. Лица некоторых напоминают мне мое детство.

Голос отца взволновал Кости. Обряд этот — отзвук иных времен — показался ему исполненным поэзии.

Закончив обход, боярин оглянулся и заметил камердинера, с любопытством разглядывавшего эту сцену с балкона. Он улыбнулся и вспомнил, что пора ехать в церковь.

— Jean!

— Monsieur?

— Будь добр, прикажи Димаки подать купе.

— Папа,— торопливо вмешался Кости,— tante Mathilde прошла в церковь через калитку парка.

— Да? Ну, тем лучше. Это и проще и приятней. Жан, не нужно купе. Потрудись сказать, чтобы распрягли!

— Для гостей,— пояснил вполголоса управитель,— я послал экипажи на станцию.

— Великолепно. Великолепно. Пойдем, Кости, в церковь.

— И чего они так шибко лопочут? — удивленно спросил скотник Ифтим.— По-французски, должно. Слыхать, наш барин на всех языках объясняется. Как только важное дело, так они по-иностранному начинают говорить. А мы что знаем?

— А ты поезжай, брат, в Париж,— отвечал Олоеру.— Глядишь, французом воротишься. Сбреешь усы и бороду,— ни дать ни взять господин Кавалер.

— Сохрани меня господь,— с ужасом проговорил скотник и перекрестился.

Едва Филоти и Кости вступили на посыпанные песком аллеи парка, их окутала тишина. Они медленно шли рядом, отец и сын, и улыбались друг другу, испытывая одинаковые чувства при мысли о тенях далекого прошлого. Детство обоих прошумело под сенью этого старого величественного парка. Филоти остановился и огляделся. Они были одни. Тогда он обнял Кости и поцеловал его в лоб.

— Не удивляйся, Кости,— прошептал он устало.— Выйдя отсюда, я уже больше не знал, что такое счастье.

Слезы повисли на ресницах юноши. Он горячо ответил на ласку отца. Затем, не глядя друг на друга, они направились к калитке, ведущей в церковь.

Управитель и толпа людей тем временем быстро шли туда окольным путем через город и деревню. Собравшиеся в церкви торопливо раздались, прижимаясь к стенам, и бояре прошли вперед к тому месту, где находилась госпожа Матильда.

Служба уже началась. Пахло восковыми свечами и потом. Заняв свое место, Филоти погрузился в мысли, словно в сон, ничего не замечая вокруг. Кости внимательно, будто в первый раз, слушал перечень поминаемых бояр и боярынь, и теплый взгляд его черных глаз встретился с печальным взором госпожи Матильды. Тут же, среди молящихся, он заметил чистый, тонкий профиль Лауренции. Она, очевидно, смотрела на него давно и ждала, когда он ее заметит. Он еле приметно кивнул ей, опустив ресницы,— она покраснела и повернулась к сестре, не видимой для юноши за столпившимися прихожанами.

По окончании службы на паперти бояр встречали коммунальные и государственные служащие. Был там и господин Якобаке со всем коммунальным советом. Горожане занимали первый ряд, тулупы стояли несколько поодаль. Помощник префекта, недавно прибывший в город, первым подошел к Филоти и церемонно представился. Он недавно окончил юридический факультет. Звали его Хараламб Григореску.

— Ваш приезд меня радует,— дружелюбно обратился к нему Филоти,— я давно прошу у бухарестских господ молодого человека с серьезной подготовкой. Вспомнили, наконец, обо мне.

— Я весь к вашим услугам,— отвечал молодой помощник префекта.

Филоти удивленно посмотрел на него, вяло улыбнулся и повернулся к коммунальному совету.

Примарь ждал этой минуты, стоя по-военному, навытяжку. Он глухо кашлянул и начал речь, к которой госпожа Матильда и Кости отнеслись со всей серьезностью и лишь изредка переглядывались.

— В этот торжественный день,— говорил господин Якобаке, и толпа слушала его, исполненная восхищения и приязни,— каковой день мы всегда ожидаем с нашим почтительнейшим уважением...

Филоти раздумывал о вещах весьма далеких, касающихся приказа, отданного Шапсе.

Крестьянам в речи господина Якобаке нравились больше всего боярские слова, которые они толковали, как им заблагорассудится. Нравились им и движения его и даже его ораторские длинноты. Женщины вздыхали и охали, прикрывая рот ладонью.

Наступила пауза.

— Господа,— сказал Филоти, нерешительно улыбаясь,— сделайте мне удовольствие, зайдите на минутку в усадьбу. Мы разопьем бутылку шампанского...

Чиновники поклонились. Бояре направились к парку. Тулупы надели шапки. Прежде чем пройти в открытую калитку, Филоти остановился и поглядел на управителя, который поспешно приблизился, чтобы что-то сообщить.

— Каков будет приказ, господин Алеку, относительно нового помощника префекта? — спросил Накович.

Филоти пожал плечами.

— Сделай, Филипп, как считаешь нужным. Дай ему дров, сена и земли, если он пожелает. Я хочу одного: чтоб он выполнял свой долг.

— Он хороший парень и будет меня слушаться,— заверил управитель.— Что тебе? — резко повернулся он к Андроне Бребу, который остановился в нескольких шагах от него с шапкой в руке.

— Да я бы словечко, не боле, если дозволит барин.

— Нашел время! Не видишь, барин занят?

— В чем дело, Филипп? Оставь его. Подойди ближе, братец. Ты мне как будто знаком. Я тебя знаю давно, а на днях и у моста на Серете видел. Вспомнил: ты Андроне?

— Так точно, батюшка, это я. А знал ты меня еще в молодости, когда хаживал с удочкой к Серету. Был я тогда мальчонкой резвым, а теперь я — как тот мост: окружили и бьют меня волны.

— Что случилось, Андроне. Говори. Деньги нужны?

— Нет, государь. Я человек мирный, маюсь по своей нужде и по своим делам. А вот пинают меня несправедливо стражники примэрии и боярские слуги.

— Как это пинают и почему?

— Да чтобы на работу выходил. Я, государь, не хожу на барщину. Не могу, да и, не во гнев будь сказано, не нуждаюсь.

— Ага, значит, ты человек с достатком. Очень хорошо, тебя больше не тронут. Я прикажу Филиппу оставить тебя в покое. Иди и занимайся своим делом...

Вступив в парк и закрыв за собой железную дверцу, Филоти на мгновение испытал чувство раздражения по поводу несправедливости, о которой только что узнал, и тех других беззакониях, о которых подозревал, а также по поводу предстоящего объяснения с управителем. Потом, словно по извилистой дорожке, перешел к другим мыслям и чувствам. Образ и имя Андроне остались позади в какой-то отдаленной тени.

Адроне вернулся к брату Георге и невестке, ожидавшим его вместе с Тодирицэ.

— Что он тебе сказал? — спросил Георге.

— Да что сказал? Поговорит, дескать, с управляющим, прикажет ему то да се. Смотрел на меня и не видел. Ему-то что? Отдает меня в руки управляющего и думает, что успокоил мое горе.

Невестка посмотрела с негодованием в сторону.

— Отчего же, деверь, ты ему не сказывал, что все это пошло от Якобаке? Что он велел застрелить твою свинью на сельском выгоне, чтоб ему сгореть, образине, пугалу вороньему. Если и боярин не выслушает и не сделает по справедливости, кому же тогда жаловаться?

— Есть законы, — спокойно проговорил Андроне. — Жаловаться в суд буду. Пойду к господину Георгиешу, аблакату.

Женщина удивленно и испуганно глянула на него.

— Деверь Андроне, так они же все одним миром мазаны. Не захочет боярин, кто против него пойдет?

— А я опять к боярину наведаюсь, сестрица Аника, — улыбаясь, стоял на своем Андроне.

— Уж этот мне боярин! Не видела я, что ли, как он глядел? Глаза тут, а мысли у черта на куличках. Господи, и кто вывел ему на дорогу эту побирушку? Пришлая, по воде приплывшая. Уж лучше бы она утонула. Так нет, выставили перед ним, а теперь сраму не оберешься. Словно уж и семя барское на свете перевелось и для господ остались одни крестьянки.

— Замолчи, слышь,— пробормотал муж,— не приведи бог, еще кто услышит.

— И пусть слышит. Не так оно, что ли? Али я вру?

— Так и я тоже правду говорю,— заметил, смеясь, Андроне.— И потому легко не сдамся; опять пойду к боярину и расскажу про свои горести. А ты пойдешь, сестрица, и расскажи про свои.

— Тебе все смешки на уме, братец Андроне...

Мужчины развеселились.

Разгневанная Аника, вскипев, рванула к себе мальчонку.

— Ребятенка не трожь, он не виноват,— мягко сказал Андроне.— Это наш грамотей. Пойдем, брат Тодирицэ, считаешь мне «Зодиак». Над боярами и судьями есть кое-кто и постарше, сестрица Аника. Господь все видит, он знает, что делает.

— Пока до бога дойдешь, святые загрызут,— пробормотала неугомонная женщина. Прикрыв рот платком, она отправилась вслед за мужчинами, что-то приговаривая и бормоча про себя.

После ухода чиновников, очастливленных честью и особенно бокалом боярского зелья, Филоти решил, что может позволить себе короткую передышку. Цыгане, дети освобожденных рабов¹, пришли передать свои поздравления и пожелания приятной для глаза живописной группой. В углу балкона расположились музыканты. Они были в ярких одеждах, где слишком широких, где чересчур узких, без пуговиц и испещренных разноцветными заплатами. Но в их мелодиях звучало нечто особенное, что возвышало их над их убожеством, над временем и людьми. Опустившись в глубокое кресло, Филоти задумчиво разглядывал их.

— С этим Турку,— молвил он Кости,— провел я детство... Мать его была моей кормилицей.

Человек, о котором говорил боярин, был старшим среди музыкантов. Невысокого роста, хорошо сложенный, с густыми бровями и зелеными глазами, цыган весь трепетал, бился и кружился над своей скрипкой. Он тотчас заметил, что хозяин говорит о нем; счастливая улыбка

¹ В румынских княжествах вплоть до половины XIX в. сохранилось так называемое «рабство цыган»: цыгане-холопы находились на положении рабов.

озарила его лицо. Порывистые движения его приняли форму преувеличенных поклонов.

— Евреи идут,— пробасил Накович, поднимаясь по ступеням балкона.— Скоро должны прибыть и экипажи со станции.

Боярин сделал знак рукой, и оркестр умолк.

— Идите на кухню и подкрепитесь,— приказал он цыганам.— Будете играть за столом.

Он повернулся к делегации торговцев, поднимавшейся по ступеням в торжественном молчании.

Торопливо, бочком, цыгане вышли друг за другом на цыпочках.

Кости различил среди купцов Фишела Блока, невысокого роста еврея, с усами и бородой цвета яркой меди. Он держал в руке таинственный дар — коробку, обернутую в шелковистую бумагу.

Фишел Блок был еврей нового типа: пейсы его содержались в порядке и были подравнены ножницами. Он не носил ни длинного кафтана, ни ермолки, но все же держался менее передовых взглядов, нежели Шапса; прочие же его собратья носили долгополые кафтаны, а макушку головы прикрывали ермолкой.

Степенно и осторожно двигаясь, они предстали перед Филоти, и Фишел в немногих словах пожелал владельческому боярину здоровья и долгих лет жизни.

— Ваша милость,— заключил он улыбаясь,— община просит вас принять от нее дар. И еще просит у вас защиты.

— Защиты? От кого же? — спросил Филоти, поднимая брови.

— Ваша милость, докучает нам разными распоряжениями коммунальный совет. Мы знаем, что действует он по указаниям центральных властей и, стало быть, сам тут ни при чем. Мы вновь обращаемся к вам, как к благодетелю города. Мы люди мирные, без задержки платим положенное и никому не приносим вреда.

— Кто вмешивается в дела моего города? — спросил Филоти, нахмурив брови.— Я вызову и допрошу этих людей. Я ведь говорил им однажды,— обратился он к Наковичу,— вижу, однако, что они удивительно упрямы.

— Тут какое-то недоразумение,— примиряюще вмешался управитель.

— Займись, Филипп, этим делом,— сказал Филоти и раздраженно фыркнул.— Я и слышать больше не хочу

об этом деле! — отчетливо, медленно добавил он, глядя в упор на еврея.

— Я тоже убеждал помощника префекта, что нельзя трогать и уменьшать доход города, — объяснил Филипп.

— А, так это проделки господина помощника префекта? — развеселился боярин.

Купцы сохраняли серьезность. Они ничего не признали, никого не выдали.

— Хорошо, Филипп, пригласи его ко мне, мы с ним кое о чем потолкуем.

— Времена становятся все более и более трудными, — скромно вздохнул Фишел Блок.

С делами было покончено. Филоти улыбнулся и заговорил другим голосом.

— Слушай, Фишел, — весело начал он, — перейдем к нашим толкованиям. Что ты еще надумал, что нового открыл?

Фишел был членом серьезной делегации, однако он решил сделать удовольствие боярам.

— Господин Кости, — заговорил он с улыбкой, — в прошлом году в ярмарочный день остановился у моей лавки и оказал честь побеседовать со мной. Есть там у меня лавчонка, только занимается ею больше жена. Теперь я хочу попросить у боярина место для корчмы, может быть, дела пойдут тогда повеселей. Так вот в тот день сказал господин Кости, что в нашем городе настоящее Вавилонское столпотворение: евреи, молдаване, цыгане, липоване, немцы на станции, русские — все нации. И заговорили мы тогда о Вавилонской башне, как об этом сказано в книгах. Я держался мнения, что история эта имеет иной смысл.

— Какой же? — спросил Филоти развеселившись.

Остальные евреи слушали с застывшей, деланой улыбкой на лице.

Фишел продолжал, размахивая пальцами перед собственным носом:

— Какой интерес людям строить башню до самого неба? Если они могут строить такую башню, значит они люди умные. А коли они умные, то и понимают, что нельзя подняться на башне до самого неба. Так что бог смешал им языки не по этой причине.

— Как же тогда, Фишел?

— У меня имеется пять решений этого вопроса, — отве-

чал Фишел, заметно оживляясь.— Я, например, считаю, что вначале смешались языки, а потом уже люди построили башню. Смешались языки, а значит, чересчур размножились люди, и решили они разойтись по свету, потому что там, где они были, нечего было больше делать. И построили башню, чтобы не забыть прежнее место и обратный дальний путь по пустынным местам. И разошлись — кто на восток, кто на запад.

— Барин,— провозгласил своим густым басом Филлипп,— прибывают экипажи со станции.

— А, гости едут! — всполошился Филоти.— А я и позабыл о них. Фишел,— добавил он дружелюбно,— я позову тебя когда-нибудь, чтоб выслушать и остальные четыре решения. Еврей — любопытный народ,— продолжал он уже по-французски, обращаясь к Кости.

Оба они спустились по ступенькам навстречу прибывающим гостям. Тем временем члены делегации уходили восвояси и, сблизив бороды, шепотом обменивались впечатлениями.

* * *

Ясских гостей, как и в прежние годы, было много. Одни — родственники Филоти, другие — его политические сподвижники.

В креслах с высокими спинками сидели привлекательные и милые господа, спутники безумных дней молодости и особенно золотой парижской поры. Париж! Всегда при подобных встречах они с грустью вспоминали о нем, как о второй родине. В те годы они укрепили свой союз общими идеалами, мечтали о возрождении своей маленькой восточной страны. Теперь, вспоминая все эти величественные планы, они только улыбались, сознавая, что мир здесь оказался совсем иным. Эти молодые люди, которые блестяще завершили свое образование, опережая детей Запада в их собственных школах, становились усталыми и разочарованными по возвращении домой. Одни толстели в своих поместьях, другие проматывали деньги, занимаясь политикой, иные пребывали в каком-то сне, мечтая о периодически повторяющихся «сезонах», когда они смогут вновь вернуться в цивилизованный мир. «И все-таки,— думал Филоти, с усталой улыбкой поглядывая на друзей,— в конце концов они начинают понимать, что лучше сохранить унаследованное от родителей положение феодальных

владык, нежели жить при той общественной нивелировке, к которой стремится европейская буржуазия».

— Мы могли, однако, поступить иначе,— пробормотал он,— лучше...

— Ты что-то сказал, папа? — нагнулся к нему Кости, радостно возбужденный шумом и весельем окружающих.

— Как? Что я сказал? Мне кажется, я ничего не сказал, Кости. Чувствую себя сносно и вспоминаю времена, когда был молод, как ты.

Юноша опустил голову, обеспокоенный тоном отца. Он испытывал легкое головокружение: голоса людей и звуки оркестра смешивались в каком-то суматошном гаме, внезапно показавшемся ему малопонятным и необъяснимым.

Госпожа Матильда во-время удалилась из столовой и теперь вторично посылала гостям кофе в турецких чашечках на большом серебряном подносе. Панаите останавливался с подносом перед каждым гостем и слегка кланялся.

Александру Филоти сделал вид, что внимательно разглядывает свою чашку, затем отодвинул ее кончиками пальцев и, приподняв брови, выслушал слова, обращенные к нему через стол. Он ответил на них улыбаясь, нашел свой бокал и протянул его к тем, кто поздравлял его с днем ангела, потом погладил лоб и волосы Кости.

— Ты, кажется, опять был в Мэкэрештах,— обратился он к сыну.— Красивый там уголок!

Кости внимательно поглядел на отца. Филоти, посмеиваясь, придвинул к себе чашку кофе и вдруг оживился, почуввав угрозу, возникшую на другом конце стола. Йоргу Холбан, его двоюродный брат, что-то кричал, поднимая бокал. Ему обязательно хотелось выпить глоток вина с шумным тостом и возгласами. Он вскочил на стул, потрясая бокалом, точно кропилом, над головами слушателей, затем протянул бокал Панаите, который осторожно и без улыбки налил ему вина. Пирующие вскочили и под грохот отодвигаемых стульев окружили хозяина, между тем как музыканты стремительно и виртуозно исполняли заздравную.

— Эй, цыгане, молчать! — крикнул Йоргу Холбан, размахивая левой рукой и добываясь тишины.— Господа, прошу внимания. Я всегда любил дядюшку Александру Филоти. Милостивые государи, тише, прошу вас!

Но каждому господину, державшему в руке бокал, хотелось что-то сказать.

— Государи мои, умоляю вас, тише. Хочу сказать только два слова.

Филоти встал со своего места. Казалось, ему стало весело. Он снова взял в руки бокал и протянул его Панаите.

— Дайте Йоргу сказать,— вымолвил он сквозь смех. И тут же стал прислушиваться к какому-то внутреннему голосу. Вот уж несколько минут, как волновала его смешная мысль, то появляясь, то исчезая, как надоедливая муха.

«А что,— думал он неуверенно,— если бы я оставил их всех на час и приказал заложить одноколку. Я должен ее видеть... И сразу же вернусь...»

Он знал, что уехать невозможно, и все-таки, улыбаясь, ждал возвращения этой лукавой мысли, которая открывала перед его взором приятные картины.

— Тише, тише, господа! Прошу вас! — вопил Йоргу Холбан и, закончив в нескольких словах свое объяснение в любви, которого никто не расслышал, подошел к Филоти и чокнулся с ним.

— Эх, братец Алеку, какая это была счастливая пора! Молодость, Париж! — сказал он, прослезившись, и грохнулся на стул.

Панаите поспешил снова наполнить его бокал.

— Только на один час,— пробормотал Филоти, косо глядя на него.

— О чем ты? — осведомился Холбан, наклоняясь к нему.

— Ничего. Так, сумасбродная мысль. То была, Йоргу, пора молодости. Теперь мы уже не те. Те умерли.

Яские гости, казалось, о чем-то совещались. Потом, по единому решению, они окружили Филоти, подняв полные бокалы. Музыканты смолкли. Скарлат Костандаки погладил свою красивую седую бороду с той располагающей улыбкой, которая так к нему шла. Скарлат Костандаки был неутомимым политическим деятелем, лидером молдавских консерваторов. Все свое имущество он израсходовал на уездные организации и выборные кампании, о которых все вспоминали, как о достопамятных битвах. Старый Ласкар Катарджиу¹ любил его, как любят млад-

¹ Ласкар Катарджиу (1823—1900) — политический деятель, руководитель консервативной партии.

шего брата. Любили его в достаточной мере и яские дамы за красивые ораторские приемы в речах на публичных собраниях.

— Я знаю, что у тебя большой ораторский талант,— защищался Филоти,— знаю, ты опять хочешь убедить меня активно заниматься политикой. Charles! — с пафосом воскликнул он по-французски,— почему ты хочешь сократить годы, которые мне еще остались?

— Слушай, Александру,— спокойно начал Скарлат.— Я не собираюсь тебя принуждать. Хочу только еще раз обратиться к твоему уму и сердцу. Нас остается все меньше и меньше,— добавил он проникновенным голосом.

Все вокруг замолчали, и Кости, стоявший рядом, вздрогнул от волнения.

— Выслушай, что я тебе скажу. Нас остается все меньше и меньше. Наше поколение уходит, не выполнив своего долга. Помнишь наши мечты, наши планы в молодости? Мы ничего не сделали.

— Что ж тут удивительного? — заметил Филоти.— Это было предопределено самой природой вещей.

— Ты думаешь? Я с этим не могу согласиться, я все же надеюсь убедить тебя выполнить свой долг. Или ты желаешь, чтоб мы прибегли к тем, кто до вчерашнего дня служил нам?

Филоти улыбнулся, откинулся на спинку стула и, отпив вина из бокала, почувствовал себя снова в атмосфере старых споров и интересов.

— Я слышал об этом не раз,— возразил он мягко.— Тем не менее вы должны согласиться со мной. Мы на исходе нашего века.

— Значит, отчаяться и умереть,— воскликнул Костандаки, делая широкий жест рукой.— Ты этого добиваешься? Нет, это невозможно.

— Я этого не говорил,— спокойно защищался Филоти и снова отхлебнул глоток вина.— Боритесь, если вам так хочется.

— Будем бороться,— шумно поддержали его голоса вокруг.

— Ну, хорошо, будем, если хотите, бороться ради иллюзии. Однако,— продолжал он, немного разгорячась,— не надо поддаваться обману. Мы уходим.

— Кто уходит? — воспротивился Костандаки.

— Мы, владельцы земель. Друзья мои, столько об этом

говорено и переговорено. В конце концов это стало прямо болезнью. Зачем отворачиваться от истины? Мы сходим со сцены. Вот могу признаться перед вами: сегодня я сам решил сдать в аренду поместья в Ботошанском уезде. Филоти остановился и, сжав губы, осмотрелся.

— Ну и что из этого? — проговорил Скарлат Констандаки.

— Как что из этого? Разве вы не видите, что происходит? Мы отдаем в аренду и продаем, а наши управители покупают. Будто мы не знаем их, не раскусили этих людей, обслуживающих нас? Но что тут можно поделывать? Проживем хотя бы последние прекрасные дни Аранхуэца.

Шум выкриков окружил его со всех сторон. Вскинулись и подняли голову, словно ядовитые аспиды, упреки и обвинения, которые пускались в ход в политическом клубе и в салонах. Аграрный закон 64-го года, пустые формы Запада, перенесенные без всякого смысла в неподготовленный восточный мир; крестьянин — темный раб; развращенное чиновничество.

— Вот оно что, — закричал Филоти. — Мы очутились в очень шатком, более того — в безвыходном положении. Но есть своя красота и в смирении. Я предлагаю, улыбаясь, смириться, и пусть себе жизнь течет...

— Видите? — восхищенно заговорил Констандаки, потрясая бородой. Нет, вы только послушайте, как он говорит.

— А мы таким знаем его давно и всегда восхищались им, — восторженно крикнул Холбан.

— Именно, — продолжал Констандаки, подняв палец. Вот и скажите, можно оставить его в покое?

— А почему бы и не оставить? — улыбнулся Филоти. — Я иду своей дорогой на закате моих дней и пытаюсь сделать жизнь как можно менее неприглядной.

— Извольте любоваться! И такого человека не избрать в депутаты? Не позвать его в наши ряды, не слышать, как он говорит там, где полагается? Слушай, Александру, мы на тебя давно надеемся. Министерский портфель — твое законное право. Не обманывай себя, у тебя долг.

— Да, в нескольких банках.

— Оставим шутки. У тебя долг. Мы скоро придем к власти. Много подлецов нужно покарать, много несправедливостей исправить.

— Слова!.. слова!..— вздохнул Филоти.

Но тут к нему опять вернулась назойливая, как муха, мысль, и вместе с ней в его сознании промелькнуло множество новых соображений. Отъезд за границу после сбора урожая, вошедший в обычай в прежние годы, был внезапно отменен этой его последней прихотью.

Приказ, отданный Шапсе, был тому свидетельством. И так как осложнения, вызванные этой сентиментальной историей, были пока связаны со старой родиной (хотя они еще представляли отдаленную тайну будущего), он неожиданно для себя открыл, что друзья правы: он должен стать депутатом и жить либо в Яссах, либо в Бухаресте. Если уж оставаться в стране, он должен ответить на зов своего поколения. Он по-новому, нерешительно взглянул на Костандаки, который продолжал говорить и убеждать его.

— Хорошо,— сказал Филоти, так и не расслышав этой части его речи,— если уж вам хочется, если вы считаете, что я могу быть полезным...

Ответ его был встречен всеобщей радостью. Кости почувствовал, что свершилось важное для страны событие.

Глава четвертая

АНДРОНЕ БРЕБУ ЖЕЛАЕТ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ПОДАТЬ ЖАЛОБУ

Сентябрьским утром Андроне Бребу повесил замок на дверь отцовского бревенчатого дома, хорошенько припер ворота и оставил все хозяйство на попечение старого пса да пчел, гудевших в саду. Четвертый от его избы двор принадлежал брату Георге. Андроне остановился у плетня. Он намеревался захватить с собой племянника и отвести его в школу. Не заходя во двор, Андроне окликнул Тодрицэ, и мальчик тотчас появился на пороге, с сумочкой через плечо. Георге запрягал коней в телегу, а Митрицэ, старший сын, волоча порядочную охапку сена и спотыкаясь, медленно огибал повозку.

— В поле собираешься? — спросил Андроне брата.

— В поле, батяня,— отвечал Георге, хмурый по своему обыкновению.— Тыквы у меня там остались, и как бы

не выросли у них ножки. Да и кукуруза возле леса еще не собрана.

— Что ж, Георге, и то ладно, коли есть, что собирать,— примиряюще молвил Андроне, чувствуя раздражение в голосе брата.

— А я про что ему толкую, деверь,— заговорила женщина с завалинки, надевая шляпчонку на голову Тодирицэ.

— Словами-то я сыт по горло,— буркнул Георге.— Нет, чтоб помощь хоть какую получить,— теперь, когда позарез нужно. И на что она ему, школа, такому сопляку? — вспыхнул он, ударяя от злости коней кнутовищем по морде.— Осади, проклятые! На что ему школа? Чтобы озорничать с другими чертенятами? Али чему научится? Выйдет из него неслух и мучитель.

— Господи! Опомнись, человече!— жалобно заговорила жена,— и как у тебя язык повернулся? Такое сказать! Зимой небось в усы ухмылялся, когда он тебе читал в календаре. И господин учитель тебе говорил, что мальчик учится хорошо. Перешел же он, слава богу, в третий «глас».

— Но, черт! — разъяренно набросился крестьянин на коней.— Тебе горе, а им только резвиться. Да делайте вы из него хотя бы дохтура, мне-то что,— заключил он, полный презрения.— Ну-ка, Митрицэ, отворяй ворота. Чего это ты столбом застыл и глаза на брата палишь? Али жалеешь, что и тебя в ученье не отдали? Писаришкой в примэрии сделаться захотел!

— Ну и ладно! Писарем в примэрии! — заголосила женщина.— Все лучше, чем гнуть спину в жару и в холод. Вот так он и пьет мою кровушку, деверь,— обратилась она к Андроне голосом, полным печали.— Хоть беги на край света. А что ему? Ведь не он будет о мальчике заботиться.

— Мало ли в деревне хозяев, и не отдают они детей в ученье,— твердил свое Георге, не глядя на них.

— Слушай, Георге,— улыбнулся Андроне,— учитель говорит, будто у немцев девки и те учатся грамоте, крестьянские девки.

— Эва, у немцев,— пробормотал Георге, стегая коней кнутом и трогаясь с места.— Сказки, батяня Андроне.

— Скажу и я, как мой Георге, деверь,— заговорила женщина, смеясь и прикрывая рот ладонью.— Не верю я такому. Была бы у меня дочка,— боже сохрани, не отдала бы в ученье. На что девушке грамота?

— Вот как? — развеёлился Андроне.— Ну-ка, брат Тодирицэ, расскажи-ка матери, что написано в самом начале прошлогоднего учебника?

Мальчик поднял голову и неестественным голосом, нараспев произнес:

С книгой человек растёт,
Как дичок после прививки...

— Слышишь, Аника,— продолжал торжественно Андроне,— с книгой человек растёт...

— Человек-то растёт, я понимаю. А на что грамота бабе? Мало ли чего есть у немцев — они другое племя. У них дохтуры, гошпитали, машины разные. А мы такого не знаем. Мне бы и то радость, чтоб сделался мой мальчик служащим в примэрии. Почернеют тогда от злости и Пынзарица и эта кикимора Чопрага.

Мальчик, напрягаясь, возился с воротами.

— Бросай, сынок, иди,— ласково позвала его мать.— Иди, я сама закрою.

Она постояла некоторое время на улице, глядя им вслед, потом со вздохом вернулась во двор.

На школьном дворе было много крестьянских ребятишек и сынков горожан.

Тодирицэ кинулся к ним, резвясь, словно жеребенок. Андроне отошел в сторону, к одному из окон, с тем чтоб в доме его заметили. Учитель не замедлил выйти на балкон. Он был высокий, тощий и лысый, с черными маленькими усиками.

— Ну что, дядюшка Андроне? — спросил он громко и весело.— Племянника в школу привел?

— Привел, господин учитель, и, как водится, пришел дознаться, какие книги нужны. Тетради и ручка у него еще с прошлого года остались.

— Хорошо поступаешь, дядя Андроне. Поступок твой достоин похвалы.

— И я так думаю, господин учитель. Словно я крестил кого-нибудь или колодезь вырыл.

— Да, да. Так вот, в этом году мальчику понадобится только четыре книги.

Андроне кашлянул, заметно удивленный.

— И все четыре он выучит?

Учитель рассмеялся.

— Разумеется.

— А дороги они, эти книги-то? — осведомился вполголоса Андроне и насутился.

Учитель, господин Симинок, знал, что Андроне не в меру бережлив.

— Не дороги они, дядя Андроне, цена подходящая. Начал доброе дело, так нужно довести его до конца.

— Верно,— согласился Андроне.— Теперь уж обратно не повернешь. Так ты, господин учитель, сделай одолжение, дай мне, значит, список, а я отправлюсь к тому жиду, у которого был и в прошлом году.

— Да. Он один на весь город только и привозит книги. А список тебе не надобен. Еврей знает, что тебе нужно.

— Вон оно что? Ну, стало быть, дело. А вот, господин учитель, как бы мне написать жалобу?

Андроне еще дома решил, что он мог бы воспользоваться хотя бы советом такого ученого человека, как учитель.

— Гм, какого рода жалоба? Судиться с кем-нибудь желаешь? Неприятности у тебя какие?

— И то! Аль не слышал, как сынок дьякона Алеку велел застрелить мою свинью на сельском выгоне?

— Какой такой сынок дьякона Алеку?

— Якобаке,— ядовито ухмыльнулся Андроне.— Разве не знаешь, что он сын дьякона Алеку?

— А, примарь?

Учитель внезапно замолчал и стал внимательно разглядывать шаливших во дворе ребятишек.

— Это он велел застрелить твою свинью?

— Вестимо. Вся деревня знает.

— Значит, была к тому причина. Я в такие дела не могу вмешиваться, дядя Андроне. Иди лучше в суд или к адвокату. А почему он убил твою свинью?

— Да так ему, значит, вздумалось.

Крестьянин смотрел на него в упор. Учитель опустил глаза.

— Все равно к адвокату надобно идти,— заключил он вполголоса.

Андроне покачал головой, поковырял палкой землю, потом вышел из ворот и направился в город.

По соседству с церковью стояла корчма Берку. Три стражника примэрии грелись на солнышке у стены. Разжиревшие, обрюзгшие, они грузно лежали на ковриках, то и дело поплеывая, и, когда уставали лежать на одном

боку, поворачивались на другой. На косматой голове Истрате Настратина каким-то чудом равновесия держалась солдатская фуражка, сползая на ухо и на одну бровь.

— Доброе утречко, дядя Андроне,— позевывая, лениво поздоровался он.— Не найдется у тебя табачку на цыгарку, а? Где там! Я и позабыл, что ты не куришь...

И Настратин захохотал.

— Доброе утро,— отвечал Андроне.— Не знаешь, что ли, Истрате, что я не окуриваю себя этой чертовой травой?

— Знаю, как не знать. Ты денежки собираешь, в горшок кладешь — и в землю. Показал бы, у какого дерева их зарыл, я и словом никому бы не обмолвился.

Стражники, подталкивая друг друга локтем, рассмеялись. Истрате почесал затылок и снова зевнул.

— Нонче он не в духе,— кивнул он вслед удаляющемуся Андроне.— Примарь на него взъелся.

— Что ему? — заметил один из стражников, поворачиваясь и укладываясь поудобнее.— Мне бы его денежки да хозяйство, бросил бы и службу.

— А чего ее бросать? — удивленно уставился на него Истрате.— Служба службой! Владей я деньжатами Андроне, ходил бы пьяный день-деньской и в ус бы себе не дул. Плевал бы на всех и наипервейшим образом на сына дьякона. Господин Берку,— закричал он,— господин Берку! Нет его. Стало быть, не слышал,— ухмыльнулся он, оглядываясь, и опять запустил пальцы в свои космы, в которых торчали соломинки.

Господин Берку, высокий и толстый, пузатый шинкарь, появился в двери немного погодя. Бросив взгляд в гору и вниз, вдоль пустой улицы, он равнодушно скользнул глазами по лежавшим стражникам и вернулся в корчму.

Достигнув города, Андроне пошел по главной улице, мимо боярских торговых заведений. В лавках и за прилавками не замечалось особого оживления. Чистый осенний воздух был насыщен приятным запахом белого, только что выпеченного хлеба. Андроне остановился у прилавка пекарни, достал медный пятак и выбрал себе румяную булку. Затем заложил кошель за кожаный пояс и пошел себе дальше, откусывая на ходу и поедая с особым удовольствием большие куски свежей булки. Поровнявшись

с лавчонкой Фишела Блока, он засунул за пазуху недоеденную горбушку и, согнувшись, вошел в низкую дверь.

Блок, дружелюбно улыбаясь, вышел ему навстречу.

— С добрым утром, господин Андроне. Что угодно тебе милости?

Он кинул гордый взгляд вокруг с таким видом, словно на его жалких полках находились все плоды земли и все немецкие машины. На лице крестьянина, заметившего это, появилась тонкая улыбка.

— Мне бы, господин Фишел,— сказал он нерешительно,— кило гвоздей.

— Гвоздей? Есть, как же, даже самых разных сортов. Тебе какие?

— Да мне разных нужно: и помельче и покрупней. Почему кило?

— Будто ты, господин Андроне, не знаешь лучше моего,— улыбнулся еврей.— Шестьдесят банов кило.

— Как можно? — удивился Андроне.— А я-то слышал, будто подешевели.

— У других дороже, у меня попрежнему дешево,— с удовлетворением заметил Фишел, потирая руки.— Красивая погода,— добавил он.— Такой погоде радуются все... Что ж, взвесить тебе кило гвоздей?

— Дороговато, господин Фишел.

— Недорого, господин Андроне. Поверь мне,— продаю их тебе по своей цене, чтобы деньги мои не застоялись в товаре. Слышал я,— продолжал он, выгребая с полка гвозди и бросая на чашу весов,— слышал, что у тебя была небольшая неприятность.

— Да, была,— признался Андроне.— Приказал сын дякона Алеку этому очумелому стражнику Костандину встарелить мою свинью.

— Пе, пе, пе! — крайне удивился Фишел.— И по какой такой причине?

— Ни по какой. Просто захотелось человеку удовольствия себе доставить.

— Очень даже удивительная история. Так хватит одного кило? Думаю, тебе больше понадобится.

— А почему же?

— Во-первых, чтобы починить свинарник, во-вторых, чтобы заделать дыру в воротах,— считал, загибая пальцы, торговец.

— Да почему ты знаешь, что я хочу починить свинар-

ник? — защищался Андроне. — Я нарезал прутьев и загородил его.

— Так-то оно так, но прутья дело ненадежное, надо заложить досками да укрепить гвоздями, чтобы не застрелили у тебя и второй свиньи, господин Андроне. Тебе могут понадобится и все два кило. Уж послушайся меня. Тебе, хвала господу, есть из чего платить.

— Мало он мне убытку наделал! — снова воспротивился Андроне. — Жалобу подать на него нужно.

— Ну не такой уж убыток, дядя Андроне. Позвал ты Йогана, колбасника, и продал ему свинью по сорок банов килограмм. И вернул себе убытки.

— По сорок пять, — поправил его Андроне посмеиваясь. — А откуда тебе все это известно? Что, у тебя книга, что ли, куда записываешь все происшествия в городе и деревне?

— Купец должен все знать, господин Андроне, — шепнул Фишел, касаясь руки крестьянина. — А к кому ты хочешь идти насчет жалобы?

— Да к кому? Вот хотел и тебя, торгового человека, спросить. Думаю пойти к господину Георгиешу, аблакату. Что скажешь? Хороший он аблакат?

— Хорош, а то как же, — серьезно ответил Фишел. — Только нужно, чтобы ты сперва позволил застрелить и вторую свинью. А как продашь и ее Йогану, — у тебя хватит денег по судам таскаться.

Андроне на мгновение развеселился. Потом нерешительно покачал головой.

— И не знаю, как быть, — пробормотал он. — Не позволить же сыну дьякона Алеку топтать мои права. Я так считаю, господин Фишел, что на всех найдется управа. Раньше было лучше, — добавил он вздыхая, — потому что жили без примарей. Были выборные старосты, свои люди.

— Было лучше, — передразнил Фишел, искоса поглядывая на него. — При тогдашних порядках и тебя бы тоже гнали арапником на жатву.

— Уж и не знаешь, как ловчее сказать, — мягко проговорил Андроне, задумчиво поглаживая подстриженные усы. — Положил гвозди?

— Положил.

— Сбросишь по десять банов на кило?

— Не могу, господин Андроне. А что-нибудь еще купишь?

Андроне притворно задумался.

— Да поминал мне учитель про какие-то книги,— заговорил он, наконец, вполголоса.

— Так у тех цена на обложке написана,— объяснил купец.— Какие книги, для какого класса?

— Для третьего.

— За все книги семь лей и двадцать пять банов,— решительно произнес Фишел.

Андроне посмотрел на него мигая, словно не веря.

— За книги и платить не жалко,— успокоил Фишел крестьянина, касаясь опять его руки.— Я уж, так и быть, спущу тебе десять банов на кило гвоздей. Ударим по рукам, приятелями останемся, и я заработаю кое-что для почина. Может, у тебя рука легкая.

Однако Андроне не мог решиться так быстро. Он рассмотрел книги со всех сторон, взвесил их в руке; купец тем временем внимательно следил за ним, готовый дать любой ответ. Наконец, Андроне вытащил кошель и развязал тесемку. И только тогда сел Фишел на стул за прилавком, только тогда в его зеленых глазах погасли искры.

Оставшись после ухода крестьянина один в низкой лавчонке, среди скудных и самых разношерстных товаров, торговец задумчиво вздохнул, потом дважды позвал нараспев: «Бина! Бина!» Когда хозяйка появилась в темной двери в глубине лавки, он сказал ей что-то на многословном и страстном жаргоне, потом, надев полосатую шаль и твилемы, спокойно приступил к утренней молитве. Он открыл священную книгу и начал усиленно кланяться и разговаривать с Еговой.

Отправляя в рот по кусочку белой булки, Андроне свернул в переулочек и вышел на улицу примэрии. По его соображениям, было еще рано,— адвокат должен находиться дома. И в самом деле, толкнув калитку, он заметил мелькнувшее за стеклянной дверью лицо господина Георгиеша. «Тоже дожидается почина, как и Фишел»,— улыбнулся про себя крестьянин.

Он остановился перед верандой. Черный цепной пес хрипло лаял на него из-под какого-то навеса. Андроне кашлянул, повернулся на месте и обратился лицом к калитке. Тогда в дверь просунулась голова женщины, по виду еще молодой. Волосы ее были туго повязаны белой косынкой, глаза были черные, брови сросшиеся.

— Да погоди немного, дяденька,— быстро заговорила она,— сейчас господин адвокат выйдет.

Женщина скрылась в полутемной комнате, пропустив господина Георгиеша Комана, защитника при мировом суде.

Господину Георгиешу Коману было около сорока лет, отличался он могучим телосложением, румяным лицом и веселым характером, живот имел заметно округленный, массивная цепочка часов охватывала его от одного кармана жилетки до другого. Носил он круглые бакенбарды, слегка посеребренные сединой; с тех пор как он их отрастил, друзья на пирушках не уставали повторять одну и ту же шутку, утверждая, что он похож на императора Франца-Иосифа. Этим сходством господин Георгиеш изрядно гордился. Только волосы у него были жидковаты, и он зачесывал их от висков к макушке, чтобы скрыть свою лысину.

— Что тебе, братец? — спросил он, появляясь на веранде и оглядывая Андроне с ног до самой шляпы.— Что это у тебя за документы?

— Какие там документы, господин Георгиеш, это книги для моего племянша,— спокойно ответил крестьянин.

— Вот как? Тебе акт составить, или у тебя процесс? К адвокату и к лекарю без надобности не ходят.

Господин Коман смеялся. Улыбнулся и Андроне.

— Так я без надобности бы и не пришел рано утром. Телько решил, что вас дома нет, да вот вышла барыня и велела ждать.

— Я был занят, писал в кабинете,— объяснил господин Коман, доставая золотые часы и внимательно рассматривая их.— Ну, что у тебя?

— Господин Георгиеш, я у вас уже бывал... землю мы делили... только давненько это было. Зовут меня Андроне Бребу, и живу я тут в деревне. Мы тогда остались вами много довольны.

— А, да, да,— весело отвечал защитник, будто в самом деле вспомнил. И опять достал золотые часы.

— А что, разве поздно, твоя милость? Может, тебе в суд надо?

— Ну проходи вот сюда, проходи,— фамильярно проговорил Коман, словно и не расслышал замечания крестьянина. Он потянул его за рукав зипуна.— Усаживайся вот на этот стул и выкладывай все.

Андроне остался стоять. Он снял шляпу, пригладил кудри и осмотрелся. Бровастая женщина показалась в дверях соседней комнаты; оттуда шел запах жареного мяса.

— У меня, господин Георгиеш, история вышла со свиньей.

— Какая же история? Кто украл свинью?

— Никто не крал, твоя милость. Застрелили.

— А, это весьма серьезный казус. Кто же ее застрелил?

— Да кто? Примарь наш.— Говоря это, Андроне краем глаза посмотрел на защитника.— Не то, чтобы своей рукой. Повелел он этому полоумному стражнику Констандину. И тот убил ее рано утром, солнце даже не взошло.

— Взошло ли, не взошло солнце, это к делу не относится,— заметил, улыбаясь, господин Георгиеш и опять поднял под самый нос золотые часы.— Но случай сам по себе довольно серьезный.

— Застрелил-то он ее не на дворе, а на сельском выгоне.

— Вот оно что? Да как же можно? Гм! Значит, господин примарь занимается и такими делами? — удивился защитник, покачивая головой и жмуря глаза.— Значит, мало того, что эти господа вытворяют, мало он, значит, делает дел... Превышение власти, аферы, жульничество, сговор со всеми евреями города. Все их художества у меня в ящике стола, вон где,— заключил он, улыбаясь крестьянину.— Все в ящике, и обо всем узнает новый префект. И если господин префект, как и его предшественник, положит дело под сукно, пойдем дальше, к министру. Здесь творятся подлости, и нужно, чтобы, наконец, власти узнали, какого человека они здесь поставили.

— А жена его выскочка, только интриги плетет! — крикнула, внезапно распаясь, бровастая женщина.

Адвокат резко повернулся к ней. Глубокая морщина легла у него между глаз. Андроне сделал вид, будто ничего не слышал.

— Здесь творятся подлости,— продолжал господин Георгиеш, но уже с меньшим пафосом.— И нужно их предать гласности, пусть каждый получит по заслугам.

— Тогда мы и посмотрим, как она себе еще муфту и шляпу купит,— вскинулась опять женщина, стоя на пороге.

— Да не вмешивайся ты, пожалуйста, в дела, которые тебя не касаются,— мягко сказал господин Георгиеш, сморщив, однако, при этом лоб и делая сердитое лицо.— Гм... Значит, он застрелил твою свинью. И ты, дядя Андроне, решил подать на него в суд. Очень хорошо.

— Я хочу справить жалобу,— неторопливо объяснил крестьянин.

— Разумеется, разумеется. Жалобу мировому судье — и в суд. Для каждого преступления кодекс предусматривает свое наказание.

Тут адвокат достал толстую книгу и, хмурясь, принялся перелистывать ее.

А тем временем Андроне удивленно размышлял о преступных тайнах и сокрытых делах сына дьякона и радостно предвкушал наказание, к которому присудит примаря страшный министр с большущей головой.

— Вот что сказано в сто восемьдесят восьмой статье,— продолжал защитник, стуча пальцем по открытой книге.

— А сколько возьмешь с меня, господин Георгиеш, чтобы справить бумагу? — прервал его Андроне мигая.

— И чтоб вести процесс,— добавил адвокат.— Я ведь не пишу жалоб. Жалобу может написать любой. Я начинаю процесс, прошу возмещения убытков и добиваюсь полного удовлетворения. За это заплаатишь двадцать лей.

Андроне погладил усы и слегка сморщил нос.

— Так я же, твоя милость, хотел, чтобы ты мне только жалобу справил.

Он словно окаменел, равнодушный ко всему, что мог ему еще сказать защитник.

Господин Коман попробовал высказать несколько соображений, но почувствовал, что перед ним — скала. Тогда он в упор посмотрел на своего клиента, точно видел его впервые. Смерил его взглядом с головы до носков сапог и фыркнул.

— Гм, все вы такие! Только уловками да попытками. И согласны, чтобы всякий писаришка издевался над вами и попирал вас ногами. По мне, делай, как хочешь. Анета, подавай жаркое, а то уже поздно.

На этот раз он и впрямь взглянул, который час. И Андроне, заметив, как он сердито нахмурился, поспешно вышел на улицу, унося в душе какое-то сожаление.

«Все равно он пошлет те бумаги министру»,— подумал

он. Потом улыбнулся.— А та, бровастая, содержанка его, глядела на меня еще занозистой самого».

Очутившись возле примэрии, Андроне обогнул ее и пошел противоположной стороной. Перед зданием мирового суда он постоял в нерешительности, разглядывая крестьян, расположившихся со своими палками и сумками на краю канавы и негромко толковавших в лучах осеннего солнца. Поразмыслив, что в этот день он и так чересчур поистратился, Андроне решил пока отказаться от жалобы и пошел себе бойким шагом по дороге к деревне.

У ворот он заметил, что оставленный знак кем-то передвинут, и быстро заглянул во двор.

— Это я, батяня Андроне,— подал голос с завалинки Василе Бребу, сторож с Халма.

— Ты, брат Василе?— удивился Андроне, внимательно разглядывая его.— Что с тобой? Что голову повесил?

— Да так, спустился на часок в деревню,— отвечал Василе, отводя глаза.— Заходил к Георге, да его дома не оказалось. Вот и завернул к тебе. Мне невестка говорила, что ты должен скоро вернуться. И радовалась она, что ты мальчика в школу повел.

Василе попытался засмеяться. Андроне долго смотрел на него, потом покачал головой.

— Ступай в избу,— сказал он, открывая дверь. Он первый вошел в сени, спрятал в укромном местечке замок и ключ.— Что-то не видал я тебя в день ангела боярина,— прибавил Андроне, проходя в низкую комнату. Потом, заметив, что Василе не отвечает, тоже умолк.

Комната была чистая, старательно прибранная, точно монашеская келья. На стенах были целые ряды икон. Пряно пахло чабером и мятой. Андроне внимательно разглядывал одежду, висевшую на длинной жерди, спускавшейся на веревках с потолочных матиц, большой сундук под ней и шкатулку на столике, в переднем углу под лампадой.

Василе, вошедший вслед за братом, стоял в ожидании у дверей.

— Усаживайся сюда на лавку, Василе,— начал Андроне, снова окинув его долгим взглядом, и снял с себя зипун и шляпу.— У меня тут одно дельце есть, да говорить оно нам не помешает.

Он заботливо уложил на матицу учебники мальчика

рядом со своими замусоленными книгами. Потом принялся разжигать огонь в печи. Теперь и он молчал, дожидаясь, пока заговорит брат. Кто знает, может, Василе пришел поговорить насчет своей земли.

— Батяня Андроне,— заговорил сторож,— что же мне с той землей, значит, сделать? Четыре года, считай, прошло с той поры, как я с военной службы пришел. Пора мне остепениться и домом обзавестись.

— Братец Василе,— мягко отвечал Андроне,— поступай так, как считаешь нужным и как тебе лучше. Пять лет, пока ты был на военной службе, я заботился о тебе и помогал. А потом, когда помер наш родитель, мы землю разделили по справедливости. И решили мы платить тебе за твою землю, пока будешь на должности и соберешь деньжат. Покуда мы, стало быть, поступали по-братски. А если ты службу бросаешь и возможность имеешь избу строить,— получишь положенное. Я, как старшой, против тебя не пойду. Хорошо говорю?

— Хорошо, батяня!

Оба замолчали. Андроне поставил котелок для мамалыги на таганок.

— Когда же ты думаешь выделиться, Василе? Ай заприметил какую-нибудь девку?

— Да так, подумал я, пришла моя пора,— отозвался сторож.— Решить-то я еще не решил, покуда не угомонюсь. В мои-то годы спешить не полагается.

— Слушай, парсень,— решительно заговорил Андроне, оборачиваясь к брату,— не для такого разговору явился ты ко мне. Есть у тебя что-то на душе. Выкладывай-ка скоренько и облегчи сердце: заботы эти и думы — как отравы. Сторож замялся.

— Сказал бы я тебе, батяня, да стыдно мне.

Хоть и был он высокий и усатый, а говорил робко и перед Андроне казался совсем мальчишкой.

— Рассказывай,— настаивал Андроне, пристально глядя на него.

— Ладно, расскажу, батяня Андроне. Беда моя тянется с того самого дня, как мы остановили мельницу на Серете. Вернулся я, значит, тем же вечером с Халма в рошу на берег, и посидели мы у костра с девкой Кирилэ.

— Ага,— пробормотал Андроне.

— Ну, поговорили мы по-хорошему, как водится у парня с девкой.

— Так не девка же она, брат Василе, а баба, да еще из хитрых.

— Откуда ты, батяня, это знаешь? И верно ведь, го-всрил я ей тогда вечером, что брошу, мол, службу и вы-строю себе дом, а на второй день, когда сызнава спустился к мельнице,— там уж и след ее простыл. Мельница стояла около роши, Кирилэ спал у костра.. Только костер потух и Аницы не было. Поискал я ее на мельнице, потом развел костер и стал ждать. Встал и старик. Спрашиваю его, а он был подвыпивши. Смеется и говорит, что, дескать, ведать ничего не ведаст. Какая еще девка? Никакой девки он не знает. Может, Серет унес ее. Он скалит зубы, а у меня на сердце такое делается — впору стукнуть его по голове. Походил я еще туда-сюда. Побывал в деревне у Коту-Епий, потом здесь, в Бучуменах,— нет ее. Сна я лишился, от еды меня отшибло.

— Гм, околдовала, стало быть, и тебя...

Василе кинул на него мрачный, непонимающий взор.

— Можно сказать, захворал я, батяня Андроне. Со мной никогда такого не бывало. И вот, значит, доходит до меня слух, будто Аница у Франца лесничего, на той сто-роне Мэкэрешт, в лесу. А что она там делает, так я и не разобрал. И пошел я как-то вечером туда. Нет ее там. Никто не слышал ни о какой Анице, пустой звон, выходит. Понять не могу, и почему она меня так пытается после тех слов, которые мы говорили, и после всего, что было.. Одно вижу, не усидеть мне на Халме. И Кирилэ я больше в глаза не видел.

Андроне смеялся негромко.

— Чай, полетела к батьке, к сатане, верхом на метле.

— Зачем смеяться, батяня Андроне? Может, знаешь что-нибудь?

— Смеюсь, паря, над твоей глупой башкой. Не видел ты разве еще тогда, что в дочери Кирилэ сам черт сидит? Не приметил, как бегала глазами да играла телом? С та-кой хозяйствовать не будешь. Такие иные знают порядки, иные им мужики нужны.

— А может, все-таки знаешь, где она? — спросил Ва-силе и смущенно потупился.

— Не знаю! Откудова мне знать? — рассердился Ан-дроне.— Брось ты, парень, думать о такой змеюке. Чай, спряталась кто ее знает куда, да и живет себе с каким-нибудь мироедом.

— Ох, батяня, правду ли сказывают люди?

Андроне молча покосился на него, потом бережными и медленными движениями стал помешивать мамалыгу.

Положив деревянные ложки на низкий трехногий столик, он принес миску кислого овечьего молока и разрезал ниткой мамалыгу на четыре части.

— Бери и ешь,— мягко сказал он.— Забудь, что было. Не дитя ты и не баба.

Василе промолчал и, задумавшись, стал нехотя черпать молоко из миски. Теплый пар от мамалыги поднимался между ним и братом, и в струйках его застывшим глазам Василе мерещился образ Аницы. Потом он как будто успокоился и заговорил о посторонних вещах. Но Андроне знал, что брат его парень упорный, норовистый, и подозревал в нем затаенные планы и стремления.

— С землицей, значит, остается как было?

Василе кивнул, все думая о своем.

* * *

К призраку, мелькнувшему перед глазами Василе, спешил в этот час и боярин Александру Филоти. Он полулежал в одноколке, и конь крупной рысью нес его по окаймленной ивами дороге, ведущей к Серету. Это был час отдыха для жителей усадьбы и города, и лишь немногие торговцы поднимали голову из-за прилавка и долго следили за мчавшимся в облаке пыли боярином. Выехав из города, Филоти взял влево по мягкой проселочной дороге. После долгих поворотов и объездов он спустился в ложбину, к северу от Бучумен. Там, окруженные плетеным забором с колючей стрехой, стояли большие амбары именья. По одну сторону двора выстроились в ряд обширные сараи, по другую стояли два низких домика посреди левады. Сгорбленный старик с нависшими густыми бровями открыл высокие окованные железом ворота. При въезде боярина он поклонился, бормоча приветствия. Потом снова запер ворота и задвинул тяжелые засовы. Филоти ехал шагом мимо низких навесов, под которыми грудой лежали странные перепутанные остовы различных машин. Большею частью они были мертвы и валялись там, побежденные враждебностью крестьян и слуг, в то время как люди на полях с радостью и удовольствием обращались снова к своим древним, примитивным орудиям. Филоти разглядывал их, улыбаясь привычной, еле уловимой

улыбкой. Он миновал их и остановился перед одним из домиков. Ни одной живой души не показалось — все вокруг было объято тишиной и покоем, как в храме.

Шаркая по пыли кожанцами, подошел старик с нависшими бровями и взял коня под уздцы.

— Господин Людвиг дома? — спросил боярин.

— Целуем ручку, кормилец, — отвечал старик. — Должен тут где-то быть, поблизости: чай, машинерию какую-нибудь чинит. Ай прикажешь кликнуть его?

— Нет, нет, оставь его в покое, у меня к нему нет никакого дела.

Оглянувшись еще раз, Филоти вступил в широко распахнутую низкую дверь. Пройдя сени, он вошел в веселую комнату с цветочными горшками на окошках. Белые занавесочки, вышитые красным. На кроватях домотканые шерстяные покрывала. Шифоньерка с большим зеркалом, стол и несколько стульев. В комнате никого не было. Пораженный боярин застыл на месте. Но тут же повернулся к двери. Ему послышались легкие шаги во дворе. Вошла Аница. Мельком, будто случайно, взглянув на Филоти, она прошла к шкафу у печки, нагнулась к нему и быстрыми, гибкими движениями принялась что-то там искать.

Филоти внимательно разглядывал ее, внезапно пробудившись от своих грез. На лице его появилась изумленная и радостная улыбка. Сегодня, как и в другие дни, дочь Кирилэ опять предстала перед ним в новом облике. На этот раз ее одежда ничем не напоминала деревенскую. Аница была в юбке из черного сукна и белой шелковой блузке. На ногах красовались сафьяновые туфельки. Именно эти туфли надолго приковали к себе взгляд боярина. Они были маленькие, на высоких каблуках, а над ними блестели тонкие чулки. Под черной юбкой шелестели накрахмаленные оборки нижней юбки. Нежные руки хранили еще следы загара. Прическа теперь уже красиво оттеняла лоб. Вся внешность Аницы была какой-то поразительно новой. И улыбка, когда она вторично подняла глаза, была тоже новой.

— Что ты там ищешь? — спросил ее боярин, точно говорил с ребенком.

— У меня тут вишневое варенье, — отвечала она смеясь.

— Скажи пожалуйста!

— Да, да. Я сейчас воды холодной из колодца принесу.

Она поставила на стол поднос, а на него вазочку с вареньем, стакан и ложечку. И с фаянсовой кружкой в руке мелкими шажками побежала во двор. Боярин опустился на стул и замер недвижно, задумчиво глядя ей вслед.

— Странно,— пробормотал он и оглянулся, точно кто-то другой произнес эти слова.

Аница вернулась с водой, наполнила стакан. Филоти взял вишенку и отхлебнул глоток воды. Потом опять взглянул на сафьяновые туфли.

— Мне нравится твоя обувь,— сказал он.— Почему не сядешь?

— Нравятся туфли? — радостно спросила она.— Мадам Йозефина привезла мне их из Ясс.

Она продолжала стоять.

— Что же не садись? — настаивал Филоти.

Она села на стул и расправила юбку. Потом стыдливо шепнула:

— Чего смеешься?

— Ты с каждым днем все хорошеешь,— сказал Филоти, вставая и близко подходя к ней.

Аница опустила глаза. Филоти вдруг показалось, что между ним и этой новой женщиной, сидящей рядом, поднялась какая-то стена. Первая встреча после того памятного дня у Серета была весьма простой и грубой. С тех пор он виделся с ней несколько раз мельком. Он смутно почувствовал в ней какое-то сопротивление, что-то недосказанное. Теперь он понимал, что перед ним сидит совсем другой человек. Филоти подумал, что отныне необходимы иные слова, более деликатные жесты, это пробудило в нем трепет наслаждения.

— А ты знаешь, что тебе придется отправиться в Яссы? — сказал он, присаживаясь рядом и взяв ее руку.

Она не спросила — почему, только подняла на него большие красивые глаза.

— Твое место не здесь,— продолжал, улыбаясь, Филоти.— Я приказал своему человеку приискать там дом. У тебя будет все, ты останешься довольна.

Аница еле слышно вздохнула, и Филоти понял, что ей хочется о чем-то спросить.

— Я тоже туда приеду,— продолжал он.— Здесь за тобой следят, глаз не спускают.

— Если так нужно, если вы тоже приедете,— кротким голосом сказала она,— что ж, я поеду.

«Странное дело! — думал Филоти, любуясь ее влажными глазами.— Эта крестьяночка начинает меня по-настоящему интересовать». И в то же время он спрашивал себя, допустимо ли и сейчас поступить с ней грубо, по-хозяйски, как в первый раз. Он не позволил себе ничего такого, и эта новая, приятная игра зашекотала его усталые нервы, словно извращение.

Много позже, выйдя на пустынный двор, Филоти удивленно поглядел на сгорбленного старика, стоявшего у одноколки.

— Ты давно здесь, дедушка? — спросил он весело. И, порывшись в жилетном кармане, протянул ему серебряную монету. С тем же удивлением взглянул он и на скелеты мертвых машин.

Потом, когда тяжелые, словно крепостные, ворота замкнулись за его спиной, Филоти пустил коня мерным шагом и запел французскую шансонетку. Высокие заросли кустарника с красными кистями сверкали в лучах полуденного солнца. Вокруг, как в пустыне, стояла глубокая тишина и несся запах горячей пыли.

Глава пятая

ВАСИЛЕ БРЕБУ ОЗОРНИЧАЕТ

Дождь уже прекратился, когда Филипп Наквич соскочил со своего белого иноходца у главного подъезда. Но воздух все еще был насыщен влагой, и над самой землей недвижно висела густая пелена тумана. Было девять часов. Жан Кавалье, очевидно, подстерегал управителя у одного из окон,— сухощавое лицо его тотчас мелькнуло в тени передней. На балконе он оступился, вид у него был удивленный и напуганный.

— Барин дожидай!..— сказал он тонким голосом на своем собственном, весьма шепелявом румынском наречии.

— Ждет меня? Очень хорошо,— отозвался басом Наквич.— Он во-время получил мое письмо?

— Полюшиль шесть шасов,— произнес Жан, вытянув вперед шесть пальцев.— Дезире одевайсь, дожидай!..

— Ага, дезире, дожде,— отвечал Филипп на своем собственном французском наречии.— Тогда, мусю Жан, изволь доложить, что я прибыл.

Кавалье повернулся на каблуках, но сейчас же торопливо и почтительно отошел в сторону. В переднюю выходил боярин. Камердинер исчез в ту же дверь.

— Ну что, Филипп? — быстро спросил Филоти, хмуря брови. — Как это произошло? Говори скорее. Я дожидаясь тебя целый час.

— Что ж, господин Алеку, пока я разобрался, как было дело, пока распорядился, чтобы привели этого типа сюда...

— Ага, ведут его, — вздрогнул Филоти и шагнул к перилам балкона.

Боярин замер, напрягая зрение и разглядывая приближавшееся шествие. Лицо его исказилось, полуоткрытые губы растянулись, обнажая зубы. Он злобно ухмылялся. К главному подъезду, окруженный крестьянами в зипунах, шагал, скользя кожанцами по грязи, Василе Бребу. Был он с непокрытой головой, в расстегнутой на груди рубашке, с крепко стянутыми назад локтями. Мокрые и взъерошенные волосы, прилипшие ко лбу, следы грязи на лице придавали ему испуганный и дикий вид.

Боярские слуги рванули его и в толчки направили к лестнице.

— Сюда его, ко мне! — грозно крикнул Филоти.

Слуги грудью навалились на пленника, заставляя его подняться вверх по лестнице.

Филоти отступил на два шага и взглянул на него исподлобья.

— Кто ты такой? Как тебя зовут? — коротко спросил он, поднимая бороду.

— Я Василе Бребу, — усталым голосом пробормотал парень. — Сторож я, на Халме.

— Он на боярской службе, — ответил Филипп на немой вопрос в глазах боярина.

— Вот как! Служишь в моем именье, а делаешь подлости! Подбираешься к боярским амбарам, воровать да людей убивать? Он перелез через забор у больших амбаров, — фыркнув, крикнул Филоти сыну, который только что показался сонный, в халате.

— Какой же ты после этого господский человек? И что тебе там было нужно?

— Было там у меня дельце, — невозмутимо заговорил Василе и уставился взглядом в стену над головой боярина.

— Ах, да ты, оказывается, не только подлец, но и нахал,— вскинулся Филоти, все больше раздражаясь.— У тебя было дело,— злобно прошипел он.— У тебя дело! — Он судорожным движением вырвал из рук Филиппа Наковича черный арапник и дважды быстро хлестнул крестьянина.

— Дело у тебя было? Какое дело? — скрежетал он зубами, задыхаясь от бешенства.

Крестьянин успел только склонить голову набок и втянуть ее в плечи.

Первый удар пришелся ему по шее. Второй обжег лицо и рассек губы. Капли крови потекли по усам на волосатую грудь. Кости побледнел.

— Папа! — попытался он вмешаться.— Что ты делаешь?

У открытого окна в конце балкона послышался удивленный и жалостливый возглас госпожи Матильды. Филоти отбросил арапник и, не мигая, посмотрел в сторону, скрипнув в бешенстве зубами. Хотелось ему еще кое о чем спросить, но он увидел кровь на лице и груди избитого и вспомнил, что здесь присутствует Кости.

— Заберите его! — крикнул он челяди.— Ведите в примэрию. Пусть им там как следует займутся и не дают спуску. Филипп, следуй за мной, мне нужно с тобой поговорить.

В библиотеке боярин неожиданно глубоко вздохнул. Гнев его потух, он устало взглянул на управителя.

— Что же там случилось, Филипп? Ты мне так и не объяснил, что произошло и как было дело. Ага, это он,— заговорил Филоти внезапно изменившимся голосом.— Теперь я окончательно узнаю его.

— Кого это, господин Алеку? — озабоченно спросил Накович.

— Как кого? Человека, которого ты привел. Я узнал его сразу, лишь только он испуганно взглянул на меня после удара. Если я еще некоторое время сомневался, то теперь совершенно уверен. Я возвращался однажды с хутора в одноколке. Он остановился у дороги и снял шляпу. И смотрел он на меня все так же странно. Значит, он бродил там и вынюхивал. А дорога, по которой я ездил, служила для него указателем. Что ж, разве там не было собак, не было стражников?

— Были, господин Алеку, как всегда. А с некоторых

пор,— вы сами знаете с каких,— я ставил каждую ночь двух стражников.

— Ну?

— Ну вот, собаки подняли лай. Стражники тут же выскочили из-под своего навеса и поймали его.

— А ведь он и не пытался проникнуть к машинисту, не так ли?

— Так.

— Разумеется,— злобно ухмыльнулся Филоти и встревоженно зашагал перед Наковичем. Он все не решался говорить прямо.— Послушай, Филипп, надо будет отправиться туда и взглянуть на следы вокруг домика... Я хочу понять и разобраться.

— Не нужно, господин Алеку,— серьезно отвечал управитель.— Я сам уже произвел расследование. После дождя земля размякла, и я рассмотрел следы. В леваде я нашел следы кожанцев, сперва около домика Мадолчи-машиниста, а потом у второго домика. Интересующая нас особа не выходила, господин Алеку; она закричала в окно через решетку, и стражники, сразу догадавшись, бросились туда. Там-то они его и поймали.

Боярин внезапно повеселел.

— Так вот, значит, как было дело?

— Да, господин, как я вам говорил.

— И она не испугалась?

— Сперва-то испугалась, да потом успокоилась.

— Слушай, Филипп,— оживленно заговорил боярин.— Мы не должны больше терять ни минуты, понятно? Ни единой минуты. Приведи немедленно Шапсу. Он должен первым же поездом отвезти ее в Яссы. Я и Кости дважды встречал верхом по пути к амбарам. Всю эту историю необходимо прекратить. Я хочу, наконец, жить спокойно. Куда же ты?

— За Шапсой, господин Алеку.

— Хорошо, иди. Мое решение — чтобы он первым же поездом... понял? Если будешь в примэрии, посмотри, что они там делают. Этот несчастный меня больше не интересуется. Когда ее здесь больше не будет, исчезнут и эти последние отзвуки прошлого.

Филоти продолжал тревожно расхаживать по комнате. Полный радостного ощущения минувшей угрозы, он все пытался что-то открыть Филиппу. Слова так и рвались с языка.

— А ведь та особа стала совсем другой, Филипп! — Но он сдержался и, улыбнувшись, махнул рукой, давая понять управителю, что он свободен.

Господские челядинцы, окружавшие связанного пленника, выйдя со двора, повели его по большой улице, а затем свернули к примэрии. Было это в субботний день, в пору осенних праздников; город был безлюден, лавки закрыты; и все же сквозь кривые и замызганные окна несколько пар глаз заметило большую группу крестьян, месивших грязь огромными кожанцами. Гидале Горбатый первый словно из-под земли вынырнул из-за своих прилавков и пугливо уставился на связанного, окровавленного пленника. Поглядев несколько мгновений, Гидале повернулся и нырнул обратно, точно мышь в свою норку. И тут же появился вновь, на этот раз вместе с толстой супругой и двумя тоненькими, тщедушными дочерьми. Теперь они, не отрываясь, глядели вчетвером. Потом прошли мимо лавок, где уже выстраивались другие зрители. Казалось, по всему городку заработал тайный телеграф: и на следующей улице сразу же началось движение, едва показалась вдали свита, окружавшая человека с жутким, окровавленным лицом.

Портной Кива, самый искусный и умный портной в городе, выскочил в одной жилетке и бросился на дорогу. Он увидел повсюду мелькавшие лица и пришел к убеждению, что в городе произошло нечто страшное. «Грабеж или даже смертоубийство!» — крикнул он. Кива совсем было собрался ринуться вперед, да вспомнил, что он без шляпы; взглянув на небо, он увидел, что дело идет к дождю. Тогда он сделал два прыжка назад и принялся отчаянным голосом требовать шляпу, махая руками и торопя домашних. Из дому выбежал мальчик с серым котелком в руках. Следом за ним высыпали на улицу и другие обитатели дома — мужчины, женщины, дети.

Но Кива вопил снова: он заметил, что на нем одна жилетка. Ему нужен был обязательно сюртук, и он опять засуетился, крича и требуя его. Когда принесли сюртук, он вырвал его и, одеваясь на ходу, размахивая взлетающими над головой лапами, помчался за убийцей. В своем сером котелке, в строгом, сшитом по последней моде, сюртуке, с английскими бакенами, Кива мог показаться внушительным и серьезным джентльменом, если бы, подгоняемый желанием первым проведать о том, что случилось и

что может произойти в дальнейшем, не бежал он столь недостойным образом. На улицу со всех сторон спешила пестрая толпа. В пустынном городе внезапно забурлила жизнь.

Господские люди, окружавшие Василе Бребу, вошли в примэрию. Перед большим желтым зданием примэрии толпились и шумели горожане. Синагоги тоже мгновенно опустели. Молившиеся задавали вопросы и строили предположения, потом вновь задавали вопросы и строили новые предположения. Все были весьма оживлены и озабочены.

Кива не мог больше ждать. Он поправил на голове серый котелок, смело прошел по мостику и вошел в здание примэрии. У других хватило решимости добраться только до дверей; оттуда они заглядывали в щели и в грязные окна.

Что? Что могло произойти? Некоторые женщины вздыхали и всхлипывали.

Наконец, вернулся Кива, веселый, сияющий и важный. Все окружили его, калетая друг на друга.

— Что такое, Кива? Что случилось, Кива?

— Ша! Ша! Замолчите! Киве трудно говорить!.. Что такое? Что стряслось?

— Ничего не стряслось! — отвечал Кива, согнув перед грудью руки с выставленными вперед ладонями.

— Что он говорит? Что он сказал?

— Говорит, что ничего не случилось.

— То есть кое-что случилось,— продолжал, усмехаясь, Кива,— но пока неизвестно, что именно. Я говорил с самим господином примарем и господином писарем. Там и Шапса. Следствия еще не было. Кажется, этот человек что-то украл.

— Что он украл? У кого украл?

— Да замолчите вы! Разве я не сказал, что ничего еще неизвестно? Пророк я, что ли? Я искусный портной, а не пророк. Я лучше скажу вам, какую новость я только что узнал. Эта весть пришла по телеграфу из самого Бухареста.

Горожане остолбенели. Весть по телеграфу, из самого Бухареста? Ох, уж этот Кива! Доведет вас до изнеможения, и только тогда скажет, да и то лишь наполовину. Какая же это весть пришла из самого Бухареста по телеграфу?

— Пришла весть из Бухареста,— радостно сказал Кива, поводя вокруг тремя сложенными пальцами правой руки.— Очень большая весть пришла. Пришла весть, что нашего боярина выбирают депутатом, что он будет даже и министром.

— Как? Кто? — завопили со всех сторон.

— Наш боярин?

— Что там, что там с нашим боярином? Нам ничего не слышно. Что случилось с нашим боярином?

— Министром будет!

— Как это так? Слышишь? Наш боярин будет министром. Кива узнал в примэрии, что пришла телеграмма из Бухареста.

Все, узнав новость, были охвачены необъяснимой радостью.

— Пойдите вы, подождите,— снова заговорил Кива, потрясая руками, чтобы добиться тишины.— Сначала будут депутатские выборы. Освободилось вакантное место в третьей коллегии.

— Слышали, слышали? А что такое вакантное место?

Эти два румынских слова, застрявшие среди еврейских, казались пока загадкой. Кива имел обыкновение беспрестанно пересыпать свою речь румынскими словами.

— Освободилось вакантное место в третьей коллегии,— безжалостно продолжал он.

— А что такое третья коллегия?

Но большинству было известно, что такое третья коллегия. Знатоки обернулись и пристыдили женщин и детей, не ведавших таких простых вещей.

— Кто глуп и не понимает, тот пусть молчит! Говори скорей, Кива. Освободилось вакантное место в третьей коллегии... Ну и что, если освободилось вакантное место в третьей коллегии?

— Да, освободилось вакантное место,— отвечал Кива,— и теперь будут выборы. Соберутся в уездном городе избиратели и делегаты крестьян.

— Делегаты... Уездный город...— с удивлением и удовольствием повторяли слушатели.

— И там они изберут депутатом боярина,— гордо заключил Кива, сдвинув котелок на затылок.

Но, почувствовав, что последний вывод не вызвал осо-

бого энтузиазма, Кива решил присовокупить несколько личных соображений о столице.

— Он поедет в Бухарест и сделается министром,— продолжал портной разгорячась.— Бухарест — большой и такой красивый горд. Я был в Бухаресте и знаю. Чего там только нет! Богатство и тьма магазинов! И повсюду дворцы, а бояре разъезжают только в каретах. Когда я там был, праздновали день Десятого мая. И вышел сам его величество король на парад и с ним все министры. Наш боярин тоже будет министром и выйдет вместе с его величеством на парад, и в газетах о нем пропечатают. И были тогда и генералы и солдаты... Когда я там был... И кавалерия и пушки... И шли они, все шли, может два часа подряд... И ученики школ все шли-и-и...

Кива изображал руками что-то длинное и бесконечно большое. Но его новость потеряла всякое очарование, и толпа начала понемногу расходиться. Внезапно пошел дождь. Тогда и Кива, как все вокруг, помчался к дому, прыгая по грязи и перескакивая через лужи.

* * *

В большой комнате примэрии, в «зале коммунального совета», как называли ее обычно чиновники, стоял немолчный гул голосов. Табачный дым окутывал все, подобно туману. Каждый из присутствующих принес на подметках свою долю грязи в комнату. Теперь они дымили и, расхаживая по скользкому, замызганному полу, обсуждали новость.

В особенно бодром настроении пребывал Якобаке.

— Ты должен понять,— втолковывал он писарю Георгиу,— что это возвышает и наш город. Теперь у нас будет свой собственный депутат и министр. Это уж совсем другое дело.

Георгиу был человек с узким и вдавленным лбом. Обезьянья челюсть и мрачная угрюмость придавали его лицу выражение свирепости; сослуживцы, однако, знали, что нрав у него мягкий. Соображал он порою туго, и в данном случае это совсем не нравилось примарию.

— Вот пусть и господин Шапса тебе скажет! — крикнул Якобаке.— Господин Шапса, верно я говорю или нет?

— В чем дело, прошу вас? — весело осведомился Шапса, подходя ближе и не сводя с них своего единственного полузакрытого глаза.

— Да вот втолковываю Георгиу, что дело это представляет для нас бльшую важность.

— Какую там еще важность? — резко проговорил Георгиу, хмуро глядя на них.— Боярин остается боярином. Ему-то какое до нас дело? Уедет себе в Яссы или в Бухарест и станет там жить. А мы здесь останемся. Вот и весь разговор.

Георгиу подкреплял свою мысль скупыми движениями, показывая при этом уродливые руки, с короткими узловатыми пальцами-культяпками. Шапса со страхом взглянул своим здоровым глазом на эти пальцы.

— Что ж, по-своему прав и господин писарь,— сказал он.

— Конечно, я прав... Он живет там, мы — здесь, и конец...

— Да ему и нет надобности нами интересоваться,— продолжал, улыбаясь, Шапса.— Он боярин, и все тут. Но зато можем интересоваться мы. Случись у нас, скажем, какое-нибудь дело, тяжба какая, потребуйся какое-нибудь разрешение, какой-нибудь коммунальный налог — мы находим боярина, просим его — и он для нас делает.

— Разве что так...— с сомнением пробормотал писарь.

— Это совсем другое! — крикнул Якобаке, ероша бакенбарды.— Я имею в виду выпавшую на нашу долю честь. У нас свой депутат и свой министр,— гордо закончил он, ткнув правой рукой в одну стену и левой в другую. Вот и выходит, что мы не стоим на месте.

Шапса поглядел своим полузакрытым глазом налево, а затем направо. На стене, против двери, над столом примаря, он увидел старинную гравюру, изображавшую Капитолий. Напротив, возле самой двери, висел плакат о вреде алкоголя.

— М-да, и это правда...— согласился он вполголоса.

Вслед за Шапсой, заткнув перья за ухо, подошли и прочие чиновники примэрии.

— Я говорю о чести, которой мы удостоились,— пояснил им Якобаке.

— Само собой! — бурно заговорил кругленький кассир.— Само собой! Я с каких пор толкую им... Сколько уездных городов имеется в стране?

— Тридцать два,— поспешно заявил юноша-практикант с еле пробивающимися усами.

— Тридцать два,— громко повторил кассир, окидывая всех горделивым взглядом с ног до головы.— И сколько же у нас министров?

— Семь,— сказал примарь.— А я что говорю?

— Pardou, значит, только семь уездных городов...

— Понятно, понятно! — воскликнул Якобаке.— А я о чем говорю? Мы не столица, а у нас...

— Ну и что с того, что мы не столица? — снова хмуро пробормотал писарь.— Оклад он мне увеличит? За ваши квартиры заплатит? Не пойму, ей-богу, чего вы так радуетесь? Я занимаюсь своим делом — и все тут!

Он швырнул окурок вправо, плюнул влево и прошел к своему столу, стоявшему под антиалкогольным плакатом.

— Так и знайте: опять его жена муштровала,— шепнул Якобаке, подмигивая окружающим. Потом потянул Шапсу в сторону.— Слушай, господин Шапса, говорил ты с Фишелом?

— С Фишелом? Да, я Фишела видел.

— А я не спрашиваю, видел ты его или нет. Я спрашиваю, говорил ли ты с ним? В день именин боярина завел он ни с того ни с сего речь о каком-то дельце с корчмой. Мне Накович рассказывал. А мы ведь, кажется, столковались.

— Меня там не было, я уже сказал вам,— защищался Шапса.— И что с того, что он сказал боярину? Я говорил с ним. Конечно, сделку надо заключить с вами и с господином Филиппом. Ведь хорошо известно, что паршивый еврей не имеет права открывать корчму на свое собственное имя.

— Брось шутить, Шапса, мы здесь толкуем о серьезных вещах,— упрекнул его Якобаке.— Раз ты с ним беседовал, хорошо, пусть мотает себе на ус. Когда захочет столковаться, дорога ко мне и к Филиппу ему известна. Ты еще тут задержишься? — продолжал он, отводя его к окну.— Сейчас и Накович придет. Нужно договориться касательно коммунальных сборов. Дело хорошее, только очень деликатное. Я уже говорил вам: вмешиваюсь ровно настолько, насколько нужно, ведь я все-таки власть. Ну, а в остальном могу вам предоставить все льготы — мы же друзья.

Шапса улыбался, глядя в окно.

— Что такое, Рэдукану? — обратился примарь к тол-

стому человеку с заплывшим лицом, стремительно ворвавшегося в зал.

Шапса вздрогнул.

— Господин примарь... Привели того самого человека... про которого давал вам знать господин Филипп...

— Ага, ага! А в чем дело? Я что-то не припомню...— говорил про себя Якобаке, устремляя взор то в пол, то в потолок.— Приведи-ка его сюда! — Потом стукнул ладонью по лбу.— А как его зовут?

— Да есть такой сторож на Халме, Василе Бребу.

— Ну, когда так, все ясно! Отправь немедленно стражника, пусть пригласит ко мне в примэрию брата его, Андроне. Тут, как мне кажется, дело нечисто. Должно быть, козни этого самого Андроне.

— Да ничего особенного не случилось, господин примарь.

— Как это возможно? Говоришь, ничего особенного не случилось, господин помощник комиссара? Так-то ты ведешь дознание?

— Никакого я дознания не вел. Так говорят боярские слуги. Ни увечья, ни грабежа не было.

— Так? Ни увечья, ни грабежа? А мы вот сами посмотрим. Много я вел подобных дознаний. Бывает, откроешь такое, что и на мысль не приходило. Пошли за Андроне. Да приведи ко мне виновного.

Помощник комиссара повернулся всем своим грузным телом, втиснутым в поношенный мундир, и задумчиво потер не в меру красный нос. Очутившись за дверью, он сердито пожал плечами.

— Ну, коли тут хозяин его милость, если он сам всем заворачивает и все расследует, так на что еще меня сюда поставили? — пробормотал он.— Эй ты, быдло,— крикнул он Настратину.— Бросай цыгарку да перестань зевать. Отправляйся к Андроне Бребу и непременно приведи его. Господин примарь зовет его тотчас для расследования. Ты еще здесь?.. Живей поворачивайся!..

— Так мы тут не на военной службе,— прорычал Настратин, пряча папиросу.

— Что ты сказал?

— Иду, господин комиссар.

— Ну-ка, ну-ка, забулдыга, поторапливайся, а то мигом выбью тебе зуб, скорей, чем это делается у Захария-брадобрея.

— Как же... Черта ты мне вырвешь,— продолжал рычать стражник уже за дверь.— Сам-то ты будто не закладываешь за галстук, не пьянствуешь что ни ночь у Йойны. Благодать тебе и матери, тебя породившей!

Помощник комиссара довел господских людей до двери и впахнул в комнату связанного и окровавленного Василе Бребу.

— Войди и дай отчет! — крикнул он ему, упираясь рукой в затылок преступника и пытаясь толкнуть его.

Но Василе был человек рослый и сильный,— создавалось впечатление, что это он тащит за собой Рэдукану...

— Он самый и есть,— заговорил помощник комиссара, выссовываясь из-за спины арестованного.

Все повернулись и подошли ближе. Примарь накручивал на палец клоч борода, и на его изрытом оспой лице заиграла глумливая усмешка.

— Это ты совершил злодеяние?

Глаза Василе обратились вглубь зала, где стоял окруженный стульями длинный стол коммунального совета. Там, на стене, висели в позолоченных рамах портреты царствующих особ. Они улыбались ему, но он не знал, кто они такие.

— Ты совершил злодеяние? — громче повторил примарь.

Василе повернулся к Якобаке синей полосой, оставленной на лице арапником. Глаза его были словно покрыты мглою. Казалось, он ничего не чувствует, ничего не понимает.

— Эй ты! — придвинулся к нему примарь, точно боднуть его собирался.— Не слышишь, что ли? Не понимаешь?

— Не понимаю, господин примарь,— усталым голосом отозвался парень.

— То есть как это не понимаешь? Чего тебе понадобилось там, у амбаров? Кого ты хотел ограбить? Кого собрался убивать? Думаешь, я не вырву у тебя правды? Вместе с языком и с зубами вырву... И дяденьку Андроне взнуздаю тоже. Это он голова всем пакостям в моей коммуне.

— Дался тебе батяня Андроне! Он к этому делу касательства не имеет.

— Какое дело? Чего ты искал у амбаров?

— Господин примарь, грабежа и зла никакого не

было,— решительно заговорил Василе Бребу и упрямо устоялся в землю.

Господин Якобаке рывкнул: «Ха-ха!» — и пронзил арестованного горячим взглядом. Потом, выпустив через нос короткую струю дыма, отбросил папиросу и качнулся вперед.

— Не бей, господин примарь! — крикнул сторож, подняв на него страшные глаза.

Казалось, будто кто-то ножницами перерезал шум в комнате. Примарь остановился. Он вторично рывкнул: «Ха-ха!» — и поднял к бакенбардам руку, которой собирался нанести удар.

— Ничего, побеседуем с глазу на глаз в особой комнате,— продолжал он сладеньким и кротким голосом.— Веди его, Рэдукану, в погреб и потолкуй там с ним, пока я приду... И дай знать, когда прибудет его светлость, господин Андроне. Увидишь, парень, как послушно выложишь ты нам все, что было...

Василе молчал, опустив глаза. Помощник комиссара толкнул его к двери, весело посмеиваясь про себя и отворачиваясь, чтобы примарь не заметил его улыбки.

— Его милость думает, что так ведут дознание,— пробурчал он.— А с человеком надо говорить поласковой, за стаканчиком вина да за дружеской беседой. Пойдем, парень, со мной и расскажи мне все. Я комиссар и потому, значит, спрашиваю, а ты должен отвечать.

— Да нечего мне отвечать, господин комиссар.

— А если нечего отвечать, так оставьте меня в покое — у меня и без вас хлопот полон рот. Не такой я человек. Какое мне до вас дело? Я, братец, боярского происхождения, а мне на роду судьбы моей написано проводить жизнь среди мужичья. Я подал заявление, чтоб меня опять перевели, да только дед Григоре, что в Яссах, не отпускает... Суньте-ка его в погреб,— у меня делишко одно у Йойны. А может, ты, парень, девку искал, с которой дружишь?

— Оно самое и есть, господин начальник,— отвечал со смехом один из барских людей.

— Так вот оно что, Василе! — весело осведомился Рэдукану, закручивая цыгарку.— Это самое, Василе? — и он поднял к парню свой красный нос.— Да это же опасный человек,— продолжал он, покачивая головой.— Глядит зверем и не желает отвечать! Суньте его туда и двери покрепче закройте.

Якобаке еще не совсем успокоился, когда Филипп Накович вошел в примэрию. Он курил, делая частые затяжки, и расхаживал перед столом, смеясь и болтая, но был глубоко оскорблен в своих лучших чувствах. Мутному его взору мерещились кровавые картины. Но холодный рас-судок призывал к осторожности.

— Это опасный человек,— сказал он с деланным спокойствием, идя навстречу управителю.

— Кто?

— Да человек, которого ты ко мне послал!

— Какое там! — равнодушно и лениво возразил Накович.

— Слушай меня, сударь, я людей знаю.

— Ну и ладно! Поступай, как хочешь. Со стороны боярина претензий нет.

— Вот еще! — возмутился Александреску.— А как же тогда закон и порядок? Завтра, глядишь, ко мне придут грабить, послезавтра к тебе...

Накович пожал плечами. Он собирался что-то возразить, но передумал и, махнув рукой, подошел к Шапсе. Схватив маклера за пуговицу, он потащил его к окну и с решительным видом о чем-то зашептал, хмуря брови.

— Уж если они, сударь, в моих руках, этот Бребу и его братец, так я их не выпущу,— издалёка крикнул ему Якобаке.

— Хорошо, хорошо,— равнодушно произнес Филипп, продолжая разговор с Шапсой. Шапса внимательно слушал, повернув к нему ухо и уставившись единственным глазом в пол.

* * *

В тот же день после обеда Кости вместе с охотником Василе отправился в кабриолете к Серету. Стоп сидел между ними. Погода прояснилась. Резвый ветерок со струнным звоном гнал облака на север. Среди окраинных халупок, возле самого спуска, они догнали господских людей с их пленником. Он был все такой же окровавленный, взъерошенный и дикий. Шагал он согнувшись и на каждом шагу скользил по грязи своими большими кожанцами.

— Куда ведете? — спросил молодой барин.

— К амбарам... На расследование. Будет и сам господин примарь. И брата его, Андроне, приволокет.

— А тот в чем провинился? Его же не поймали.

— А мы знать не можем!..— равнодушно отвечал дворовый.

Кабриолет перегнал их. Сторож и глаз не поднял. Некоторое время охотники ехали молча. Кости повернулся к своему спутнику.

— Слушай, Василе, мне, признаться, не очень по душе этот человек.

— Какой человек, батюшка?

— Примарь Якобаке.

— А! Якобаке. Что ж, он, стало быть, власть.

— А мне кажется, он считает коммуну своим личным добром, источником прибыли.

— Кто его знает, батюшка! — нерешительно промолвил охотник.— Оно, может, и так, как ты изволишь говорить, да только наш-то крестьянин разве что понимает? Оклад у примаря больно хороший — в одном ряду с боярами живет.

— То есть как в одном ряду с боярами, Василе? С какими это боярами?

— Не изволь гневаться, твоя милость,— улыбнулся Василе.— С теми боярами, что помельче да поглупей. Хотя и они тоже больно вредные, накажи их господа!

Кости удовлетворенно рассмеялся и наградил охотника за шутку пачкой табака. Продолжая беседовать в таком же духе, они спускались к таинственным рощам, в долину.

Во время охотничьих экспедиций Кости пытался несколько раз завязать разговор об одном видении, промелькнувшем перед ним в лесу, когда он отдыхал под старой грушей у Георгиана. Но Василе, обычно такой смекалистый, почему-то никак не мог взять в толк, о чем идет речь. Прогулки верхом, которые Кости на всякий случай совершал по тем же местам один, ни к чему не привели. Его не мучил беспокойств, у него не было определенного желания, но время ст времени он с удовольствием вспоминал жаркий блеск тех глаз, что мелькнули перед ним в пятнистой тени буков.

— Слушай, Василе, я думаю, не плохо бы отправиться еще разок к Мэкэрсштам.

— К краю леса, батюшка? — улыбнулся Василе.

— Да. Теперь мы найдем там зайцев.

— Там и куропатки попадают, барин. И довольно-таки покладистые.

Кости уловил колкий намек и смолк.

— Ту первую ты, батюшка, тогда упустил,— продолжал охотник с той сдержанностью в голосе, которую Кости хорошо знал.— Что ж, со всяким бывает. Но есть и другие. Та была чужая, больше я ее не видал... Раскрыла крылышки и улетела.

— А ты наводил справки, Василе? — спросил боярский сын, не глядя на своего спутника.

— Ходил я и собак на след наставлял,— невнятно проговорил охотник.— Ты уже изволил как-то спрашивать меня. Да только что поделаешь, раз ее нет? Прознал я про другую, с карими глазами... Или тебе больше зеленые глаза по сердцу?

Кости хлестнул лошадей и улыбнулся туманам Серета. Охотник, сморщив в лукавой усмешке лицо, нагнулся над своим кисетом, пытаясь приноровиться к мерным покачиваниям кабриолета и скрутить цыгарку.

* * *

К вечеру, когда на город полились золотые лучи закатного света, несколько дам поспешили на прогулку по высохшим тропинкам. Хотя в тот день не было никакого христианского праздника, но пришлось-таки показаться на улицу ради вестей, молнией пронесшихся в полдень по всему городу.

Супруга примаря, госпожа Минодора Александреску, и Ленца Георгиу, жена писаря, сидели у Наковичей на увитой диким виноградом веранде. Босая кухарка только что принесла кофе. Госпожа Александреску была дородная блондинка; разговоривая, она курила тонкую папиросу.

— Parдон, мадам Александреску,— промолвила Аглая Накович, вот уж несколько минут, видимо, чем-то обеспокоенная.— Я сейчас же вернусь...

В гостиной раздавались звуки фортепиано и веселый пискливый смех.

— Нужно же было им это фортепиано,— тихо произнесла жена примаря, следя за дымом папиросы.

— Что ж, госпожа Минодора,— возразила писарша.— Хотят люди доставить себе удовольствие, да и карман позволяет!

— И то,— вздохнула госпожа Минодора.— Почему же ты сама не купишь?

— Думаешь, я бы не купила? — покачала головой

Ленца Георгиу, улыбаясь всем своим смуглым лицом.— Четырех дочерей имею, и хотелось бы, чтоб они были удачливой и счастливой меня.

— А вот будь у меня дети, да еще дочери...— начала, поджимая губы, жена примаря.— Я человек старых правил. Научила бы их хозяйству да порядку. Что делали твои барышни? — любезно обратилась она к возвратившейся Аглае Накович.

— Упражнялись,— отвечала хозяйка дома, повернув к ней тонкий острый нос.— Я послала их погулять, воздух им полезен. С мальчиком в этом отношении труднее, слишком много читает.

— Я тоже как-то видела его с какими-то газетами,— заметила жена примаря.

Казалось, она была чрезвычайно довольна тем, что видела мальчика за газетой. Но Аглая без улыбки взглянула на нее, и жена примаря возобновила прерванный рассказ о том, как Якобаке лично был у амбаров и расследовал дело.

— Позвал он и опросил всех. Сперва Людвиг и его Йозефину. Немка перепугалась: «Майн гот, он пришел грабить и убивать нас!»

— Возможно ли? — удивленно спросила Ленца Георгиу и рассмеялась.

— Да. И спрашивает, значит, Якобаке преступника: «Ты грабить пришел?» — «Да, грабить». — «Может, убить их хотел?» — «Хотел убить». — «Кого хотел убить?» — «Никого». — «Кого же ты грабить хотел?» — «Никого не хотел грабить». Тогда они давай вправлять ему мозги, а потом снова спрашивают: «Чего тебе надобно было у амбаров?» И брат его — Андроне звать — тоже спрашивает: «Расскажи-ка, Василе, чего тебе здесь было надобно?» — «Так я, говорит, хотел пролезть через окно или дверь вон в ту избу». — «А зачем?» — «Да просто так». — «Искал ты кого?» — «Искал». — «Послушайте, господин Людвиг и мадам Йозефина, живет кто-нибудь в этом домике?» — «Пожалуста вам, посмотрите! — кричит немка. — Никого нет. Дер домик ист пустой. Дер домик ист для гости, там никого нет». — «Ну, если там никого нет, кого же ты искал, подлюга?» — «Никого я не искал...» — «Что же ты делал у амбаров?»

— Должно, какой-нибудь дурак или полоумный,— заметила Аглая Накович.

— Может быть. Сколько ни крутил, ни вертел его Якобаке,— все напрасно. Теперь посылают его к следователю. Около амбаров они ничего не открыли. Так ни с чем и ушли. А когда вернулись, чтобы еще поразведать да порасспросить,— ворота оказались на запоре. «Почему заперты ворота?» Господский приказ. Ну, раз господский приказ, они и повернули вспять. Так-таки ничего и не узнали. А ведь Якобаке умсет вести расследование...

Убедившись, что кофе и папироска на исходе, а присутствующие проинформированы, грузная Минодора поднялась со стула и собралась уходить.

— А что скажете насчет боярина? — спросила она между прочим.— Его назначают депутатом. Можно сказать, для нашего города это большая честь и слава...

— Возможно,— недоверчиво заметила Ленца, и опять ее лицо осветилось улыбкой.— Я прощаюсь и побегу домой. Георгиу меня ждет. Он всегда голоден как волк.

Проворным движением она обняла подруг и, сбегав по ступенькам веранды, спустилась на улицу.

— И не скажешь, что у нее взрослые дочери,— проговорила, улыбаясь, Аглая Накович.— Молода и красива по-прежнему.

Госпожа Минодора удивленно взглянула на нее.

— По правде сказать, госпожа Накович, я никогда не была в состоянии понять, как она могла прожить целую жизнь с таким некрасивым человеком...

— Они дружно живут,— заметила Аглая.

— Я бы не заночевала с ним под одной кровлей. И дочки все в него пошли. Да он не только урод, он еще и балбес. От слова ее ни на шаг не отступит. Уж точно она принцесса какая!

— Он любит ее,— снова шепнула с улыбкой Аглая.

— Гм,— заключила примарша, изобразив на лице презрительную гримасу и косым взглядом разглядывая пепел на папиресе.

Аглая Накович не спускала с нее глаз и в то же время неотрывно следила за своими дочерьми. Остановившись у поворота шоссе, они глубоким, грациозным поклоном отвечали на вежливое приветствие Кости. Охотники с грохотом промчались в своем кабриолете. Девушки зашагали к дому, горячо о чем-то разговаривая. С веселым щебетаньем поднялись они на веранду. Госпожа Минодора, полузакрыв один глаз, долго наблюдала за ними.

Девочки прошли в гостиную. Лауренция уселась на высокий табурет у фортепиано и, окутанная вечерними тенями, о чем-то замечталась. Мэриора, крадучись, подошла к ней и, внезапно обхватив ее руками, принялась горячо целовать в брови и в щеки.

Вышел из своей кельи взъерошенный Адам.

— А у нас секрет,— запела Мэриора и, преградив ему дорогу, подбоченилась и нагнулась к мальчику, стараясь заглянуть ему в глаза.

— Оставьте меня в покое,— негодуяще пробасил он. Девушки смеялись и щебетали ему вслед.

Глава шестая

ЛЮДИ И ГОРЕСТИ, УШЕДШИЕ ВМЕСТЕ С ВЕКОМ

В 1890 году в Яссах только салон госпожи Леоны Негру, со всеобщего молчаливого согласия, считался последним прибежищем родовитых бояр. В другие дома, возможно более блестящие и более богатые, допускались и новые люди. А сюда приезжали только представители «хорошего тона». Все кареты, заворачивавшие под своды главного подъезда, были украшены гербами. Именно это и пыталась объяснить племяннику госпожа Матильда, сидя в карете, которая мерно покачивалась на рессорах, влекомая старыми конями по Карловской улице. Был ясный зимний вечер. В лучах отраженного снегом света, проникавшего в карету сквозь зеркальное стекло, Кости любовался красивой улыбкой тетушки. После двух парижских зим юноша вступал в ясский мир, мир традиций и воспоминаний.

— Да, да, не смейся, Кости,— проникновенно говорила госпожа Матильда.— Я по крайней мере чувствую себя хорошо только среди своих. Только здесь, как в старину, сохранился истинно хороший тон, люди рассуждают об общественных делах без тени волнения, словно говорят о буднях собственных поместий. Смеешься? А ведь это именно так.

— Придется поскучать среди старичков.

— Ты убедишься, Кости, что там встречаются и молодые лица, притом самые очаровательные. Много красивых женщин улыбалось в этом доме. Матушка госпожи Леоны

была в пятидесятых годах окружена свитой не хуже, чем королева.

— Я вижу, tante Mathilde, ты хочешь пристыдить меня, что я не знаю истории страны.

— Да, по ней вздыхали все суровые деятели, вершившие тогда судьбы родины. И причуды этой прекрасной Елены нередко изменяли течение общественных дел. Иные были времена.

— Почему? Разве госпожа Леона не была такой же королевой?

— Ты увидишь ее, Кости. Была, конечно. Теперь она третий раз замужем. Муж моложе ее на несколько лет, но, уверяю тебя, она выглядит куда свежей его. Попрежнему красива и кокетлива. Бурную молодость провела она; первый воздыхатель выкрал ее. Очень приятная дама.

— Продолжай, тетушка Матильда. Этот курс куда более занимателен для меня, чем лекции в политехническом институте.

— Я еще не кончила, Кости, но мы уже у цели. Думаю, твой отец тоже будет сегодня вечером. Последнее время он кажется чем-то озабоченным.

Они вошли в подъезд и стали подниматься по широкой лестнице, устланной красным ковром. Наверху гостей встречали круглолицые, улыбающиеся служители: двое мужчин и две женщины, одинаково старые и седые, одинаково хорошо упитанные, шептавшие одни и те же приветственные слова и одинаковыми бережными движениями снимавшие с бояр шубы.

Кости был поражен, когда открылись двери, ведущие в салон, и навстречу вышла хозяйка. Он увидел женщину, еще стройную, хотя довольно полную, черноволосую, с продолговатыми, миндалевидными глазами и изогнутыми бровями. На ней было вечернее платье с низким вырезом и сибирская лиса, небрежно накинутая на обнаженные плечи. Движения ее были стремительны, глаза возбужденно сверкали.

— Наконец-то! — воскликнула она, обнимая госпожу Матильду.— Привела племянника! Добро пожаловать, милостивый государь и брат мой. Согласно довольно сложным исчислениям, мы с вами кузены. Эрнест все объяснит вам, если ему удастся оторваться от преферанса. Честь открытия принадлежит ему. Впрочем, он может в точности перечислить, кто с кем в родстве.

— Вероятно, все присутствующие составляют единую семью,— заметил Кости, церемонно целуя ее руку.

— Справедливо, очень даже справедливо,— вздохнула она с легкой грустью, секрет которой юноша не мог подозревать.— Кому же тебя представить? — шепнула она озираясь.— Есть тут несколько молоденьких женщин; у меня несколько хорошеньких племянниц. А когда перейдешь в остальные комнаты — так уж сам выпутывайся, как можешь: там либо делают политику, либо играют в карты.

— Предпочитаю оставаться в обществе красивых глаз,— проговорил Кости, глядя на нее в упор.

— А знаешь, госпожа Матильда, твоего племянника ожидает блестящая карьера,— восхищенно заметила госпожа Леона.

Кости последовал за ней по извилистым проходам от одной веселой и шумной группы гостей к другой, исполняя ритуал представления, внезапно показавшийся ему странным. Прodelав его, он уже решительно был не в состоянии сочетать хотя бы одно названное ему имя с каким-то определенным лицом. Любопытные взоры следили за ним: в своей черной одежде он был высок и строен. В нем было что-то от изящества и тонкости госпожи Матильды. Неумолчные звуки французской речи окружали его со всех сторон. Родной язык он услышал лишь один раз, при входе. Но это соображение пришло ему на ум словно лишь для того, чтобы уничтожить обманчивую иллюзию: ведь он все-таки находился в яссском салоне.

— Сегодня вечером к нам ненадолго заглянет дед Ласкар,— сообщила госпожа Леона.— Он проездом в Бухарест. Очень занят, но не может не повидать яских друзей и знает, что встретит их у меня.

— Какой дед Ласкар? — спросил несколько равнодушно Кости.

— О, брат, да ты шутник! Как можно задавать здесь подобные вопросы? Неравно кто услышит,— наживешь себе врагов. На свете только один Ласкар Катарджиу.

Кости покраснел. Затем сделал попытку извиниться.

— Извиняться тут нечего,— внушительно и строго произнесла госпожа Леона.

— Нет, я должен, сестрица, это сделать и признаться, что с детства привык благоговеть перед этим великим человеком.— Кости испытывал какую-то неловкость, ста-

раясь подбирать наиболее громкие слова.— Я буду счастлив видеть его. Это символический воин.

— Да, да...— прошептала г-жа Леона, взглянув на него потеплевшими глазами, и примиренно улыбнулась.— Подведу-ка я тебя к одной моей валашской племяннице.— Зовут ее Аспасия Корнеску. Она жена Думитраке Корнеску, секретаря посольства в Вене. Видишь, сидит одинокая и печальная. Скажи ей ласковое слово.

Но Аспасия Корнеску вовсе не производила впечатление печальной. Смуглая, с маленькой головкой, большими глазами и с черным зернышком на щеке, вдобавок украшенной еще и ямочкой, она, казалось, была рада смеяться по любому поводу. И она смеялась, поднимая к губам Кости белые пальчики надушенной и припудренной руки.

— Здесь слишком много серьезных людей,— прошептала она в сторону Кости.— Садитесь сюда и расскажите мне какую-нибудь глупость...

— Я уверена, Аспасия, что он в тебя влюбится,— заявила госпожа Леона, усаживаясь в кресло у камина.

Юноша засмеялся, чтобы не ответить, и почувствовал себя счастливым и почти уверенным, что хозяйка дома изрекла великую истину. Он еще подумывал, как выполнить только что произнесенный тоненьким голоском приказ, но Аспасия внезапно заговорила сама и принялась рассказывать свежие новости. Он с удовольствием приготовился слушать и, окутанный духами обеих женщин, поудобней уселся на диване, испытывая чувство почти физического блаженства. «Странно,— подумывал он, невнимательно слушая Аспасию Корнеску.— Госпоже Леоне нельзя дать больше тридцати пяти лет».

— У меня сегодня произошел весьма длинный разговор с мадам Бем,— рассказывала молодая соседка.— Что вы там ни говорите, а теперь уже твердо установлено: это чудо, которое вы мне представили...

— Мадам Бем — наша модистка,— объяснила с улыбкой госпожа Леона.

— А,— подхватил Кости, разглядывая черную родинку на щеке Аспасии.

— Да, как вы ни утверждайте, но теперь твердо установлено: она лишена и ума и вкуса. Взгляните только, как она отделявает бальное платье! Сейчас опишу вам сие произведение.

— Думаешь, это очень интересует твоего двоюродного брата? — заметила Леона.

— Его не интересует? А ведь это вопрос вкуса и фантазии. И, если уж на то пошло, это вещь вполне серьезная.

— Несомненно, — согласился Кости.

— Не так ли? Сейчас изображу вам платье. А кроме того, я еще хотела сказать, что она чересчур стара. Модистка должна быть молодой и веселой. И потом люди, которые не умеют быть веселыми, не могут похвастаться и добротой. Вот к нам подходит особа, которую вы так любите, Леона. Зовут ее, кажется, госпожой Матильдой, и происходит она из очень древнего рода. Но она не улыбается, и это не вызывает во мне восторга, напротив — даже немного пугает меня. Я слышала, ее племянник много симпатичнее.

— С вашего позволения, я и есть тот племянник, — вмешался Кости, еле сдерживая смех.

Госпожа Леона несказанно веселилась, перебегая черными глазами от одного к другому.

Ресницы Аспасии забились подобно мотылькам, пытающимся вырваться из тени. Потом они успокоились.

— Правда? — спросила она, несколько озадаченная, и рассмеялась, отказываясь от поисков решения загадки.

Госпожа Матильда, заметившая какое-то движение в передней, делала дружественные знаки госпоже Леоне.

— Да? — радостно встрепенулась та. — Кажется, он приехал, — с живостью обратилась она к окружающим.

Мгновенье спустя из-за портьер остальных дверей появились бороды.

Приемы в этом доме носили интимный характер. Старый государственный деятель вошел без доклада. Один из толстых лакеев поспешно распахнул обе створки двери и отступил с глубоким поклоном. Ласкар Катарджиу выступал медленно, ласково улыбаясь, словно дед, окруженный молодыми родственниками, за ним следовал небольшой штаб, от которого он не мог отделаться, а потому добродушно его терпел. В составе свиты были Костандаке, Йоргу Холбан и Филоти. Кости улыбнулся отцу: Филоти имел такой достойный и значительный вид, что сын был восхищен. Но отец показался ему бледнее обычного.

Боковые комнаты опустели. Стало тихо. Глава боярского политического мира запросто подошел к старым

знакомым. Те держали около себя более молодых, готовые представить их. Мелко шагая, старик внезапно остановился и окинул восхищенным взглядом госпожу Леону. Лысина его сверкнула под свечами канделябра.

— Что же, племянница Леона,— шутливо заговорил он на своем тягучем молдавском наречии,— ходишь босая и носишь целого медведя на плечах?

Все заулыбались. Госпожа Леона выдержала нападение и, молодо рассмеявшись, представила ему Кости.

— А,— заметил Ласкар Катарджиу,— так это сын Филоти? — И дружелюбно похлопал Кости по плечу.— Я вижу, у молодых людей приятные занятия. Очень хорошо. Это куда лучше политики.

Присутствующие переглянулись, восторженно улыбаясь. Старик, опустив голову, выслушал ответ Кости, несколько раз одобрительно кивнул и в хорошем настроении проследовал дальше.

— Настоящий боярин... Такие бывали в прежние времена...— шепнула госпожа Матильда, коснувшись плеча Кости.

— Он благословил твоего племянника,— прибавила госпожа Леона.— Пожелает Кости, так может уже теперь готовиться к работе в каком-нибудь посольстве за границей.

— А мне нравится его улыбка,— заявила Аспасия Корнеску,— хоть он и такой старый.

Кости испытывал легкое разочарование. Ему хотелось бы присутствовать при настоящем торжественном, величественном выходе. Однако он сохранил в памяти очень приятный, неторопливый и мягкий выговор старика, напоминавший речь бучуменских крестьян.

Катарджиу оставался недолго. Выпив стакан чаю, полупленный из рук госпожи Леоны, он без церемоний раскланялся. Почти все мужчины уехали вместе с ним в клуб. «Политическое совещание»,— разъяснила хозяйка дома.

Когда общее движение затихло, госпожа Леона снова расположилась в кресле у камина, и Аспасия Корнеску в подробностях изложила ей все детали истории с бальным платьем. Кости успел перейти в другую комнату, где играли в карты.

Говоря о бальном платье, Аспасия разглядывала своими большими глазами профиль госпожи Матильды,

которая сидела среди дам в другом конце салона: ее занимал взгляд Костиной тетушки, несколько холодный и далекий. Внезапно она замолчала.

— Продолжай,— попросила ее, улыбаясь, госпожа Леона.— И не забывай о своем чае, в особенности о пирожных

— У тебя в самом деле дивные пирожные. А молодого Филоти, повидимому, ничуть не занимает романтическая история моего платья.

— Возможно. Отправился к карточным столам.

— Тем лучше. Я вспомнила, что хотела спросить тебя о более интересной романтической истории, о которой слышала недавно, по приезде в Яссы. Сама мать Думитраке печально рассказала мне об этом. Но я не поняла, о чем она грустит. Да и перезабыла я все. Словно читала об этом в какой-то книге и смутно припоминаю.

— Об этом в самом деле кто-нибудь мог бы написать книгу,— взволнованно заговорила госпожа Леона.— А если ты это помнишь, то ее улыбка уже не может тебе казаться несимпатичной.

— Не очень-то я помню,— призналась Аспасия и оглянулась вокруг, точно разыскивала что-то.— Кажется, была какая-то дуэль.

— Вначале была молодая любовь,— улыбнулась госпожа Леона.— А потом Филоти вызвал того молодого человека на дуэль.

— А, теперь знаю... Теперь припоминаю,— обрадовалась Аспасия.— Знаю, и кто он. Он и министром был.

— И еще будет, возможно... Имя здесь ни при чем. Это был красивый молодой человек. И, мне думается, госпожа Матильда не забыла его и поныне, хотя больше она его не видела.

— Возможно ли?

— Как видишь, возможно.

— Тут есть что-то для меня непонятное,— шепнула обескураженная Аспасия.— Пойду погляжу, как играют в карты.

— Иди. Не думаю только, что ты там высидишь. Во-первых, табачный дым. Во-вторых, никто на тебя не смотрит. И, самое главное, все молчат.

Госпожа Леона стремительно обошла салон; потом расположилась в другом его конце, примостилась рядом с госпожой Матильдой и ласково взяла ее за руку.

К одиннадцати часам Филоти вернулся с политического совещания. Он был до некоторой степени доволен, что старый Катарджиу убедительно просил его пожертвовать собой и посвятить часть своего времени управлению министерством.

— Притом как можно скорее,— прибавил старик.— Чтобы ты был готов, как только мы тебя позовем. Ты должен мне помочь...

Мысль о том, что ему необходимо выполнить свой долг, что он должен это сделать со всем прилежанием, сил своих не жалея, все больше подкупала Филоти. Надо было решиться. «Надо серьезно решиться»,— повторял он почти вслух, выходя из экипажа и нажимая кнопку звонка. Дом, высокий и белый, со сводчатыми окнами, стоял по соседству с заснеженным садом. Услыхав дребезжанье звонка, Филоти осмотрелся, словно пробудившись от сна. Он заметил рядом Шапсу, униженно кланявшегося в тени подъезда.

— Кто это? Ты, Шапса?

— Да, ваша милость. Я ждал вас около клуба и тут же помчался вслед за вами. Сегодня получил приказ и приехал первым поездом.

— А, да, я посылал за тобой. Войди. Я хочу сказать тебе два слова.

По его голосу Шапса понял, что дела обстоят неважно. Вздохнув, он опустил голову и проскользнул вслед за боярином; потом он юркнул под самую руку Кавалье, державшего дверь.

— Где ты?— окликнул Шапсу Филоти, оглядывая просторную переднюю.

— Здесь я, боярин,— отвечал Шапса из тени.

— Ступай за мной.

Филоти сбросил шубу на руки камердинера, сам открыл дверь библиотеки и вошел. У стола он быстро осмотрелся и наклонился над письмами. Поверх французских газет лежал длинный конверт, запечатанный черным сургучом. Он взял его в руки, посмотрел на него одно мгновение и бросил на стол. Затем, заложив руки за спину, он стал прохаживаться от печки к двери и обратно. У порога, в пальто и со шляпой в руке, лихорадочно следя за его движениями, стоял Шапса. Каждый раз, когда боярин

приближался к нему, он сделал порывистое движение, словно хотел убежать. Наконец, Филоти остановился и, сдвинув брови, угрожающе поднял бороду.

— Что значит эта подлость, господин Шапса?

— Ваша милость,— начал, запинаясь, еврей.— Чтоб я так был здоров, если я знал, что они задумывают, эти подлецы, эти собаки, эти бессовестные жулики. Здесь, в Яссах, живут не банкиры, а воры! Я ругался и чуть не подрался с ними. Такие бандиты мне еще в жизни не встречались. А когда я это увидел, я немедленно сел в поезд и поехал советоваться с господином Филиппом.

— Еще один дает мне тот же самый ответ! — крикнул Филоти.

— Господин Филипп еще получит остаток при сдаче последних вагонов. Но это маловато.

— Очень мало, да и того придется ждать. Но речь идет о другом. Теперь-то уж я возьмусь за господина Наковича и рассчитаюсь с ним построжее. Как? Или он не понимает, что всему есть предел? Мое долготерпение стало для него тряпкой, которую он может топтать ногами? Разве не давал я ему полными пригоршнями? Не закрывал на многое глаз? Не бросал в мусорный ящик все доносы? Но теперь уж я ему не спущу. Сожму его в таких клещах, что и не вздохнет. Что ты так уставился? Будто у тебя с ним никаких сделок? Будто ты и знать ничего не знаешь! Гм... Тоже мне! Ты, конечно, ничего не знаешь? Ты ведь никаких сделок с Наковичем не заключал? Ты никакого барыша не получал при сдаче в аренду Ботошанских поместий? Вы даже и не думали взять подряд на коммунальные налоги? Да ведь вы же вместе со всеми этими чиновниками настоящая шайка грабителей с большой дороги! Есть ли среди вас хотя бы один порядочный человек? Якобаке плакался мне, что его преследуют и притесняют, расследование, видите ли, готовится. И тут же сам приплел какие-то ложные доносы. Бедняга, ведь он служит верой и правдой!.. Как и Накович! Как и ты! Ничего, я вам всем покажу! Я повытрясу из вас всю дурь, у вас глаза на лоб полезут...

Филоти шумно задышал, подошел к печке и повернул обратно. Шапса начал почти беззвучно скулить:

— Господин Алеку, я тут ни при чем, я всегда был вашим преданным слугой.

— Как и они, как и все остальные! — крикнул

Филоти.— Но речь не об этом, речь о дерзости, о наглости этих яссских подлецов. Ну хорошо, я нахожусь в исключительно тяжелом положении. Частичные взносы в Государственный кредитный банк — довольно большое бремя в неурожайный год. Мне еще нужны деньги. А в ответ с меня требуют погасить прежние векселя. Как? Моя подпись уже ничего не значит?

— Ваша подпись — золото. Разве я не говорил им? — попытался еле слышно вставить маклер.

— А, золото! А сами требуют уплаты в срок! Разве мало вам процентов и комиссионных, каналы?

Филоти подошел к Шапсе вплотную. Глаза его сверкали. Маклер съежился и поспешно прижался к двери, единственный глаз его широко раскрылся от ужаса. Боярин отступил, метнув на него презрительный взгляд, и отряхнул пальцем то место черного сюртука, которым к нему прикоснулся. Картина показалась ему смешной и уродливой.

— А ты считаешь нужным ехать в Бучумены,— продолжал он уже другим голосом,— и что-то там замышлять вместе с господином Наковичем? Придется выкроить время и лично заняться книгами господина Наковича. Сейчас же пришли ко мне своего Леона Михаловича с вестями.

— Леон Михалович велик и толст,— пробормотал Шапса, осмелившись сделать шаг вперед.

— Как?

— Он велик и толст и в бурю выстоит лучше меня... Целую ручку, господин Алеку. Такой большой и добрый боярин, как вы, имеет, конечно, все права гнезаться. Но я ездил в Бучумены и по другой причине: найти кое-что у нас. И действительно, мы с господином Филиппом поискали и нашли.

Филоти опять начал ходить взад и вперед, заложив руки за спину.

Переход от глубочайшего испуга Шапсы к шутке по поводу Михаловича лишь теперь окончательно дошел до его сознания, и он улыбнулся.

— С семи часов, как только приехал,— продолжал Шапса,— я собрал этих грабителей и целый час лаялся с ними. Я дал им понять, что они свой хлеб получали из ваших рук. Их, господин Алеку, напугали слухи, будто вы собираетесь продавать поместья.

Филоти остановился и поднял голову.

— Кто еще сообщил тебе эту глупость?

— Они так говорили. Но, узнав, что это неправда, успокоились. Вы угадали вернее всех: они хотят немного набавить проценты.

— Вот как? Трудятся в поте лица, а зарабатывают слишком мало!

— Господин Алеку, я назвал их бандитами, я сказал, что они мишигинер¹, я с ними лаялся, пока им не стало тошно. Мне даже казалось, что Леон Михалович собирается надавать им пощечин. Тогда-то я и узнал, что Леон не осмелился прийти сам и написал вам письмо.

— Ну, и как же решили?

— Да так решили: не нужно им никакого обеспечения золотом. Они знают: вы человек великодушный, и надеются кое-что заработать у вашей милости. Но я сказал им, что пусть они хоть лопнут — все равно гроша ломаного больше не получают. А они жаловались, что находят деньги, дескать, только по восемнадцати и по двадцати процентов. Их тоже грабят, с них тоже шкуру дерут воры покрупнее. Может быть, и они немного правы.

— Насколько я понимаю,— спокойно промолвил Филоти,— вы задумали увеличить процент?

— Я? — поспешно возразил Шапса.— Сохрани меня бог. Для суммы, которую я сегодня принес, мне достаточно и того, что вы мне давали до сих пор. Разве я мало получаю от вас прибыли? Но эти яские банкиры — прямо страшные люди. Мне и то впору с ними все покончить.

— Брось ты это, Шапса, и будь уверен, что я вас отлично понимаю. Оставим глупости. Давай сюда все, что требуется подписать, и клади деньги на стол. И приходи завтра,— посмотрим, как устроятся прочие дела. Адвоката я приму в десять, а ты явишься к одиннадцати. Есть тут одно запутанное дело, которое доставляет мне много неприятностей; я должен найти выход.

— Найдется, господин Алеку. Позвольте мне вам сказать, что времена становятся все более трудными. Раньше все шло как-то легче. А теперь и крестьяне нос поднимают, и у слуг появились претензии, и жизнь вздороджала. Вы, не сглазить бы только, содержите целую армию слуг и батраков в Бучуменах. Пока вас там нет, многие

¹ Сумасшедшие (евр.).

сидят сложа руки и пялят глаза друг на друга. Но раз это нужно — ничего не скажешь. И столько же их в Мэрджиненах, в Фунденах, в Язу-Кручий. Правда, вы туда тоже наезжаете. Так-то оно так: у большого боярина должны быть слуги. В Яссах у вас дом. И здесь тоже слуги... Мне бы те деньги, которые уходят на их ливреи и на еду,— богатым бы человеком стал. В Бухаресте у вас апартаменты,— гостиницы там дороги. А такой боярин и должен иметь апартаменты. Что же говорить о прочих и прочих расходах? Правда, одни из них касаются господина Кости и его ученья в высоких парижских школах; другие нужны для вашего отдыха и удовольствия в Ницце или на других курортах, куда пошлют доктора. Большому боярину и уход другой нужен. Нам, бедным, это не под силу, мы уж лучше совсем не будем болеть. Да и другие есть дела,— продолжал Шапса улыбаясь.— Большой боярин, можно сказать, кормит целый мир... Очень много денег ему нужно...

Опустившись в кресло у стола, Филоти слушал маклера, поглядывая на него сбоку и играя письмом, оказавшимся под рукой.

— Гм, ты прав,— прошептал он и на мгновенье задумался.— В Ботошанских поместьях остались слуги, а я больше в них не нуждаюсь. Надо, наконец, проверить все это с Филиппом. Много, много можно сократить. Нам часто говорят, что мы расточительны, и это верно. Но и жить, как разбогатевшие слуги, мы не можем.

— Кто же об этом говорит, господин Алеку? — возразил Шапса.— Боже сохрани. Мы бы тогда с голоду подошли. Я хотел вам только сказать, что за дворец, в котором жили старые бояре, вы могли бы получить хорошие деньги. Когда-то вы изволили говорить мне, что он вам не нужен и вы желали бы от него отделаться. Выстроили вы себе этот новый дом, в Копоу, он поновее, да и больше подходит для вашей милости.

— Ну да, я говорил. А вы мне все доказывали, что покупателя трудно найти.

— А я нашел,— произнес тихо еврей, сверкая глазом и делая шаг вперед.— Цена подходящая, тем более что нам нужны наличные.

— А сколько мне могут предложить сверх долга в Кредитном банке? Банку я должен заплатить миллион.

— Господин Алеку, зачем вы изволите говорить и

обращаться со мной, как с дураком? Шапса — человек, видевший виды. Он бегаёт, ищет и находит. Он нашел вам клиента, который даст полтора миллиона сверх долга.

— Шутись, Шапса! — медленно и в нос проговорил боярин, поднимаясь и глядя прямо ему в лицо.

— Не шучу. Требуется только немного благосклонного желания со стороны вашей милости.

Филоти снова уселся в кресло и, сморщив лоб, недоуменно покачал головой.

— Я не совсем хорошо понимаю... — заговорил он все так же в нос. — Желание продать у меня есть. Речь, по видимому, идет о моем вмешательстве. Но я говорил тебе, Шапса, что продажа государству представляется мне делом не совсем честным.

— А почему же, господин Алеку? — лихорадочно начал Шапса. — Разве государству не нужно покупать? А вам запрещено продавать? Нечестно, когда мошенничают. Нечестно, когда платят сколько не стоит. А у вашей милости дворец продается. Лучше, крепче, красивее этого дворца в Яссах не найдешь. А министерству образования нужна школа? Нужна. Так отчего ему не заплатить двух с половиной миллионов, раз дворец этого стоит? Зачем ему платить те же два с половиной миллиона за развалину, которую кое-кто желает продать известно каким образом? Вот там действительно нечестное дело. А вашей милости достаточно пойти и сказать одно слово, чтоб остановить подобную подлость. Мне кажется, это было бы прямо-таки добрым делом.

— Гм, — пробормотал Филоти, — посмотрим...

Некоторое время Шапса пристально глядел на него своим живым глазом и молчал. Филоти, казалось, о чем-то крепко задумался. Он снова встал и дважды прошелся перед Шапсой, не глядя на него. Он тихо шепнул по-французски: «Превосходно!» — словно отвечал на какой-то вопрос. Потом, оживившись, он вновь заметил Шапсу.

— Смотри же, — решительно сказал он, — чтобы все это не оказалось небылицей.

Шапса положил руку на сердце и склонил голову набок.

— Чистая правда! Имеются лица, — я не хочу называть имен, — которые хотят продать какую-то развалину именно за такие большие деньги.

— Этого быть не должно, — решил Филоти. И, словно

впервые заметив письмо на столе, он придвинул его к себе и, удобно развалившись в кресле, распечатал. Шапса порылся под пальто и положил на край стола пачку банкнот. Затем осторожными движениями пододвинул гербовые бумаги. Однако, тут же передумав, взял их обратно и стал держать в руке.

Филоти читал письмо, начертанное спокойным и ровным почерком, с длинными и острыми буквами.

«Яссы, 25 ноября.

Мой господин!

Вот уж десять дней как я лишена удовольствия видеть тебя рядом, мадам Арнольд, как и я, не видела в этом месяце в лицо Леона и очень обеспокоена, желаю видеть тебя и услышать хотя бы одно слово твое».

Под строками не стояло никакой подписи. Филоти нажал серебряную кнопку на столе, потом разорвал письмо на мелкие клочки, поднялся и бросил их в печку. Вошел Жан Кавалье.

— Жан, зайдите, пожалуйста, завтра утром к Леону и узнайте, почему он не выполнил моего приказа. Пусть отвезет деньги немедленно.

— Хорошо, господин.

— А потом загляните к госпоже Арнольд. Передайте ей, что я недоволен. Я видел ее ученицу, — она прогуливалась пешком в пятом часу. Мне кажется, относительно этого я кое о чем просил. Я желаю, чтоб было проявлено как можно больше осторожности и чтобы мадмуазель Анет Русу появлялась на улице только вечером, и в экипаже. Я очень занят и в эти дни не буду иметь удовольствия их видеть... Все.

— Очень хорошо... — серьезно и бесстрастно заключил Жан Кавалье. Потом он поклонился и вышел.

Филоти получил из рук Шапсы гербовые бумаги и подписал их. Затем запер банкноты в ящик стола.

— Я сегодня видел Михаловича, — осмелился тихо произнести Шапса, остановившись у дверей. — Деньги он отвез, так что на этот счет, ваша милость, можете быть спокойны.

— Как, ты еще здесь, Шапса? С каких это пор ты научился французскому языку?

— А на что мне французский,— рассмеялся маклер.— Я слышал кое-какие имена,— для меня этого достаточно... Целую ручки, господин Алеку. Завтра в одиннадцать я буду здесь, возле дверей.

Шапса вышел. Боярин смеялся, пристально глядя ему вслед. Потом улыбка сошла с его лица, глаза затуманились, и взор стал задумчивым. Немного погодя он поднялся и провел рукой по лбу. «Жду кого-нибудь?» — спросил он себя вполголоса: часы на стене пробили час ночи. Он вспомнил, что должен был заехать к госпоже Леоне, чтобы захватить Матильду и Кости. В то же мгновение в передней затрещал звонок. Через несколько минут Кавалье открыл дверь.

— Что случилось? — спросила, входя, госпожа Матильда.— Мы жждали тебя.

Филоти, улыбаясь, поцеловал у нее руку. Кости прыснул, опускаясь в кресло.

— Ты забыл, папа, не так ли? — спросил он.

Филоти кивнул. Госпожа Матильда внимательно взглянула на него.

— Ты был сегодня озабочен и печален. Свидание с Тудури еще не состоялось?

— Нет еще.

— Я видела его утром. Он спешил в трибунал. Но в нескольких словах он обрисовал мне положение. Вы завтра увидите, да? В десять часов?

— Да. Жду не очень приятных вещей. Но полон решимости выстоять. Немного энергии — и можно преодолеть все. Сегодня мне было не очень-то весело. Но теперь я чувствую себя лучше. Ведь обстоятельства чаще всего суть порождение нашей души.

— Очень рада слышать такие слова, Александру,— промолвила тихо госпожа Матильда и глянула в сторону Кости.— Я тоже буду завтра здесь, когда придет Тудури. Уж лучше всем нам быть вместе, не так ли? До свиданья. Не провожай, Кости. Ведь до моего дома всего два шага.

Отец и сын остались вдвоем и долго прислушивались к стуку экипажа,— в наступившей тишине он, казалось, доносился откуда-то издалека.

— Ты хорошо провел вечер? — спросил Филоти.

Юноша взглянул на него сверху вниз и иронически улыбнулся.

— Я видел там несколько приятных лиц,— ответил

он.— Потом постоял возле карточных столов. Конечно, я бы предпочел оказаться в другом месте. Папа, у тебя в самом деле очень крупные денежные затруднения? В прошлом году не было таких задержек с деньгами, как теперь. Как ты считаешь: смогу я вернуться в Париж?

— Думаю, сможешь, Кости.

Юноша замолчал.

— Ты вправе спрашивать, Кости,— сердечно продолжал Филоти,— и особенно в настоящее время, когда ты приближаешься к совершеннолетию и скоро вступишь во владение наследством. Мэрджинены и Фундены — поместья твоей матери, и любое затруднение, которое ты переживаешь там, за границей,— мне укор. Но теперь в опеке ведутся подсчеты; Тудури будет завтра говорить и по этому поводу; каковы бы ни были мои личные неприятности, уверяю тебя, наследство матери ты получишь в целости и сполна.

Кости вскочил с кресла и обнял отца.

— Я совсем не собирался вызывать тебя на такой разговор, папа,— сказал он дрогнувшим и потеплевшим голосом.— Мне хотелось одного: понять, в чем причина забот, которые я прочитал на твоём лице.

Филоти медленно высвободился из объятий сына, на губах его снова появилась утомленная улыбка.

— Хорошо, Кости, я попрошу тебя завтра присутствовать при разговоре с адвокатом. А сейчас я немного устал. Иди спать. Тебе, может быть, нужны деньги?

— Нет, папа, пока я нашел себе в лице *tante Mathilde* неплохого банкира. Она дает мне деньги за малый процент, и я намерен честно ей платить.

Филоти недовольно вскинул брови, порываясь что-то возразить. Но выражение его лица тут же изменилось, и взгляд стал рассеянным. Юноша коснулся его руки и прошел к себе.

* * *

Утром следующего дня, в десять часов, в ту же комнату вошел невысокого роста человек с большим портфелем. Кавалье предложил ему сесть и попросил подождать несколько минут.

— Хорошо, хорошо...— торопливо отвечал хрупкий посетитель.

Держа портфель левой рукой, он начал осматривать

развешенные по стенам картины. Перед сценой любви Леды и Юпитера, принявшего вид лебедя, он задержался дольше, подняв кверху острый носик. Он внимательно разглядывал картину большими глазами навывкате, то и дело почесывая указательным пальцем седую бородку. Лысина на макушке головы блестела у него, будто полированная слоновая кость.

— Я вижу, милостивый государь, вам нравятся картины определенного жанра. У каждого возраста свои вкусы.

Адвокат словно на пружинах отпрыгнул в сторону и мгновенно повернулся к Филоти.

— Я так смотрел... дожидаясь...— пытался он объяснить.

— Ничего,— весело успокоил его Филоти и, пожав ему руку, похлопал по плечу.— Садитесь, пожалуйста.

Тудури собирался было сесть, но тут же и с такою же стремительностью бросился опять вперед и поцеловал руку вошедшей госпоже Матильде. Обратясь в сторону Кости, он учтиво поклонился, затем подошел к указанному креслу, на которое должен был опуститься, осмотрел его и, повернувшись спиной, аккуратно уселся, положив портфель на колени.

— Итак,— начал Филоти,— сегодня мы получим ясную картину.

— Да,— поспешно отвечал Тудури с застывшей, как у маски, улыбкой.— Ясную картину... Хотя и несколько мутноватую.

— Посмотрим,— возразил Филоти, не улыбнувшись шутке адвоката.

— Сию минуту-с! Позвольте мне только достать из портфеля бумаги. Штерну, бучуменскому счетоводу, пришлось дважды проделывать путь в Яссы. Я посылал его и в Ботошаны за дополнительными данными. Теперь, имея на руках все необходимые сведения, а также ознакомившись с цифрами, вытребованными у Земельного банка, можно, наконец, подвести какой-то баланс.

— Пока я все понимаю,— заметила с улыбкой госпожа Матильда.

— Вы, несомненно, поймете и остальное,— сладко отозвался Тудури, поклонившись в ее сторону.— Итак, мы установили общую картину. Вот она. Как специалист в подобных делах, я позволю себе прежде всего заметить,

что некоторые цифры в результате ряда судебных процессов можно было бы изменить в нашу пользу. Но это дело будущего, не так ли? Следовательно, с одной стороны, мы имеем долг в Земельном банке. Он ежегодно погашается взносами, достигающими общей суммы в миллион с четвертью. Это не так уж много. Если оценивать Бучумены в семь миллионов и Язу-Кручий в три, а Фундены и Мэрджинены в общей сложности в пять, то долг Земельному банку не слишком заметно отягощал бы капитал в пятнадцать миллионов. Впрочем, в эту сумму входит и весь инвентарь: строения, машины, скот. Но имеются другие долги различным иностранным банкам и отдельным лицам; вместе взятые, они составляют сумму в четыре миллиона с лишним. Точную цифру вы можете найти вот здесь.

— Как вы сказали? Четыре миллиона?

Госпожа Матильда испуганно взглянула на адвоката. Что касается Кости, то у него эта сумма не вызвала особого волнения.

— Да, четыре миллиона с лишним,— подтвердил Тудури.— Вот здесь список акцептов. Все векселя на довольно крупные суммы, и постоянно они переписывались. Вначале суммы были меньше, но на них выросли проценты, так что долг весьма обременительный.

— Ну, хорошо,— проговорил Филоти.— Пусть четыре миллиона! Во сколько вы исчисляете доходы?

— И в самом деле,— отвечал адвокат,— эта сумма сама по себе не представляла бы ничего угрожающего, но к ней приходится прибавить обычный бюджет поместий и в особенности ваши текущие расходы. Если все это принять в расчет, то окажется, что доходы меньше расходов. Считаю долгом добавить, что и сумма в четыре миллиона автоматически растет, как снежный ком. В этом, как мне кажется, и заключается единственная трудность.

Адвокат говорил легко и деликатно.

— Эти четыре миллиона через год будут составлять пять,— прибавил он, обращаясь к госпоже Матильде с таким любезным видом, словно преподносил ей лакомое угощение.— А может, и больше.

— Возможно ли? — воскликнула она, всплеснув руками.

Филоти, нахмурив брови, глядел прямо перед собой.

— Но тут имеется еще одно обстоятельство,— подсказал господин Тудури.

— В самом деле? — язвительно осведомился Филоти. Но тут же догадался, о чем речь.— Ах, да... Правда... Я хочу, чтобы этот вопрос был хорошо уяснен.

Адвокат с особым удовлетворением наклонил голову.

— Это вопрос о поместьях Мэрджинены и Фундены,— продолжал он.— Следуя вашему настоятельному желанию, я постарался выявить все цифры, могущие внести в него полную ясность. Итак, мы можем точно установить доходность этих поместий с прискорбного дня кончины госпожи Филоти и до совершеннолетия господина Кости Филоти.

Господин Тудури поклонился Кости, тот холодно ответил кивком.

— Ну, хорошо, хорошо, а результат? — нетерпеливо спросил Филоти.

— Извольте,— сладенько отвечал адвокат, разводя руками, точно давая понять, что он тут ни при чем.— Здесь ваше слово и желание решают все. Вы, как можно полагать, вели подсчет расходов, связанных с обучением вашего сына за границей?

— Что? — фыркнул Филоти, поднимая брови.— Я не вел никаких подсчетов. Я не лавочник. Мой сын мне ничего не должен.

— Ну, в таком случае...— с сомнением улыбнулся господин Тудури.

— Так вот, наследство моего сына нужно освободить от всех обременяющих его долгов. Очень просто!

— Действительно, очень просто,— согласился адвокат.

— И насколько я понял из ваших слов, положение, в котором я оказался, может быть выяснено лишь после погашения или хотя бы уменьшения ростовщических долгов. Очень хорошо. Я подумаю, и мы еще посоветуемся. Придется, очевидно, продать одно из моих поместий.

Господин Тудури кивнул, ошарашенный тем, что его поняли. Госпожа Матильда устремила на Кости тяжелый, лихорадочный взгляд. Раздраженный Филоти зашагал от печки к двери. Его оскорбляла учтивость адвоката, за которой скрывалось такое грубое содержание. «А все-таки не я в этом виновен»,— казалось, говорили счастливые глазки господина Тудури. Он поспешно собрал бумаги,

щелкнул замком портфеля и задвигался на своих гибких пружинах.

— До свиданья,— хмуро бросил ему Филоти, не подавая руки.

Тудури отвесил глубокий поклон хозяйке дома, открыл дверь ровно настолько, чтобы пролезть в нее, и вышел.

Госпожа Матильда стремительно поднялась со своего места и, вытянув вперед руки, подошла к Филоти.

— Александру,— озабоченно проговорила она, обнимая его за плечи,— почему ты так выпроводил его? Нужно было еще подумать, взвесить...

— Чего там взвешивать,— возразил Филоти, скептически усмехаясь.— Разве ты сама не видишь? Ведь все до боли ясно. Ему я сказал, что подумаю, но все уже решено. Ручаюсь, что он отправился на поиски покупателя.

— Я не могу примириться с этой мыслью.

Кости кинулся к отцу и схватил его правую руку.

— Папа, это невозможно.

— Нет, возможно. У этой задачи только одно решение.

— И каким голосом ты это говоришь!— вздохнула госпожа Матильда, покачивая головой.

— Тогда продадим Фундены и Мэрджинены! — в волнении воскликнул юноша.

— Ты еще не властен это решать,— ответил Филоти таким тоном, словно говорил с ребенком.— Я продам Язу-Кручий.

— А хватит? — порывисто спросила госпожа Матильда.

— Не хватит, продам Бучумены.

Сестра в отчаянии опустила руки и пристально, горящим взглядом посмотрела ему в лицо.

— Слушай, Александру,— тихо, но очень решительно промолвила она,— этому не бывать. Сердце мое не примет такого решения. Там наша колыбель; сохраним же ее, по крайней мере пока мы живы. А после нашей смерти...

Кости почувствовал, что его душат рыдания.

— Да притом ведь у меня есть приданое,— продолжала госпожа Матильда.— Земли мои мне до некоторой степени безразличны. Да и потребности мои невелики...

— Матильда, довольно,— спокойно произнес Филоти.— Эмоции вредят делу, а я хочу сохранить полное спокойствие, чтобы справиться с затруднениями.

— Пусть так, Александру, но ты должен сохранить Бучумены.

— Если это будет возможно. Во всяком случае, я могу поменяться с тобой. Останемся, таким образом, друзьями, и оба найдем там последнее успокоение.

— Да, Александру,— шепнула госпожа Матильда, стараясь не смотреть в его сторону, и обернулась к портретам предков.

Они помолчали некоторое время, не глядя друг на друга. Образы стариков печально взирали на них из мрака минувшего.

Послышался легкий стук в дверь. Оба быстро оглянулись. Потом встретились глазами. Филоти улыбался.

— Это, должно быть, Шапса,— проговорил он.

Роднившее их очарование рассеялось. Они снова были одиноки.

— Пусть войдет,— обратился Филоти все с той же улыбкой к Жану Кавалье, просунувшему нос в дверь.

Шапса учтиво переступил порог, потирая руки. Он был уже без пальто и шляпы, в довольно опрятном черном сюртуке. Еле заметный глаз его обежал присутствующих, точно петля.

— Ну, Шапса? — спросил Филоти голосом, в котором не слышалось и намека на пережитое волнение.— Что мы будем делать? Станем продавать дворец или нет? Покупатель как будто, наконец, появился,— прибавил он, обращаясь к госпоже Матильде.

— Ваша милость,— отвечал маклер,— с утра, с восьми часов и до одиннадцати, я был просто героем, так я боролся.

Слова эти рассмешили Кости, он захохотал.

— Каким образом, Шапса?

— Да, да, ваша милость. Пошли мы с Леоном Михаловичем к тем господам, которые хотят продать развалину и получить с государства, как я вам говорил, не больше не меньше, как два с половиной миллиона. Я убедил их, что дело это не совсем честное, что об этом пронюхали газетчики и такой скандал поднимут — в Америке будет слышно. А когда я им заявил, что есть, мол, такой большой боярин и прочее и прочее, который сказал, что этого нельзя допустить, они сразу замолчали и опустили головы. Тут я им сообщил, что они могут кое-что заработать, и они опять подняли головы и ласково на меня по-

смотрели. С ними мы справились легко. Труднее пришлось с адвокатами. Эти адвокаты, ваша милость, совсем как лекари: если у человека нет болезни, они ее выдумают. По дороге сюда я встретил господина Тудури. Я так и знал, что он идет от вас. Кто может угадать, какие планы и цели преследует адвокат?

— Оставим это, Шапса. Скажи лучше, что ты предпринял с домом.

— Да... Отправились мы, значит, к адвокатам. Не понимаю, почему целых три адвоката должны совершать покупку такого дома для министерства народного образования! С каждым доводилось мне сталкиваться, каждого я знаю не хуже собственных карманов. И я боролся. И я доказывал, что известные им господа не желают больше продавать. Можете их резать, можете вешать, можете предлагать им десять миллионов — нет у них развалины для продажи. И есть один крупный боярин и прочее и прочее, который тоже сказал, что это невозможно.

— Шапса, я не уполномочивал тебя называть мое имя..

— Возможно ли, ваша милость? А разве я сказал, что назвал ваше имя? Нет, нет, я просто оговорился. К чему мне называть имена? Я их и без имени еще больше напугал, заявив, что этот крупный боярин и прочее и прочее, может быть депутат, может быть министр, знает о такой-то проделке их милостей, проведал о таком-то их грязном дельце, с которого они получили немало барышей, и еще и еще... Я боролся, ваша милость, и водрузил наше знамя на Гривице¹. А теперь извольте написать заявление и дайте мне его с записочкой, если не желаете потрудиться лично. Я могу съездить и в Бухарест.

— Хорошо, поезжай. Через несколько дней я тоже там буду.

— Да, ваша милость, дело это хорошее и, можно сказать, уже сделано. Я хотел попросить вас довериться мне и в том случае, если вздумаете сдать в аренду или продать какое-нибудь поместье.

— Тебе Тудури говорил что-нибудь?— спросил, нахмурившись, Филоти.

— Нет, какое мне дело до господина Тудури? У этого

¹ Турецкая крепость в Болгарии, взятая штурмом русскими и румынскими войсками в 1877 году.

человека страсть кружить, вертеть и путать, и проделывает он все это ласково, с улыбкой. Я таких иезуитов всегда боялся. Притом таинственнейшая личность. Никто, например, не знал, почему господин Тудури пожелал — во что бы то ни стало, в обязательном порядке — сделаться попечителем в больнице святого Спиридона. К чему бы такому крупному адвокату попечительствовать над больницами? Почему не пожелал он стать депутатом? Почему не пожелал быть сенатором, почему не пожелал стать примарем города? Нет. Подавай ему попечительство у святого Спиридона! И пробыл он попечителем всего два месяца, а затем ушел в отставку. А почему он ушел в отставку, раз он так желал там попечительствовать? Никто не знал. Только я да евреи вроде меня догадались об этом, увидев, какой процесс начали наследники Флорештов против попечительского совета Спиридонии. Господин Тудури сидел там для того, чтобы просмотреть архив, сидел, пока не наткнулся на одну не совсем правильную дарственную запись. Тут-то он и начал процесс. И пришли они к полюбовной сделке... Вот он какой, господин Тудури. Адвокат-то он хороший, но маклер все-таки я, а не он. Если ваша милость пожелает что-нибудь продать, скажите мне только, что именно, где и за сколько, и я доставлю вам покупателя.

— Ой, Кости, милый,— тихо произнесла госпожа Матильда,— мне совсем не нравятся люди, среди которых мы живем...

Глава седьмая

МАДМУАЗЕЛЬ АНЕТ НАЧИНАЕТ МЕЧТАТЬ

Мадам Арнольд обожала булочки. Маленькие, круглые и свежие булочки, выпеченные из белоснежной муки, еще теплые, ожидали ее каждое утро в столовой. И еще обожала она? свежее сливочное масло. Был ей по вкусу и весенний мед, тот, что золотом отливает в хрустальной вазочке. И уж, разумеется, при таких приятных яствах никак невозможно было обойтись без кофе с молоком: хорошо прокипяченное молоко с толстым слоем пенки и кофе — крепкий кофе мокко, сваренный с цикорием. «Никто,— утверждала мадам,— не умеет так варить кофе». Благодаря его секретному составу за столиком

в ее большой, опрятной столовой пьют самый замечательный кофе с молоком. Если сюда добавить булочки, разрезанные пополам, масло, красиво намазанное на мякиш, и сверху слой прозрачного меда, то, откусывая со счастливой улыбкой тартинку и бережно, одними кончиками губ, прихлебывая кофе, мадам Арнольд могла с полным основанием считать, что переживает единственный счастливый час своего многотрудного дня. Над этим кофе с молоком и его приложениями священнодействовала она лично каждое утро. Из своей зачарованной задумчивости возвращалась она к обыденной жизни только с последней каплей кофе и последней горбушкой булки. Тогда, отодвинув опорожненную чашку, она подбирала своими пухлыми пальчиками крошки на столе и с ласковой улыбкой оборачивалась к мадмуазель Анет. С тех давних лет, когда мадам Арнольд приехала из суровых швейцарских гор в окрестностях Сэн-Николя, это масло и этот мед успели наделить ее пышными формами и белизной. А за последние два года, с тех пор как она стала у себя на дому воспитывать ученицу, ее размеры стали еще внушительнее, хотя она оставалась занятой по-прежнему и все так же бегала по всему городу, давая уроки французского и немецкого языка.

В то спокойное воскресное утро мадам Арнольд предложила Анет выпить еще чашку кофе.

— Ма *chère*, там остался и кофе и горячее молоко.

— Спасибо,— отвечала Анет,— с меня довольно. Мне не под силу справиться с двумя чашками.

— А уж я, душенька, с твоего разрешения повторю,— вздохнула мадам Арнольд.— Может, сделать тебе еще тартинку с маслом и медом?

— О нет, мадам Арнольд.

— Ну, в таком случае я возьму себе ту, которую собиралась намазать для тебя, и сделаю себе еще одну. В этих краях, моя милая, растет сорт пшеницы, из которой мелют муку на ботошанских мельницах. Такой муки, думается мне, на всем свете не сыщешь. Из этой самой пшеничной муки и печет господин Клайн свои булочки. И прежде чем положить кусочек в рот, человек наслаждается их приятным видом и запахом. Я уже говорила тебе об этом и буду повторять еще сотни раз.

— Я вижу, они вам очень нравятся, мадам Арнольд. Если позволите, я тоже приготовлю для вас тартинку.

— Ну что ж, приготовь. А я посмотрю, овладела ли ты моим секретом.

Мадам Арнольд, смеясь, приняла из белых и нежных рук мадмуазель Анет тартинку и не обнаружила в ней ни единого недостатка. Анет восхищенно любовалась, как искусно и умело ела ее воспитательница, откусывая своими белыми здоровыми зубами маленькие кусочки и деликатно облизывая мед, оставшийся на губах; но синие глаза мадмуазель Анет смотрели задумчивым взглядом, и, казалось, она была погружена в собственные сокровенные мысли.

— А теперь позволю нашу мадьярку, — заговорила немного погодя учительница, отодвигая чашку и собирая пальчиками крошки, — да постараемся придумать что-нибудь на обед.

Мадам Арнольд стремилась выражаться чисто и красиво на языке приютившей ее страны.

Протянув руку к груше под висячей лампой, она нажала кнопку звонка и долго не отпускала ее. В зале сейчас же послышались шаги, и боком в дверь протиснулась кухарка. Это было усатое существо, только по одежде которого можно было догадаться, что это — женщина. Коротконогая, удивительно ширококостая, кухарка неторопливыми шагами, покачиваясь, подошла к столу. Поправив белоснежный передник, она с непринужденной улыбкой поглядела на обеих сидящих за кофе женщин.

— Какой ты нам обед сегодня сготовишь, тетушка Мария? — осведомилась госпожа Арнольд.

— Да уж лучше и не придумаешь, — басом отвечала бабка Мария. — Для барышни у меня припасены ромовые пирожные.

— Чудесно, — заметила Анет.

— Не возражаю, — продолжала со смехом воспитательница. — Я вижу, ты взяла мадмуазель Анет под свое крылышко. Однако от твоих кушаний она все не делается такой толстой, как тебе хочется.

— Чего же? Должна сделаться. Настоящей барыне только толстой и пристало быть.

Мадам Арнольд скромно приняла комплимент на свой счет. Между тем о ее размерах Мария была самого пренебрежительного мнения.

— Помнится, шел разговор о каких-то голубцах, — лукаво спросила мадам.

— Ага. Я достала хорошего мяса.

— В таком случае, тетушка Мария, не забудь, что твои голубцы лучшие в городе, потому что они у тебя маленькие и деликатные, потому, что ты в меру добавляешь в них жир и в меру выдержишь их. Есть у тебя такой секрет! Много хороших кушаний знает эта страна,— повернулась она к мадмуазель Анет,— но я предпочитаю голубцы.

— С капелькой сметаны,— дополнила, смеясь, молодая женщина.

— За чём же с капелькой? Можно и побольше. Итак, тетушка Мария, до часу времени у тебя вдоволь. А мы немного погуляем, заглянем в церковь и вернемся как раз к сроку...

Тетушка Мария собрала со стола тарелочки, блюда, чашки, ложечки, салфетки и все прочее, нагроутила все это на левую руку и на грудь и, осторожно ступая, прошла в дверь. Дородная светловолосая учительница подплыла к зеркалу. Расправляя бант на шее и пряча под гребенку седые пряди волос, она доброжелательно разглядывала свое большое широкое лицо, на котором нос был самой незначительной деталью; классически правильный нос на этом лице несомненно породил бы в ее бесплодной жизни немало любовных увлечений. Мадам Арнольд вздохнула и, повернувшись, с удовольствием оглядела с ног до головы ладную фигуру ученицы. Не испытывая ни малейшей зависти, она слегка потрепала ее по подбородку и поцеловала в висок. Это было творение ее рук: она подняла его к свету, она, как из куска воска, вылепила его. Она любовалась этой преобразившейся девушкой, видя в ней частицу собственной души и собственных стремлений.

Обе женщины закутались в меха. Анет взяла мадам Арнольд под руку, и они вышли навстречу белому, обледенелому зимнему дню. Некоторое время они шагали молча по пустынной улочке, мимо домов и садиков, покрытых снежными сугробами.

Мадам Арнольд пожала руку своей воспитаннице.

— Ты чем-то сегодня обеспокоена, моя милая,— заботливо проговорила она.

— Ошибаетесь...— отвечала Анет, глядя в конец улочки, где на перекрестке то и дело мелькали мчавшиеся навстречу друг другу сани.

— А мне кажется, не ошибаюсь. Его ответ не должен тебя удивлять. Он, очевидно, занят.

— Кто это «он»?

— Твой друг,— произнесла воспитательница с почти-тельной ноткой в голосе.

— А!.. Я и не думаю об этом,— спокойно проговорила девушка, метнув на нее быстрый взгляд из глубин, еще не исследованных воспитательницей.

— Так в чем же тогда дело?

— Уверяю вас, дорогая мадам Арнольд, я совершенно ничем не озабочена и очень спокойна...

Воспитательница больше не настаивала, однако призадумалась. Что бы это могло значить? Тихий домик ее стоит уединенно, словно крепость. Каждое движение девушки на виду, следят за ней в достаточной мере. Живет она в отведенных ей комнатах, как настоящая школьница, прилежно упражняясь в вязанье и занимаясь уроками. К самой мадам Арнольд проникает лишь несколько равнодушных старых немок, не отличающихся ни особым любопытством, ни любознательностью; а на половине Анет — тайные посещения знатного боярина, который желает оставаться неизвестным, подобно тени. На улице Анет прогуливается в сопровождении мадам Арнольд, а если, крайне редко, выходит одна, то лишь после того, как стемнеет. В церкви — одно воскресенье у евангелистов, а другое в православном соборе — мадам тоже не замечала ничего подозрительного, ни одного взгляда, ни одного движения.

Мадам Арнольд считает себя женщиной предусмотрительной и со здравым смыслом. Отбрасывая таким образом по очереди все беспочвенные опасения, она открыла вдруг на чистом, как снег, горизонте единственную черную точку: уединенные прогулки, хотя их и было-то всего несколько. Воспитательница раздраженно прикусила губу, испытывая сожаление, за которым скрывался страх. «С кем могла говорить Анет? — продолжала она размышлять, чувствуя, как забилося сердце.— С какой-нибудь из знакомых старух, пытавшей переманить ее в лучший пансион?.. Нет, не может быть. Никто не знает истинного положения вещей; притом же,— она это чувствует,— девушка порядком к ней привязалась. Остается единственное предположение...»

Мадам Арнольд кинула подозрительный взгляд вокруг.

Они уже были на улице Штефана Великого. Мимо, звеня бубенчиками, в разных направлениях мчались сани. За спинами кучеров, погонявших стоя, из-под шапок и воротников выглядывали одни лишь равнодушные лица. Ничей взгляд не пронзил ее. По заснеженному тротуару шагали они одни.

Мадам Арнольд внезапно сделала веселое лицо и прижала к себе локоть ученицы.

— Скажи мне правду, моя девочка, я сильно встревожена. Еще позавчера кое-что подозревала, а теперь почти уверена.

— Уверены... В чем, мадам Арнольд? — спросила Анет. — Пока я сама не скажу вам, вы ни в чем не можете быть уверены. А мне сказать нечего, так как ничего и не было.

— Он останавливал тебя и заговаривал?

— Нет, не останавливал и не заговаривал, — спокойно возразила ученица.

Мадам Арнольд заглянула в глаза спутницы и не заметила в них льда упорства, сверкавшего там в иные трудные часы.

— Он не останавливал тебя и не заговаривал?

— Не останавливал и не заговаривал, — весело ответила Анет.

— Кто?

— Не знаю. Может быть, вы знаете, милая мадам Арнольд?

Траурная вуаль затрепетала на миг перед глазами воспитательницы. Итак, катастрофа, быть может, уже грозит ее покою и благополучию? Ей хотелось громогласно выразить свое удивление, но она только ласково спросила:

— Кто-нибудь преследовал тебя?

— Может статься, — отвечала ничего не говорящим тоном Анет.

— На улице, когда ты прогуливалась одна?

— Кажется.

— Я так и знала, — в ужасе прошептала мадам Арнольд. — Кто же это? Он тебе знаком?

— Нет, незнаком. Я хотела у вас спросить. Об этом-то я и думала.

Воспитательница вздохнула с некоторым облегчением.

— Это был мужчина в годах?

— О нет!

— Значит, он молод?

— Разумеется. Стройный молодой человек,— с готовностью пояснила Анет,— с черными глазами и длинными ресницами.

— Ты и это успела заметить? — вздрогнула мадам Арнольд, подавив в себе крик возмущения.

— Так он же остановился и поглядел мне вслед.

— Значит, ты проходила мимо, а он остановился, и ты, хотя и стояла к нему спиной, разглядела, какие у него глаза?

— Вот именно,— весело отвечала мадмуазель Анет.

— И не знаешь, кто он?

— Не знаю.

— Так откуда же могу знать я?

— Я его и после встречала, милая мадам Арнольд.

— Возможно ли? И он так с тобой и не заговорил?

— Нет. Но я заметила, что встреча доставила ему удовольствие.

— Какая встреча?

— Ну, встреча... Я же вышла опять одна и в тот же час... А он медленно, на расстоянии, следовал за мной.

Мадам Арнольд слушала, охваченная ужасом.

— Как же так?

— Да... Тогда, заметив сани, единственные на всей улице, я быстро села в них, умчалась, и все кончилось.

Теплая волна растопила ледяной ужас в душе воспитательницы. Тем не менее она печально пролепетала:

— Я с таким удовольствием ожидала обеда. Теперь все пошло насмарку.

Мадмуазель Анет была тронута.

— Зачем так говорить, милая мадам Арнольд? Я же никакого зла вам не причинила.

— Да, конечно, милая, ничего дурного ты не сделала,— уныло отозвалась мадам,— но тебе уже известен цвет его глаз. О, я допустила непростительную ошибку, давая тебе читать кое-какие книги. В книгах пишутся одни глупости. Все эти сочинители — безнравственные люди.

— Как же так? — смеялась девушка.— Значит, пока вы отсутствовали, мне нужно было скучать в одиночестве? Общество книг оказалось для меня весьма приятным. А в остальном, согласитесь сами, милая мадам Арнольд, разве не была я благоразумна, не слушалась вас, как родную

мать? До последнего времени мне некогда было даже оглянуться; но теперь я начинаю смотреть...

— Ну хорошо, а о другом обстоятельстве ты не подумала? — ласково шепнула ей мадам Арнольд.

— О чем же мне думать?

— О человеке, который нам покровительствует.

Девушка метнула на нее короткий, горячий взгляд. Это был взгляд, появлявшийся у нее в тяжелые минуты.

— Не подумала, — спокойным голосом ответила она.

— Ведь он, — продолжала мадам Арнольд, — питает к тебе весьма деликатное чувство и приносит жертвы...

— Я думаю, он меня вовсе не любит, — с тем же спокойствием возразила Анет.

— А ты?

— Не люблю я его, — решительно сказала она. — Я уже как-то говорила об этом. Но тогда я и сама еще хорошо не понимала. Мне бывало приятно, когда он навещал меня. Он благородный человек, добр и говорит красиво. От него получила я все, по его милости не знаю никаких лишений. Но теперь я могу сказать, могу признаться ему самому: не люблю его.

— Не делай этого, — взволнованно прошептала мадам Арнольд. — К чему? Что ты ему скажешь? Разве тебе плохо? Нет, ты девушка благоразумная и такой глупости не сделаешь. Не думаю, что ты решишься все это ему сказать, и только потому, что встретила юношу с черными глазами.

— Нет... Это уже прошло. И все же, если встречу его еще раз, мне бы хотелось узнать, кто он.

Воспитательница, задумавшись, промолчала. Девушка теснее прижалась к ней, они теперь шагали медленнее. «Где же она встретится с ним? — рассуждала про себя мадам Арнольд. — В храме евангелистов? Не думаю, нас там считанные души, и мы прекрасно знаем друг друга. Значит, он ждет ее около православного собора. В это воскресенье мы как раз должны идти туда. И в романах тоже нередко божьи храмы служат местом свиданий».

— Куда мы идем сегодня? — равнодушно спросила она. — Кажется, в собор?

— Да, дорогая мадам Арнольд. Почему вы так на меня смотрите? Если хотите, мы можем пойти к евангелистам.

— Нет, нёт, мы пойдем в собор, — ответила воспита-

тельница, решив тут же разобраться во всем и посмотреть, кто этот юноша.

— Хорошо, пойдите, куда вам самой захочется, мадам Арнольд. Только не сердитесь. Вы изменились с той минуты, как я вам поведала засевшую мне в голову глупость. Но говорю же вам, что ничего уже нет. Я и думать об этом перестала.

— О да, я верю,— с печальной улыбкой отозвалась мадам Арнольд.

— Вы добры, как мать,— вздохнув, сказала с любовью девушка.— Я не знала в жизни материнской ласки, но, верно, такой же доброй была бы моя мать.

В голосе ученицы прозвучала горестная нота. Вздвигнутая воспитательница неожиданно хлюпнула носом и подняла к глазам руку в перчатке. Но мадмуазель Анет вскоре повеселела и без видимых причин рассмеялась.

— Оставим это, да? — тихо спросила она, нагнувшись к воспитательнице.

— Да, милая, забудем.

— Поговорим о чем-нибудь другом и прокатимся в санях до Копоу.

— Что ж,— со вздохом согласилась мадам Арнольд. И вновь подумала: «Мы, вероятно, встретим его у Копоу. А нет, так обязательно в соборе».— Нет мне больше покоя...— со вздохом сказала она про себя.

Тем временем мадмуазель Анет остановила пароконные сани и помогла мадам Арнольд взобраться на них. Затем сама уселась справа от нее, и сани тронулись под залиvistый перезвон бубенчиков. Звуки эти, казалось, мало-помалу затихали, а потом как будто и вовсе прекратились. Обе женщины сидели молча, отдавшись собственным мыслям. Через некоторое время мадам Арнольд начала внимательно разглядывать попадавших на пути встречных. Сани медленно скользили мимо опущенных снегом деревьев, с черными вороньими гнездами. Навстречу всё попадались равнодушные лица, согбенные старики в тулупах, женщины в повязанных крест-накрест платках и больших рукавицах. Длинная англичанка вела за руки двух похожих на медвежат девочек в белых шубках, с разрумянившимися от холода щеками. Ни одного юноши с черными глазами. Правда, появились и какие-то молодые люди, причем мадам Арнольд сразу определила, что они из культурных семейств, но вид у них тоже был

равнодушный, они спешили,— у них были другие дела. «Как же можно заметить цвет глаз прохожего?» — во-прошала себя изумленная мадам Арнольд.

Они спустились обратно в город. Следовательно, оставался собор. Приблизив на мгновение носик к сумочке из крокодиловой кожи, Анет достала несколько монет и рассчиталась с извозчиком. Потом спрятала сумочку и руки в муфту, и обе вступили в собор. Воспитательница с удовольствием и страхом смотрела на свою ученицу, которая, изящно покачиваясь, шла в своей бобровой шубке и шапочке. Когда под мелодичное дрожанье поющих голосов они вошли в освещенное свечами пространство, мадам Арнольд окинула быстрым взглядом все группы верующих, разбросанные по разным углам высокого и гулко-го здания, затем, остановившись впереди, возле правого клироса, инквизиторски обвела глазами лица молодых людей, которые, повидимому, внимательно слушали церковные песнопения. Но тут же она поняла, что привлекает внимание окружающих. Удивленные лица повернулись в ее сторону. Она заметила даже улыбки. Сжав губы, мадам Арнольд оборотилась к иконостасу и застыла, краешком глаза следя за Анет. Девушка в глубоком раздумье слушала нежные мелодии, лившиеся с хор. Встретив взгляд воспитательницы, она улыбнулась и опять ушла в себя, словно в какую-то невидимую скорлупу.

Юноши с черными глазами не было. Из собора они вышли одни, и никто не следовал за ними. И все-таки, лакомясь голубцами со сметаной, мадам Арнольд не испытывала прежнего наслаждения. Ела она вдоволь, но было очевидно, что ее грызет немалое беспокойство. Уж лучше бы, конечно, решить в ту или иную сторону и разобраться, в чем же все-таки дело. Анет изредка бросала на нее долгие взгляды. Но в присутствии Марии, возмущенной тем, что не отдали честь ее обеду, говорить было нельзя. Впрочем, обе уж и не знали, о чем собственно говорить. После того как они проглотили по ромовому пирожному, Анет, по своему обыкновению, пригласила воспитательницу к себе в гостиную.

— Сегодня я приготовлю вам кофе лучше, чем когда-либо,— весело сказала она.

— Положи побольше сахара,— горестно сказала ей мадам Арнольд.

Казалось, и здесь, в новой чистенькой гостиной, им

не о чем было говорить. Мадам Арнольд задумчиво выпила кофе. Мадмуазель Анет приняла из ее рук чашку, отодвинула ее от себя и обхватила пухлую ладонь воспитательницы своими тонкими пальцами.

— У тебя холодные руки,— удивилась мадам Арнольд.

— Возможно,— отвечала мадмуазель Анет.— Я вижу, милая мадам Арнольд, что мои слова обеспокоили вас и навеяли невеселые думы.

— О да,— вздохнула немка.

— А ведь ничего особенного не произошло, и между нами все остается, как было. Просто я должна была высказать все, что у меня на душе. Долгое время не понимала я этой новой своей жизни, жила словно в какой-то мгле. А теперь неожиданно почувствовала, будто заново родилась. Не могу, да и не хочу вспоминать былого. Я начала считать себя человеком, и глаза у меня раскрылись.

— Все это так,— отвечала мадам Арнольд, обнимая и целуя Анет.— Но если глаза твои раскрылись, отчего они видят только определенные вещи?.. Ну, мне необходимо кое-где побывать,— прибавила она со вздохом и грузно поднялась.— Обычно я немного отдыхаю в это время, но сегодня обязательно должна пойти.

— Зачем вам уходить? — жалобно возразила мадмуазель Анет.— Оставляете меня одну!

— Я ведь ненадолго, скоро вернусь.

— А я опять начну читать безнравственную книгу, так и знайте, хотя и ничего в ней не пойму.

Ученица смеялась. Воспитательница безмолвно покачала головой. У себя в комнате она торопливо оделась и вышла решительным, быстрым шагом, словно отправлялась на уроки.

Человек, к которому поспешно направлялась мадам Арнольд, проживал на улице Штефана Великого, в двухэтажном доме с многочисленными лавками и квартирами, среди которых находилась и его контора с одним окном и дверью на улицу. На двери поблескивала скромная, как у врача, дощечка всего с двумя словами: «Леон Михайлович», но эти два слова были начертаны золотом. Мадам Арнольд толкнула дверь с расцвеченными морозным узором стеклами, и над ее головой раздраженно зазвонил колокольчик. Навстречу из полутемной комнаты поднялась какая-то тень, и через противоположную, тоже

застекленную, дверь в контору вошел высокий и толстый рыжеватый человек. Его довольное, веселое лицо было тщательно выбрито, усы кирпичного цвета — подстрижены. Он неторопливо приближался, с удивлением поглядывая на столь неожиданную клиентку, и продолжал ковырять в зубах. Занятие это являлось скорее тактическим приемом, который пускался в ход при разнообразнейших обсуждениях, возможных в его кабинете. Возле окна стоял небольшой письменный стол изящной формы, свидетельствующей о том, что он принадлежал когда-то даме. Рядом помещалось большое, широкое, обитое кожей кресло, уже изрядно протертое и просиженное. В это кресло и уселся господин Леон Михалович, предварительно важно раскланявшись с мадам Арнольд и предложив ей другой, значительно более узкий и жесткий стул.

Мадам не села, — она буквально свалилась на него, не вынимая рук из муфты, да так и застыла, вперив глаза в делового человека. Господин Михалович внимательно оглядел ее и почел за должное улыбнуться.

— Сижу вот и думаю, — спокойно, с расстановкой заговорил он, — что могло понудить вас явиться ко мне, мадам Арнольд? Ведь я на днях заходил к вам.

— Тут нет никого постороннего? — тревожно озираясь, осведомилась она.

— Нет. Сегодня воскресенье, притом в этот час я позволяю себе немного отдохнуть, — отвечал господин Леон и, щуя глаза, продолжал развивать свою мысль: — Деньги понадобились? С боярином нужно поговорить?

— Нет, нет, — возбужденно возразила мадам Арнольд, придвигая свой стул ближе к столу. — Я пришла с вами посоветоваться. Больше мне не с кем. Не знаю, что мне делать. Вы человек опытный, возможно как раз вам и придет хорошая мысль.

— И не одна, — хладнокровно согласился господин Михалович. — Речь идет о мадмуазель Анет?

Пораженная мадам Арнольд уставилась на него.

— Откуда вы узнали?

Леон Михалович рассмеялся.

— Не удивляйтесь, мадам Арнольд, — ответил он своим спокойным голосом. — Что же может быть иного, если деньги вам не нужны, именье приобретать вы не собираетесь, домов для продажи у вас нет, товаров не поку-

паете и не продаете, да притом еще так напуганы? Только с двумя людьми можете вы об этом говорить: со мной и Шапсой. Шапса уехал с боярином в именье по делам, да и особой дружбы у вас с ним нет. Остаюсь я. Ни с кем другим вы об этом не заговорили бы.

— Конечно, конечно! — торопливо согласилась учительница. — Никто незнаком с положением мадмуазель Анет. Для моих немногих приятельниц она просто ученица — сирота, пансионерка, родственники которой находятся где-то далеко в деревне. Вы правы. Не так уж трудно понять, что именно это привело меня к вам.

— Однако, — заметил Михалович, ерзая в своем кресле, — никто, кроме Шапсы и меня, не смог бы прочесть, что написано на вашем лице, хотя бы даже он знал и вас, и мадмуазель Анет, и все остальное. Да будет вам известно, что среди наших маклеров большинство шарлатаны. Их становится все больше, они конкурируют, а ничего путного делать не умеют. Я презираю их... Умны только мы двое.

Учительница с удовольствием присоединилась к этой точке зрения. Михалович продолжал старательно работать зубочисткой.

— Итак, продолжим, мадам Арнольд. Я не думаю, чтоб ей захотелось домой к родителям: насколько мне известно, об этом и разговора быть не может.

Учительница кивнула.

— Значит, я прав. Опять же мне известно, что ее покровитель считает ее чем-то вроде ценной жемчужины. И тут я прав. Притом, по моим сведениям, мадмуазель Анет привязана к вам, у нее есть все, и она не испытывает ни в чем недостатка.

— Я ее лучший друг, — взволнованно добавила мадам Арнольд.

— Отлично. Выходит, что и в этом я прав. Итак, она привыкла к своей новой жизни, надоели ей достаток и покой, на улице загляделся на нее, если так можно выразиться, мадам Арнольд, какой-нибудь голодранец. Я вижу, вы соглашаетесь, значит, это так и есть; и теперь она думает об амурах.

— Пока еще нет, — улыбаясь, возразила учительница, — пока еще нет, но я очень боюсь. Просто я во-время заметила...

— Что вы могли заметить? — с легким презрением

прервал ее господин Леон Михалович.— Ничего особенного не могли вы заметить, мадам Арнольд.

— Она рассказала мне, призналась во всем. Кажется, кто-то преследует ее. Другого пока ничего еще нет.

— Вы так думаете? — иронически осведомился господин Леон, прищурив один глаз.— Насколько мне известно, женщина никогда всего не скажет. Что она вам поведала? В чем призналась?

Учительница поспешно изложила то, что знала. Леон Михалович внимательно слушал.

— Действительно, еще ничего не произошло,— заговорил он снова, с тем же невозмутимым спокойствием.— Попросту мы имеем дело с пороховой бочкой, и кто-то бродит вокруг с зажженной свечой. Эта барышня Анет кажется мне подозрительной личностью.

— Я тоже боюсь, что она скрытная,— подтвердила мадам Арнольд.— Много трудов положила я, господин Михалович, чтобы укротить ее характер. Я была для нее матерью, а она всегда оставляла себе лазейку, темный уголок в душе,— скроется туда и молчит. Немало пришлось повозиться с ней. Но теперь, мне кажется, нависла самая большая опасность...

— Вы совершенно правы, мадам Арнольд, нависла опасность. Здесь затронуты ваши интересы, да и в какой-то степени мои. Кроме того, боярин тоже заинтересован, чтобы все обошлось мирно, без шума, без скандалов, без неприятностей и упреков. Разве отвечать придется одной вам? Отвечать прежде всего придется Леону Михаловичу, ведь он человек умный и обязан был обо всем подумать. И боярин будет прав. Послушайте, мадам Арнольд, я должен увидеть этого юношу.

— Я тоже об этом подумала,— согласилась учительница.

— В таком случае, мадам Арнольд, вы должны сегодня же выйти на прогулку с мадмуазель Анет. Она сама попросит вас об этом,— ведь утром вы его не встретили, и ее теперь терзает беспокойство и... какое-то любопытство, мадам Арнольд; подобное опасное любопытство только у женщин и бывает. Вы пройдетесь здесь по улице, по тротуару с нашей стороны, и я вас увижу. Тут же последую за вами, под руку с женой, будто на прогулку. Может, понадобится принять быстрое решение, а моя жена такая ловкая и тоненькая,— в игольное ушко про-

лезет. Вот мы и узнаем, в чем дело, а потом примем свои меры, и все будет как нельзя лучше, мадам Арнольд.

Господин Михалович говорил негромко, с выражением уверенности на лице. Учительница ощутила некое облегчение в своей горести. Но, спеша обратно к дому, она вновь почувствовала, как страх перед неизвестностью сжимает ей сердце.

Анет спокойно читала книгу, сидя в кресле у окна. Мадам Арнольд с удовольствием отметила, что это окно, как, впрочем, и все остальные, выходило в садик. Глухая, безлюдная улочка была где-то далеко, за стеной.

— Я немного поскучала тут одна,— дружелюбно улыбаясь, обратилась к ней девушка.— Старалась углубиться в книгу, да что-то не получается...

Последние слова больно кольнули сердце мадам Арнольд. «Все одна и та же забота»,— подумала она, внимательно всматриваясь в свою ученицу.

— Сварить вам кофе? — спросила мадмуазель Анет.

— Если хочешь... я с удовольствием.

— Я тоже. Я полюбила кофе. А потом пойдем прогуляемся. Теперь уж я одна не выйду, чтобы вас не тревожить.

— Ладно, пойдем,— вздохнула мадам Арнольд.

Анет засмеялась, не глядя на свою воспитательницу, и торопливо заходила по комнате, налаживая спиртовку и доставая чашки.

— Мы выйдем между четырьмя и пятью, перед сумерками, мадам Арнольд.

— Когда захочешь, моя милая...— со вздохом согласилась та.

— Чему вы улыбаетесь, мадам Арнольд?

— Я совсем не улыбаюсь, душенька. Я жду кофе...

Мадмуазель Анет изрядно намучилась со своим кофе. Оно оказалось слишком горячим, и воспитанница мадам Арнольд не могла его выпить так быстро, как бы ей хотелось. Напрасно вытягивала она губы и дула на него, поглядывая краешком глаза на воспитательницу. Оставив наполовину недопитой чашку, она накинула на себя шубку, надела шапочку, с удовольствием осмотрела себя в зеркало и уже больше не садилась, дожидаясь мадам Арнольд.

— Я готова,— серьезно заявила она.— Как только захотите, так и пойдем.

Мадам Арнольд как-то нехотя поднялась с места и дольше обычного копалась, разыскивая пальто, шляпу, муфту и прочие принадлежности туалета, которые будто нарочно куда-то запропастились. Наконец, женщины вышли навстречу резкому северному ветерку. Медленно прохаживаясь по улице Штефана Великого, они миновали большую гостиницу Траян и направились к улице Карол. Это было пешее повторение утренней прогулки в санях. Многочисленные упряжки мчались в гору, по направлению к роше Копоу.

Учительница понимала, что идти нужно пешком, и молчала. Но про себя с некоторым страхом думала о предстоящем долгом пути в гору. Поэтому она с удовольствием покорила руке спутницы, повернувшей ее в обратную сторону. «Ну, конечно,— подумала она,— ведь нам же нужно оставаться в пределах определенного района». Мелькнула мысль, что и для Леона Михаловича такой галоп к горе Копоу тоже был бы довольно затруднителен. Она огляделась по сторонам, но его не увидела. Беспокойство и раздражение овладели ею.

— Милая мадам Арнольд,— внезапно заговорила полголоса мадмуазель Анет,— о чем вы задумались? Я хочу вам сказать...

— Да? — вздрогнула учительница.— Что такое?

— Взгляните, мадам Арнольд, вон туда, на ту сторону. Видите кондитерскую?

— Вижу.

— А тех, кто перед ней остановился, видите?

— Ты говоришь о той черненькой элегантной дамочке? Красивая женщина. Кажется, очень веселая.

— Да, мадам Арнольд, но речь не об этой дамочке, которая и мне кажется слишком веселой. Речь об ее спутнике...

Сердце учительницы сильно забилося. Стройный, высокий юноша, разговаривавший с черненькой веселой дамочкой, поднял глаза. Нетрудно было заметить, что глаза у него черные, и эти черные глаза устремились на нее и ее спутницу. С одного взгляда мадам Арнольд убедилась, что юноша совсем не заслуживает того грубого определения, которым наградил его господин Леон Михалович. Он был в шубе с меховым воротником, в цилиндре и перчатках. Мадам Арнольд заметила, что он изящен и красив, а в собственном вкусе она никогда не сомнева-

лась. Такого молодого человека несомненно полюбила бы в молодости и она, приведись ей жить среди иных людей и в иных обстоятельствах.

— Это он? — осведомилась учительница, охваченная ужасом.

— Да,— шепнула мадмуазель Анет.— Вы его знаете?

— Нет. Но я могу узнать, кто он. Как же мы теперь? Нужно вернуться.

Молодой человек почтительно раскланялся со своей спутницей и тоже неторопливо зашагал под гору.

— Идет за нами,— взволнованно шепнула Анет.— Он оставил ту и идет сюда.

— Как же ты его видишь? — все больше и больше удивлялась учительница.

— Вижу, мадам Арнольд.

— Но что же нам делать? Остановим сани и поедем домой.

— Конечно, так бы и следовало поступить. Я бы тоже это сделала. Но достаточно повернуть голову, чтобы убедиться, что у него свои сани, которые медленно следуют за ним.

— Как же так? Что же мы будем делать?

— Не знаю, дорогая мадам Арнольд.

— Что делать? Что делать? — жалобно стонала учительница.— Нужно, чтобы он потерял наш след. Никким образом не следует ему знать, где мы живем. Пойдем скорее. Здесь, за углом, должен быть магазин. Продажа перчаток. Зайдем туда, а он тем временем пройдет.

— Хорошо, милая мадам Арнольд, пусть будет по-вашему. А почему у вас так дрожит рука? Успокойтесь.

Волнение мадам Арнольд передавалось и мадмуазель Анет. Они вбежали в магазин перчаток. Мадам вздохнула с облегчением. Дверные стекла были разрисованы инеем. Из задней комнаты вышел сухопарый старик в больших круглых очках и, подойдя к прилавку, осведомился у дам, что им угодно. Он не улыбался и разглядывал их сквозь очки инквизиторским взглядом.

— Нам нужны перчатки...— проговорила мадмуазель Анет.

— Да, несколько пар перчаток...— каким-то странным голосом присовокупила ее спутница.

Сухопарый торговец удивленно взглянул на нее и достал с полок несколько коробок. Последовал небольшой

обмен мнений касательно номера, материала и цены. Мадмуазель Анет, внезапно успокоившись, с усмешкой поглядывала то на продавца, то на свою воспитательницу.

— Что мы станем делать с таким количеством перчаток? — спросила она, с трудом сдерживая смех.

— Как что? — возразила все еще взволнованная мадам Арнольд. — Перчатки очень нужны.

Сумерки заволакивали магазин. Купец решил зажечь лампу. Довольная мадам Арнольд села на стул.

Но как медленно ни упаковывал купец перчатки, как медленно ни расплачивались покупательницы, в конце концов пришлось им покинуть магазин. Купец провожал их внимательным взглядом до самых дверей.

Выйдя на улицу, мадам Арнольд в волнении оглянулась. Потом вздохнула свободней.

— Ушел.

Мадмуазель Анет ничего не ответила. Молча шагала она рядом, но уже не брала воспитательницу под руку.

— А вот и сани, — обрадовалась мадам Арнольд, спеша к ним, словно к какому-то спасительному берегу.

Как только они уселись, сани тронулись. Зазвенели легкие бубенчики. Могучие кони мчались быстро. Сидящий впереди человек в тулупе правил ими, успокаивая их кротким, мягким голосом.

— Куда вам? — немного погодя спросил, полуоборачиваясь, извозчик.

Мадам Арнольд уже собиралась назвать адрес, но в это мгновение пальцы мадмуазель Анет с такой силой вцепились в ее руку, что она резко повернулась к ней, обуреваемая новым приливом страха перед неведомой опасностью. Лицо ученицы перекопилось в беззвучном, неестественном смехе.

— Что случилось, душенька? — озабоченно спросила мадам, нагибаясь к спутнице.

— Это же его сани, — шепнула Анет, и короткий смешок ее прозвучал как икота.

Воспитательница едва не лишилась чувств. Но кое-как сдержалась, бессвязно лепеча:

— Что делать?

— Не знаю, милая мадам Арнольд. Остановим его и отправимся домой пешком.

— Остановись! — возопила мадам Арнольд, как будто ее кто-то ударил.

Возница, отчаянно борясь с разгоряченными конями, накрутив вожжи на руку и откидываясь назад, остановил сани. Получив серебряную монету, он что-то удовлетворенно пробормотал и потом долго глядел вслед своим седокам, торопливо свернувшем с улицы Штефана Великого в укромную улочку.

— Хорошо, что отделились...— с трудом выговорила, наконец, мадам Арнольд, тяжело дыша.— В темноте никто за нами не идет?

— Нет. Но зато известно, куда мы направились,— злобно усмехаясь, отвечала мадамузель Анет.

Мадам смолчала, потрясенная ее словами. Когда они пришли домой, глаза ее были печальны, она чувствовала себя плохо. С трудом раздевшись при помощи Анет, хмурая и подавленная, она опустилась на стул. Девушка озабоченно хлопотала около нее, принесла конфетку и стакан воды, но сладкая помадка показалась ее наставнице куда какой горькой. Ласки девушки немного оживили ее. Но вырвавшийся у воспитанницы смех был ей просто непонятен.

— Чему ты смеешься, моя дорогая? Тебе меня совсем не жалко?

— Почему же, милая мадам Арнольд? Я смеюсь просто оттого, что не вижу причин для расстройства.

— Тебе приятно видеть меня удрученной и несчастной?

— Нет, милая мадам Арнольд, это совсем не так, потому что я люблю вас и знаю, что и вы меня любите.

Мадам Арнольд грустно улыбнулась. Потом вздрогнула: в передней зазвенел колокольчик.

Анет подняла глаза. Улыбка сошла с ее лица. Ресницы затрепетали, она побледнела. Удивленно следила она за мадам Арнольд, когда та встала и направилась к двери.

— Возможно, это господин Леон Михалович.

— Да? — удивленно проговорила мадамузель Анет, и взгляд ее стал злым.— В таком случае я оставляю вас и ухожу к себе: у вас, должно быть, важный разговор.

Мадамузель Анет отправилась в свою гостиную и зажгла лампу. Опустила шторы на окнах. Постояла немного посреди комнаты, внимательно вслушиваясь в окружающую тишину, и, наконец, обернулась и посмотрела на себя в зеркало. Потом подошла к креслу и принялась разыски-

вать свою книгу. Тогда-то и раздался приглушенный вопль наставницы. Анет почудился в нем жалостный призыв. Она подняла изящный носик, словно рассчитывала чутьем определить, что там произошло. Потом мелкими шагами перебежала зал и рванула дверь в комнату наставницы.

— Ой, как же это можно? — ломая руки, в отчаянии стонала мадам Арнольд. — Это же несчастье, тут демон какой-то вмешался!

— А я вижу одного только господина Леона Михаловича, — без улыбки заметила мадаммуазель Анет. — Что такое? Что случилось?

Наставница продолжала безмолвно стонать. Погруженный в задумчивость, господин Михалович взял шляпу, поклонился и вышел вон.

Глава восьмая

КАКОГО МНЕНИЯ ВАСИЛЕ БРЕБУ О СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

Четыре дня в главном городе уезда заседал суд присяжных. На пятый — было назначено слушание дела Василе Бребу. Из Бучуменов поездом прибыли свидетели, Андроне и адвокат Георгиеш Коман. Андроне Бребу заметил, что тем же поездом, в вагоне для господ, ехал и примарь Якобаке Александреску; но господин Георгиеш с усмешкой дал ему понять, что примаря в уезд призывают дела посерьезней да посложней, чем дело Василе. К одиннадцати часам Андроне разыскал Василе в помещении трибунала, где тот был под охраной двух солдат. Как всегда, был он спокоен и мрачен, но казался как-то выше и полнее, лицо его стало одутловатым. На нем была надета чистая холщовая рубаха, на плечи накинута тулупчик.

Адроне остановился возле него.

— С добрым утром, Василе.

— Благодарствуйте, батяня. На суд, стало быть, пришел?

— Ага, пришел.

Адроне окинул его беглым взглядом от кожанцев до кэчулы. Василе упорно смотрел куда-то в пространство.

— Что же сказывает аблакат? — спросил Андроне. — Теперь-то, думаю, дело не отложат.

— Да сказывает, будто не отложат.

— А я тебе приволок всех свидетелей. Вчера и сам господин Чилипп приехал. У него-то другие дела, да вот обещался все же с прокурором поговорить. Он тоже сказывает, что от боярина, дескать, никаких таких претензий нет. Только вот не понимает он, что тут такое с тем грабежом и с Добре Болгаринном.

— А мне-то откудова знать, батяня? Это все ихние выдумки. Запутали они меня и тянут,— уже целых два года держат в остроге. Накажи их господа!

Андроне разглядывал свою палочку.

— Что ж, братец Василе. Я делал все, как мог и разумел. Развязал кошель и заплатил аблакату — и сейчас и в другие разы. И сказывает он, что читал, дескать, все бумаги и чтобы мы ни о чем не беспокоились. И то ладно, что не удалось сыну дьячка меня тоже в беду впутать, некому бы тогда бегать да о тебе хлопотать.

— Оно, с одной стороны, так,— со вздохом согласился Василе.— Посмотрим, что будет дальше.

Оба конвоира слушали, опираясь на ружья. Это были светловолосые, коротко остриженные парни с едва пробившимися усиками, в слишком широких фуражках и в военных ремнях поверх гражданской одежды.

— Братья вы, что ли? — спросил один из них.

— Братья,— отвечал Андроне.

— И мы тоже братья, только двоюродные, из одной деревни. И не выходил еще нам черед вступать на службу. Да вот погнали нас неправильно, зимой. Что было делать? Пошли мы.

— Эх, был бы закон да справедливость,— пробормотал Василе, озираясь невидящими глазами.

— А теперь кому, значит, жаловаться? — продолжал парень.— Я так думаю: к господину капитану сходить надо.

— Что ж, не худо придумал,— молвил Андроне, неуверенно покачивая головой.

Второй солдат тоже почел за должное вступить в разговор:

— А ведь у нас в деревне есть мужик, Йоргу Тэнасе его зовут,— так того тоже судили присяжные. И вынесли ему оправдание.

— А что он такое сделал? — спросил Андроне.

— В кабаке кума зарезал.

— Я-то и не резал и не воровал,— заговорил Василе,— а два года, поди-кось, сижу в остроге.

Оба парня посмотрели на него, как на некое чудо, и, переглянувшись, сокрушенно покачали головой.

— Я и на станции об тебе разговор вел,— начал немного погодя Андроне.— Служба найдется, был бы человек охоч до работы.

— Мне бы отсюда вырваться,— пробормотал Василе.

Голос его звучал глухо, будто выходил из какого-то мрачного подземелья. Андроне нахмурился и внимательно поглядел на него.

— О других делах поговорим опосля,— негромко молвил он.

— Добро, батяня.

Они замолкли. Зал был пуст. Только изредка проходили мимо люди, одетые по-городскому. Не глядя на стоявших, они входили в зал заседаний.

— Присяжные,— разъяснил один из солдат.

Открылась одна из дверей, появился господин Георгиеш Коман, без пальто, с непокрытой головой. Он направился к ним.

— Дело разбирается сегодня,— весело сообщил он.

Василе, не мигая, смотрел на него.

— Я вновь просмотрел дело,— возбужденно продолжал адвокат,— и всыплю им сегодня по первое число. Если придет Якобаке, так и ему не поздоровится. Только не думаю, чтобы пришел. Нелады у него с новым префектом. У нас опять новый префект. Здесь власти меняются, как при фанариотах¹. Говорил мне сегодня господин Филипп, что уж этот-то, надо думать, как следует прижмет работников примэрии. Пусть прижимает, пусть правда-матушка выходит на свет божий...

И он заговорщически взглянул на Андроне.

— Ваша милость,— с усилием выдавил из себя Василе,— а как же с тем грабежом и с болгаринном? Все так, как вы сказывали?

— Разумеется, а как же иначе? Я ведь объяснил тебе. Не будь такого обвинения, не оказался бы ты перед судом присяжных. Во всяком случае, ясно одно: побоялись эти

¹ Богатые греки, жители района Фанар в Константинополе, из числа которых турки набирали многочисленных господарей румынских княжеств в XVIII веке.

господа, что следовательно может тебя освободить, вот и придумали всю эту историю.

— Что же за причина, ваша милость? — спросил Василе, взглянув на него злыми глазами.

— Ты меня спрашиваешь? — развеселился господин Георгиеш.— Спроси-ка лучше господина примаря и его подручных.

— А в чем же все-таки причина, ваша милость? Ведь я-то никого не трогал?

Адвокат пожал плечами и озабоченно взглянул на свои золотые часы.

Мимо пробежал служитель.

— Начинают, ваша милость.

— Хорошо, хорошо,— равнодушно отозвался Коман.

Солдаты почтительно поглядывали на него. Со стороны главного входа медленно и грузно шагал Филипп Накович в своей широкой дохе.

— Мое почтение, господин Филипп,— весело приветствовал его адвокат. Андроне тихо отошел.

— Привет...— мягким голосом отвечал управитель, обратив свои мутные глаза сначала на Василе Бребу, затем на Андроне.— Туго продвигается дело с отцом коммуны, господин Георгиеш. Большая опасность!

— Как же так? Скажи, пожалуйста! — все так же весело и удивленно воскликнул господин Георгиеш; потом как бы задумался на миг.— Скажу тебе одно, господин Филипп, только между нами: каждый отвечает за свои поступки. Нет дыма без огня. Господин Якобаке Александреску все намекает, что, мол, такой-то и такой-то донес на него. Какие доносы? Какая зависть? Ведь большего доноса, чем сама его деятельность, и не придумаешь. Я, милостивый государь, человек честный, и, будь примарем я, никто не мог бы меня упрекнуть.

— Эх; оставим это,— мягко и примиряюще возразил Филипп Накович.— Некогда мне, получена телеграмма от боярина; сегодня прибывает в Бучумены, а потом поедет вместе с ним — в ботшанские имения, кажется. Боярин производит инспекцию...— пояснил он смеясь.— Шапса полагает, что по этому случаю он и продает Язу-Кручий. Ты просил меня кое о чем; вот я и пришел тебе сказать, что поговорил...

— Да? — обрадовался адвокат.— Думаю, все в порядке?

— Само собой! Прокурор тоже смеялся. В особенности когда я сообщил ему, что мы с самого начала совершенно не интересуемся делом.

Господин Георгиеш Коман, казалось, был весьма удовлетворен. Он снова вытащил часы, но тут же поспешно засунул их обратно в жилетный карман, чтобы иметь возможность пожать руку господину Филиппу, торопившемуся уйти.

Покачиваясь в своей большой дохе, управитель удалился. Адвокат потирал руки, поглядывая исподлобья то на Василе, то на Андроне. Крестьянин прекрасно понимал, что взгляд этот связан с вопросом о деньгах, но не показывал и вида. В это время двери большого зала раскрылись, привратник замахал солдатам, приглашая их войти и повторяя хриплым шепотом:

— Вести обвиняемого! Введите обвиняемого!

Парни подтолкнули Василе, и он вошел в зал. Привратник тем же хриплым шепотом, толкнув обвиняемого в плечо, указал ему, куда пройти. Наконец, Василе остановился у стены, между своими конвоирами. Он держал кэчулу двумя руками, медленно мял ее и смотрел на одетых в черное членов суда, как на что-то чуждое и далекое. Потом заметил в зале Андроне, который пробирался среди горожан, отыскивая себе местечко подалее. Адвокат господин Георгиеш стоял, опираясь на барьер, похожий на загородку церковного клироса, и улыбался, засунув пальцы в кармашек для часов.

— Как тебя зовут? — задал кто-то вопрос.

— Василе.

— А еще как?

— Сын Иона Бребу.

Вопросы задавал старый боярин с седеющей бородой и мягким взглядом.

— Где проживаешь?

Василе погладил усы кэчулой, поддернул плечом тулуп и ничего не ответил, только взглянул украдкой в сторону господина Георгиеша Комана.

— Где живешь? — улыбаясь, вторично спросил судья.— Ну, откуда ты родом?

— Так я, стало быть, живу в остроге... — с сомнением и некоторым удивлением ответил Василе. Потом вспомнил, что его уже об этом спрашивали один раз.— Родом-то я из Бучумен,— пояснил он.— И работал сторожем на Халме.

В зале зашевелились, публика повеселела.

— Слушай, Василе,— снова заговорил боярин.— Будь внимателен: я брошу жребий, чтоб определить присяжных, которые будут тебя судить. Ты имеешь право отвести шестерых из них.

Обвиняемый, казалось, не слышал. Однако он заметил, что остальные бояре, помоложе, которые сидели слева и справа от старого боярина, ничего не говорили, только посматривали в его сторону да следили за каждым его движением. Медленно продолжались формальности в затихшем зале. Один за другим занимали кресла присяжные. Василе вспомнил, наконец, слова адвоката и понял: эти-то горожане и будут решать, виновен он или нет. Они не показались ему плохими людьми. Может, это какие-нибудь учителя? Или купцы? Некоторые из них были страшно толсты и какие-то сонные на вид. Среди них он узнал Гицэ Самсона, кабатчика из Валя Мэрулуй. Только один,— тот, что сел в кресло первым,— был безбород, высок, костляв, и зеленые глаза его смотрели зло. Потом присяжные встали один за другим, подняли правую руку и сказали, что присягают. Должно, потому-то их и зовут присяжными.

Секретарь зачитал бумаги.

«Вот какие у них порядки,— думал Василе.— Почему они не спросят меня и не начнут судить?»

Хриплый привратник внезапно открыл какую-то дверь и выкрикнул истошным голосом:

— Добре Атанасов!

«Значит, не такой уж он хриплый»,— размышлял Василе.

Привратник снова кинулся к двери и назвал другое имя:

— Никифор Капрафой.

Это дед, сторож при амбарах. Должно, судья желает узнать, пришли ли свидетели. Василе вздрогнул и повернулся. К нему опять обращался старый боярин.

— Слушай, Василе Бребу, слушай внимательно. Встань лицом к господам присяжным и скажи, не таясь, как все произошло с болгаринном... по делу с ограблением в Пурчелештах.

— А я не знаю, я там не был,— отвечал Василе, пожимая плечами.— Я по делу с амбарами.

— Оставь амбары, то совсем другое дело. Плохо, что

ты запираешься. Ведь на первых допросах ты показал, что остановил огородника Добре Атанасова в овраге у Пурчелештов, ударил его дубиной и отобрал у него кошель с тремястами восемьюдесятью леями. Так написано в бумагах.

— Да это ж написал господин секретарь, а я ничего не знаю.

Жирных присяжных, видимо, развеселил такой ответ. Только один костлявый и безбородый выглядел попрежнему злым и недовольным.

— А о том деле с амбарами что ты знаешь? Расскажи господам присяжным, как было с амбарами. Ты обвиняешься в том, что хотел ограбить машиниста и убить его.

— Ничего я не знаю о таком деле,— решительно сказал Василе насупившись.

— Как же так, Бребу? Опять отрицаешь? Разве тебя не поймали в поместье Бучумены около амбаров, называемых еще стодолами?

— Поймали. Только я не грабить и не убивать ходил, сохрани бог.

С задней скамьи поднялся Андроне и внимательно слушал.

— Так чего же ты искал у амбаров? Расскажи-ка господам присяжным, как было дело.

— Никакого дела там не было. Ходил я к амбарам — и все тут.

— Как же так? Без причины, ночью?

— Да так, ходил, как полагается; дело такое вышло. А они накинулись на меня и схватили.

— Но ведь ты тайком через забор перелез?

— Перелез.

— Ну?

— Ну и все.

— Никаких дурных намерений у тебя не было?

— Не было,— как-то неуверенно отвечал Василе.— Нож и топорик я оставил в шалаше. Я был с пустыми руками.

— Что же понадобилось тебе с пустыми руками, ночью, возле боярских амбаров?

— Да искал я там кой-кого... По мужской надобности,— тихо вымолвил Василе.

Он стоял все такой же хмурый и упорный. Но публика в зале сразу оживилась.

— Хорошо. Введите Добре Атанасова,— сказал судья, стараясь сохранить невозмутимый вид.

Добре был бровастый, неторопливый человек в широких шароварах и коротеньком тулупчике.

— Притенций нет,— отвечал он на вопрос судьи.— Раз нужно, можем клятву дать,— добавил он в ответ на следующий вопрос.— Не знаем. Зачем сказать, когда не знаем?

— Как же ты не знаешь, Добре? Посмотри на него хорошенько. Ведь это же Василе Бребу, тот, кто ударил тебя дубиной в овраге у Пурчелештов и отнял у тебя кошель, в котором у тебя было триста восемьдесят лей. Ты же сам об этом заявлял.

— Не заявляли,— отчетливо выговорил Добре Атанасов, повернувшись к Василе, который глядел на него с превеликим удивлением.— Не знаем такого человека. Другая человек есть. Бырзу. Того человека знаем. Тот человек плохой и вор; убежал с моими деньгами. А этого не знаем. Зачем сказать, когда не знаем?

— Почему же ты ответил утвердительно, когда тебя спрашивали, Бребу ли тот, кто тебя ограбил?

— Не знаем. Может, ошибка. Сказали Бребу, но думали Бырзу. Когда тот человек поймаем, придем и скажем, и деньги назад возьмем...

Добре Атанасов хмуро и смущенно оглядывался вокруг, словно преступление было делом его собственных рук. Здесь были чужие судьи и чужая страна.

Председатель повернулся к своему товарищу справа и шепнул ему что-то. Потом наклонился к товарищу слева и оглянулся на прокурора, но тот, развалившись в креслах, упорно глядел в потолок.

— Хорошо, Добре, ты свободен,— ласково сказал председатель.

— Когда не знаем,— снова заговорил ободренный болгарин,— зачем сказать?

— Одна у нас душа и одна вера,— пробормотал Василе, повернувшись к стене.

— Введите свидетеля Никифора Капрафой,— продолжал председатель.

В зал вошел сгорбленный старик с нависшими бровями. Он был в постолах, набитых соломой, и кутался в длинный, старый, засаленный тулуп. Длинные пряди седых, жидких волос, курчавясь, падали ему на плечи. Он остановился у пюпитра адвоката.

— Ближе, дед,— хрипло шепнул привратник.

Старик сделал еще два шага и вновь остановился.

— Иди сюда, дедушка,— обратился к нему старый судья.— Подойди поближе.

— Иду, иду,— послушно отвечал старик.

— Вот так. А теперь повернись к этому человеку. Знаешь ты его?

— Знаю, мил человек, как не знать? Это Василе.

— Вы что, родственники?

— Родные, а то как же?

— Кем он тебе приходится?

— Да деверь мой жил с его неродной матерью, с мачехой, стало быть, как у нас говорят.

— Тогда положи руку на святой крест и клянись.

— Клянусь, ваша милость,— опять подчинился дед Никифор.

Старик произнес клятву, осенил себя крестным знаменем и поцеловал крест.

— Смотри, говори правду, дед,— продолжал представитель правосудия.— Что тебе известно о деле Василе Бребу возле амбаров? Повернись лицом к господам присяжным и рассказывай.

— Ваша милость, дай вам бог здоровья, что же я могу знать? Ничего я не знаю.

— Как это не знаешь? Ты ведь там был?

— Был, а то как же? Я ить на боярской службе.

— Ну и что? Был ты там, когда схватили Василе Бребу?

— Был, а то как же? Ласкэр-цыган и Гецка схватили его.

— Вот ты и расскажи, дед, все, что знаешь. Повернись к господам присяжным.

Дед Никифор повернулся на мгновенье к господам присяжным, взглянул на них. Потом, точно исполнив долг, опять оборотился лицом к председателю.

— Да всего-то и было, ваша милость: перелез Бребу через ограду, а сторожа его и схватили.

— Хорошо, но зачем ему было перелезать через забор? Говорят, дедушка, он собирался убить машиниста и ограбить его.

— Боже избави, барин. И придет же сказать такое!

— Чего же он там искал?

— Да я-то почем знаю?

— У господ присяжных есть какие-нибудь вопросы?

Да. Первый присяжный, костлявый человек с враждебными глазами, который так не понравился Василе, пожелал задать вопрос. Он заерзал на стуле.

— Что вы хотели спросить? — учтиво осведомился представитель правосудия.

— Мне хотелось бы знать, господин председатель, другое ли это дело? Ведь дело с болгаринном, кажется, не связано с этим...

— Да, да, это другое дело, — подтвердил судья, окинув его долгим взглядом.

Высокий, сухопарый присяжный удовлетворенно поблагодарил и вновь удобно уселся в своем кресле.

— Отойди в сторону, дедушка, — заговорил опять судья. — Пусть войдет следующий свидетель.

Вторым свидетелем была госпожа Йозефина Мадолчи. Нет, она не родственница обвиняемого. Она тоже дала клятву говорить правду, чистейшую правду, потом взволнованно стала ждать дальнейшего хода неведомых событий. Госпожа Йозефина Мадолчи была толстой дамой с пунцовыми щеками, в платье с турнюром и в облегающем талию пальто. На голове ее красовалось нечто вроде фуражки. Она не совсем ясно поняла вопрос.

— Простите, как вы сказали? — почтительно переспросила она.

— Что вы знаете о происшествии у амбаров?

— Я ничего не знаю, — отвечала со вздохом госпожа Йозефина Мадолчи. — Мы с Людвигом спали. Людвиг — это мой муж. Разбудили нас крики. И люди сказали, что поймали Василе Бребу.

— А те люди не считали, что он намеревался вас ограбить?

— Нет. Он хотел пробраться во второй домик. Может быть, искал там кого. Люди говорили, будто слышали крик, потому и вскочили.

— Значит, кто-то крикнул? Кто-нибудь жил в том домике?

— Нет, — поспешно отвечала мадам Йозефина. — Примеря проводила расследование и опрос. И никого там не нашли. Это наш пустой домик. То есть он собственно боярский домик, но пользуемся им мы.

— Кто же все-таки крикнул? Может быть, вы?

— Нет,— решительно возразила свидетельница.— Я спала со своим Людвигом...

Целый час длился допрос свидетелей. Никто не смог выяснить тайну крика. Господин Людвиг Мадолчи решительно утверждал, поворачивая свой красный нос то к господам присяжным, то к судьям, что вся история с криком — простая фантазия. Относительно же намерений обвиняемого он тоже держался того мнения, что о грабеже или убийстве не могло быть и речи.

Раздумывая над всем этим, Андроне пришел к убеждению, что свидетели говорили хорошо и не обидели обвиняемого. Но присяжные, как ему казалось, не очень-то обращали на это внимание. Особенно тот сухопарый, с зелеными глазами,— очень уж сердито он глядел. Когда заговорил прокурор, Андроне в волнение поднялся снова.

«Этот прижмет его к стенке и запутает,— подумал он,— а потом аблакаты станут распутывать».

Прокурор оказался человеком высокого роста, с окладистой каштановой бородой, которую он, произнося речь, то и дело теребил пальцами. Андроне показалось, что глаза у него шаловливые, а слова какие-то легкие, будто он что-то ласковое говорит.

Через некоторое время пораженный Андроне понял, что этот прокурор, которого он так пугался, ничего от Василе не требует; и говорил-то он совсем о другом, о каком-то короле и о какой-то родине. Судьи слушали его усмехаясь, и только у первого присяжного все не прояснилось лицо.

«Верно, у них уж так положено, чтобы эдакий был разговор»,— подумал крестьянин.

Василе стоял, полуобернувшись к судьям, и упорно глядел в стену, словно он окаменел.

Прокурор внезапно замолчал, окинул окружающих довольным взглядом и медленно опустился в кресло.

Затем поднялся сидевший рядом с господином Георгиешем Команом молодой адвокат, с пухлыми щеками, покрытыми легким и светлым пушком.

«Он-то чего еще собирается сказать?» — вопрошал себя Андроне.

Молодой адвокат заявил, что считает Василе Бребу совершенно невиновным, и даже вполне порядочным и хорошим человеком, незаслуженно пострадавшим, которого оплакивают дома, в родной деревне, братья и сестры.

«Дельно говорит,— подумал Андроне.— Может, угомонит он это. Э хмурого».

Как только кончил молодой адвокат, медленно встал со своего места Георгиеш Коман. Он сделал шаг вперед и заговорил сперва тихо и кротко. Затем мало-помалу начал распаляться. И уже визгливо заголосил, то обращаясь к прокурору, то поворачиваясь в сторону присяжных, и в голосе его зазвучал не только гнев, но и глубокое страдание. «Вот это я понимаю...» — похвалил его про себя Андроне. Особливо понравилось ему, когда господин Георгиеш начал упрекать и срамить всех тех, кто два года держал в заключении человека, основываясь всего лишь на словах и предположениях. И больше всего досталось от него господину примарю. Василе, оторвав взгляд от стены, смотрел на него большими глазами и даже с некоторым страхом. «Лишь бы не разгневались судьи и господа»,— рассуждал он про себя.

После того как господин Георгиеш уселся и взглянул на свои часы, председатель задал присяжным всего два вопроса. Он потребовал, чтобы они ответили, во-первых, ограбил ли Василе Бребу в овраге у Пурчелештов болгарина Добре и, во-вторых, отправился ли он к боярским амбарам, называемым еще «стодолами», с намерением грабить и убивать. «Что-то они скажут и сколько будут держать совет?» — подумал Андроне. Но в это время присяжные уже вернулись обратно. Андроне озабоченно взглянул на высокого, хмурого. «Гицэ Самсон весело пересмеивается с другими кабатчиками, да что с того? Ведь длинный все равно хмурится? Посмотрим, что он скажет?..» Сперва из зала вывели Василе. «И чего они его вывели?..» Потом встал хмурый, держа бумагу в левой руке. Положив правую на сердце, вставляя разные слова, он сказал: «Нет», то есть Василе, дескать, не виновен. «М-да! Все-таки хмурый-то хороший человек, сердяга!»

Старый судья уже успел позвать Василе обратно и с улыбкой сказал ему:

— Ты свободен, ступай домой... И больше не прыгай через заборы...

— Много благодарны, ваша милость, господа судьи,— проворчал Василе, взглянув вправо и влево.— А как же с тем, что я два года отсидел в остроге безо всякой вины? : «Уж попридержал бы лучше язык,— подумал Ан-

дроне.— Вижу, обиделся этот добрый судья. Мало ли у них законов и порядков...»

— Да ну их, брат Василе, к господу богу,— проговорил он, когда они вышли из зала суда.— Зачем еще было говорить такое?

— Чего ж они меня били, мытарили и в остроге держали? — угрюмо проворчал непримиримый Василе, не глядя на него.

— Молчи, Василе, хорошо, что дал господь бог и все благополучно кончилось. Могло быть куда хуже. Веришь ли, порой у меня душа в пятки уходила. Эх, и боялся же я одного присяжного.

— Что ж, батяня, может оно и по-твоему.

— А теперь, значит, брат Василе, надо и мне сказать два слова господину Георгиешу. Сюда идет,— по глазам вижу, чего ему надобно. Разделаюсь, и пойдем в Махалауа Веке наведаться, как живет там Тодирицэ и как ведет себя в гимназии. А потом заглянем к себе на фатеру и закусим.

— Мне бы бутылку водки и хвост селедки,— немного оживился Василе. И опять нахмурился, отдавшись своим думам.

* * *

Под вечер они, вместе со свидетелями, направились к вокзалу. Мир казался теперь Василе милее: как всегда после выпитого стаканчика, он разглядывал его, скупно улыбаясь, и молчал. Рядом с ним в таком же молчании ковылял дед Никифор Капрафой. Они и без слов понимали друг друга. Зато господин Людвиг проявил необыкновенную говорливость. Когда все они заняли места в вагоне третьего класса, машинист принялся мастерить у себя на коленях толстую цыгарку. Мадам Йозефина, сидевшая в углу, краешком глаза следила за его движениями.

— Йозефинушка, душа моя, сделай мне цыгарку,— ласково обратился к ней господин Людвиг, стряхивая с рук табак и обрывки бумаги и протягивая жене коробочку с табаком.— Теперь бы еще чашечку кофе, Йозефинушка! — прибавил он весело.

— Сварю, как только приедем домой;— обещала мадам Йозефина.

— Идет,— промолвил успокоенный господин Людвиг. Потом приосанился, на лице его появилось выражение

восхищения.— Понравилось мне, право, как говорил господин Георгиев.

— Зато я ему и отсчитал сто монет,— разъяснил Андроне, обращаясь больше к брату.— Второму-то ничего не дал, он еще молод и учится.

— А мне молоденький понравился,— заметила тонкая ценительница мадам Йозефина и протянула машинисту цыгарку.

— Да, ты тоже права. И молоденький красиво говорил.— При свете вспыхнувшей спички красный нос господина Людвиг заблестал еще ярче обычного.— Раз говорил красиво, так уж чего там! Очень даже красиво говорил. Но старик... Ну, старик все же лучше... Старик, он много кой-чего знает. Как сказал,— они словно в рот воды набрали. Фертиг!

— А я спросил их, по какой причине два года в остроге держали,— недовольно буркнул Василе.

— А они что? — полюбопытствовал дед Никифор.

— Ничего.

Мадам Йозефина показалась Андроне спокойнее и внимательнее остальных. Он принялся рассказывать ей, как они ходили в Махалауа Веке на фатеру к Тодирице. Приходят они, а мальчик сидит за столиком у окна и книгу перед собой держит.

— Ваш племянник студент в гимназиуме? О, это очень хорошо и даже очень красиво,— согласилась мадам Йозефина.

— Да и, как слышал я, учится он больно старательно. Учителя ихние сделали его старостой.

— Должно, служба такая? — опять полюбопытствовал дед Капрафой.

— Не служба, а право, стало быть, такое,— объяснил Андроне.— Эге, кабы это была служба, не пришлось бы мне тратить уйму денег. Десять монет в месяц плачу, да притом еще меру муки в год и сала четыре кило. Что ж бы вы думали,— ученые дорогих денег стоят.

— Зато, глядишь, боярин на службу возьмет.

— Ну, это после видно будет,— улыбнулся Андроне мадам Йозефине.

— А там, дед,— весело воскликнула жена машиниста,— сделается ваш Тодирице врачом, а ты будешь ходить к нему и просить рецептов, чтобы обратно стать тебе молодым, как был.

Дед Никифор засмеялся, закашлялся, потом снова затих в своем углу.

Господин Людвиг задремал. Поезд остановился на станции Мындрешты. В наступившей тишине снаружи послышался голос кондуктора. Затем дверь с шумом открылась, и в отделение вагона с трудом протиснулся человек, одетый в дорожную шубу до полу с высоким волчьим воротником.

В одной руке новоприбывший держал дешевый чемодан из парусины, довольно старый и поношенный, в другой — тоже выдавший виды портфель, распухший от бумаг. Человек поискал глазами свободную скамью, положил чемодан и портфель и, отдуваясь, сбросил шубу. При этом от мадам Йозефины не ускользнуло, что и шубе лет немало. Ее хозяин носил одежду из домотканного сукна и высокие сапоги. Это был длинный безбородый человек с сухим лицом; по обеим сторонам рта у него залегли глубокие складки. Глаза были круглые, как у филина, а когда он снял кэчулу, под ней оказались густые и всклокоченные седеющие волосы — цвета соли с перцем. Ни с кем не поздоровавшись, он внимательно оглядел сидящих, потом сложил на скамье шубу и уселся на ней.

Поезд тронулся. Новый спутник наклонился над шубой, достал из одного ее кармана проездной билет и стал внимательно его изучать. Потом вынул из внутреннего кармана своего суконного сюртука записную книжечку и огрызок карандаша размером не больше сливовой косточки. Раскрыв блокнотик, он бросил недовольный взгляд в сторону лампы и записал какую-то цифру. Затем водворил огрызок на место и спрятал книжечку на груди. Одно мгновение он сидел спокойно, глядя в сторону: видимо, о чем-то думал и что-то подсчитывал; затем обернулся к чемодану. Развязал ремни, раскрыл его ровно настолько, чтоб туда могла просунуться его рука с длинными костлявыми пальцами, и достал обернутый в газету сверток. Пошарив в нем, он отломил кусочек брынзы, а из кармана сюртука вынул бублик. Их там было несколько. Он ошупал их и, не вынимая, пересчитал. Потом медленно и задумчиво принялся жевать.

Незнакомец закончил свой ужин, когда поезд уже отходил от следующей станции. Проведя ладонью по сухим губам и стряхнув с одежды крошки, он повернулся в пол-

оборота к своим спутникам, разговора которых, казалось, до этого и не слушал.

— Вы, случаем, не из Бучумен? — спросил он, оглядывая всех подряд.

— Да, — отвечала мадам Йозефина. Людвиг поднял глаза и поднес ко рту ползутухшую цыгарку.

— Мы, кажется, миновали станцию Пьстрэрия... Стало быть, въехали на земли поместья Бучумены?

— Точно так, — подтвердил господин Людвиг зевая. — А вы тоже направляетесь в Бучумены?

— Тоже. Дельце есть одно. Именье, как я слышал, принадлежит господину Александру Филоти?

— Правильно.

— Слыхать, хорошее именье.

Машинист возился с цыгаркой, которую никак не мог раскурить, и поэтому лишь сделал рукою движение, свидетельствующее о его восхищении.

— Очень хорошее именье, — подтвердила мадам Йозефина.

— Девять дерезень, — выдохнул вместе с дымом господин Людвиг. — И станция и дворец...

— Крестьяне как? Зажиточные, работающие? — продолжал спрашивать незнакомец, поворачивая круглые глаза к Андроне.

— Да что? Какими их господь создал... — невнятно пробурчал Андроне.

Чужак не успокаивался. Сколько в именье шинков, сколько мельниц, прудов? Давно ли работает нынешний управитель? Но у крестьян вдруг словно отнялся язык; они отвечали очень неохотно, хотя вопросы были обращены именно к ним. Наконец, перестала отвечать и мадам Йозефина, дважды ощутив толчок супружеского локтя. Воцарилась прежняя тишина, а безбородый сухопарый пассажир, снова задумавшись, достал из кармана второй бублик и принялся отрывать от него зубами небольшие кусочки.

Когда поезд затормозил у станции Бучумены, незнакомец торопливо схватил шубу, натянул ее на себя и, взяв в одну руку портфель, в другую чемодан, протиснулся в дверь.

— Этот еще откуда взялся? — спросил Андроне, подозрительно глядя ему вслед.

— Еще может статья, имение арендовать приехал! — весело заметил машинист.

— Кто? Этот? — возмущенно воскликнула мадам Йозефина и презрительно сморщила губы.

Незнакомец, нагруженный багажом, пробился сквозь толпу, собравшуюся на перроне, и вошел в ресторан. У дверей он на мгновение остановился и быстрым взглядом окинул сидящих за столами. Приземистый официант, пронося мимо стопку чистых тарелок, толкнул его и, даже не взглянув в его сторону, крикнул «пardon» и прошел дальше. Незнакомец отнесся к этому равнодушно. Наконец, в глубине, в укромном уголке, он заметил Шапсу и Наковича. Шапсу он и искал. Маклер делал ему знаки, подняв руку с растопыренными пальцами. Незнакомец пролез между столиками, с шумом отодвигая стулья и толкая посетителей. Управитель встал.

— Вот это и есть господин Евгений Чорней,— сказал Шапса таким тоном, словно демонстрировал редкостный товар.

Накович потряс протянутую руку. Евгений Чорней на рукопожатие не ответил.

— Если вы господин Филипп Накович,— проговорил он, положив вещи и усаживаясь,— так я желаю с вами познакомиться.

— Я тоже уже прослышал о вас,— весело отвечал управитель.

— Наверное, Шапса говорил обо мне,— тихо произнес Чорней и равнодушно огляделся.

— Я? О чем мне говорить? Почему мне говорить?

— Как это о чем, Шапса? — спокойно возразил Чорней, пристально глядя на маклера своими круглыми глазами.— Разве ты не говорил Наковичу, что я скупой рэзеш¹, что у меня тысяча судебных дел? Ты меня всегда таким рисуешь. Но ты ведь знаешь, что я не сержусь.

— Я занимаюсь не рисованием, а делами,— защищался Шапса.

— Ладно уж. Я знаю, господин Филипп, что он тебе рассказывал и другие вещи, только ты ничему не верь, пока не узнаешь меня хорошенько сам. Я, правда, сужусь, но лишь добиваясь своих прав.

— И очень хорошо. Всякий должен поступать именно так,— согласился Накович.

— Конечно. И что бережлив я — правда, потому что

¹ Свободный крестьянин, имевший земельный падел.

деньги даются тяжелым трудом. Я, господин Накович, не балуюсь, а работаю. Что он тебе еще сообщил? Что я был нищим, а теперь начал скупать именья? Это тоже правда. Мне нечего стыдиться. Был я зрителем. А теперь стал хозяином. Не знаю только, говорил ли он тебе, что я всегда поступаю по справедливости: тебе положено — получай, мне положено — выкладывай. Вот и вся философия.

Евгений Чорней произносил все это с величайшим спокойствием и самообладанием.

Подошел официант. Чорней повернулся к нему.

— Что такое? Нет, мне ничего не нужно. Я уже поел.

— Может, кофе выпьете, господин Чорней? — вмешался Филипп. — Вы наш гость, так хоть этим позвольте вас угостить.

— Хорошо. В таком случае принеси мне чашку кофе, да побольше, — приказал официанту Чорней. — До отхода моего поезда в Роман мы можем обменяться двумя-тремя словами.

— Как же это так, господин Чорней? Едешь в Роман? — вздрогнул Шапса. — А наше дело? Через сорок пять минут приезжает из Ясс боярин. Ведь разговор шел о том, чтоб завтра утром с ним встретиться?

— Ладно, — спокойно проговорил Чорней. — Завтра утром я буду тут. У меня в Романи дело, я должен там нынче ночью увидеться со своим человеком. Следующим поездом отправлюсь обратно и завтра утром буду у вас. Значит, боярин едет. Это главное. Был бы он здесь, а я не подведу.

— Обязательно будет, — заверил Накович. — Я телеграмму получил. И комнаты уже убраны.

— Отлично. Но перво-наперво мне бы хотелось договориться с вами... Я сейчас прямо из Язу-Кручий — вот что. Именье я видел. Правда, сегодняшнюю ночь мне тоже пришлось проспать в поезде, закутавшись в мой волчий тулуп, но именье я видел. Запущено оно малость, строения староваты.

— Там хорошая мельница, — вставил Шапса.

— Мельницу я также видел. Работает. Посмотрим, может быть и куплю.

— Вольному воля, господин Чорней, — сладко запел Шапса. — Мне бы столько тысяч, сколько охотников на эту покупку.

— Меня интересовало и другое,— продолжал невозмутимо Евгений Чорней.— Людей небогато там в именье.

— Это верно,— согласился Филипп.

— Ну, это что! — торопливо возразил Шапса.— Я тебе сколько хочешь привезу рабочих из Буковины.

— Да? — пробормотал Чорней.— Но ведь тем рабочим вперед задатки надо платить. Я таких дел не делаю. Мне надо, чтобы в самом именье у меня жили люди. А уж своего крестьянина я буду держать в руках. Он мне должен — я подаю на него ко взысканию, и он отработывает долг. Чему ты смеешься, Шапса?

— Чему смеюсь? Здесь, в Бучуменском именье, девять деревень — от восьмисот до тысячи хозяев. Господин Чорней, ты бы здесь ежегодно заводил по тысяче процессов.

— Ну и что? Смешного тут ничего нет. Ежели я заплатил им из собственного кармана, разве нет у меня полного права судиться с ними? Нет, я предъявляю им иск и прижимаю их к стенке. Я по справедливости...

— Да и у нас тут немало процессов,— признался Накович.

Последовало краткое молчание. Официант принес кофе. Чорней тотчас схватил чашку и принялся пить.

— Я, господин Филипп,— начал он снова,— больше дорожу рабочими, чем землей. А здесь у вас действительно имеются рабочие руки. От такого поместья даже я бы не отказался.

— Пока что оно не продается,— заметил Шапса.

Чорней поставил на стол чашку.

— Не продается *сегодня*,— проговорил он с тем же каменным выражением лица, поглядывая то на маклера, то на управителя.

Наковича охватило какое-то смутное беспокойство. Шапса закрыл глаз.

Они молча поднялись. Вокруг было заметно особое оживление: прибывал яский поезд. Шапса двинулся к выходу. Накович отстал, рассчитываясь с официантом. Нагрузив на себя свой скарб, Евгений Чорней сказал, не глядя на него:

— Надо бы нам поговорить с глазу на глаз, господин Филипп. Завтра увидимся.

Когда он проходил мимо Шапсы, тот дотронулся до его руки и шепнул:

— Господин Чорней, все остается так, как мы договорились.

— Что именно, Шапса?

— Да с именем в Язу-Кручий. Ты, кажется, если не ошибаюсь, хотел купить его.

— Может, куплю, а может, и нет, Шапса. Посмотрим.

— Хорошо, но если покупаешь, наш уговор известен.

— Какой уговор?

— Мои коммиссионные.

— Что тебе положено, то всегда твое, Шапса,— отвечал Чорней.

«Раз он не хочет разговаривать,— решил про себя маклер,— значит, у него другие планы и не купит он Язу-Кручий».

Паровоз, отфыркиваясь, пролетел мимо; пассажиры заспешили, сталкиваясь и наскакивая друг на друга. Помощник пристава, невзрачное, чернявое существо в штатском платье и форменной фуражке, примчался к поезду в сопровождении двух полицейских. Следом за ним спешил, с трудом переводя дух, Якобаке Александреску.

— Боярин едет,— обратился он к Филиппу Наковичу, пытаясь казаться веселым.

Полицейские и помощник пристава все вертелись у ступенек вагона первого класса. Оживление улеглось.

— Дайте пройти, дайте пройти! — волновался примарь.

Филоти медленно сошел по ступенькам вагона. Следом, с саквояжами в руках, гордо шагал Жан Кавалье. Двое носильщиков с натугой выносили большие чемоданы. Евгений Чорней на минуту остановился, залюбовавшись встречей. Потом спокойно прошел со своими скудными пожитками вперед.

— Ты здесь, Филипп? — спросил Филоти.— Значит, во время получил мою телеграмму? Очень хорошо.

— Господин Алеку,— почтительно уведомил его управитель,— человек, о котором говорил Шапса, будет здесь завтра утром. Когда изволите принять его?

— В десять либо в одиннадцать, Филипп... Когда хочешь. Приходите в одиннадцать. И чтоб Шапса был непременно.

— Непременно, ваша милость,— заверил Шапса.— Я всегда где-нибудь поблизости.

— А, вот ты где, Шапса! Отлично. Я вижу, и примарь

здесь? Что тебе, примарь? Ты, кажется, хочешь что-то сказать?

— Боярин,— шепнул Якобаке, приставив по-военному ногу и кланяясь с кэчулой в руке.— Сделайте милость, дозвольте мне явиться к вам,— у меня просьба... всего два слова.

— Что? Ах да, по твоему вопросу,— громко ответил Филоти.— Хорошо, приходи. Только я прежде хочу повидаться с префектом и узнать, в чем дело, что за гнусности вы тут совершали...

— Никаких гнусностей, боярин,— торопливо и умоляюще зашептал Якобаке.— Одни интриги и клевета.

— Посмотрим,— заключил Филоти, не глядя на него.

Примарь тут же повернулся и закричал:

— Дорогу, дайте дорогу!

Но толкотня на перроне уже прекратилась, и боярин беспрепятственно проследовал к выходу, в сопровождении своего маленького эскорта.

Глава девятая

МОЛОДОСТЬ, ЗАНЕМОГШАЯ ЛЮБОВЬЮ

Мадам Арнольд слегла, и Анет, хотя и поглядывала на нее недоверчиво, ухаживала за ней и готовила ей липовый чай. Поглядывала на нее, слегка посмеивалась и старалась ее утешить. Нетрудно было угадать причину беспокойства наставницы. В конце концов мадам Арнольд была лишь верным стражем, и это положение приносило ей немалые выгоды. Сцена отчаяния производила впечатление несколько наивной. Ничего другого, более серьезного, мадмуазель Анет, как ни старалась, не могла себе представить. Наставница еще днем обнаружила перед ней свои страхи, и теперь это преувеличенное страдание ничем не было оправдано.

— Ну хорошо, дорогая мадам Арнольд, если вы не хотите раскрыть мне истинную причину ваших опасений, я вам докажу, что у вас нет поводов для беспокойства.

Мадам Арнольд возлежала на высоких перинах, под пуховым одеялом. Взяв руку воспитанницы в свои крупные ладони, она ласково и грустно улыбнулась.

— Дорогая моя,— тихо проговорила она, покачивая головой,— как же ты мне это докажешь?

— Очень легко. Рассмотрим все спокойно и обсудим.

— Что ж, рассмотрим и обсудим,— вздохнула мадам Арнольд.

— Ну вот. Так чем же я, дорогая мадам Арнольд, подала вам повод для беспокойства?

Воспитательница не ответила.

— Я сама вам призналась, что незнакомый молодой человек раз или два подкарауливал меня. Но разве я в этом виновата?

— Три раза подкарауливал,— поправила наставница.

— Ладно. Пусть будет три. Но при чем тут я?

— Нет, душенька, ты ни при чем.

— И, признавшись, дорогая мадам Арнольд, я пожелаю, чтобы вы сами посмотрели и назвали мне его. Мне чуть-чуть любопытно узнать, кто он. Но что же во всем этом ужасного?

— Пока ничего, душенька.

— Правда, ничего ужасного? Пойдем дальше,— с воодушевлением продолжала воспитанница.— Разве я говорила, что влюбилась в него? Нет, не говорила. Вель я даже не знаю, кто он. Да и с его стороны я не заметила ничего, переходящего за грань простого любопытства. Мы прохожие, чужие друг другу. Завтра он, быть может, поклонится мне. Возможно, что я отвечу на поклон и с улыбкой пройду мимо. Это приятно, но далеко не то, что вас так страшит. Вы предполагаете, мадам Арнольд, что молодой человек, которого вы видели, питает ко мне какое-нибудь особенное чувство? Я этого не думаю.

— А я, наоборот, очень боюсь, что питает,— вздохнула мадам Арнольд, устремляя взор в потолок.— Но это не так важно. Меня страшит не это.

— Тогда мне непонятно, чего же вы собственно боитесь, дорогая мадам Арнольд?

— Душенька, я страшусь не его. Ты меня страшишь.

— Я? — удивилась воспитанница.

Мадам Арнольд улыбнулась и закрыла глаза. Открыв их снова, она заметила, что Анет смотрит на нее не отрываясь.

— Что же вас заставляет так думать?

— Я не сказала, душенька, что так думаю. Я просто боюсь.

— О, тогда вы можете быть совершенно спокойны, дорогая мадам Арнольд, вам нечего бояться.

Мадам вздохнула. Анет задумалась на мгновение. Потом с улыбкой спросила:

— Я полагаю, мы этот вопрос выяснили, мадам Арнольд?

— Какой вопрос?

— Ну, относительно меня.

— Да, — согласилась наставница, морща лоб под оборкой ночного чепчика.

— Вы все не верите мне, дорогая мадам Арнольд, а между тем это именно так, как я вам сказала.

— Отчего же? Верю, душенька. Раз ты говоришь...

— Тогда остается другая сторона вопроса. Думаете ли вы, что этот молодой человек скрывает нечто большее, чем простое любопытство?

— Почему я знаю? — улыбнулась наставница, снова взяв ее руку. — Возможны два предположения: либо влюблен, либо ненавидит.

— Вы все шутите, дорогая мадам Арнольд.

— Не шучу я, душенька. Ну хорошо, я могу еще допустить, что он и не любит и не ненавидит тебя.

— А это возможно? — серьезно спросила Анет.

— Мне думается, невозможно. Но раз ты утверждаешь, что с твоей стороны было только любопытство и больше ничего, то вопрос о том, что чувствует он, не представляет для нас особого значения.

— Действительно, — согласилась Анет и принялась готовить вторую чашку липового чая.

Она проворно шагала в своих легких туфлях по мягкому ковру. Белые руки ее ловко двигались, расставляя посуду при свете прикрытой абажуром лампы. Но мысли ее были далеко, а глаза перестали замечать мадам Арнольд.

Наставница со стоном приподнялась на перинах и взяла в руки чашку. Анет села рядом в низкое кресло. Дважды бросала она на мадам Арнольд острый взгляд с намерением возобновить разговор, но не находила подходящего к тому повода и не знала, какие можно дать еще уверения. Тетушка Мария притихла в своей каморке. На улице, налетая порывами, завывал ветер. Девушка склонилась к серебряным часикам на ночном столике и удивилась, что время уже позднее.

— Уже поздно, мадам Арнольд. Вы уснете?

— Попытаюсь, душенька. Иди и ты.

Оставшись одна в комнате, еле озаренной тусклым светом лампы, учительница недолго думала о событиях дня. Как ни была она взволнована, усталость взяла свое, и она тут же заснула. Но Анет, придя к себе, долго не могла успокоиться. Много времени оставалась неразобранной белая постель. Сначала девушка посидела на креслице перед камином, и маленькие, трепещущие язычки пламени отражались в ее зрачках. Потом медленно встала, подошла к окну, подняла штору и принялась смотреть сквозь решетку в смутно проступавший из темноты сад, пока ей не показалось, что там, во мраке, горит другой костер, выбрасывающий фантастические языки пламени. Она прислонилась лбом к холодному стеклу, закрыла глаза, а душа ее билась между прошлым и будущим, как меж двух ночей. С тяжелым вздохом опустила Анет штору и только тут заметила, что лампа в спальне погасла. Она зажгла ее снова, разыскала начатое рукоделье и, взяв его в руки, зашевелила крючком. Ей казалось, что так легче следить за своими мыслями, и она снова опустилась в кресло перед камином.

* * *

Утром следующего дня мадам Арнольд оделась, намереваясь отправиться в город на уроки. Она была все так же расстроена и казалась очень утомленной. Поэтому ей пришлось только смотреть, как кухарка наливает кофе с молоком и готовит тартинки. Бабка Мария пододвинула к ней вторую чашку и принялась уговаривать ее выпить кофейку.

— Испей-ка еще чашечку. И не сиди так, нужно совладать со своим недугом.

— Уж и не знаю, буду ли я сегодня в силах давать уроки,— простионала мадам Арнольд, с трудом одолевая вторую чашку.— Право, не знаю как быть.

— Не ездить,— ответила, посмеиваясь, Анет.— Посидим вместе дома.

Взор ее, тот самый, что поднимался порой откуда-то из неведомых глубин, на мгновенье задержался на лице наставницы. Мадмуазель Анет подозревала, что несколько иные причины удерживали мадам Арнольд дома.

— В конце концов,— холодно заметила она,— можно взять сани. Так было бы куда легче посещать уроки.

— Вряд ли и это для меня возможно...— вздохнула мадам Арнольд.

— Уверю вас, дорогая мадам Арнольд,— проговорила Анет со злой усмешкой,— я в ваше отсутствие никуда не сбегу.

— Ой, душенька,— снова жалобно застонала мадам.— Как ты можешь так говорить? Тебе, видно, меня совсем не жалко?

— Нет, жалко, мадам Арнольд. Глупости все это, простите меня.

Учительница замолчала и допила свой кофе.

— И все-таки,— сказала она кротко,— я попрошу тетушку Марию послать соседского парнишку за санями, чтобы отправить хоть несколько записок с извинениями. Сейчас напишу их...

Первая записка, написанная мадам Арнольд в своей спальне, на столике у окна, была адресована господину Леону Михаловичу.

В десять часов явился сам Леон Михалович и нашел учительницу в ее комнатухе одну. Терзаемая заботами, словно тучами злых комаров, она отложила крючок, которым до этого бессознательно вязала, и крепко сжала руки, хрустя пальцами. Не успел господин Леон сесть, как она уже спрашивала, обратив к нему помутневший взор:

— Что делать, господин Михалович? Вы вчера ушли, так и не подсказав мне ни решения, ни какой-нибудь идеи.

Господин Михалович спокойно взглянул на нее.

— Слушайте, мадам Арнольд, если бы у меня была какая-нибудь идея, я бы не держал ее про себя, ибо мне нечего с ней делать. Вчера и у меня голова была пуста, как шар. Когда молодые люди начинают куролесить, не так-то легко распутывать их дела. А ведь тут история похлеще всяких романов. Что мне оставалось? Взять свою шляпу, трость и удалиться.

— Что же мы предпримем? Так все и останется по-прежнему, господин Михалович?

— Погодите, мадам Арнольд, этого я не говорил. Во-первых, я вчера пошел не прямо домой, а ходил по улицам и ждал, чтобы на меня снизошло небесное наитие. Видел я и боярина и господина Кости. Не пугайтесь, мадам Арнольд, они и не подозревают о ваших мытарствах. Уверю вас, они прекрасно спали нынче ночью и

видели приятные сны. Вернулся я домой поздно, но зато обмозговал кое-какие мыслишки. Мадам Арнольд, если вы в конце концов убедитесь, что выхода нет, придется сообщить ей правду. И скажу вам прямо: лучше раньше, чем позже.

— Не знаю, не могу придумать, как поступить, господин Михалович. Мне становится страшно при одной мысли об этом.

— Вам так кажется, мадам Арнольд. Если будет нужно, вы все скажете и даже страха не почувствуете. Возможно, дело обойдется и без этого, если молодой человек только резвится, как воробей на ветке. Не очень вероятно, но бывает. Как я понял вчера вечером, господин Кости возвращается в Париж. И уехать он должен в ближайшее время, через несколько дней. Потом, в конце недели, боярин тоже уезжает в Бухарест и пробудет там на сессии парламента до праздников. Поначалу отправится в поместья, а оттуда прямо в Бухарест.

— А Анет оставит здесь? — с сомнением осведомилась учительница.

— Имейте чуточку терпения, мадам Арнольд. Не оставит он ее здесь; по крайней мере я так понял. Перед отъездом в свои имения он завернет сюда. Кавалье вчера велел мне передать вам это. Вечером он будет у вас, а отсюда поедет на вокзал. Следовательно, через два-три дня вам, как и в прошлый раз, придется проделать путь в Бухарест и отвезти туда свою ученицу. Когда молодой человек уезжает в одну сторону, а молодая особа в другую, тогда всему конец: вы сможете, мадам Арнольд, как и до сих пор, спокойно пить свой кофе с молоком.

— Наконец, кажется, немного просветлело, — простонала учительница. — Я просто не могла придумать, как выйти из этого положения.

Во время обеда от мадмуазель Анет не ускользнули два обстоятельства: во-первых, мадам Арнольд казалась более спокойной и веселой; во-вторых, она с аппетитом уничтожила свой венский шницель и целую тарелку жареного картофеля. Столь быстрое исцеление отразилось и на лице мадмуазель Анет. Улыбка ее, хоть и сопровождалась колким взглядом, все же оставалась улыбкой.

— Я вижу, вам немного лучше, дорогая мадам Арнольд. Сегодня здесь побывал господин Леон Михалович. Он принес вам какую-то важную весть?

— Он принес весть, касающуюся тебя, душенька.

— Меня? Каким образом? Что за весть?

— Вечером сюда господин заедет повидать тебя.

Услышав эту весть, мадмуазель Анет порывисто отвернулась к окну, словно ей подставили ослепительное зеркало.

— А затем он тут же отправится в Бухарест.

— Тут же? Сегодня вечером?

— Да, у него важные дела в именьях.

Мадмуазель Анет радостно улыбнулась наставнице; щеки ее порозовели. Она взяла из рук учительницы тарелку с пирожными, которые та ей принесла, но откусила всего кусочек. Повидимому, обрадованная тем, что мадам Арнольд несколько успокоилась, она настойчиво предлагала ей отведать превосходных трубочек с кремом.

— Тебе известны все мои слабости...— вздохнула мадам Арнольд и ласково улыбнулась воспитаннице.

День прошел уныло, скучно. Шел мелкий снег, и северный ветер то и дело принимался завывать за окном, разбрасывая снежные вихорьки и хлопья. В маленькой гостиной мадмуазель Анет было тепло, и мадам Арнольд, тяжело опустившись в свое кресло, испытывала блаженство, радуясь суровой погоде: без сомнения, такой день не подходил для прогулок. Да и она сама еще недостаточно окрепла, чтобы выходить в метель.

— Как метет, как метет! — вздохнула она немного погодя.

— Уж не такая сильная метель, мадам Арнольд, к тому же она может и прекратиться. Впрочем, мне это безразлично. Сегодня я выходить не собираюсь. Да и вы не можете меня сопровождать.

Мадам Арнольд решила про себя, что встречи, очевидно, происходят не ежедневно. Может, понедельник — день отдыха. И все же наставница чувствовала признательность к мадмуазель Анет за то, что она сидит в такую погоду дома. Равнодушно следила она за упражнениями своей воспитанницы, которая не торопясь записывала в тетрадь вопросы и ответы на французском языке. Перо скрипело в безмолвии комнаты, мадмуазель Анет изредка поднимала голову и задумчиво всматривалась в мельканье снежных вихрей.

Быстро стемнело. Обе женщины сидели некоторое время сумерничая, освещенные лишь пламенем камина,

и говорили о всяких пустяках. Вдруг три раза, через равные промежутки, прозвенел короткий звонок.

Мадмуазель Анет вздрогнула.

— Мадам Арнольд, зажгите, пожалуйста, лампу,— проговорила она голосом, в котором звучало беспокойство.— Нужно опустить шторы...

— Хорошо, хорошо, душенька, иди отопри дверь.

— Сейчас, мадам Арнольд. Только я очень прошу вас не уходить... Посидите здесь, он ведь все равно проездом...

— Хорошо... хорошо...— отвечала та, чиркая спичкой.

Анет торопливо вышла, миновала коридор и, прерывисто дыша, остановилась в передней перед дверью. Но Филоти услышал шорох ее платья и застучал пальцем по матовому дверному стеклу. Мадмуазель Анет повернула ключ. Боярин, укутанный в шубу, вошел в переднюю.

Анет заперла дверь, вложила руку в руки Филоти и повела его в темноте к своей гостиной. Женщины помогли ему раздеться. Он подошел затем к камину и с неопределенной улыбкой остался там стоять, прислонившись к колонке.

— Я был очень занят последнее время,— заговорил он, повернувшись к мадмуазель Анет.

Девушка подняла на мгновение глаза и продолжала наводить порядок на своем столике.

— Меня предупредили,— тихо ответила она.

Филоти внимательно взглянул на нее.

— Что с тобой? Ты чем-нибудь расстроена?

— Немножко,— также тихо ответила она, не поднимая глаз.

— Ну хорошо, хорошо... помиримся,— шутливо успокоил ее Филоти.— А теперь мне придется немедленно выехать в мои поместья. Мне хотелось тебя повидать, но все откладывал до последней минуты. Я пришел тебе сказать, что в конце недели буду в Бухаресте. В Яссы я не вернусь. Как только мадам Арнольд получит телеграмму, она привезет тебя ко мне поездом, как и раньше. Оставайтесь в гостинице «Бульвар». Ты довольна?

— Я довольна,— медленно проговорила мадмуазель Анет.

Боярин обернулся к мадам Арнольд. Она улыбнулась.

— Мадам Арнольд,— молвил он,— подождите еще минутку. Вам потребуются добавочные деньги. Для этого завтра или послезавтра к вам заглянет Леон Михалович.

Учительница поклонилась. Анет с нежной улыбкой подошла к боярину.

— Хочешь чашку кофе перед дорогой?

— Нет, нет,— возразил Филоти.— Очень сожалею, но времени у меня в обрез. Еще минут пять придется прошагать пешком до саней. Кавалье с багажом уже, наверное, на вокзале. Ты ничего не хочешь мне сказать? Не нужно ли тебе чего-нибудь? Какое-нибудь желание?

— Теперь я спокойна,— усмехнулась Анет.— Ничего мне не нужно.

Филоти разглядывал знакомую комнату, словно видел ее впервые... На мгновение глаза его остановились на девушке, он, казалось, был в нерешительности. Потом, явно раздосадованный, стал собираться в путь. В полумраке передней боярин сжал руку Анет. Как всегда, склонился к ней. Анет слегка отстранилась, тихонько смеясь.

— У тебя шуба мокрая.

Она поспешно заперла за ним дверь и неторопливо зашагала по темному коридору к освещенной гостиной.

* * *

На следующий день, во вторник, солнце заиграло в разузоренных инеем окнах. Свернувшись калачиком, мадмуазель Анет лежала некоторое время лицом к свету, сосредоточенно о чем-то думая. И вдруг решительно соскочила с постели и принялась одеваться. Обычно она боялась холодной воды, но сейчас с наслаждением мыла ледяной водой лицо, руки и плечи; потом она долго вытиралась полотенцем, стоя перед зеркалом и внимательно разглядывая свою нежную, блестящую кожу и темносиние глаза, почти такого же оттенка, как фиалки. Эти глаза, осененные тонкими бровями, очевидно, поведали ей самые удивительные вещи, потому что, посмотревшись в зеркало, она засмеялась.

Анет торопливо сновала между стульями и шкафами, разыскивая мелкие принадлежности туалета. Потом снова очутилась перед зеркалом и принялась при помощи гребешка и шпилек еще старательней укладывать свои длинные косы. Гибко склоняясь то вправо, то влево, оглядывала она себя со всех сторон и вдруг услышала у дверей смех тетушки Марии.

— Это кто же так рано запел? В первый раз слышу твой голосок, красавица.

Мадмуазель Анет ничего не ответила, словно ее поймали на месте преступления. Потом рассмеялась и оборотилась к старой служанке.

— Кофе соизволите пить, мадмуазель?

— Да, да. Я думаю, мадам Арнольд сегодня лучше? Она уже встала, правда?

— Встала и вроде как все у нее прошло, на уроки собирается.

— Ну, это просто замечательно, тетушка Мария.

Мадам Арнольд, очевидно, и впрямь чувствовала себя лучше. Узнав о том, что воспитанница пела, она сделала веселое, радостное лицо, но тут же сразу принялась выражать беспокойство по поводу собственного здоровья. Ах, она уж и не знает, хватит ли у нее сил довести до конца уроки. Но надо попытаться. Жизнь полна трудностей, забот и обязанностей. Окажись она более благоразумной в годы молодости и счастья, не пришлось бы ей теперь бегать по урокам в морозную, ветреную погоду.

При иных обстоятельствах мадмуазель Анет несомненно не преминула бы поинтересоваться, что произошло в упомянутые «годы молодости и счастья»; но сейчас мысли ее были подобны искрящейся в граненом стакане воде, когда пронизанная лучами, пробравшимися сквозь ледяные узоры окон, она дрожит и переливается всеми красками. Мадам Арнольд уехала на уроки и вернулась изможденная. Ни обильная пища, ни пирожные, ни часовой отдых не смогли вернуть ей утраченных сил. Услышав это, мадмуазель Анет сперва встревожилась, но вскоре поняла, в чем дело, и спокойно примирилась с положением.

— Значит, вы не сможете пойти погулять, дорогая мадам Арнольд? — осведомилась она, бросая на нее недобрый взгляд.

— Нет, душечка, не могу. Рада бы, да не могу.

— Рады бы, говорите, дорогая мадам Арнольд? Вот уж не поверю. Ну, ничего, если вы не можете, оставайтесь дома. Я одна выйду на часок. Мне это крайне необходимо. Уже два дня, как я задыхаюсь без воздуха.

— В самом деле? Так ли уж тебе это необходимо, душенька? Вижу, что крайне необходимо, вижу... А по возвращении ты, вероятно, найдешь меня в постели, обло-

женную компрессами и окруженную чашками с липовым чаем.

— Нет, нет, мадам Арнольд.

— Да, да, моя девочка. Ты ведь опять спешишь встретиться с этим молодым человеком, который нарушил наш покой.

— Нет, мадам Арнольд, я не к нему спешу и даже не знаю, встречу ли его. И ничего, уверяю вас, не случится. Да к тому же мы уедем в Бухарест, мадам Арнольд, не так ли? Значит, конец всему этому? До свиданья, дорогая мадам Арнольд, я уйду пораньше, чтобы поскорей вернуться...

Терзаясь беспокойством, мадам зашевелилась. Здоровье ее внезапно улучшилось, она уже собралась сопровождать ученицу, но было поздно; вздыхая, наставница осталась сидеть в своем кресле. Анет стремительно покинула ее.

На дворе стоял крепкий морозец, погода была безветренная. Мадмуазель Анет шла мелкими шажками по знакомой дороге: вдоль улицы Лэпушняну к бульвару Карол. Дважды вздрогнуло ее сердце, когда среди смутно мелькавших в отдалении прохожих ей померещился знакомый силуэт. Она жадно всматривалась, но это был всего лишь обман зрения: оба раза навстречу приближались ничем не примечательные и даже противные рожи. Она повернула обратно по улице Лэпушняну до гостиницы Траян, потом вновь проделала путь до кафе Тюффли. Анет была одна среди спешивших, равнодушных прохожих. Щеки ее порозовели, руки устало повисли вдоль тела. Теперь она неторопливо шла по улице Штефана Великого, по направлению к дому. Вечерело; бородастый фонарщик остановился у фонаря, зажег его и, кашляя, волоча по снегу свою лестницу, побрел дальше.

И тут мадмуазель Анет вздрогнула. Рядом с ней шагал Кости. Он поклонился ей молча и учтиво. Она ответила, вскинув на него глаза, потом зашагала быстрее, словно убегая от опасности. Немного погодя она снова замедлила шаг. Сердце у нее колотилось в груди. Молодой человек попрежнему шел рядом.

— Я очень беспокоился,— заговорил он приятным голосом.— Вот уже час, как я здесь жду. И вчера ждал.

— Кого вы ждете? — осведомилась мадмуазель Анет дрожащим голосом.

— Я думаю, это понятно,— улыбнулся он.— Вы позволите мне немного проводить вас?

Она ничего не ответила. Он нежно взял ее под руку. Движение показалось мадмуазель Анет скромным и почтительным. Да оно было и кстати: навстречу попадались прохожие.

— Мне казалось, я забыт. Я чувствовал себя очень несчастным.

Мадмуазель Анет не нашла в себе сил ответить и только покачала головой. Но он понял.

— В таком случае разрешите мне довести вас до дома. Я знаю, где вы живете. Сегодня мне удалось, наконец, получить кое-какие сведения.

Мадмуазель Анет бросила на него слегка испуганный взгляд.

— Вы находитесь на пансионе у пожилой учительницы,— продолжал он.— Вы одиноки, родственники ваши живут, если не ошибаюсь, в уезде Фэлчиу.

Мадмуазель Анет успокоилась.

— Знакомых в Яссах у вас нет? Живете одиноко?

— Да, одиноко,— взволнованно призналась мадмуазель Анет.— Не будете ли вы так добры, сударь, сказать, кто вы?

— О, конечно. Простите, что я не представился сразу. И молодой человек назвал себя.

Мадмуазель Анет пошатнулась, словно споткнувшись, и оперлась на руку своего спутника.

— Да? — спросила она угасшим голосом. И глянула на него своими большими глазами, слегка приоткрыв рот.

— Что-нибудь случилось? В чем дело? — озабоченно и сердечно осведомился Кости.

— Нет, нет, ничего не случилось... Мне просто показалось... Я где-то слышала ваше имя. И мне думается, я вас когда-то видела...

— Когда? Где? — заинтересовался молодой человек.

Но мадмуазель Анет не могла ответить ему. Сердце ее щемило жгучей болью, она с трудом стояла на ногах и еле сдерживала слезы. Она кусала губы и ощущала какую-то ядовитую горечь во рту. Ведь видела же она его, видела когда-то; и теперь вспомнила. Никакого сомнения или совпадения фамилий быть не может.

— Отчего ты мне не отвечаешь? — дружелюбно спросил Кости.

— Не знаю. Трудно сказать, когда и где,— прошептала она.— Мы уже дома? Я должна идти.

— Что случилось? — настаивал Кости.— Ты, повидимому, взволнована.

— Да, я взволнована,— призналась мадмуазель Анет и сделала попытку рассмеяться.— Ничего особенного.

— Завтра увидимся?

— Конечно.

— Не сердисься?

— О нет!

— Завтра? В какое время? Как сегодня? Непременно?

— Да, да. До свиданья.

Он удержал ее руку, поднес к губам и, лаская, поцеловал. Анет взглянула на него такими большими, красивыми, сверкающими от слез глазами, что Кости почувствовал, как вырастают в его душе, словно волшебные цветы, любовь и желание. Он попрощался, счастливый и охмелевший.

Мадмуазель Анет закрыла за собой дверь, немного постояла, прижав руки к груди, потом стремительно прошла через маленький зал, вбежала в свою гостиную и, вся содрогаясь от рыданий, упала на софу, уткнувшись лицом в муфту. Перед ней разверзалась черная бездна, и она не видела для себя спасения. Анет считала себя сейчас самым несчастным существом в мире. Когда перепуганная мадам Арнольд дотронулась до ее плеча и повернула лицом к себе, девушка поспешно вытерла слезы и враждебно взглянула на нее.

— Если вы все знали, почему вы мне ничего не говорили, мадам Арнольд? Что вы наделали! Зачем пустили меня?

— О, моя дорогая,— вздохнула учительница.— Я и сама узнала только вчера. Ты права, я тоже виновата, не надо было пускать тебя сегодня, следовало прежде рассказать тебе то, что мне известно.

— Нет, я должна была выйти, должна! От кого вы узнали?

— От господина Леона Михаловича.

— Так, выходит, вы сговорились, выпытывали и следили! — гневно воскликнула мадмуазель Анет.— Что это значит? Я не раба. У меня тоже есть душа.

— Никто не следил, душенька,— пыталась ее унять

мадам Арнольд.— Просто его увидел господин Михалович. Ведь Михалович их доверенное лицо.

— Нет, вы следили, шпионили,— упрямо повторила мадмуазель Анет и опять со стоном уткнулась в муфту.— Ничего мне больше не нужно, оставьте меня в покое.

— Будь благоразумна, душенька,— уже более уверенным тоном заговорила мадам Арнольд и вновь повернула к себе ее лицо.— Лучше, что ты узнала в самом начале.

Мадмуазель Анет резко оттолкнула ее; потом вскочила, обняла за плечи и, прильнув к ее груди, снова зарыдала.

— Как мне быть теперь, мадам Арнольд? Я не поеду в Бухарест, откажусь от всего.

— Будь умницей, душенька. Ехать надо. Так лучше.

— Тогда поедем немедленно. Я не могу здесь дольше оставаться. Ни за что не останусь! Он будет завтра искать меня. Поедем сейчас же!

— Нельзя, душенька. Нужно сначала дождаться телеграммы.

— Как вы не понимаете, мадам Арнольд, что нельзя мне оставаться? Куда угодно поеду, лишь бы не быть тут. Позовите Петрушку и отошлите меня в Поены, к вашей подруге, где я бывала. Мне необходимо куда-нибудь уехать, скрыться.

Мадам Арнольд была очень довольна, что все хорошо устраивается, но даже не улыбнулась. Мадмуазель Анет сама нашла решение, о котором уже подумывала и ее наставница.

Вблизи Поен в живописной местности обитала старая мадам Зорн. Она владела виноградником и умело вела пасеку, для которой купила разъемные ульи. Летом обе женщины провели у нее на хуторе много приятных покойных дней. Мадам Зорн несомненно нисколько не удивится приезду Анет,— для нее это будет большая радость, при ее уединенной жизни.

— Как бы мне хотелось тоже поехать хоть на один денек,— вздохнула мадам Арнольд.— Отличная идея. Очень рада, что ты так быстро нашла решение. Мадам Зорн сначала поглядит на тебя в упор сквозь очки, потом обнимет и осведомится, нравится ли тебе мед и медовый напиток.

Мадмуазель Анет молчала, погруженная в задумчивость.

— Да, я должна уехать! — тихо промолвила она, устремив глаза вдаль.

Лицо мадам Арнольд осветилось улыбкой. Она ласково наклонилась к своей воспитаннице и поцеловала ее в висок.

Но кризис еще не прошел, снова полились слезы. Мадам Арнольд страдала, и особенно оскорблял ее холодный, отчужденный взгляд, который, родившись в каких-то неведомых ей глубинах, порой мелькал из-под нахмуренных бровей воспитанницы. И все же решение о поездке в Поены осталось в силе.

* * *

В среду Кости до самого вечера дождался Анет на улице Штефана Великого. Он шагал от ее верхнего конца до нижнего, охваченный все растущим беспокойством. Пршлую ночь он провел тревожно. Допоздна пытал счастье в Жокей-клубе — и проигрался. С улыбкой вспомнив старинное поверье бесчисленных поколений влюбленных, он предложил своим молодым товарищам осушить несколько бутылок старого котнарского в известном яском ночном ресторане под названием «Шато флери». Сон его был полон приятных, волнующих видений. Некоторые из них упорно витали перед ним, пока он шагал по улице, поджидая Анет. Мимо прошел все тот же бородастый фонарщик, тащивший за собой лестницу. Уже зажглись фонари и засветились огни в домах, а мадмуазель Анет все не показывалась. Двухчасовое беспокойство начинало приобретать определенную форму. Без всякого сомнения, случилось что-то серьезное. Может быть, она заболела? Вновь перед его взором мелькнул ее образ, ее влажные от слез вопрошающие глаза. А может, произошло что-нибудь другое. Эта девушка, такой теплой, удивительной красоты, была никому не известна в Яссах. Он не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о ней, хотя сам он был весь во власти ее очарования. Она живет уединенно, и в ее жизни есть какая-то тайна. Вот где следует искать объяснения некоторых ее жестов и взглядов, немного удививших его накануне. «Тут что-то кроется», — шепнул Кости. В то же время простая цепь соображений подсказывала ему, что он не безразличен для этой таинственной женщины. Наоборот. В последнем ее взгляде было что-то огненное, его бросало в жар при одном воспоминании об этом.

Кости медленно побрел по направлению к 'ее тихому переулку. Заглянул в окна с опущенными шторами; только в одном из них пробивался луч света. Некоторое время он постоял, выжидая, потом неторопливо повернул обратно, все еще не теряя надежды ее встретить. Но они не встретились, и сердце его тоскливо зануло. Его начали одолевать сомнения. Он уже не верил ни во что и ничему. С презрительным видом проиграв в Жокей-клубе десять — двенадцать мелких банкнот, он стал подумывать о том, что же предпринять дальше. Перебрал множество крайних и сложных решений, пока не пришел в конечном счете к самому простому: написать ей письмо. Сначала он намеревался послать ей длинное письмо, полное упреков и объяснений, но мало-помалу сократил его до простого вопроса: «Что случилось?» Здесь заключалось все, вопрос этот волновал все его чувства. Курьера лучше Сава трудно сыскать. Это был его собственный кучер, малый неразговорчивый, но достаточно расторопный. Притом он был единственный человек, который уже кое-что знал об этом деле. Когда на другой день Кости вручил ему записку, Сава сразу догадался, для кого она предназначена, и со смехом снова принялся рассказывать хозяину, как он посадил однажды вечером к себе в сани барынь на улице Лэпушняну.

— Только поосторожней, Сава,— приказал ему Кости,— и немедленно возвращайся с ответом.

Кучер послушно кивнул головой. Он хорошо знал, что значит «немедленно». Кости перешел с балкона в свою комнату и подождал, пока Сава проедет в санях к воротам. Потом принялся шагать по комнате, как запертый в клетку зверь. Полчаса спустя, не в силах терпеть дольше, он надел шубу, шапку и сам отправился навстречу саням. На улице он действительно увидел Саву, который мчался, нахлестывая разгоряченных коней. Кости остановил его. Кучер спрыгнул с козел и снял шапку.

— Привез ответ?

— Не привез, твоя милость. Их дома нет.

— Кого нет дома?

— Барышни. И в городе ее нет. Она уехала.

— Так вот какой ты мне ответ привез! — медленно проговорил молодой человек, метнув грозный взгляд на кучера.— И это все?

— Нет, твоя милость,— отвечал Сава, с улыбкой

встряхая головой.— Сошел я там, значит, и заявился с письмом. Только это позвонил,— в дверях показалась баба, жирная такая. Я сразу смекнул,— по всей видимости, кухарка. Сперва, как было приказано, спросил я ее про госпожу Арнольд. А та в отсутствии, пошла по урокам. Тогда спрашиваю про барышню. Тоже нет дома, уехала. Я и так и сяк, дело, мол, важное, спешное,— много кой-чего наговорил. Однако она ни в какую. Все стоит на своем: барышни дома нет, уехала на какой-то виноградник около Поен...

— На виноградник около Поен? — удивленно переспросил Кости.— Что это за виноградник?

— Этого она мне, твоя милость, не сказала, и я знать не могу.

Кости в раздумье сел в сани. Сава дернул вожжи и повез молодого барина к лесочку на горе Копоу. Потом они медленным шагом спустились вниз. Улица в тот предобеденный час была пустынна. «Теперь он молчит и думает,— размышлял кучер,— а потом надумает бог весть что».

Молодой барин, действительно, надумал «бог весть что».

— Слушай, Сава,— заговорил он, хмуря брови.— Остановись и слушай. Сейчас мы отправимся домой. Ты распряжешь коней и дашь им овса. Теперь полдень. Сам тоже пообедай и будь наготове. Захвати свой большой тулуп. И в сани положи шкуры. Возьми впристяжку и третьего коня. Мы отправимся разыскивать этот виноградник около Поен. По дороге наведем справки о городских санях, проехавших вчера. Не найдем сегодня, будем продолжать поиски завтра. Только бы она была там.

— Там она, барин. Баба сама себя выдала. Что ж, дело ясное. Немедля все подготовлю, как приказано.

* * *

Прошло не больше часа, как стемнело. Возле виноградника немки, как прозывали ее соседи, громко залаяли собаки. Поднялся такой суматошный лай всевозможных псов и дворняжек, что между небом и землей и слышать ничего не стало. Старый дед Пинтилие вышел из кухни с фонарем разузнать, что стряслось. До слуха мадам

Зорн и Анет, сидевших в столовой, донеслись голоса, вопросы и ответы.

— Может, это за мной сани приехали,— с сомнением проговорила мадмуазель Анет.— Верно, пришла телеграмма и надо ехать в Бухарест.

— Как же так, милушка? В ночное-то время? — озабоченно возразила старуха, в упор поглядев на нее сквозь круглые очки.— Посмотрим, что скажет Пинтилие. Мне было бы весьма грустно остаться опять одной.

Дед Пинтилие со своим фонарем простучал башмаками по веранде. Собаки затихли.

Женщины вышли на порог. Фонарь осветил их лица.

— Что такое, дедушка? — спросила Анет.

— Сани, вишь, пришли,— отвечал старик.— У ворот дожидаются. Тут и человек, матушка, который желает сказать тебе словечко.

— Говорила я вам,— повернулась мадмуазель Анет к старухе.— Ты приехал, чтоб отвезти меня в Яссы?

— Да, барышня,— отвечал Сава приближаясь.

— Тебя послала мадам Арнольд? Как будто сюда я приехала на других санях...

Девушка пыталась разглядеть в темноте лицо кучера.

— Она,— решительно подтвердил Сава.— Я приехал, как было велено, и вам надо собираться. Долго я тут плутал по виноградникам. Хорошо, что нашел вас.

Женщины вернулись в комнаты. Мадмуазель Анет начала неторопливо собирать вещи, все с той же тенью печали во взгляде. Мадам Зорн помогала ей, одновременно передавая множество вестей для бедной мадам Арнольд, вечно такой занятой и озабоченной. А не пожелает ли милочка мадмуазель Анет взять с собой баночку меда? Такого меда, как в Поенах, в Бухаресте не найти.

— А когда вернешься из Бухареста, сразу же приезжай навестить меня, мадмуазель Анет,— закончила мадам Зорн, целуя ее.— Я всегда радуюсь и молодежи, когда тебя вижу. Только, чур, быть более веселой и не такой задумчивой.

Девушка вздохнула, обняла старуху и вышла на веранду. Сава взял чемодан и пледы, и Анет последовала за ним по снежной дорожке к далеким воротам. Там она оглянулась, увидела еще раз на пороге, в свете ламп, старую мадам Зорн и крикнула ей: «До свиданья!» Выслушав донесшийся издали неясный ответ, она вышла на дорогу.

— Лучше бы тебе заехать во двор,— сказала она.

— Верно. Не подумал я,— согласился Сава, помогая ей взобраться в сани.

Они двинулись в путь. Не дальше чем на расстоянии брошенной палки кучер остановил коней.

— Что такое? — спросила мадмуазель Анет.

— У вас там, барышня, суконные покрывала,— пояснил Сава.— Укройте-ка хорошенько, а то мороз, да и ветер на горе здорово задувает.

Мадмуазель Анет негромко вскрикнула. Какая-то тень выросла рядом с санями и нагнулась к ней. Незнакомец спрашивал о чем-то. Она не разобрала слов, но сразу узнала Кости. Точно молния обожгла ее: от нахлынувшего острого ощущения счастья у нее перехватило дыхание. Она подвинулась быстрым движением, освобождая место под шкурами для своего спутника. И, почувствовав его рядом, словно стала меньше. Обеими руками схватила она его руку, прильнула к его плечу. Сани сперва плавно заскользили под нежный звон бубенчиков, потом стрелой понеслись вперед. Мадмуазель Анет подняла глаза, Кости наклонился близко и заглянул ей в лицо. Они были вдвоем, в светлом сумраке, под усыпанным звездами небом. Вдалеке виднелись огни Ясс, а они мчались мимо заснеженных садов и темных домиков. Кости снова задал ей вопрос, почему она покинула город. Но она была не в состоянии произнести хоть слово в ответ; на поцелуй она ответила со страстной силой. Потом опять прижалась к его плечу, и Кости услышал, что она плачет. Однако он чувствовал себя чересчур счастливым, чтобы еще о чем-либо спрашивать.

Когда они подъехали к городу, юноша забеспокоился.

— Ты едешь домой? — озабоченно спросил он.

— Конечно,— отвечала она.— Мадам Арнольд немного удивится, но это ничего.

— И не скроешься опять на винограднике? Почему ты убежала?

— Я скажу тебе,— шепнула она со вздохом.— Только не сейчас. При следующей встрече.

— Когда? Завтра? Ты не захочешь снова сделать меня таким несчастным?

— Да, завтра, обязательно завтра,— быстро и умоляюще повторяла она. И закрыла глаза, предчувствуя, что приближается конец сна.

**ОБНАРУЖИВАЕТСЯ, ЧТО АНИЦА ДОЛЖНА
БЫЛА ВЕРНУТЬСЯ К СВОИМ**

Едва Кости расстался с мадмуазель Анет, его снова охватили беспокойство и сожаления. Опять пришла мысль, что его спутница скрывает какую-то тайну, и он сам себе удивлялся, отчего не нашлось у него сил попытаться выяснить все, что было необходимо знать. Потом улыбнулся, забывшись в воспоминаниях о часе любви, проведенном рядом с ней: в этот час не было между ними места для чего-либо постороннего. Было лишь желание видеть ее снова и как можно скорей; томил смутный страх потерять ее. Всю ночь мучил его этот страх, а наутро решил он прибегнуть к хитрости, которая при других обстоятельствах заставила бы его покраснеть. Позвав Саву, он приказал ему оставить коней на попечение слуги, а самого его послал сторожить известную улочку и дом. Пусть следит за каждым движением его обитателей, за любым, кто оттуда выходит.

Но и самая эта мера лишь усилила его тревогу, являясь неопровержимым свидетельством того, что он должен страшиться какой-то опасности. Чувство это стало особенно мучительным, когда в час дня почтальон принес ему длинный конверт, адрес на котором был написан незнакомой женской рукой. Без всяких сомнений, письмо было от Анет, и ничего хорошего, разумеется, оно в себе заключать не могло. Одолеваемый опасениями, Кости распечатал конверт. В первую очередь он взглянул на подпись: письмо было от нее. Ее имя стояло внизу под несколькими строчками. Записка была без обращения.

«Прости меня,— писала мадмуазель Анет,— ради бога прости, что сегодня мы не можем увидеться, я не в силах выразить, как ты мне люб и как я несчастна».

Кровь прихлынула к лицу и глазам Кости. Что это значит? Почему она от него скрывается? Что мешает ей? Или во всем происходящем замешана эта старая учительница? Или, быть может, незнакомка связана какими-нибудь иными крепкими узами? Неопределенность и неизвестность были для него настоящей пыткой в этот час предположений и чрезвычайных решений, ибо Кости не сомневался, что, как только тайна раскроется, он принуж-

ден будет решиться на какой-то крайний шаг. Он чувствовал, что владеет непререкаемым правом собственности на любимое существо. Сомнения сменились гневом. Чтобы успокоиться, он вышел на улицу и долго прохаживался в одиночестве под сеткой коричневых веток на Копоу. Мало-помалу гнев его утих. В воображении все более настойчиво возникали страстные и печальные глаза спутницы. Он был уверен в ее любви, у него не имелось причин сомневаться, что подобное чувство она испытывала впервые. С этой чудесной уверенностью спустился он в город, надеясь в час обычных встреч увидеть мадмуазель Анет.

Но мадмуазель Анет так и не показалась. Зато немного погодя Кости заметил Сава. Несчастный, он, видимо, не уяснил себе задачу, так как шел не из уединенной улочки. Правда, Сава очень спешил, но появился он со стороны центра. Заметив господина, он бегом повернул к нему.

— Это что еще за подлость? — остановившись, с угрозой произнес юноша. — Куда я тебя посылал и откуда ты идешь?

— С вашего позволения, я уже был там, ваша милость, — шепнул Сава, выглядевший очень уверенным. — Стоял до тех пор, пока они вышли.

— Кто они?

— Барыни. Вижу, какой-то паренек привел сани. Побежал я тогда сюда, на эту улицу, и тоже взял сани. Их сани из улочки — я за ними. Смекнул, что едут на вокзал. И чемоданы дорожные при них.

Кости отошел в сторону, чтобы не загораживать дорогу прохожим, и, зайдя под чьи-то ворота, хмурым взглядом подозвал к себе Сава.

— Они к вокзалу поехали? — жадно спросил он.

— Ага.

— И ты поехал вслед за ними, чтобы узнать, куда они отправляются?

— Само собой, ваша милость, — отвечал Сава, не обнаруживая ни малейших признаков скромности. — Голова-то у меня на плечах для чего? Вот я и поехал на вокзал. Они купили билеты первого класса на поезд Яссы — Бухарест.

— Значит, на дневной поезд?

— Да, он уже стоял на пути, ваша милость. Им и ждать-то долго не пришлось.

Кости, казалось, смутно о чем-то размышлял. В нем

снова поднялся гнев, уже раз пережитый в этот день. Как же следовать за ней, где, каким образом разыскать ее в огромном Бухаресте?

— Почему ты не сел в поезд? — неожиданно повернулся он к Сава.— Что же нам теперь делать? Как напасть на ее след?

— Ваша милость, такого приказу у меня не было,— смиренно сказал кучер.— Когда поезд отходил, я подумал, что они вернутся. И еще подумал, что выведаю у той жирной кухарки. А потом вспомнил — я же должен вот что вам доложить: сегодня еще до полудня у барынь побывал господин Леон Михалович, тот высокий толстый жид. Может статься, он что-нибудь знает.

— У них был сегодня Леон Михалович?

— Да, ваша милость.

— Что же ему там понадобилось?

— Не могу знать, ваша милость.

— Леон Михалович несомненно что-то знает,— сказал скорее самому себе Кости.— Возможно, у него я получу все нужные мне сведения. Что могло случиться? О каком несчастье идет речь?

«Сначала я потребую, чтобы он сказал мне, где ее можно найти в Бухаресте,— размышлял Кости, пристально глядя на Саву,— а потом обязательно приму окончательное решение».

— Сава, иди за мной! — крикнул он, поспешно выходя на улицу.

— Иду, ваша милость.

— Возьми извозчика и подожди меня в сторонке. Контора Леона Михаловича находится где-то здесь, поблизости. Я войду к нему, вытащу его из дому, и мы отправимся на гору. Добровольно или нет, но он мне все выложит.

— Да, уж, конечно, ваша милость,— радостно отвечал Сава.

Контора Леона Михаловича была пуста. Однако в следующей комнате сквозь застекленную дверь виднелись огоньки обрядовых свечей. Свет их немедленно закрыла собой крупная и массивная, хорошо знакомая Кости фигура. Господин Леон Михалович вышел в переднюю комнату и, узнав сына боярина Филоти, был этим весьма приятно поражен, хотя выказал лишь крайнее недоумение.

— Господин Кости? — воскликнул он, кланяясь и поти-

рая руки.— Мне и не снилось никогда, что господин Кости может посетить Леона Михаловича.

— У меня к вам дело,— сдержанно ответил Кости.— Наденьте, пожалуйста, пальто и пойдемте со мной.

Михалович продолжал потирать руки.

— Господин Кости,— заметил он, склонив голову,— у нас, с вашего позволения, начался день отдыха; жена зажгла субботние свечи.

— Господин Михалович,— нетерпеливо повторил Кости,— кажется, я выразился достаточно ясно. Надевайте пальто и пойдемте со мной. Мне нужно с вами поговорить.

— У вас денежный вопрос? — неуверенно осведомился Леон и вздохнул, внимательно разглядывая посетителя.

— Да. Мы поговорим в моем кабинете.

— Правильно,— согласился Михалович.— Здесь это не положено в наш запретный день. Я приду к вам и буду рад вам служить. Деньги искать я смогу только в воскресенье.— Кости начинал проявлять признаки нетерпенья.— Не извольте гневаться, господин Кости, я приду сейчас же... Раз так нужно... Прошу вас дать мне лишь полчаса на молитву — и затем я целиком в вашем распоряжении.

Михалович с беспокойством ожидал ответа юноши. Он был преисполнен решимости пустить в ход любую хитрость, только бы выгадать время и обдумать свои дальнейшие действия. «Если тут не замешана эта девушка, я легко отделался», — рассуждал он.

— Прошу вас, господин Кости, дайте мне хоть пятнадцать минут.

— Хорошо,— спокойно решил Кости, нахмурив брови.— Через полчаса я жду вас у себя. Думаю, больше возражений нет?

— Нет, нет. Через полчаса я буду у вас.

Кости сел в сани, но не остановился у своего дома, заехал сначала к госпоже Матильде. Он застал ее за чтением у камелька, в серебристо-серой гостиной. Госпожа Матильда, удивляясь позднему визиту племянника, внимательно разглядывала его сквозь очки в золотой оправе.

— Что с тобой, Кости? Ты как будто взволнован. Уже несколько дней, как я это замечаю.

— Ничего особенного, tante Mathilde,— отвечал он мрачным тоном, вызвавшим у тетушки улыбку.

— Садись и рассказывай,— тихо и ласково сказала она, кладя маленькую руку ему на плечо.— Я почти уве-

рена, что ты кем-нибудь увлечен. К твоему сведению, я ожидаю Аспасию Корнеску, которая внезапно стала выказывать по отношению ко мне необыкновенную дружбу.

— Нет, о нет, tante Mathilde,— защищался Кости.— Она чересчур много говорит.

— Ты это заметил? Ну, в таком случае я могу быть спокойна. В чем же тогда дело? Тебе понадобился твой банкир?

— Да, tante Mathilde,— быстро и твердо отвечал Кости.

Она пристально и озабоченно взглянула на него.

— Не спрашивай, tante Mathilde,— возразил Кости, целуя ее руку.— Поверь, ничего плохого.

— Я верю, Кости,— серьезно сказала тетушка.— Деньги всем нужны и, к несчастью, слишком часто. Сколько?

— Tante Mathilde, возможно, наряду с моей мне понадобится твоя подпись. Мне требуется крупная сумма. Я уже почти совершеннолетний и мог бы сам найти ее. Но хочется избежать всех препятствий, чтобы не было задержек.

— Понимаю, Кости. Не очень хорошо начинаешь ты свое совершеннолетие. Может быть, собираешься вернуться в Париж?

— Может быть,— улыбнулся в ответ Кости.

Госпоже Матильде показалось, что она угадала. Мальчик хочет облегчить положение отца или же его манит какое-нибудь юношеское увлечение.

— Я к твоим услугам,— снисходительно заключила она.

Кости поцеловал у нее руку.

— Ухожу,— заторопился он, продолжая улыбаться,— чтобы не встретить твоих гостей.

— Хорошо, хорошо.

Госпожа Матильда осталась одна и долго сидела неподвижно в раздумье. Стекла ее очков сверкали, освещенные пламенем камина.

Кости отправился домой и вступил в свой кабинет, предвкушая победу. Решение его, вначале туманное, мало-помалу приобретало осязаемые формы. Оно казалось почти что здравым. Сперва Леон Михалович натолкнул его на мысль о деньгах; теперь госпожа Матильда открывала перед ним перспективу дальнего путешествия. Сам этот замысел уже был для него счастьем — он раз-

жигал его любовные мечты. Если то, что окружает его спутницу и кажется тайной,— всего лишь обыденное явление, если семья в Хушах и прочие сведения просто-напросто выдумка,— ну что ж, тем легче будет ему привести в исполнение свой план.

Леон Михалович вошел, слегка потирая руки. У него оставалось еще немало тревожных сомнений, но кое-что он все-таки сумел продумать. Кости поднялся с места и, пристально глядя ему в глаза, без дальнейших оценок спросил:

— Господин Михалович, какой адрес у мадмуазель Анет Русу в Бухаресте?

— Господин Кости,— неторопливо заметил деловой человек,— речь как будто шла о каких-то нужных вам деньгах?

— Да, речь шла и об этом. Но сперва ответьте на этот мой вопрос.

Господин Леон Михалович был готов ответить на подобный вопрос, он уже заранее все обдумал. Но просимые сведения он собирался дополнить еще другими, более интересными.

— Не понимаю, господин Кости, какая связь между нашим делом и этой особой, которую я могу и не знать.

— Вы ее знаете. Сегодня вы заходили к мадам Арнольд, у которой она живет. Вам известно также, что она уехала в Бухарест. Вам должно быть известно и ее местопребывание, и вы можете сообщить причину ее отъезда.

— Вы знаете, что я был у мадам Арнольд? — удивленно улыбнулся Михалович.— Как я могу угадать, в какой гостинице она остановилась в Бухаресте? Быть может, в гостинице «Бульвар», а быть может, и в другой. Не гневайтесь, я скажу вам: думаю, она в гостинице «Бульвар». Что же сказать относительно ее отъезда? Прежде всего следует довести до вашего сведения, что у этой особы такие же родственники в Хушах, как и у вас.

— Это меня не интересует, господин Михалович. И прошу вас говорить о мадмуазель Анет другим тоном.

По взгляду юноши Леон понял, что с ним надо быть весьма осторожным.

— Эта барышня,— продолжал он деликатно,— раньше не знавала ни тупель, ни шелков. Вы только не гневайтесь, но большой боярин, которого вы хорошо знаете и которому я верно служу, одно время интересовался ею.

Теперь, как я понимаю, она кое-кого полюбила... Но как же быть с этим боярином?..

Господин Михалович еще по дороге довольно тщательно подготовил эти намеки. Судя по всему, Кости понял это без особого труда, и тем не менее ничего особенного не произошло. Он не упал на стул, не схватился за голову. В течение какой-то доли секунды юноша все понял и нашел решение всех томивших его вопросов. Наконец, все выяснилось! Анет хотела уберечь его от драматического объяснения с отцом? Но самое главное это то, что она любит его, Кости. В конце концов раз она его любит, ее бегство не имело смысла; кроме того, всякие размышления с его стороны теперь излишни, так как решение им уже принято. В том горячем состоянии, в котором он находился, голос страсти немедленно заглушал и шепетильность и любую разумную мысль. Кости был уверен в ее любви и все сильнее и сильнее отдавался во власть своего чувства. Существо, трепетавшее тогда рядом с ним, принадлежало ему, оно было чем-то совершенно новым, его нельзя было сравнить ни с чем в прошлом.

— Что касается сведений, мы можем на этом остановиться, господин Михалович,— решительно заговорил Кости, нахмутив брови, однако избегая глядеть в сторону собеседника.— Перейдем к делу. Мне нужны деньги.

— Вам нужны деньги на расходы до приезда боярина?

— Не то, господин Михалович. Поймите меня хорошенько: мне требуется большая сумма. Я хочу взять деньги под свое личное обязательство. У меня есть собственное имущество, которым я имею право распорядиться.

— Много денег вам нужно?

— Ровно тридцать тысяч франков.

Господин Леон Михалович раскрыл рот. Его удивляла не сумма, а то спокойствие, с которым этот юноша, совершенно очевидно, подготавливал свою поездку за границу. Значит, задуманный Михаловичем удар не достиг цели. Юноша найдет свою спутницу в Бухаресте, и неприятности начнутся сначала. С двадцатилетним юношей, да еще когда он смотрит такими безумными глазами, долго препираться нельзя. Как ни пытайся вставлять палки в колеса и несколько задержать дело, но деньги так или иначе придется дать. В конце концов он тоже тут заинтересован. Правда, история произойдет неприятная. Что ж, и против этого есть свое лекарство. Если потребуется, он, Леон,

немедленно отправится в Бухарест. Может даже и боярина поставить в известность о намерениях сына. Вот именно.

— Великовата сумма, господин Кости. Но я привык служить вашей семье. Завтра суббота. Послезавтра попытаюсь и надеюсь найти. Имейся деньги у меня лично, я сейчас бы пошел домой и принес бы их вам. Но мне еще надо их искать, и, уверяю вас, это нелегко.

— Я предлагаю вам их найти,— решительно отрезал Кости,— и не послезавтра, а завтра, к полудню. Любой ценой, понимаете?

— Вы, ваша милость, совсем такой же, как ваш отец,— улыбнулся Михалович.— Я попытаюсь, если вы разрешите, предложить более высокий процент. Но будут и другие трудности: потребуется вторая подпись.

— Она у меня имеется,— спокойно возразил Кости.— Ее даст моя тетушка.

— Госпожа Матильда?

— Да, господин Михалович, я говорил с нею незадолго до вашего прихода.

Еврей покачал головой. Уж очень красиво начинает этот барчонок свою карьеру! Страшный человек,— с ним играть опасно.

— А если я не успею завтра к полудню?

— Слушай, Михалович,— впервые на «ты» заговорил с деловым человеком Кости,— хватит! В конце концов довольно и одной моей подписи. Обязательство я даю без даты. Через месяц я уже совершеннолетний. Так что с моей стороны даже излишняя роскошь, когда я, кроме комиссионных, предоставляю тебе еще и гарантию. Если не хочешь меня рассердить, достань деньги без задержки.

Господин Леон Михалович уже успел убедиться, что другого ничего не остается, но все же почел своим долгом вздохнуть.

— Если, как вы говорите, у вас столь срочная необходимость,— хорошо, я достану.

— Значит, договорились? Завтра в двенадцать

— Да, завтра в двенадцать.

Господин Михалович оглядел свою кэчулу, раскланялся и вышел.

«Собирается отправиться завтра вечером скорым поездом в Бухарест...— рассуждал он про тебя.— Нет у меня времени искать Шапсу. Придется ему написать. Тут дей-

ствительно замешался сам дьявол, как сказала бедная мадам Арнольд».

Оставшись один, Кости долго стоял, устремив взгляд на закрытую дверь комнаты, зачарованный своими видениями. Они чередой проходили перед ним, приобретая все более четкие и ясные очертания. Затем он растянулся на софе, подложив руки под голову. Кости испытывал только одно смутное и легкое беспокойство: как будто он забыл какое-то имя и силился воскресить его в памяти.

* * *

Господин Леон Михалович сдержал слово и принес деньги в субботу днем. Не к чему путать совершенно разные вещи, дела остаются делами. Тут все написано черным по белому, а в остальном решат будущее, случайность и человеческое безумие. Но так как и в этом остальном также затронуты его интересы и более того — его честь, — господин Михалович распорядился, чтобы Ревекка приготовила ему для дороги обветшавший в поездках, потертый кожаный чемоданчик. Перекинув через левую руку клетчатый плед, а в правую взяв чемодан, он в пять часов не спеша спустился к вокзалу, негромко насвистывая мелодию, которая, по его мнению, воспроизводила песенку, услышанную им когда-то в бухарестском кафешантане.

Леон Михалович оставил свой багаж в вокзальном ресторане, закурил папиросу и, сунув руки в карманы шубы, принялся шагать, что-то высматривая в ожидании молодого Филоти. Он не имел в виду ничего определенного, он просто искал, — ибо кто ищет, тот всегда обрящет. Может статься, вдруг что и попадется или дельце какое подвернется. Господин Леон Михалович побывал везде: и в зале ожидания, и в ресторане, на перроне, во всяких станционных служебных помещениях, в вагонах. Он кому-то кланялся мимоходом, приостанавливался, с кем-то таинственно шептался, порой делал заметки в карманной записной книжке, потом, увидев Кости, проходившего в сопровождении носильщиков, нагруженных багажом, он отправился за своим чемоданом и пледом.

Стараясь не привлекать к себе внимания, маклер вошел в вагон второго класса. Он еще раз ошупал внутренний карман, где лежали деньги и блокнот, и, доволь-

ный, снова закурил. Важно опустив нижнюю губу, он тщательно оглядел двух своих совсем непримечательных спутников, уткнувшихся носом в газеты. Поезд тронулся. Господин Леон Михалович, как человек осторожный, встал и впился глазами в толпу, оставшуюся на перроне и спешившую к выходу. Его клиента там не было. Рванув туго подающуюся дверь, вошел кондуктор, чтобы проверить билеты. Михалович шепотом заговорил с ним. Да, сын боярина едет в поезде, сидит один в купе первого класса. Деловой человек усмехнулся и вновь занял свое место. Не прошло и получаса, как ему удалось оторвать от газет своих спутников, он даже втянул их в глупейшую дискуссию относительно каких-то крокодилов, появившихся на Черном море. Но на первой же большой остановке он бесцеремонно покинул собеседников и, прильнув к окну, принялся наблюдать. Следовало быть начеку и ничего не упустить. А вдруг юноша сойдет или, выглянув в окно, увидит его? Самое лучшее прибыть в Бухарест незамеченным. У Бучумен — пересадка. Михалович продолжал соблюдать осторожность. Наконец, он увидел, что господин Кости спокойно располагается в купе спального вагона и опускает шторы. Теперь все в порядке, можно считать себя в какой-то мере свободным. Но Леон Михалович все-таки не поддался этой мысли, тем более что и Шапсы не видел на перроне.

До Романа господин Леон дремал под мерный стук колес. Боярин, конечно, храпит вовсю в своем роскошном вагоне. Следовательно, есть возможность заглянуть в ресторан. У входа под станционными фонарями он встретил одного знакомого, с другим столкнулся в ресторане. Расплачиваясь за чай, он услышал, как прозвенел третий звонок, и кинулся к двери. Но выход преграждали два столь же спешивших пассажира. Чисто одетый Сава, в высоких сапогах, в бекеше и остроконечной барашковой шапке, во что бы то ни стало желал выйти первым, а там уже пусть выходят и остальные. У него был вид свиноторговца или барышника, который только что спрыснул выгодную сделку и готов по любому поводу затеять потасовку. Напрасно господин Михалович пускал в ход силу и наваливался всей своей тяжестью, чтобы пробиться вперед. Сава держал себя все более угрожающе. Вдребезги разлетелось стекло в двери. Сразу прибежали официанты, хозяева ресторана и появилась железнодорожная полиция. От

собственных криков и возмущения господин Леон Михалович сделался пунцовым. Но поезд уже отошел, и ему пришлось в конце концов смириться. «Барышник» удался в сопровождении полицейских. Он со смехом заявил им, что заплатит не только за разбитое стекло, но еще и сверх положенного. Господин Михалович отправился на телеграф послать сообщение насчет багажа и стал придумывать себе занятие до следующего поезда.

Кости, один, из мрака своего купе следил, смеясь, за этой веселой сценой. Потом спокойно стал готовиться ко сну. Едва укрылся он мягкими одеялами и смежил веки, как явилась к нему тень той, которую он любил.

* * *

В воскресенье, очутившись в столице, Кости разработал безошибочный и простой план действий. Оставив багаж на вокзале, он поначалу отправился в закрытом экипаже в гостиницу «Бульвар». Не выходя из кареты, он подозвал швейцара, сунул ему в руку монету в пять лей и потребовал список постояльцев. Леон Михалович не обманул его: мадмуазель Анет действительно была там. Затем он поехал в префектуру полиции, чтобы уладить вопрос о паспортах. Там ему попался некий обязательный малый, который, угодливо улыбаясь, поторопился выполнить его желание. Кости решил про себя, что вознаградит его сообразно оказанной услуге. К полудню, покончив и с этим делом, он совершил нечто удивительное: зашел в магазин «Папагал» на Липсканах и попросил миловидную смуглянку-продавщицу отобрать ему для молодой дамы ее роста принадлежности дорожного туалета и все сложить в изящный чемоданчик, который он выбрал. Речь идет о подарке. Потом он прошелся по набережной Дымбовицы и пообедал в каком-то убогом ресторанчике. Он съел два яйца, а заказанный варенец оставил почти нетронутым. За этот «обед» он заплатил одну лею, а в качестве чаевых оставил целых четыре. Извозчику было пора менять лошадей, поэтому он привел своему седоку другой закрытый экипаж. В этом экипаже Кости совершил прогулку по Шоссе ¹, потом спешно проделал обратный путь

¹ Так называлось в Бухаресте место прогулок на одной из окраин города.

и остался ждать на бульваре, напротив гостиницы. Тот же швейцар охотно согласился передать записку дамам из четвертого номера. Но Кости разъяснил ему, что записочка, содержащая не более двух слов, должна быть вручена только молодой даме. И он протянул записочку, предварительно обернув ее банкнотом в сто лей.

Все произошло именно так, как с гениальной интуицией предвидел Кости. Четверть часа спустя мадмуазель Анет вышла на улицу. Она окинула быстрым взглядом верхний и нижний конец бульвара, потом снова поглядела вокруг и заметила, наконец, юношу, который пристально смотрел на нее, стоя у дверцы экипажа. Недолго думая, закрыв лицо муфтой, она кинулась к нему. Кости схватил ее дрожащую руку и помог сесть в экипаж. Потом взобрался сам, дверца с коротким стуком захлопнулась, и кучер тронул коней кончиком кнута.

Юноша чувствовал, что дрожит от напряжения и блаженства. По его мнению, мадмуазель Анет должна была считать себя счастливой, но она плакала, прижимаясь к его плечу. Он мягко упрекнул ее за это; она обняла его, ничего не ответив. Мадмуазель Анет не очень удивилась, очутившись на вокзале. Она даже улыбнулась и ни о чем не спросила. Синие глаза ее часто мигали, словно их обжигало внутреннее пламя.

Погода была плохая, северный ветер заносил даже под навес перрона сухую, колючую снежную крупу. Дрожа мелкой дрожью, мадмуазель Анет прильнула к Кости, прижимая к груди его руку. Она покорно поднялась в вагон и все время неподвижно простояла в углу, пока отсутствовал ее спутник. Она шевельнулась, лишь когда он вошел. Кости опустил шторы и снял шубу. Потом он остановил долгий взгляд на Анет, а она залюбовалась выражением мужества и внезапной решимости на его лице.

— Мы будем одни, никто нам не помешает, — заговорил он смеясь. — Знаешь, куда мы едем?

Она покачала головой: не знает. Да и не хочет знать. Он сделал попытку продолжать, но мадмуазель Анет прикрыла ему рот ладонью. Она должна следовать за ним. Два слова — «все знаю» в принесенной швейцаром записочке все еще жгли ее.

— Нельзя же так, Кости. Что ты знаешь? — пробовала она объясниться, когда он сел рядом с нею и взял ее за

руки.— Может быть, тебе сказал что-нибудь маклер отца, но этот человек не может знать ничего определенного.

Кости хотел сначала прервать ее, потом стал внимательно слушать. Мадмуазель Анет доказывала ему, что он первый мужчина, которого она любит. Правда, другой спас ее от убогой, нищенской жизни, и она радовалась такому покровительству, хотя и думала, что придется когда-нибудь уплатить за него любой жертвой. Но этого не случилось. К счастью, не случилось. Честное слово, не случилось. Утверждение это, которому мадмуазель Анет уже наполовину верила, было насущно необходимо для того, чтобы она могла спокойно примириться с обстоятельствами. Когда же вслед за этим признанием пришли объятья Кости, ее незатейливая хитрость стала для нее самой неопровержимой истиной, которая делала ее почти счастливой.

Поезд мчался против ветра на север. Даже грохот вагона не мог заглушить злобного шороха метели за окном, но скверная погода лишь увеличивала радость влюбленных. Между ними и миром вставали ветер, метели, препятствия и расстояния. Тем не менее декабрьская вьюга была обстоятельством, которое могло бы возбудить в Кости тревогу. Ведь это была стихийная сила, она равнодушно бесновалась над мутными далями, нагромождая снежные сугробы на тонкие стальные паутинки, протянутые человеком. Вьюжный голос ее стал звонче паровозного гудка. И на заре, в метель, поезд недвижно застыл на уединенном полустанке уезда Бакэу.

Когда гнетущая тяжесть длительной задержки и таящее угрозу молчание белой пустыни дошли, наконец, до сознания пассажиров, Кости начал требовать объяснений. Немец-кондуктор не отважился вводить в гнев такого щедрого молодого боярина и всячески пытался успокоить его сиятельство. Ничего опасного, кратковременная остановка. Уже прибыла бригада людей с лопатами, чтобы очистить линию.

— Так, по-вашему, задержимся ненадолго?

— Да, ваше сиятельство, мы надеемся отправиться как можно быстрее...

Однако поезд все-таки простоял до рассвета. Потом снова двинулся в путь, но с томительной медлительностью. В Бакэу пришлось добавить еще один паровоз и снегоочиститель. Наконец, после трехчасового опоздания, они от-

правились дальше. Кости начинал сомневаться в уверениях кондуктора и с сожалением заметил, что при всей своей предусмотрительности не подумал запастись провизией. Ему оставалось удовлетвориться съеденными вчера яйцами и варенцом. И мадмуазель Анет тоже пренебрегла своим ужином. Кости, озабоченный, наморщил лоб. Но мадмуазель Анет улыбалась. Рядом был Кости,— другого ей ничего не нужно.

* * *

На вокзале в Бучуменах бухарестского поезда дождался господин Шапса. Поезду надлежало прибыть еще до полудня, а Шапса не дождался его и к обеду. Телеграфные сообщения уведомляли все о новом и новом опоздании, так что Шапсе пришлось закусить в станционном буфете. Он выпил чашку кофе, прочитал вчерашнюю газету, выкурил несколько папирос и даже успел поговорить о тысяче различных вещей со своими соплеменниками, тоже ожидающими поезда. Разговаривал он спокойно, выглядел беззаботным; только странным казалось ему, почему никак не хочет уgomониться метель. Он изредка выходил на перрон и даже, расхрабрившись, делал несколько шагов под открытым небом, но тут же снежные крылья начинали торопливо хлопать его по спине, а порывы ветра толкать обратно. «Ядреная погодка»,— говорил господин Шапса, качая головой. Станционные рабочие в тулупах и больших кэчулах засмеялись, видя, как забавно он ежится. Им-то все это нипочем: забегут в какой-нибудь шинок позади вокзала и снова возвращаются к месту работы. Был среди них и рослый, крепкий Василе Бребу. На том участке, где он работал, снег не поспевал за его лопатой. Бребу захотелось похвастаться этим.

— Что морщишься, господин Шапса,— ослабилась он, проходя мимо при очередном забеге в шинок,— запах, что ли, тебе не нравится?

Товарищи его басисто захохотали. Шапса искоса презрительно взглянул на них и прошел в ресторан. Но прежде чем подсесть к столу среди прочих посетителей, он подошел к окну, вынул из кармана пальто бумагу, развернул и, прищулив глаз, еще раз внимательно прочитал ее, испытывая при этом тайное беспокойство, которое пытался скрыть от окружающих. Он оглянулся украдкой,

опять перечитал. Это была срочная телеграмма от Леона Михаловича.

«СРОЧНО, ШАПСА ХОНИГ, СТАНЦИЯ БУЧУМЕНЫ ПШЕНИЦА С ПЛЕВЕЛОМ НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕЕХАТЬ ГРАНИЦУ, ОСТАНОВИ ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО БУРДУЖЕНЫ, ЗДЕСЬ ЦЕНА ХОРОШАЯ».

«Что могло случиться?» — в который раз принимался думать господин Шапса. Он снова просмотрел также и письмо, полученное из Ясс. Только одно и могло произойти.

Господин Шапса вздохнул, преисполнившись решимости ждать поезда хоть три дня, и направился к столу. Кофе он уже пил и теперь заказал чай.

— Не понимаю, чего это господин примарь ушел с вокзала,— обратился он к своим товарищам.— И господин Филипп тоже домой уехал. Сказал: «вернусь», да что-то не видать его.

— А на что тебе примарь да господин Накович? — спросил зерноторговец Ескива.— Не можем мы разве сидеть здесь и без них?

— Можем-то можем,— ответил Шапса,— а все-таки лучше, если бы и они тут были.

Господин Левицкий, старый служащий железнодорожной компании Оппенгейм, пришел навеститься, что имеется нового в буфете.

— Почтенная публика,— обратился он к сидящим, улыбаясь всем своим цветущим лицом, показав при этом немногие уцелевшие зубы,— кто хочет подойти ко мне, чтобы я мог шепнуть ему на ушко, через сколько минут прибывает скорый бухарестский?

Евреи понимали, что это значит, и хранили осторожное молчание. Каждый предоставлял своему товарищу право выслушать признание господина Левицкого. Достаточно одному влезть в расход, а новостью воспользуются все. Но так как господин Левицкий уже подошел к буфетной стойке и перестал смеяться, Ескива объявил коллективный сбор и в сопровождении Шапсы бросился вслед за служащим.

Поезд опять опаздывал на час двадцать минут. Повидимому, на станцию он прибудет в шесть часов. Господин Шапса вернулся к столу, чтобы докончить свой чай, и еще раз нащупал в кармане телеграмму.

Наконец, наступила последняя четверть назначенного часа, и все выбежали на перрон. Послышались сигналы, раздались крики. Спаренные паровозы, тяжело дыша, будто после жаркой схватки, величественно промчались мимо в своей одежде из снега и льда. Вагоны с заиндевелыми окнами выглядели более скромно. Они были холодны и слепы. Пассажиры стали выходить прямо в метель, под мутный свет фонарей, горевших на перроне. Никто не знал, как развернутся события. Поезд, очевидно, дальше не пойдет. Но служба движения потребовала новых сведений, она старалась протолкнуть поезд до границы.

Шапса подождал, пока вышли все пассажиры, внимательно следя за движением вокруг. Потом поднялся в спальный вагон и в коридоре шепотом обменялся несколькими словами с немцем-кондуктором, затем подошел к одному из купе и тихо постучал в дверь.

Открыл Кости. Шапса почтительно поклонился.

— Где мы? — осведомился юноша, выходя из купе и заботливо закрывая за собой дверь.

— Вы находитесь на станции Бучумены, ваша милость.

— Хорошо. Рад видеть вас, господин Шапса. Что случилось? Неизвестно, когда мы двинемся дальше? Погода просто невозможная, а опоздание крайне досадно. Из вагона выдуло все тепло. Мы под угрозой обледенения. Можно хоть что-нибудь найти в буфете? Я приказал кондуктору закупить продуктов.

— Ваша милость, — спокойно ответил Шапса, — еда-то найдется, здесь всегда все было в изобилии. Но господин Левицкий говорит, что неизвестно, пойдет ли поезд дальше.

— Какой еще господин Левицкий? Это невысказано. Поезд должен идти дальше.

— Кто знает? Может, и пойдет. Посмотрим. Господин Левицкий — служащий нашей станции. Я спрошу его. Но теперь я должен сообщить вам весьма важную вещь и не хотел бы, чтобы кто-нибудь нас слышал. Будьте так добры, ваша милость, отойдете в сторонку.

— Что такое, Шапса? — внезапно встревожившись, спросил Кости и нахмурил брови.

— Ваша милость, — тихо промолвил Шапса, отступая в сторону и уводя за собой юношу, — если поезд даже

уйдет, вам, как я думаю, все равно не придется переехать границу.

— Что такое? Почему?

— Не извольте гневаться, не извольте гневаться, ваша милость. Я ошибся. Вы-то можете переехать. Я знаю, у вас имеется паспорт, и вы уже не раз переезжали. Но лицу, которое сейчас с вами, это не удастся.

Кости помрачнел, но смолчал, прикусив губу. Значит, все стало известно: телеграф работает исправно. Накопившееся от тягостной задержки раздражение готово было прорваться наружу, и Шапса отлично видел это своим полузакрытым глазом. Потому-то и поспешил он нанести первый удар. Но юноша сдержал себя.

— Как же так, Шапса? — спросил он смеясь. — Допустим, меня действительно сопровождает некое лицо. У нее есть паспорт, вернее у меня имеется паспорт для нее. Кто же может ее остановить?

— С вашего позволения, ваша милость, ее остановит бурдуженский таможенный уполномоченный. Если вы потрудитесь спуститься на перрон, я могу вам его показать. Он все время стоял в кабинете возле телеграфа. И дважды приходил с господином Левицким в буфет. Он получил указания, теперь собирает сведения, а по дороге, если поезд отправится дальше, произойдет то, о чем я говорю.

Кости вспыхнул.

— Кто может думать, что я потерплю подобную подлость? Как вы смеете?

Взглянув налившимися кровью глазами на Шапсу, он шагнул, готовый его ударить. Но тут отодвинулась дверь, и на фоне освещенного купе с испуганным криком появилась мадмуазель Анет. Юноша сразу успокоился. Он повернулся к ней и шепнул ей несколько слов. Мадмуазель Анет отступила и заперла дверь изнутри.

— Значит, так обстоят дела, господин Шапса? — криво усмехаясь, заговорил Кости. — Так, значит?.. Уверяю вас, что я проеду, хотя бы мне пришлось продырявить башку этому господину уполномоченному.

Шапса смолчал, весьма сомневаясь в возможности такого исхода. Юноша, повидимому, усумнился тоже; гневно отфыркиваясь, задвигался он, пытаясь сделать несколько шагов в узком коридоре.

— Ваша милость, — мягко заговорил Шапса. — Теле-

граммы пришли на все пограничные станции. В других местах поезда уже прошли, и вас в них не оказалось. Остается только эта линия. Мне думается, кто-то специально сидит на бухарестском телеграфе, дожидаясь ответа на приказ. Такой большой боярин может сделать все, что захочет, ваша милость. И вы тоже, ваша милость. Я сказал глупость.

Кости продолжал серьезно глядеть поверх головы Шапсы, затем с шумом выдохнул ртом воздух, словно изнутри его давили пары.

— Слушай! — вдруг крикнул он, стукнув ногой об пол. — Сидеть дольше здесь в холоде мы не можем, и лицо, которое я сопровождаю, нельзя подвергать таким гадостям. Слушай, что я тебе скажу, и выполняй немедленно. Я должен оставаться хозяином своих поступков и уберечь себя от приставаний уполномоченного.

— Хорошо, ваша милость.

— Так слушай, Шапса, пока я еще владею собой. Передай сию минуту Наковичу мой приказ прислать сюда сани для меня и моего багажа. Пусть натопят мои комнаты в усадьбе. Больше ничего мне не говори, только чтобы все делалось как можно скорей. Понятно?

Шапса понял. Он был того же мнения. Старый боярин пойдет молодого под арестом в бучуменской усадьбе и будет этим весьма доволен. Шапса крадучись вышел из вагона и отправился на телеграф, чтобы дать срочную телеграмму в Бухарест, гостиница «Бульвар». Боярин не будет, конечно, чересчур уж доволен, ведь особой радости он тут не найдет, но что можно было сделать больше при данных обстоятельствах? Затем Шапса торопливо пробрался к телефону и, соединившись с примэрией, потребовал, чтобы немедленно позвали к аппарату господина примэрия или господина Филиппа Наковича. Если их в примэрии нет, послать за ними сию же минуту, — речь идет о важной услуге боярину. «Я сейчас вернусь», — бросил он служащему и, словно подгоняемый ветром, бросился к заднему выходу вокзала. Шапса прокричал что-то одному из извозчиков, поджидавших по случаю метели пассажиров. Он по-еврейски объяснил какому-то Штрулу, что ему надлежит делать. Пусть гонит во весь дух к господину Филиппу и скажет, чтобы тот мчался к вокзалу с санями для господина Кости. Штрул тут же пустил коня вскачь и помчался, закутанный по самые глаза башлы-

ком с развевающимися по ветру концами. Он вопил и размахивал кнутом, словно обуреваемый ужасом.

Кости уже ухватился за новое решение. Он был убежден, что сделал все необходимое. Впрочем, сидеть в вагоне стало совершенно невыносимо. Когда он вошел в купе, мадмуазель Анет дрожала, укрытая пледом.

— Потерпи немного, все устроится,— горячо убеждал ее Кости.— Я обещаю тебе царский прием.

— Где мы находимся?

— В Бучуменах.

Мадмуазель Анет промолчала. Кости взял ее холодные руки и поцеловал их. Потом он вышел проверить, как исполняются его приказания. Спутница его, с затуманенными грустью глазами, осталась одна и снова заперлась.

Три четверти часа спустя на перроне началось движение. Примчались в санях Филипп Накович и примарь. Они пожали руку господину Кости и без тени удивления выслушали его приказы. Они даже не пожелали заметить, что у юноши был какой-то спутник. Это их не интересовало. При их появлении Шапса сказал обоим несколько торопливых, но очень ясных слов.

— Сани готовы,— пояснил Филипп,— и комнаты будут немедленно натоплены. По дороге есть одно трудное место: сугроб на повороте к городу. Кони еле пробились. Дорогу все время заносит. Но и это препятствие можно преодолеть. Он пообещает угощение нескольким станционным рабочим и устроит их на запятках саней: не успеешь «отче наш» прочесть, как они разметут сугроб.

— В таком случае едем немедленно, сейчас же,— возбужденно проговорил Кости.— Я ни на одну минуту не хочу задерживаться в этом ледяном погребе.

— Мы и шубы прихватили, господин Кости,— пояснял Накович,— так что не извольте беспокоиться.

Носильщики засуетились, немец-кондуктор забегал, Накович, Шапса и господин Якобаке помогали тоже. Большие и маленькие чемоданы, коробки, сумки перекечевали в сани. Напоследок пропорхнула под руку с Кости и мадмуазель Анет, прикрыв лицо муфтой.

Позади вокзала ожидало трое саней. В каждую была впряжена пара лошадей. В первых санях положили багаж. Во вторых, под мехами и покрывалами, устроился Кости со своей спутницей. На третьи взгромоздились управитель, примарь и Шапса. Кое-как примости-

лись со своими железными лопатами и четверо рабочих, захваченных для расчистки дороги. Двое устроились позади боярских саней, двое — позади последних. У них были с собой и фонари. Наконец, все сани тронулись сквозь гудящие снежные вихри.

Василе Бребу успел заметить примаря; давно уже он дал себе клятву расчитаться с этим человеком. С тех пор как Василе вернулся из острога, ему еще не довелось отвести душу, хотя Якобаке часто попадался на его пути. Его внутреннее решение, пока еще не претворившееся в действие, тяжким грузом гнева лежало на душе. Когда он вышел из корчмы, горячее дыхание клубами белого пара вырывалось из его рта сквозь усы. Взгрозившись на запятках боярских саней, он подумал, что, пожалуй, лучше бы прицепиться к последним саням. Саный поезд довольно быстро пробивался сквозь бурю. Кости обратился к своей спутнице:

— Тебе удобно? Не холодно?

— Нет, мне очень хорошо,— отвечала мадмуазель Анет.

Василе с удивлением прислушался к ее приятному голосу и, повернув голову к товарищу, подмигнул, кивком головы указывая на счастливцев, сидевших в кузове саней. Но товарищ не заметил подмигиванья Василе, не понял его движения и спросил, наклоняясь к нему:

— Что ты сказал, Василе?

— Ничего,— ответил Бребу ухмыляясь.

«Как же мне быть с примарем? — размышлял он.— Самое бы подходящее теперь времечко стукнуть его лопатой по башке и свалить в сугроб».

— Го, го! — завопили кучера передних саней.— Людей с лопатами сюда!..

Сани остановились. Василе соскочил и поднял фонарь. Перед ним, рядом с боярином, было лицо и глаза Аницы. Он окончательно понял это не сразу, а лишь когда успел уже пройти вперед. Словно промелькнуло видение. Но он ясно слышал и ее голос,— должно, она и есть. Люди вгрызлись лопатами в сугроб. Василе повернул обратно. Он еще продолжал с тайной радостью думать о том, что было бы с примарем, если бы он неожиданно ударил его и опрокинул в сугроб; и в то же время в нем росло какое-то безумное изумление: неужели это действительно Аница, причина его оскудения и несчастья? Взглянем еще разок...

— Слушай, ты, бери лопату и ступай к сугробу,— приказал примарь, толкнув его плечом.

— Погоди, твоя милость,— произнес Василе с ухмылкой и поднял фонарь.— Посмотрим сначала, Аница ли это.

— Этот человек пьян,— промолвил Кости, брезгливо отворачиваясь.

— Вы что-нибудь изволили сказать, сударь? — спросил Филипп, находившийся по другую сторону саней.

Василе Бребу все понял. Как при вспышке молнии увидел он испуганное лицо обернувшейся к нему женщины. Отбросив фонарь, он прыгнул со звериной легкостью и ударил лопатой сперва Аницу, а потом и ее спутника.

Она дважды вскрикнула: «Ой! Ой!» — и протяжный вопль ее перешел в угасающую жалобу. Кости протянул было руки, пытаясь защитить ее... Филипп Накович успел кинуться и ударить Василе своей палкой со свинцовым набалдашником как раз в ту минуту, когда тот готовился нанести третий удар. Лопата упала, человек опрокинулся вслед за ней. Окровавленная голова его погрузилась в снег рядом с фонарем.

— Что такое? Что случилось? — кричал Шапса с задних саней. Ушедшие вперед люди бежали обратно. Примарь и господин Филипп разворачивали шкуры и покрывала, в которые были закутаны Кости и его спутница. Аница, без шапочки, сидела, слегка откинувшись на спинку сиденья. Под ухом у нее виднелся след от косога удара, но крови не было. Кости лежал лицом вниз, склонившись на ее руки. Когда его подняли, по левой щеке ручьями бежала кровь из глубокой раны, доходившей до самого темени. Люди приблизили фонари. Управитель наклонился над ним, прислушиваясь к его дыханию. Кости еще дышал. Аница была мертва.

* * *

Только на третий день, в среду, с утренним поездом прибыл из Бухареста Александру Филоти. Шапса встретил его еще в Романе. Накович ждал на перроне, озабоченный, с опущенной головой. Боярин, бледный, с побелевшими губами, вышел из спального вагона. Взгляд его скользнул поверх головы управителя, глядеть ему в глаза он не мог.

— Как чувствует себя Кости? — спросил он вдруг, готовясь сесть в сани.

— Доктор Барони говорит, что опасность как будто миновала, — поспешно ответил Накович.

Филоти вздохнул и натянул на себя косматую меховую полость.

Управитель пристроился рядом, но бочком, с краю, чтобы не стеснить боярина.

Когда они добрались до поворота, он тихо произнес:

— Вот тут все и случилось, господин Алеку.

Кучер остановил лошадей.

Филоти огляделся. Он ничего не различил. Метель замела все следы.

— Ее мы похоронили еще вчера... Я решил, что так лучше, — с неуверенностью в голосе произнес Филипп Накович.

Казалось, с плеч боярина внезапно свалилась большая тяжесть. Он посмотрел на управителя, словно видел его впервые.

— Едем, — промолвил Филоти. — Мне не терпится взглянуть на мальчика... Я не сплю двое суток.

Глава одиннадцатая

СЛОЖНЫЕ ПЛАНЫ И ДЕЛА ЕВГЕНИЕ ЧОРНЕЯ

Не успели Филоти и Накович сойти у главного подъезда, как во двор въехали и другие сани — с Шапсой и Кавалье. Из окон флигеля, напирая друг на друга, смотрели слуги. Показались и работники при конюшнях; они стояли, точно пугала, и глядели издалека.

Филоти обратил взор к сводчатой двери, словно хотел измерить ее высоту. Затем повернулся к управителю и глухим голосом попросил:

— Погоди уходить, Филипп. Ты мне, может быть, еще понадобишься.

— Понятно, господин Алеку, не уйду, — поспешил ответить Филипп и, потянув дверь, пропустил боярина.

Филоти мгновение постоял в нерешительности, затем вошел. Управитель отворил ему и вторую дверь. Они вступили в обширный салон, с высокими окнами, глядевшими в парк. Госпожа Аглая, которая сидела за столиком

у окна, торопливо поднялась и, поклонившись мимоходом, бросилась к одной из боковых дверей и медленно, осторожно открыла ее.

Жена управителя казалась испуганной. Прошептав несколько слов, она прижалась к стене. Филоти понял, что он должен туда войти. На пороге его встретила госпожа Матильда. Дрожащими пальцами поправляла она на висках седеющие волосы. Глаза были печальны, губы трепетали. Когда дверь закрылась, госпожа Матильда прильнула к плечу брата и зарыдала. Филоти молча поцеловал ее, изнемогая от волнения и усталости. Он глотал горькие слезы и смотрел через голову сестры в какую-то призрачную черную точку, вертевшуюся перед его глазами. Потом сжал челюсти и скрипнул зубами, сясь овладеть собой. Наконец, Филоти опустил в кресло; у него стучало в висках. Избегая глаз сестры, он обратил взгляд к окну. Матильда взяла его за руку, но со стоном опять оставила ее и села рядом.

— Филипп говорил, что доктор как будто ручается...— заговорил Филоти низким, изменившимся голосом.

Госпожа Матильда грустно покачала головой.

— Пока мы ничего определенного не знаем, Александр. Не надо себя обманывать. Я телеграфировала в Яссы доктору Микля. Вечером он придет. Быть может, понадобится хирургическое вмешательство.

Филоти, подавленный, опустил голову.

— Бедный мальчик,— прошептала госпожа Матильда угасшим голосом, и слезы вновь потекли по ее лицу. Она стала энергично вытирать глаза маленьким вышитым платочком. Смотря на нее, Филоти нашел, что она сильно изменилась, ослабела и от слез у нее нос покраснел.

— Я хочу его видеть,— нерешительно проговорил он.

— Да,— вздрогнула госпожа Матильда.— Вот уже с час как он спит несколько спокойней.

Госпожа Матильда раздвинула тяжелые портьеры, открыла дверь и вошла первой. Потом поманила Филоти.

Шторы были наполовину спущены. Боярин на цыпочках подошел к кровати под пологом. Он увидел только один глаз Кости.

Вся голова была в повязках и одеяло натянуто выше подбородка. Единственный видимый глаз был закрыт, и веко подергивалось дрожью. Филоти подумал: «Он может умереть...» — и, содрогаясь, повернулся к госпоже Ма-

тильде. Она пристально смотрела на племянника и ничего не сказала брату.

Они вернулись в соседнюю комнату.

— Что делать? — беспомощно спросил Филоти.

— Во-первых, ты должен успокоиться, Александр, — с трудом выдавив улыбку, заговорила госпожа Матильда. — Ступай отдохни, твои комнаты готовы. О Кости я позабочусь. Некоторую помощь оказывает мне и Аглая.

Филоти вздохнул, растроганный своим собственным душевным состоянием. Отец понимал, что он тут совершенно лишний. Пройдя в салон, где остался управитель с женой, он нашел там и Кавалье, который ожидал приказаний.

— Комнаты готовы, Жан? Разбери чемоданы. Мы остаемся на некоторое время здесь.

И опять вздохнул, осматриваясь. Потом вышел, сопровождаемый камердинером.

Госпожа Аглая пристально взглянула на закрывшуюся за ним дверь и покачала головой.

— Не слишком-то огорченным он выглядит, — шепнула она. — Не понимает, что мальчик может умереть.

— А что прикажешь ему делать? — тихо проворчал Филипп. — Рвать на себе волосы и вопить?

— Нет, конечно... Но все-таки... Виноват-то ведь он.

— Кто это «он»?

Госпожа Аглая пожала плечами и отвернулась к окну.

Мгновенье спустя она снова обратилась к Наковичу.

— Пока ты ездил на вокзал, ко мне сюда опять приходила мадам Александреску и просила, чтоб я обязательно к ней вышла. Говорит, завтра или послезавтра должен приехать префект. И просила меня насчет боярина, — нельзя ли Якобаке явиться к нему поговорить и кое о чем попросить.

— Только об этом боярин и думает...

— Да разве я ей не говорила? Она заплакала. А было время — смеялась.

— Когда? Почему?.. — осведомился Накович зевая. — Поздно я этой ночью лег, — пояснил он госпоже Аглае свой зевок, не дожидаясь ответа. — Был бы он ребенком, тогда понимаю...

— О ком ты?

— Об Александреску. Был бы, говорю, он ребенком,

тогда понимаю. Но надо же остерегаться и не все делать так явно. Всему есть границы.

— Она говорила, что и с тобой у него были дела.

— Может быть. С другими они у него тоже были, но ответ держать — одному ему.

— Пусть отвечает. Только, право, жаль мне Ленцу Георгиу. И за ее мужа тоже взялись. А ей, бедняге, хоть головой о стенку биться. Не знает, что делать.

— Ну, тот просто дурак, какой же он виновник, — пояснил управитель и закурил папиросу.

— Не надо здесь курить, — поспешила сделать замечание супруга, сжав его руку. — Госпожа Матильда этого не терпит. Запах доходит в комнату Кости.

— Твоя правда, — согласился управитель, беззвучно смеясь. — Мне почудилось, что мы дома. — И он потушил папиросу, раздавив горящий кончик пальцами. — Пойду покурю на улице.

— Брось ты эту папиросу, Филипп, — укоризненно сказала госпожа Аглая. — Что же теперь будет, как ты думаешь?

— С кем? С работниками уважаемой примэрии? Захочет префект, моя дорогая, так он их всех упрячет в теплое местечко.

— Да я не о том... — Госпожа Аглая кивнула головой в сторону комнаты Матильды. — С той минуты, как я увидела боярина, я все думаю и волнуюсь: что может произойти?

— Мне-то откуда это знать, — равнодушно отозвался Филипп. — Посмотрим.

Госпожа Аглая бросила на него недовольный взгляд и сморщила лоб. Некоторое время они молчали, наблюдая через большие окна зимнюю картину во дворе. Из коридора вошла тоненькая цыганочка, служанка госпожи Матильды; неслышно ступая, будто кошка, подошла она сначала к одной высокой печке, потом к другой, подбросила дров в их ненасытную пасть и скрылась в покоях своей хозяйки. Словно возрожденные к жизни безмолвием комнаты, пробудились большие настенные часы, мягкими мерными звуками отсчитывая положенное время. Из спальни больного внезапно донесся вопль, похожий на крик о помощи. Супруги переглянулись, делая большие глаза, и прислушались.

Госпожа Аглая вздрогнула, покачала головой. Нако-

вич встал и выскользнул в коридор. Он не мог больше терпеть и отправился на веранду выкурить папиросу. В полумраке передней сорвался со стула Шапса и встал перед ним.

— Куда вы, господин Накович? Что нового?

— Ничего нового, господин Шапса. Сейчас одиннадцать, должен приехать доктор. Посмотрим, что он скажет. А что мы можем знать?

— Это так,— согласился Шапса.— А что делал боярин? Что он говорил?

— погоди, сперва закурю папиросу, господин Шапса. Ну, теперь могу тебе сказать, что я ничего не знаю.

— Большая беда у них приключилась, господин Филипп,— задумчиво проговорил еврей.— И будут еще и другие несчастья.

— Я вижу, ты озабочен больше самого боярина, господин Шапса,— засмеялся Накович.— Сверника и себе цыгарку.

— Все шутишь, господин Филипп,— тихо произнес Шапса.— А мне бы не хотелось пережить то, что сейчас у них на душе.

— Ты прав, ты прав,— мягко заметил управитель, глубоко затягиваясь толстой цыгаркой.

Зазвенели бубенчики, и боярские сани с толстым кучером Димаки на козлах остановились вплотную у главного подъезда. Из-под косматых шкур вылез толстяк, столь же внушительных размеров, как и Димаки, только пониже да побелей лицом. Он стал медленно подниматься по ступенькам в своей широкой шубе и ушанке. Борода и бакенбарды были у него рыжие, а рука, которую он протянул представителям боярина,— мягкая и пухлая, усеянная крапинками кирпичного цвета.

— А, господин доктор Барони,— промолвил Филипп, отбросив окурок и пожимая протянутую руку.— Как поживаете, господин доктор, и что скажете нового нам?

— Да как поживать? — ответил Барони с сильным немецким акцентом.— Замечаю, что со вчерашнего дня еще немного постарел. И так всякое утро, пока в один добрый день не буду готов! Так говорят крестьяне: «в один добрый день».

— Ну-у, господин доктор,— упрекнул его Филипп и крепко почесал в затылке,— не говорил бы ты о таком. Времени впереди достаточно.

В тишине раздался смех доктора Барони. Казалось, этот смех сотрясал не только живот, но все его существо.

— Лопнет когда-нибудь немец, вот и все,— продолжал он, и веселые слезинки засверкали в его выпуклых глазах.— Не будет больше пугать детей иголками и прививками, не станет орать на крестьян за то, что они дают водку роженицам. Отделаются от него все и будут рады.

— Господин доктор Барони всегда шутит со своим диабетом,— тихо вымолвил Шапса.

— Что поделаешь,— возразил немец.— Как-никак он все-таки гость, и я должен встречать его с веселым лицом. Пока что мы ладим. Ну, пойду взгляну, как господин Кости. Я тоже с нетерпением жду профессора Микля. Будем надеяться, что все кончится хорошо.

— А что мой больной? — все так же весело осведомился Накович.

Доктор Барони поднял глаза и внимательно взглянул на управителя.

— Ваш больной? — произнес он со странным и серьезным выражением в лице.— Ваш больной человек упорный. Лежит неподвижно на спине, как его положили, когда привезли в лазарет. Смотрит на бога и молчит. Он еще не понимает, что происходит вокруг. Силен, как медведь, но, думаю, умрет.

Смех на лице Наковича погас. Он вынул коробочку с табаком и принялся крутить новую папиросу. Доктор вошел, покачиваясь, в дом.

— Ты еще побудешь здесь, господин Шапса? — спросил управитель.— Сейчас боярин, вероятно, отдыхает. Вернемся лучше после обеда.

Оба сошли вниз и зашагали по широкой аллее, а взгляд кучера Димаки неотрывно следовал за ними. Немного погодя цыган пробормотал что-то про себя, не нарушая, однако, своей каменной неподвижности.

* * *

Филипп Накович шел некоторое время рядом со своим спутником молча, покуривая папиросу. Потом отстал от Шапсы и, сделав неопределенный жест, лениво протянул: «До скорого свидания! Увидимся после обеда, господин Шапса». Маклер зашагал вперед, по направлению к

городским лавчонкам; управитель повернул к околнице деревни.

Неподалеку от церкви стоял бревенчатый домик бабки Касандры Дэскэлицы, снятый примэрией под лазарет. Сама бабка жила тут же, в землянке. В одиночестве влачила она свои дни, присматривая за коммунальным лазаретом, который чаще всего пустовал. Больные в коммуне не переводились, порой вспыхивали эпидемии, но хуторяне гнушались сего лекарского заведения и ненавидели его. Бабка Касандра разделяла всеобщие чувства, притом особенно яро, когда бабы на селе приглашали ее поворожить или произнести заговор. И только изредка в ее «проклятой избе» оказывался какой-нибудь избитый селянин либо тело погибшего от насильственной смерти.

Филипп Накович вошел в пустынный, негороженный двор. Из бочки с выбитым дном, лежавшей у стены землянки, выскочил щенок и принялся упорно тявкать, не сходя с места, не приближаясь и не отступая. В дверях землянки появилась Касандра Дэскэлица в рваном тулупе и мужских сапогах. Узнав боярского человека, она снова воротилась к себе. А Накович вступил под камышовую стреху избы и стукнул щеколдой. В сенях послышались неровные шаги,— заскрежетал засов, и в открытой двери показалась всклокоченная голова с заспанными глазами, принадлежавшая высокому сухопарому цыгану. Он часто мигал, лицо его производило такое впечатление, точно он ухмыляется. На нем были надеты заплатанный сюртук и разорванные в клочья брюки. Цыган успел обуть только один кожанец, второй лежал на шестке, возле горки углей, в тепле которых спал сторож.

К печной трубе было прислонено списанное в расход ружье, без курка, со ржавым штыком.

— Это ты, Клипич? — спросил господин Филипп.— С каких это пор поступил ты на коммунальную службу?

— Цалуем ручку, ваша милость,— быстро прогнусавил нищий.— Ради куска хлеба нанялся, с вашего позволения,— перезимовать в тепле...

В беспрестанно мигающих глазах нищего проглядывало что-то замученное и боязливое. Управитель осмотрелся. На задней лавке, возле глухой стены, на рогоже под тулупом лежал Василе Бребу. Лоб его по самые уши был закрыт тряпкой, напоминавшей белый клубок. Он лежал на спине, устремив глаза в потолок.

— Нынче утром преставился,— пробормотал Клипич.

Накович повернулся, взглянул на него, потом опять оборотился к лавке и, приблизившись к ней, долго разглядывал бескровное лицо и застывшие глаза мертвеца.

— Сегодня утром? — спокойно спросил он.

— Так точно, ваша милость. Я и обувался-то, чтобы пойти дать знать.

— А он не спрашивал чего-нибудь, не просил? — осведомился управитель с какой-то робостью в голосе.

— Нет, ваша милость. Как положили его, так и лежал. Смотрел вверх, дышал редко, прерывисто. Умер-то он скорей всего ночью, да я увидел только утром, как проснулся.

— Брат его был здесь?

— Был, ваша милость. Оба пришли. Георгиева жена принесла ему борща. Кто ж его теперь будет есть? Я и съел. Что ж им было больше делать, как смотреть на него. А что узнаешь? Ничего они не могли узнать. Окликнули было: «Эй, Василе!» — а он молчит. Так, видно, на роду было ему написано, натворить беду и самому умереть.

— Дай знать в примэрию,— попрежнему спокойно заговорил Накович.

— А как же, ваша милость. Вот обую второй кожанец и пойду.

Управитель оглядел голые стены комнатухи и пошел вон из избы. Возле бочки с выбитым дном снова затавкали бабкин щенок. Засунув руки в карманы бекеши, Накович задумчиво вышел на дорогу. Снег скрипел под ногами; над землей широким куполом повисло зимнее зеленоватое небо.

«Надо будет помочь с похоронами и справить поминки»,— думал Филипп Накович, чувствуя на душе какую-то смутную тяжесть.

За столом с госпожой Аглаей он просидел всего полчаса, не сочтя необходимым что-нибудь сказать или спросить. Был он задумчив и казался усталым; но ел, как всегда, хорошо. Госпожа Аглая несколько раз бросала в его сторону долгие взгляды, но и она тоже торопилась.

— Сегодня мне опять нужно пойти туда, чтобы помогать,— заговорила она.— Вечером покушаем спокойней. Пришла телеграмма от доктора Микля. Нынче приезжает.

— Это хорошо,— отвечал Филипп.— А что говорит Барони?

— Пожимает плечами и ждет. Не может пока высказаться. Уверяет, что нет еще ничего страшного.

Накович вздохнул.

— Всех больше страдает и убивается госпожа Матильда,— продолжала его супруга.— Она уже и плакать не в силах. Смотрит в одну точку и молчит. Думает, что юноша погибнет. А если и выживет, то как станут отец с сыном смотреть друг другу в глаза? Так она спрашивала сегодня, с ужасом глядя на меня.

— Все забывается,— промолвил Филипп, думая о другом.

— Не все, Филипп,— возразила госпожа Аглая, покачивая головой.— Ну, пора возвращаться в усадьбу.— И она поднялась со стула.— Судя по вчерашнему письму Чорнея, и он тоже зайвится нынче из Ясс. Может, привезет вести от девочек. Я просила его побывать в пансионе.

— Кого ты просила? Чорнея? — удивился господин Филипп.

— Ну да, Чорнея. Что тут особенного? Как бы важно он ни держался, а даме отказать не решится. Кроме того, у него имеются кое-какие планы и интересы, связанные с бучуменским поместьем,— значит, должен он с нами считаться.

— Какие там интересы, какие планы? — буркнул господин Филипп.— Не продает боярин имения и в аренду не сдает.

— Ну хорошо, хорошо,— улыбнулась госпожа Аглая.— Как вижу, Чорней не очень-то тебе по душе. А ведь сам мне говорил, что он порядочный человек.

— Мне не по душе? Вот уж! Откуда ты только взяла?

— Отчего ж ты удивляешься, что я попросила его побывать в пансионе и привезти мне весточку от девочек? Может мужчина хотя бы это сделать для меня? Ничего тут нет удивительного.

— Я вовсе не удивляюсь,— неуверенно пробормотал Накович.— Но ведь это не мужчина, а какая-то книга за семью печатями.

— Нет, он мужчина, и, если уж на то пошло, холостой мужчина. И еще не поздно эту книгу распечатать.

— Откуда ты взяла все это? — воскликнул Филипп, недоумевая все больше и больше.

— А от него самого,— спокойно ответила госпожа Аглая.

— Ты задавала ему подобные вопросы?

— И не только подобные. Могу рассказать тебе о нем все, что захочешь.

— Гм, вот тебе на! — пробормотал управитель.

Госпожа Аглая, смеясь, закуталась в шубку и отправилась в имение.

Доктор Барони встретил на вокзале прибывшего яским поездом Микля и, пока они мчались в усадьбу, поделился с ним некоторыми соображениями относительно больного.

— Вы сами убедитесь, господин профессор,— почти-тельно заключил Барони.— Не смею высказать что-либо определенное, прежде чем вы не посмотрите сами.

— Отлично,— отвечал Микля, разглядывая сквозь очки широкую спину Димаки.

Яский врач был низенький, поджарый, слабый на вид человек. Однако он легко сбросил наваленные на него шкуры и, выскочив из саней, бегом поднялся по ступенькам. Наверху он остановился, дожидаясь Барони, который, медленно и широко шагая, одолевал лестницу.

— Пожалуйте, профессор,— проговорил задыхающийся Барони и открыл дверь.

Микля быстро вошел. В гостиной с большими окнами, выходящими в парк, встретила их госпожа Матильда.

— О! доктор, мы так рады, что вы приехали!..

Профессор поцеловал у нее руку. Потом проворным движением раскрыл свою сумку.

— Мне нужны вода и мыло,— проговорил он, осматриваясь и окидывая взглядом печи, словно именно оттуда ожидал получить просимое.— А затем немедленно отправимся к больному.

Госпожа Аглая неслышно подошла к двери и шепотом пояснила цыганочке, что от нее требуется. Горничная исчезла, как тень, но вернулась с водой только четверть часа спустя, когда профессор Микля уже начинал терять терпенье. Он поправлял очки на носу, вопрошающе оглядывая печки, медленно потирал руки и то и дело обращал взор к доктору Барони. Жена управителя дважды открывала дверь, заглядывая в коридор. Обеспокоенная госпожа Матильда уже встала со своего стула, но как раз

в этот момент поспешно вошла цыганочка, словно на поводу ведя за собой двух старых босых цыганок. Одна из них держала фарфоровый таз, другая кувшин и полотенце. Мыло находилось в руках у цыганочки.

Профессор воспользовался водой, мылом и полотенцем, несколько смущенный слишком большим количеством зрителей, которые наблюдали за ним с пристальным вниманием. Затем прошел к больному. За ним последовали госпожа Матильда и Аглая.

Кости лежал с полузакрытым глазом, погруженный в какое-то оцепенение. Микля взял его руку и нащупал пульс. Отыскав глазами печь, он на несколько мгновений застыл неподвижно, устремив на нее внимательный взгляд. Потом посмотрел на часы. Наконец, перевел глаза на самого больного. Легкая дрожь прошла по лицу и веку Кости, лишь только профессор коснулся повязки и начал ее осторожно разматывать. Но больной не пошевелился и не поглядел на него.

Когда обнажилась рана, госпожа Матильда прикрыла лицо рукой и отошла к окну. Но за полуопущенными шторами во мраке парка не было никого, кто мог бы откликнуться на ее рыдания и вздохи. Она отвернулась к стоявшей возле печи лампе под абажуром, не смея бросить взгляд в сторону кровати с пологом, где шепотом о чем-то совещались врачи. Опять появилась цыганочка со своими старухами, несшими теплую воду. Госпожа Аглая держала лампу над головами врачей.

Александр Филоти появился в комнате позднее, когда повязка уже была снова наложена и ясский врач вытирал руки длинным полотенцем. Барони вытирал руки коротким полотенчиком и, то и дело взглядывая на профессора своими светлыми глазами навывкате, ждал, что он скажет. Но Микля оставался задумчив и хмур.

Все перешли в гостиную. Здесь профессор пожал руку Филоти и уселся за стол писать рецепт.

— Одно только не нравится мне, — неожиданно заговорил он, поднимая голову, — апатическое состояние больного. Правда, у него температура, но, конечно, это меня беспокоит гораздо меньше. Как мне кажется, сразу после происшествия к нему вернулось полное сознание.

— Когда я приехала из Ясс, он был в таком же состоянии, как теперь, — глухим голосом пояснила госпожа Матильда.

Микля покачал головой и долго глядел задумчиво на белый лист бумаги.

— Это излишне,— сказал он, снова подняв голову.— Продолжайте по рецепту доктора Барони. Будем ждать и надеяться. Послезавтра я приеду опять.

Филоти заметил многозначительный взгляд, которым обменялись врачи, и понял, что смерть распростерла над домом свое крыло. Госпожа Матильда подошла к нему и, не спуская с него суровых, пылающих глаз, стиснула ему руку, словно приготовилась встретить рядом с ним притаившегося где-то во мраке неприятеля.

«Юноша обречен»,— думала госпожа Аглая. Она испытывала острую душевную боль, на глазах ее навертывались слезы. Тяжело дыша, вернулась она, наконец, домой и вошла в столовую. Именно об этом своем предчувствии и сказала она Наковичу и его гостю, которые сидели за столом, освещенным висячей лампой, и потягивали вино.

— Да не может быть!— воскликнул управитель, всплескивая руками.

— Нет, это именно так и есть, Филипп,— печально ответила госпожа Аглая. Потом с улыбкой протянула руку гостю. Чорней встал, с шумом отодвинув стул, поцеловал протянутую руку и снова уселся, спокойный и строгий.

— Слышал я, творились у вас тут дела...— промолвил он.— Мне как раз только что говорил об этом господин Филипп.

— Да?— спросила госпожа Аглая, бросив долгий взгляд на мужа.— А ведь так и неизвестно, что там произошло. Все больше одни слова, предположения. Да меня не касается в конце концов, что там было. Вижу только, что это тяжелый удар для бояр.

Господин Филипп молча разлил красное вино в стаканы. Госпожа Аглая сбросила шубку, провела рукой по гладко зачесанным у висков волосам и тоже села рядом.

— Господин Евгений,— сказала она с улыбкой,— вы мой должник.

— Каким образом?— вздрогнул рзеш. И тут же рассмеялся.— Ах да, милая госпожа Аглая, вы правы. Но, да будет вам известно, я честный должник. Побывал я в пансионе и проведаль ваших барышень. Они очень мило

просили вас приехать и забрать их за несколько дней до каникул. Я принес им коробку шоколада,— прибавил Чорней, поднимая стакан с вином.— Только сказал, что это от вас,— пусть порадуются.

— И не к чему было им это говорить, господин Евгений. Девушки всегда рады подобным подношениям. Спасибо вам за доставленное им удовольствие; теперь, так и знайте, я ваш друг по гроб жизни.

Евгений Чорней чокнулся, выпил и откинулся на спинку стула. Лицо его в одно мгновение приобрело привычное каменное выражение. Настойчивый взгляд госпожи Аглаи вызвал, однако, в уголках его губ легкую морщинку усмешки.

— Я думаю, завтра удастся повидать боярина? — спросил он.

— Возможно,— отвечала госпожа Аглая.— Но боюсь, чтобы он не занемог от огорчения.

— Тем не менее я должен его видеть. Речь идет о делах, и, думается мне, в его же интересах закончить их как можно быстрее.

— Увидишь его непременно, господин Чорней,— басом заметил Накович.

— Да, я должен его видеть,— решительно повторил рзеш.— Назначил он мне свидание в Бухаресте, я явился туда в условленный срок. Оказалось, он очень занят. Продержал меня целый день, а сам сел в поезд и был таков. Понимаю, ему необходимо было ехать, и до некоторой степени даже лучше, что я нахожу его здесь, на месте. Теперь после моей поездки в Яссы мне хочется сообщить ему, что я пришел к окончательному решению.

Евгений Чорней отхлебнул глоток вина и по очереди оглядел управителя и его супругу.

— Повидимому, я не куплю именье Язу-Кручий,— тихо проговорил он, словно раскрывая какой-то тайный замысел.

— Почему же, сударь? — воскликнул пораженный Филипп.— Из всех ботошанских именьий оно самое лучшее.

— Лучше Бучуменского? — серьезно спросил рзеш.

— Этого я не говорил, сударь. Поместий, подобных Бучуменскому, мало во всей стране. Будто ты сам не знаешь, будто мы уж не говорили об этом? К чему же опять начинать сначала?

— Так вот, если Язу-Кручий хуже Бучумен, я не покупаю его.

— Честное слово, сударь, не понимаю тебя,— с некоторым негодованием возразил Накович.

Госпожа Аглая внимательно слушала.

— Завтра я объясню это господину Александру Филоти,— спокойно продолжал Чорней.— Не удивляйся, господин Филипп, и не сердись. У меня неплохие мысли и планы, они и тебя тоже касаются.

— Господин Евгение, Бучумены не продаются,— решительно заявил Накович.

Резеш взглянул на него и усмехнулся.

— Почему? Хотелось бы мне знать, почему они не продаются?

— Да так. Потому, что боярин не желает этого. В конце концов,— продолжал он после недолгого раздумья,— судя по нынешнему положению, мне кажется, он может пока не продавать их.

— Вот это ты правильно сказал, господин Филипп,— подхватил Чорней, все так же спокойно.— Может статься, положение боярина лучше, нежели мы думаем. Допустим, что он вздумает только сдать в аренду это поместье. Что вы на это скажете, господин Филипп? Я думаю, и арендованные Бучумены стоят немалых денег.

— Не думаю, чтоб он отдал их в аренду,— возразил Накович.

— Возможно, я сказал это просто так, к слову. Но если бы он вдруг решил сдать? Неплохое вышло бы дельце, а? У меня, сударь, денег не так уж много, а для такого случая я бы их нашел. Но тут разговор не только о деньгах, нужны еще умелые, знающие люди. Так что, господин Филипп, я оценил тебя в пятьдесят — шестьдесят тысяч золотых. Не говори «нет», господин Филипп, дай мне досказать. Вижу, госпожа Аглая улыбается? И очень хорошо делает. Здесь, сударь, имеются рабочие руки. Я смотрел по дороге. Над селами дым стелется. Сидят людишки под снегом, словно зеленыя озимой пшеницы. Если бы у меня был здесь такой товарищ, как ты, господин Филипп...

— Не продаст и в аренду не сдаст,— упорно стоял на своем Накович.

— Дай же человеку досказать,— укоризненно проговорила госпожа Аглая.

— Будь у меня здесь товарищ вроде тебя, господин Филипп, я бы отказался от многих других планов и дел. Давно уже издали присматриваюсь к этим местам. Ты меня пока не знаешь, но скоро узнаешь и поверишь. И убедишься, что не к плохому я стремлюсь. Я люблю все делать по справедливости и чести, господин Филипп. Вся жизнь трудилась без сна и отдыха и обо многом успел передумать. А теперь, раз уже пришла мне эта хорошая мысль, думаю на этом успокоиться: хочу жить да радоваться в оставшиеся годы жизни. Правильно я говорю, госпожа Аглэйца?

— Благодарение богу, вы еще молоды,— отвечала с улыбкою госпожа Аглая.

— Приятно слышать подобные слова из уст госпожи Аглэйцы,— молвил Чорней, снова чокаясь.— А там поглядим, что скажет завтра боярин.

— Что ж он может сказать? — пробормотал управитель, пожимая плечами.

Как он ни принуждал себя, не нравился ему этот человек с застывшими глазами; и особенно неприятен был ему Чорней в этот вечер, когда он говорил так мягко и вкрадчиво. Тем не менее Накович наполнил вновь стаканы и чокнулся с гостем, решив, что в конце концов все это только одни слова.

А утром, в десять часов, Чорней и Накович уже взбились по ступенькам главного подъезда. Рэзеш решительным шагом вошел в переднюю; управитель повесил на вешалке свою шубу и шапку, снял калоши и до ответа боярина собирался оставить Чорнея в передней. Однако тот, казалось, его не понял. Он в свою очередь нажал ручку двери и вошел в гостиную с большими окнами, глядевшими в парк. Филипп окинул взор просторную комнату,— в ней не было никого.

— И здесь неплохо, господин Евгений,— нерешительно шепнул он, оглядывая мокрые от снега сапоги своего спутника.— Надо бы все-таки снять шубу,— прибавил он.

Но заметив, что Чорней всецело занят разглядываньем гостиной, оставил его и подошел на цыпочках к двери в покои Филоти. Евгений Чорней напряг слух, но не услышал ни звука шагов, ни голосов. Казалось, вся гнетущая тишина, царившая в доме, сосредоточилась в этой гостиной и плывет под ее высокими сводами. Рэзеш заметил

портреты в позолоченных рамах, изображающие красивых женщин с румяными лицами и перламутровой грудью. Все они были в шелках и драгоценностях и так улыбались, словно ждали от разглядывавшего их гостя галантного слова. Наконец, Чорней решил сбросить свою шубу на хрупкий диванчик, ухмыльнувшись, отвернулся от портретов, подошел к окну и, наморщив лоб, задумчиво стал глядеть в парк.

Некоторое время спустя, услышав звук отворяемых дверей, он повернулся. Это возвращался Филипп Накович. И рэзеш в мгновение ока понял, какой тот ему несет ответ. Одновременно в дверях покоев госпожи Матильды показалось бородатое лицо отца Некулая. Заметив незнакомца, священник приветствовал его поклоном, запахивая на груди теплую рясу. Чорней еле заметно кивнул в ответ,— он был озабочен тем, что ему скажет управитель. Дружелюбно взглянув на Филиппа Наковича, поп Некулай переложил в левую руку красный узелок с кадилом и евангелием, а правую протянул ему. Затем сошел с ковра и загромыхал тяжелыми сапогами по паркету.

— Как поживаешь, отец Некулай? — шепотом осведомился управитель.

— Хорошо, очень хорошо,— радостно отвечал священник.— Призвала меня госпожа Матильда помолобствовать. Все-таки упование наше всецело на бога, господин Филипп. Иначе нельзя. Я бы просил у вас, господин Филипп, возика два дров...

— Хорошо, хорошо,— торопливо обещал управитель, подталкивая его и рэзеша к выходу.

В открытой двери промелькнуло лицо госпожи Матильды. Потом явилась стройная цыганочка с большой красной тряпкой и с остервенением принялась затирать следы, оставленные на паркете сапогами.

— Стало быть, нынче нельзя,— промолвил Чорней, спускаясь по ступеням.

— Нельзя, сударь, я же тебе говорил...

— Прощайте, господин Филипп,— прервал его священник.— Спешу, у меня множество дел.

— Погоди, отец, не беги,— остановил его Накович.— Расскажи, как дела у господина Кости. Видел ты больного?

— Видел, а то как же. Только что ж тут можно сказать? Будем надеяться на милость всевышнего. Рука

человеческая здесь бессильна. Прости, господин Филипп, я очень тороплюсь...

Отец Некулай зашагал вперед по аллее. Накович, усмехаясь, повернулся к спутнику. Но тот попрежнему хранил серьезный вид.

— Значит, придется отложить отъезд еще на один день.

— Да нет, сударь, завтра тоже ничего не выйдет,— возразил Накович, озабоченно качая головой.— Не слышал ты разве, что сказал поп? Юноше плохо. Боярин ходит как потерянный, глаза у него словно неживые. Даже не понимает, о чем я ему говорю. Ничего не хочет знать, ничего ему не нужно... В другой раз.

— Как в другой раз? — строго спросил Евгений Чорней.— Разве так делаются дела?

— В другой раз, сударь. Это его собственные слова. Я и префекту должен послать телеграмму, чтоб он отложил свой приезд. Пойми, пожалуйста, что никак нельзя. Сын у него умирает, единственный наследник.

— Знаю, знаю. Но когда же? Не могу я оставлять подобным образом дела на волю случая. Мне нужно знать точно, в какой день он меня примет. Не гневайся, господин Филипп, но ты должен его заставить назначить срок.

— Нельзя. Он ничего не понимает,— сказал, качая головой, Накович.

Некоторое время Евгений Чорней, не говоря ни слова, шагал рядом с управителем. Брови его были насуплены.

— Что же делать?

Накович промолчал.

— А вот что надо делать,— продолжал Евгений Чорней, внезапно успокоившись.— Слушай, господин Филипп, и не сердчай, все это и в твоих интересах тоже. Повторяю, в твоих интересах. Сегодня, стало быть, нельзя. Хорошо. Но через два дня, через четыре, через неделю, будет можно. Ведь положение мальчика должно же выясниться в ту или иную сторону? Несколько дней спустя, ну, скажем, неделя пройдет, тогда можно?

— А если нет?

— Можно,— резко возразил Чорней.

Накович кинул на него удивленный взгляд.

— Слушай, что я тебе скажу, господин Филипп,— тогда можно. Только бы мне устроить дело, а для этого больше недели и не потребуется. Ну хорошо, допустим

через две недели,— доставлю тебе это удовольствие. Если ты через две недели приедешь в Яссы, чтобы забрать девушек и сына домой на каникулы, обратный путь мы можем совершить вместе. И уж тогда я должен обязательно довести до конца все, что решил.

Накович недоверчиво покачал головой.

Однако Евгений Чорней тут не ошибся, в чем управитель убедился даже раньше условленных двух недель, побеседовав однажды с Шапсой. Еврей был до такой степени обескуражен появлением рэзеша на их небосклоне, что Филипп почувствовал, как и в нем самом начинают таять прежнее упорство и колебания. Можно было подумать, что часы жизни бегут впустую: в условленный срок Евгений Чорней предстал перед ним все с той же маской на лице и с тем же застывшим взглядом.

— Сегодня, я думаю, уже можно, господин Филипп,— проговорил он, глядя в глаза управителю.

— Можно,— подтвердил с улыбкой управитель.— Еще вчера боярин мне сказал, что ждет вас, и приказал Шапсе присутствовать тоже.

— Вот как? Отлично, господин Филипп. Соберемся, стало быть, целым сходом.

— Вот уже три дня, как господин Кости пришел в себя и чувствует себя лучше. Наконец-то вздохнул бедный доктор Барони. Выкарабкался юноша, и это меня очень радует. Так что боярин стал теперь спокойней и в состоянии вести беседу. Вчера префект пожаловал на расследование. Боярин и его пожелал видеть, пригласил его сегодня на обед.

— Хорошо, господин Филипп. Дельно говоришь. Пусть себе обедают на здоровье с господином префектом. Мы тоже спокойно пообедаем, а затем отправимся сражаться.

— То есть как это сражаться, милый человек? Кроме того, я полагаю, что мы пойдем сейчас, до полудня. Так я и Шапсе дал знать.

— Ну и что же? Передашь ему, чтоб явился после обеда. А со мной он может поговорить хоть сию минуту.

— Чего-то я в толк не возьму,— недовольно промолвил управитель.— Теперь уж ты сам откладываешь?

— Никаких отсрочек не будет, господин Филипп. Слушай ты меня: никто ничего не собирается откладывать. Я твердо решил сегодня же кончить все.

Префект вел расследование в большом зале примэрин, при помощи секретаря совета. Время от времени в комнату входили для дачи показаний купцы и крестьяне. Писарь приносил кипы дел и разыскивал оправдательные документы. Он был бледен, испуган, и, видимо, провел бессонную ночь. По пути в архив он заглядывал в боковую комнатушку, где в густой табачной мгле сидели примарь и прочие служащие.

— Какие новости на белом свете, Георгиу? — криво усмехаясь, осведомлялся Якобаке.

Писарь пожимал плечами. Ему казалось непостижимым, как может человек смеяться при подобных обстоятельствах. Префект с каждым часом становился все неприветливей и угрюмей. Георгиу чувствовал, как к горлу подступает тошнота при одной мысли, что ему придется снова войти в зал совета и увидеть устремленные на него выпученные, с красными прожилками на белках глаза префекта. Этим большеголовым, широкоплечим человеком с короткой шеей порой овладевали такие приступы гнева, что писарю становилось страшно. Да он и сам успел убедиться, что вскрываются такие делишки — хоть беги на край света. Госпожа Ленца со вчерашнего вечера рыдает и не находит себе места. Но он же ни в чем не виноват. Ни одного гроша у коммуны не взял, никаких дел с корчмарями, купцами или подрядчиками не заводил. И все-таки ему было не по себе от взгляда выпученных глаз префекта.

Георгиу только что собирался опять войти в зал с целой кипой дел подмышкой, как у дверей его остановил Андроне Бребу.

— Что тебе?

— Хочу, господин писарь, сказать вам, с вашего позволения, словечко.

— Говори, да поскорей. Некогда мне.

— Господин писарь, — молвил Андроне, оглядываясь в нерешительности, — можно мне зайти к господину префекту?

— Не знаю. Посмотрим. А что у тебя?

— Да о многом хотелось бы ему рассказать. Вы-то, господин писарь, знаете меня и про мытарства мои слышали. Вот и бедного Василе мы недавно зарыли в землю. И с племянником сколько у меня расходов на ученье.

— Ну и что?

— Так я решил явиться к господину префекту с жалобой. Слышать, что с ним можно говорить.

— Что за жалоба?

— Да так, есть такая жалоба. Небось и сами знаете, как измывался надо мной сын дьякона Алеку. И брата моего, сердечного, в историю впутал,— два года зря в остроге продержали. Можно сказать, из-за Якобаке совершил он это неладное дело. Только уж теперь бедный Василе у престола всевышнего, люди судить его не могут. Да и о другом желательно мне сказать, господин писарь. Перво-наперво — про убыток со свиньей, которую при-марь велел застрелить на сельском выгоне этому полоумному Костандину.

Георгиу раздраженно сморщил некрасивое лицо.

— А ты думаешь, дядя Андроне, господину префекту досуг слушать подобные сказки? Выходит, ежели у человека неприятности,— давай долбить его со всех сторон?

— Как же, стало быть, господин писарь? Может, мне подождать, пока выйдет?

— Кто?

— Господин префект.

— Ну и жди.

— А я бы все-таки зашел к нему. Будь милостив, замолви и от себя: жалоба, мол, у человека.

Лицо писаря стало еще сумрачней. Он уже собирался суровым словом прогнать заступившего ему дорогу крестьянина, но в эту минуту его дернул за рукав Димаки, жирный боярский кучер. Он смеялся и потирал рукой небритые, синеватые щеки.

— Я пришел сказать, господин Костикэ, что жду его милость господина префекта, чтобы отвезти в усадьбу. Сделай одолжение, так и передай господину префекту: жду, мол, его, чтобы отвезти в усадьбу. Боярин изволил пригласить его на обед, господин Костикэ, и должен я, значит, доставить его в усадьбу.

— Ладно,— ответил писарь. Потом поправил галстук и взялся за ручку двери.

Димаки направился в развалку к выходу, скаля зубы и весело поглядывая то на Андроне, то на стражников и прочих незнакомых лиц, глазевших на него из всех углов комнаты. Было заметно, что он очень горд и своим

длинным синим кафтаном с золочеными пуговицами и меховой шапкой.

Немного погодя широко распахнулись двери зала заседаний, и, на ходу застегивая шубу, вышел префект. За его спиной мелькнуло лицо писаря. Головой и руками он делал Андроне отчаянные знаки отойти в сторону. Но крестьянин ничего не признавал, кроме собственных решений. Он снял кэчулу и преградил власти дорогу.

Префект остановился и окинул его быстрым взглядом выпуклых глаз. Широкое лицо его внезапно помрачнело.

— Что такое, дядюшка? Жалоба у тебя? Чего ты прешь, как вдова замуж?

— Жалоба у меня,— с упрямым видом заявил Андроне, вытаскивая из-под тулупа сложенный лист бумаги.

Префект вырвал из его рук листок и развернул.

— Как вижу, и тут вещи, касающиеся вашего достопочтенного примаря...— неожиданно заговорил он могучим, рокочущим голосом.— Чего искали, то и нашли. Кто вам велел избрать эдакого примаря? И для какой надобности заставил ты писаря написать это птичье посланье? Заходи ко мне после обеда и расскажи сам, открыто, молдавским языком, в чем дело.

— Так мы же его не выбирали, твоя милость.

— Кого не выбирали?

— Примаря. Приказ такой вышел. Что могли с этим поделывать люди?

Префект засмеялся. На лице его появилось новое выражение. Андроне Бребу почувствовал себя более уверенным.

— А бумагу эту написал мне господин Георгиеш-Коман.

— Вот как? А к чему она? По мне лучше иметь дело с человеком, нежели с бумагой. Слух у меня отменный, и переводчик мне не нужен.

— Что ж, твоя милость. Я-то раскинул умом,— дескать, ученый человек лучше растолкует.

— Растолкует?.. Слушай-ка, дядюшка: поди спроси у волка, отчего у него такая толстая шея, да и сам обделывай свои дела, как он свои. На что тебе жалоба, коли у тебя есть язык? Приходи после полудня и заводи свою дудку. А уж мы заставим господина примаря отплясывать.

Оставшись один, Андроне долго удивленно покачи-

вал головой; больше всего он был недоволен тем, как изъяснялся такой ученый боярин.

Филоти принял префекта в библиотеке, пожал ему руку и выразил удовольствие его видеть. Мысленно повторяя имя и фамилию гостя — «Иримию Петреску», он никак не мог отыскать в памяти ни одного подобного звуко сочетания. Предложив гостю кресло, он уселся напротив.

— Повидимому, вы уроженец не нашего уезда, господин префект? — учтиво спросил боярин. — В противном случае я имел бы удовольствие быть с вами знакомым.

— Нет, почему же? Я ваш земляк, господин Филоти, — отвечал, смеясь, Иримию Петреску.

— Да? Вы недавно купили именьице поблизости?

— Нет. У меня только скудное хозяйство отца, рзеша. Филоти замолчал с неловкой улыбкой.

— Я слышал о вас много хорошего, — начал он немного погодя.

— Возможно, — заметил Иримию Петреску, — хотя ничем примечательным не отличаюсь. У отца моего были в жизни две недурных идеи: во-первых, он попросил старого господина Йоргу Канта крестить меня; во-вторых, послал меня в Германию учиться. Ученость моя не помогла мне ни увеличить отцовское достояние, ни удивить мир. Бóльшее влияние оказало слово старика Йоргу Канта. Вот так я и получил удовольствие предстать в ваших владениях в роли префекта.

— Ах, да, — развеселился Филоти. — Вы ведете расследование, которое, как мне сдается, должно быть довольно скучным.

Иримию Петреску усмехнулся и внимательно взглянул на боярина.

— Я нашел здесь целое гнездо бандитов, — с расстановкой выговорил он своим рокочущим голосом.

Улыбка исчезла с лица Филоти.

— Разве?

Иримию Петреску выпрямился в кресле. Лицо его приняло серьезное выражение.

— Мне бы хотелось знать, — продолжал он, — оскорбляет ли вас это расследование?

— Нет, нет, — горячо возразил Филоти. — Нисколько не оскорбляет. Возможно, я еще сомневался, пока мне не было известно, что вы там раскрыли. Понимаете, они при-

ходили ко мне и вчера, и сегодня, и позавчера, и жен своих посылали... Представьте, у меня даже пробудилось любопытство узнать, что там такое... Покорнейше прошу простить, что мы не могли встретиться раньше. У меня были заботы совсем другого рода. Смерть долгое время стояла за этими дверями. Теперь, благодарение богу, мы немного успокоились. Я могу прибавить, что со своей стороны я тоже давно подозреваю нечестные дела в моей коммуне. Хорошо бы пролить на них свет. Очень хорошо. Воров щадить нельзя...

Префект с улыбкой слушал стремительную речь боярина, вглядываясь в его бледное лицо с бескровными губами, лихорадочный блеск глаз и нервный тик в уголках век.

— Хоть время от времени должен проникать свет в этот мрак, в котором мы живем,— закончил Филоти, тронутый звуками собственного изменившегося, смягченного голоса.

— Отлично,— весело подхватил Иримия Петреску.— Особо примечательный тут у вас примарь. Этот бежит от меня, как черт от ладана. Он и ему подобные рассчитывали, что префект смолчит,— горшку, мол, с котлом не биться. Они, милостивый государь, смотрели на этот уголок как на свою вотчину. И уж набросились же они, уж орудовали тут, ровно мыши в сырах. Да вот вышло, что и на них нашлась кошка...

Лицо Филоти просветлело. Цветистая речь гостя, хотя он с трудом успевал следить за ней, веселила его. Он ощутил какую-то душевную легкость, словно неожиданно нашел друга.

В таком настроении и застали его после отъезда префекта в примэрию Евгение Чорней, Накович и Шапса. Филоти принял их в той же комнате и всем предложил сесть. Шапса и управитель остались стоять. Чорней бесцеремонно развалился в кресле, в котором только что сидел префект.

— Садитесь же,— обратился боярин к управителю и банкиру.

Оба они глядели на него с удивлением. Филоти словно просветлел и был сегодня в лучшем настроении, чем накануне. Они нерешительно опустили в сторонке на стулья. Накович невольно следил за круглой лужицей, которая натекла на ковер с сапог Чорнея.

— Я думаю, господа, мы можем приступить к переговорам немедленно,— начал с живостью боярин, усаживаясь в кресло и поочередно поглядывая на трех своих посетителей. Во взгляде Шапсы он не прочитал ничего. Накович озабоченно осматривался вокруг, точно кого-то поджидал. Лишь Чорней глядел боярину прямо в глаза и как-то странно улыбался.

— Итак,— продолжал Филоти,— мы должны прийти к соглашению по поводу имени в Язу-Кручий. Господину Чорнею хорошо известно, что до нынешнего дня у меня не было возможности принять его и решить это дело.

Рэзеш утвердительно кивнул головой.

— Шапса сообщил мне, что по поводу Язу-Кручий возникли какие-то препятствия. Я не совсем понял, какие именно. Может быть, речь идет о цене? Господину Чорнею показалось, что требуемая мною арендная плата слишком высока?

— Нет, она мне не кажется высокой,— ответил рэзеш.

— В чем же дело?

— Я желал бы поговорить о другом поместье.

— То есть как о другом? Какое поместье вы имеете в виду?

— Пусть это не покажется вам странным,— продолжал спокойно и без улыбки Чорней,— но, пораскинув умом, я решил, что брать Язу-Кручий мне невыгодно. Если это возможно, если вы не будете гневаться, я желал бы поговорить о Бучуменах...

Филоти замигал и удивленно, словно не понимая, уставился на рэзеша. Потом наморщил лоб и резко встал.

— Вы, сударь,— произнес он тихим голосом, в котором, однако, кипел гнев,— повидимому, слишком хорошо выпили за обедом и перестали разбираться в том, что говорите.

— Прошу прощения,— невозмутимо возразил рэзеш, не двигаясь с места,— но сегодня, кроме воды, я ничего не пил. Мы действительно вели переговоры о Язу-Кручий.

— Так в чем же дело? На каком основании заговорили вы о Бучуменах? Вам отлично известно, что я их не продаю. Считаю излишним продолжать этот разговор. Все.

Филоти, вне себя от гнева, направился к звонку. Накович упорно смотрел на лужицу воды у ног рэзеша.

— Одно только слово, прошу вас,— не теряя присут-

ствия духа, остановил Чорней хозяина.— Я просто сообщил вам, что предпочел бы купить Бучумены. Если согласитесь отдать Бучумены хотя бы в аренду, я куплю также и Язу-Кручий.

Филоти бешено зазвонил.

— Думаю, что договориться все-таки можно,— продолжал рэзеш.— Потолкуем в другой раз. Сейчас, я вижу, вам не по себе. Не знаю, поставлены ли вы в известность, что все ваши долговые обязательства, выданные некоторым банкирам, находятся у меня.

Вошел Жан Кавалье. Увидев бледное лицо боярина и его блуждающие глаза,— казалось, Филоти собирается накинуться на него и ударить,— он отступил. Филоти сделал еле заметное движение по направлению к Чорнею,— тот ловко вскочил с кресла и перешел к печке.

— Ничего, Жан, я позову вас потом,— с трудом выдал из себя боярин, делая усилие сдержаться.— Что вы сказали, сударь? — растерянно оглядываясь, воскликнул он, как только вышел камердинер.

Чорней ничего не ответил. Филоти направился к Шапсе, сжавшемуся за спиной Наковича.

— Что это значит? Как вы могли позволить себе такую подлость? — крикнул ему боярин задыхаясь.

Рэзеш, не отрываясь, следил за ним. Он видел, как в дымке отчаяния и тоски постепенно тускнеет блеск его глаз.

— Поверьте,— мягко заговорил Чорней,— подобное дело не заслуживает того названия, которое вы ему даете. Раз мы пришли с вами поговорить, значит сделка имеет свои выгоды и для вас... Если хотите, перечислю их тут же. Во-первых, как вы и сами сразу догадались, выясняется все, что было до сих пор неясным, и свои, если так можно выразиться, заботы вы передаете мне. Прошу вас выслушать внимательно и прочие мои соображения...

Филоти с удивлением оглядел его, словно видел впервые, потом заставил себя усмехнуться. Он слушал Чорнея, шагая по комнате от стола к двери и обратно. Рэзеш обернулся и встретился глазами с испуганным взором своих товарищей. Острые глазки его сверкнули, словно говоря: все в порядке!

Когда полчаса спустя Филоти появился в покоях госпожи Матильды, вид у него все еще был ошеломленный и растерянный.

— Что случилось? — озабоченно спросила она, схватив брата за руку. — Уж не болен ли ты? Что с тобой?

Филоти сел, поникнув головой на грудь.

— Александру, что случилось?

— Я вынужден принять тягостное решение, — проормотал он, поднимая голову. Губы его дрожали. У госпожи Матильды слезы навернулись на глаза. Она подошла к брату и обняла его.

— Опять денежные затруднения?

— Да, опять и опять, — хмуро проговорил Филоти, стараясь подавить волнение. — Бывают порою такие неумолимые повороты в делах. Этот Чорней, о котором я тебе говорил с усмешкой, неожиданно оказался человеком куда более опасным, чем я думал. У него в руках все мои векселя, я вынужден войти с ним в соглашение.

Госпожа Матильда глядела на брата большими испуганными, непонимающими глазами.

— После недавнего удара, только этого мне не хватало, — продолжал Филоти. — Решение я принял, и отступить мне нельзя: продаю Язу-Кручий и половину бучуменского имения. Успокойся, успокойся: я обо всем позаботился и в первую очередь подумал о тебе. Оставшуюся половину вместе с усадьбой я передаю тебе, мы произведем обмен, который ты когда-то предлагала. Так для меня будет спокойнее. А лично мне больше ничего не нужно.

— Как это «ничего не нужно», Александр? — рыдая, тихо спросила госпожа Матильда.

— Ничего не надо, ничего не хочу. Опостылела мне эта жизнь и эта страна... Выслушай меня, Матильда!

Сестра вздрогнула и со страхом поглядела на него, предчувствуя новую беду.

— Слушай, Матильда! На днях мы с тобой сидели и никак не находили выхода из положения, создавшегося между мной и сыном. Кости не желает меня видеть, а я не знаю, что мог бы ему сказать. Между нами встало что-то темное, то, о чем я и не подозревал. Мое намерение таково: в самый короткий срок устроить все свои дела и уехать за границу. Иного придумать я не могу. Это самый разумный выход.

Госпожа Матильда отвернулась, пряча лицо в тени.

— Да, — шепнула она, — пока это самый разумный выход.

Она плакала, обратив взор в неведомое. Филоти тихо поцеловал у нее руку и почувствовал облегчение, как это бывает, когда кончается тяжелое восхождение в гору.

Глава двенадцатая

КОСТИ ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ

Накануне, 6 апреля, Кости гулял по парку и в плодовом саду, разбитом под окнами его комнаты. На смену долгой непогоде пришел, наконец, этот тихий день. На коричневых ветках деревьев набухли почки; приятно пахло влажной землей. После захода солнца поднялся южный ветер. Сидя в кресле у окна, Кости прислушивался к песне ветра; она звенела в оконных рамах, у самого уха, как на струнах, и низким, торжественным гулом вторили ей старые деревья парка. Теплые волны нес он на своих крыльях. Кости чудилось порой, что лица его касается чье-то дыхание. Потом юноша перешел в столовую, съел два яйца, выпил кофе и перекинулся несколькими словами с тетушкой. Вернувшись к себе, он расположился под лампой на мягком низком стуле и перелистал последний номер «Ревю де де монд». Перед сном зашла его поведать госпожа Матильда. Только тогда отложил он журнал и встал. Он испытывал легкую усталость, казалось все тело его охвачено какой-то сладкой дремой. Укладываясь в постель, он вдруг почувствовал, что ветер стих, — когда это произошло, он так и не заметил. В открытое окно лилось сиянье луны и благоуханное тепло, на крыльях южного ветра прилетевшее с берегов Средиземного моря. Промчавшись словно сказочный всадник, ветер оставил этот дар, собранный им с цветов. Сад замер неподвижно, будто объятый колдовскими чарами. Кости так и уснул, обратив глаза к голубому квадрату окна, внезапно погрузившись в глубокое забытьё без сновидений. Когда он проснулся, комната была ярко освещена луной, лунное сияние падало прямо ему на лицо. Юноше представилось, будто он только что заснул, но усталости он уже не испытывал. Часы на ночном столике показывали три часа ночи. Внезапно им овладело чувство, что вокруг совершилось нечто необыкновенное. Из парка послышался прерывистый звонкий свист, словно кто-то натравливал собак. Он приподнялся на локтях и напряг слух. Но все уже смолкло. Было тихо и хо-

рошо; комнату наполняли светлая дымка и тонкий аромат. Юноша встрепенулся. Где-то в глубине души задрожала нежная струна,— как бывало в прежние годы, в ранней юности,— и на память пришло имя птицы, возвестившей пору весеннего цветения. Он соскочил с постели и подошел к окну. Налево, на востоке, алела узкая полоска зари; сад стоял весь покрытый снежной пеной неожиданного, внезапного расцвета. Выстроившиеся там, внизу, абрикосы, сливы и черешни, еще накануне коричневые и лишенные украшений, теперь таинственно улыбались ему, наполняя его счастьем и волнующим трепетом жизни. Некоторое время он внимательно вслушивался в тишину, ожидая чего-то. Потом вернулся и лег в постель,— без мыслей, с одним этим тайным восторгом в душе. И снова заснул, а когда проснулся при лучах солнца, все происшедшее показалось ему сновидением. Но то не был сон. Сад ждал его. Кости торопливо оделся. Маноле принес чашку кофе и поставил ее на подоконник.

— Сами изволили одеться? — спросил он смеясь.

— Да,— отозвался Кости, вступая в полосу солнечного света.— Видал, как расцвел сад?

Камердинер равнодушно оглядел новорожденный мир.

— Вижу, ваша милость,— недоуменно отвечал он,— сад действительно расцвел...

Кости пододвинул стул к окну. Он услышал под окном голоса, но разговаривающие ему не были видны.

Должно быть, tante Mathilde,— весело подумал он.— С кем это она? Какое-то тонкое щебетанье сопровождает ее сдержанный голос. Несомненно, это барышни господина Наковича, они приехали из Ясс на пасхальные каникулы. Очевидно, рассказывают веселые школьные анекдоты. Порой они понижают голоса, чтобы не потревожить его сон. Но ведь он не спит.

Кости отодвинул чашку и, улыбаясь, выглянул в окно. Теперь он их видел. Обе сидели на камышовых стульях перед госпожой Матильдой. На столике перед ними стояли чашки кофе. Уточка на этот раз казалась тоже печальной, хотя бодро откусывала белыми зубами от куска кулича.

— Скажи мне, душенька, что случилось? — допытывалась госпожа Матильда.

Кости осторожно отошел от окна, продолжая прислушиваться.

— Не хочет говорить. Неловко ей,— заметила Уточка.

— Нет, я скажу,— воскликнула Лауренция.— Ведь мы вместе и решили прийти затем, чтобы сказать вам. Я очень огорчена, прямо не знаю, что мне делать. Позавчера мы приехали. Теперь мне понятно, почему отец явился за нами на десять дней раньше обычного. А нам сказал, будто школы закрываются из-за скарлатины, потому, мол, и берет нас домой. Маму мы нашли в отличном настроении, она тут же выложила перед нами шелк для новых платьев. И мы очень обрадовались. А вечером к ужину явился господин Евгений Чорней.

— А, господин Чорней,— прервала ее госпожа Матильда.— Теперь он живет в Костештах, по соседству с нами.

— Да. Вот он и приехал к ужину. А после ужина отец попросил меня поиграть на фортепиано. Мне не хотелось играть при чужом человеке. Но так как все были в очень хорошем расположении духа и я не хотела их расстраивать, я поиграла. И ничего себе не представляла, ничего даже не заметила. А когда осталась одна, пришла ко мне мама, поцеловала и сказала, что я очень хорошо играла.

К удивлению своему Кости услышал звуки рыданий.

— Успокойся, детка,— ласково проговорила госпожа Матильда.

— Да,— продолжала Лауренция, так же внезапно прекратив свои вздохи и стараясь проглотить слезы.— И сказала она мне, смеясь, что для меня теперь начнутся долгие каникулы, потому что господин Евгений Чорней попросил моей руки.

— Как?

— Хотят выдать меня за господина Евгения Чорнея,— пояснила, вновь сотрясаясь от рыданий, Лауренция.

— Как же это возможно, моя дорогая? Ведь он намного тебя старше!

— Да,— вмешалась Уточка,— но он был побрит и в новом черном костюме.

Кости засмеялся про себя и придвинул к себе чашку кофе.

— Вероятно, это какое-то недоразумение,— возобновила разговор госпожа Матильда.— Возможно, он и говорил с твоими родителями, но они скорее всего еще ничего не решили. Не надо терять присутствия духа. Зачем так отчаиваться?

— Нет, они говорили и обо всем договорились,— вздохнула Лауренция.— Меня они и не спрашивали, сами решились. Но как же это возможно? Я и школы-то не кончила.

— Наши сестры-монахини будут ужасно позмушены,— решительно заявила Уточка.— Мне и то нельзя уже будет вернуться в пансион. А что ему от нас нужно, этому господину? Видели мы его всего раз или два. Пусть себе управляет своими поместьями и оставит нас в покое. Ему куда больше пристало ходить в сапогах и волчьей шубе.

— Это очень упорный человек,— вздохнула госпожа Матильда.

— Да. И среди прочих сделок с отцом он желает заключить еще и эту.

— У тебя, Уточка, более твердый характер. Уговори Лауренцию не плакать, пусть берет пример с тебя.

— А что мне остается делать? Что мне остается делать? — воскликнула, заливаясь слезами, Лауренция.

— Нет, крестная права, плакать нечего,— решительно заявила Уточка.— Мало ты редела третьего дня вечером? А чего добилась? Отец, тот как будто смягчился. Но матушка неумолима, хотя и говорит ласково: «Это у тебя пройдет, ты будешь счастлива».

— Кто это говорит?

— Мама так говорила. И смеялась, а мы плакали. Как можно быть счастливой с человеком, которого зовут «Евгение Чорней»?

— Разве замуж выходят за имя? — заметила с тихим смешком госпожа Матильда.

— А что ж, крестная? Не думайте, что имя не играет никакой роли. Евгение Чорней! Когда я произношу «Евгение», мне представляется нечто высокое и сухое. Говоря «Чорней», вижу маленькие глазки и злую усмешку. Да он ведь и в годах, крестная. Я бы никогда не вышла замуж за человека с проседью. Разве для того мы живем на свете, чтобы выскочить за первого встречного? Послушайся меня Лауренция, я бы придумала, как ей поступить.

— Что же ты бы сделала?

— Еще не знаю точно, но придумала бы. Я в день свадьбы сбежала бы и спряталась. А что тут смешного? Посмотрели бы вы тогда, какую рожу состроит дедуня.

— Кто такой дедуня?

— Господин Евгение Чорней. Это я его так величаю,— «дедуня». Мы пришли, крестная, попросить тебя, чтобы

ты поговорила с матушкой. Может, тебя она послушает и сжалится.

Кости закончил свой кофе. Весело смеясь, он взял шляпу и вышел с намерением спуститься в сад.

В большой передней ему повстречалась тоненькая цыганочка госпожи Матильды. Она носила на шее красные бусы и была так свежа, так сверкали ее глаза и зубы, словно ее только что окунули в холодную воду.

— Куда ты спешишь, Рарица? — осведомился молодой барин.

Цыганочка споткнулась, пораженная тем, что к ней обратился боярин; пробормотав в ответ что-то невнятное, она опустила голову и повернулась на каблуках, словно забыла, зачем шла. У входа в покои госпожи Матильды Рарица все же остановилась и украдкой оглянулась.

Кости вышел на освещенную солнцем дорожку и направился в сад. Госпожа Матильда была уже одна. Она весело встретила его и обняла, но лицо у нее было усталое, а глаза печальные. Только теперь, в сверкающем сиянии весны, заметил юноша это увяданье. И в волосах ее, у висков, стало больше серебра.

Взволнованный до глубины души, он поцеловал ей руку и уселся рядом.

— Почудилось мне, tante Mathilde, что ты не одна. Ко мне наверх доносились какие-то голоса.

— Да, здесь были дочери Наковича. Пили со мной кофе и делились своими горестями. А как ты, Кости? Видимо, собрался на прогулку? Или я ошибаюсь? Сегодня ты мне кажешься совершенно другим.

— Как, tante Mathilde, неужели ты не заметила, что этой ночью расцвел сад?

— Ах, да, правда, — удивленно шепнула госпожа Mathilde и на мгновенье склонила голову набок, будто что-то уронила. Потом подняла глаза и задумчиво взглянула на цветущие деревья.

— Сегодня я чувствую себя совсем, совсем хорошо, — проговорил Кости. — Такой чудесный день, что мне хочется сейчас же поехать прокатиться.

— Хорошо, я велю сказать Димаки, чтоб заложил дрожки. Мы поедем вместе.

— Да, tante Mathilde, — взволнованно вздохнул он, беря ее руку.

С церковной колокольни из-за парка, точно издалека,

донеслись мелодичные переливы благовеста. Потом заиграли веселые и тонкие подголоски, вперемежку со звоном старого колокола.

— А ведь нынче воскресенье, — тихо заметила госпожа Матильда. — В таком случае мне не придется с тобой поехать, нужно идти в церковь.

— Ничего... Я один поеду, — ответил Кости.

Тетушка взглянула на него, немного опечаленная.

Она осталась одна и сидела задумчиво, подперев голову рукой. Кости, чуть слышно насвистывая, отправился передать Димаки через горничную приказание тетушки. Затем распорядился, чтобы Маноле не отпускал Стопа, и когда лошади были поданы, взобрался на сверкающие дрожки.

Запахавшись, прибежала смеющаяся цыганочка и остановилась возле дрожек.

— Госпожа велела спросить, не изволите вы надеть пальто?

— Нет, — тоже смеясь, отказался Кости. — Видишь, какое солнце? Спроси и у Димаки. Как твое мнение, Димаки?

— Сегодня, твоя милость, благолепие господне, — отвечал Димаки, обращая к нему свое лицо с плохо выбритыми, сизыми щеками. Он тоже смеялся. Смеялись и прочие господские слуги, наблюдавшие за выездом молодого барина на прогулку.

Димаки громко крикнул на карачовых лошадей, и Кости тотчас ощутил на лице теплое дыхание парка.

На городском пустыре начинали собираться крестьяне. Около неуклюжих возов пережевывали жвачку сивые волы. Среди куч дымящегося прелого навоза осторожно продвигался в поисках места для привала смуглый хуторянин на узком возке, в который была впряжена пегая лошаденка с косматой гривой и хвостом, облепленными репейником. В лабазах торговые люди выставляли на прилавки свои товары. Фишел Блок, в легком лапсердаке, стоял перед своей лавочкой, ожидая первых покупателей. Засунув руки в карманы и сдвинув шляпу на затылок, он беседовал с двумя юношами. Улыбался, изогнув брови, и сообщал им, очевидно, важные вещи.

— Димаки, останови, — приказал Кости.

Фишел Блок сделал несколько шагов навстречу молодому барину и с искренней радостью поклонился. Юноши важно обнажили головы.

— Как поживаешь, Фишел? — осведомился с лучезарной улыбкой Кости, опершись о край кузова и наклоняясь к купцу. Одновременно он взглянул на обоих юношей. Они показались ему знакомыми. У них были открытые, приятные лица.

— Все попрежнему, ваша милость, — отвечал купец. — Вот беседую с моим сыном и с господином Адамом. Господин Адам — сын господина Филиппа.

— Ах, да, — подхватил Кости и поклонился Адаму. — Я почти не узнал вас, сударь.

Те же слова вертелись и на губах Фишела и его собеседников. Кости сильно изменился: лоб стал шире, лицо побледнело, тонкой красной нитью протянулся шрам вдоль левого виска. Засунув в карман книжку, которую перед этим лихорадочно перелистывал, Адам первым подошел к дрожкам и протянул руку. Лицо его усыпали прыщи, но глаза под высоким лбом были красивые, карие. Сын Блока, худосочное существо с рыжими волосами и тонким носом, носил очки и, по мнению Кости, производил впечатление человека более смелого, чем Адам.

— Молодые люди — добрые друзья, — пояснил Фишел Блок. — Однако спорят с утра до ночи. А мне нравится слушать эти споры. Иногда я тоже вставляю кое-что от себя.

— Мы тут говорили... — нерешительно проговорил молодой Накович.

— Молодые люди читают социалистический журнал, — продолжал Фишел, — и морочат мне голову. Будто я не друг вашим крестьянам. Нет, я им друг и люблю их немало. Однако посматриваю на них, знаете ли, краем глаза. Одеваются и живут, как скифы времен Александра Македонского; признаться, я их слегка побаиваюсь.

Адам Накович покраснел, собираясь разразиться уничтожающим возражением. Но Кости, с удовольствием посмеявшись словам Фишела, уже дотронулся пальцем до спины равнодушно дремавшего на козлах Димаки.

— Трогай, Димаки. До свидания, господа. Сдается мне, что старик прав...

Они остались позади, продолжая свой горячий спор. Дрожки покатали по главной улице, затем, у окраины, свернули на улицу примэрии и, спустившись мимо церкви, побежали между избами села. Там, среди садов, царил благодатный покой. Димаки придержал лошадей и пустил их шагом. Так они почти бесшумно подвигались вперед.

Кости слушал, как жужжат пчелы среди распустившихся абрикосовых деревьев.

Непонятная радость переполняла все его существо, вместе со светом и теплым воздухом пронизывала до глубины души. Давно-давно не испытывал он ничего подобного,— с того далекого осеннего утра, когда вместе с Василе, охотником, направлялся к Родниковой лужайке.

Внезапно до него донесся голос кукушки; она прокуковала дважды где-то совсем близко. Будто пропела название этих уединенных мест.

Кости поднял в ожидании голову. Но тишина, точно волны спокойного моря, вновь окутала все. Они проезжали мимо дорожки, ведущей на кладбище. Дорожка была чистенькая и обсажена черешнями. Все одного роста, они расцвели одновременно и производили впечатление неподвижных шаров из какого-то белого светящегося и прозрачного вещества.

В памяти Кости вдруг, будто вспышка молнии, встретилось воспоминание. Кукованье невидимой кукушки, пролетевшей по направлению к кладбищу, пробудило этот отзвук прошлого. Там, среди незнакомых могил, быть может, покоилась спутница одной далекой зимней ночи. Горячая волна обдала его, он закрыл глаза. Но это было лишь смутное, мимолетное ощущение.

— Поворачивай, Димаки,— проговорил он тихо.

— Хорошо, барин,— отозвался кучер и оглянулся, удивленный звуком голоса боярина.

— Поезжай попрежнему, шагом.

— Слушаюсь, ваша милость.

Зазвонили колокола. Кости издали заметил, как выпала на церковный двор и двинулась к воротам группа девушек. Они стремительно вырвались на улицу и, полные веселья, пошли по направлению к деревне. На них были платья из цветного ситца, красные искусственные цветы обвивали их непокрытые головы. Порovníвшись с Кости, они приутихли и молча прошли мимо, украдкой на него поглядывая. Девичьи сапожки с медными подковками нестройно топали по дороге. Отойдя на некоторое расстояние, девушки начали опять весело смеяться. Некоторые оборачивались,— ведь позади с церковного двора уже выходили парни, неторопливо шагая вслед за девушками; они шли группами по два, по три человека, обняв друг друга за плечи. Шляпы их были украшены павлиньими

перьями, бусами и зеркальцами, а подола длинных, собранных у пояса в складку рубах били их по коленам. И так были красивы высокие сапоги «гармонией» и черные безрукавки на красной подкладке! Парни поклонились молодому барину и ускорили шаг: на дорожке к кладбищу под расцветшими черешнями запели девушки.

Дрожки проделали обратный путь. Везде виднелись крестьяне в белых одеждах, повозки и упряжки волов. На главной улице, в корчмах, заиграли музыканты, а мужчины и женщины угощались водкой из зеленых стаканчиков. Они степенно поднимали стаканчики и пили истово, будто выполняли какой-то обряд. В лавках и около лавок теснились покупатели. Девчонки с влажными глазами и парнишки окружили старого коробейника, который вытащил товар из коробок и разложил свое богатство на чистом куске полотна у обочины дороги. В долине, у большого боярского шинка, началась потасовка; люди с шумом и смехом толпами спешили туда. Больше всех, казалось, был захвачен зрелищем Йордаке Настратин; он поднимался на цыпочки и вытягивал шею, стараясь издали определить, кто из драчунов самый ловкий.

— И чего он их не разнимает? Сам-то ведь в полицию служит...— сказал сидевший на козлах Димаки, весело оборачиваясь к барину.

Кости, улыбаясь, кивнул в ответ и обратил взор к другим зрелищам. В суতোлке пустыря, около возов и волов, в окружении внимательных слушателей сидел на земле старик и пел песню под струнный перезвон лютни, которую держал на коленях. Он вертел ручку, нащупывая пальцами струны, и глядел немигающими глазами, однообразно напевая печальную балладу. Это был слепой старец с длинными седыми усами, но выбритыми щеками. Кости узнал его: таким же, опрятно одетым и бритым, видел он старца и в былые годы в детстве. Он пел на бучуменских ярмарках:

Тут цветы, там гладь болот.
На заре Кодрян идет...

Кости припомнил стихи и опять почувствовал, как ласкает его какое-то далекое дуновение прошлого.

— Ты хорошо прогулялся? — спросила госпожа Матильда, когда Кости вошел в ее солнечную гостиную.

— Да, tante Mathilde,— отвечал он.

Юноша делал усилия, чтоб казаться веселым; странная усталость и беспокойство охватили его.

Тетка внимательно смотрела на него, слегка сморщив лоб. Кости поздоровался с дочерьми Наковича, которые сидели рядышком на софе, и опустил со вздохом в кресло.

— Вы были в церкви? — осведомился он, поднимая голову.

— Были, Кости. Отстояли обедню и уладили кое-какие свои дела.

— Да? — Кости повернулся лицом к девушкам. — Мне повстречался в городе ваш брат.

Они сразу повеселели, узнав об этом.

— Теперь мы с ним хорошие друзья, — заговорила Уточка. — Он всегда принимает нашу сторону и защищает нас. И стихи пишет.

— В самом деле?

Кости заметил, что веки Лауренции потемнели от слез. Но глаза ее, когда он ловил на себе их взгляд, показались ему ярче прежнего.

— Конечно, — воодушевленно продолжала Уточка. — Сейчас он привез себе из Ясс целый ящик книг. И в первый же день поссорился с дедуней.

— А кто такой дедуня?

Уточка не ответила и в замешательстве поглядела на сестру. Когда она опять обернулась к Кости, он уже глядел задумчиво и рассеянно в окно, подперев щеку левой рукой.

— У тебя усталый вид, Кости, — обратилась к нему госпожа Матильда. — А знаешь ли, по возвращении из церкви я нашла письмо от твоего отца.

Кости кивнул головой, принужденно улыбнулся краем губ и опустил глаза. Последовало молчание. Девушки встали и поцеловали руку у хозяйки.

— Уходите?

— Да, крестная, только умоляем тебя, поговори еще раз с мамой.

— Хорошо, мои девочки, я поговорю. Сегодня я уже сделала попытку намекнуть ей. Но, сами понимаете, слишком настаивать я не имею права...

Глаза Лауренции наполнились слезами. Кости опять глядел в окно, подперев щеку ладонью. Девушки покорно вышли одна за другой, и в гостиной после их ухода долго царил печальное безмолвие. Солнечный свет тоже как-то померк.

— Кости, что с тобой? — озабоченно спросила госпожа Матильда.

— Ничего, tante Mathilde. Воздух и солнце, повидимому, утомили меня.

— Только ли? Может быть, тебя расстроило известие?

— Какое известие?

— О письме.

— А, о письме... Но ведь я не знаю, что в нем заключается.

— Могу тебе принести его, Кости. Твой отец пока еще в Бухаресте. Он удручен, что не может уехать за границу. Обстоятельства принуждают его побывать в Яссах и, может быть, заехать сюда, чтобы завершить начатые с Чорнеем сделки. Этот новый человек, который показался мне сначала хищной птицей, обнаружил точность и пунктуальность в выполнении своих денежных обязательств. Твой отец рад, что Чорней освободил его от векселей, попавших в руки ростовщиков. Правда, пришлось разорвать Бучумены надвое. Но, я вижу, Кости, мой рассказ тебя не занимает.

— Помилуй, почему же, tante Mathilde? Занимает, но в определенных границах. Мне бы особенно хотелось знать, выяснилось ли, наконец, положение, чтобы не было больше разговоров и переписки по денежным вопросам...

— Ох, милый Кости,— простонала госпожа Матильда,— пока я дрожала у твоего изголовья, вот этого самого я боялась не меньше, чем твоей смерти. Не денежных вопросов, нет,— не гляди так удивленно. На время денежные дела как будто улажены. Но я боялась вот такого взгляда при имени отца. Я это видела в твоём взоре еще тогда, когда ты боролся с болезнью. Ведь я не отходила от твоего изголовья. Я постарела в те дни. А теперь понимаю, что останусь одна.

— Да, tante Mathilde,— тихо произнес Кости, не сводя с нее пристального взгляда.— Я должен уехать.

Тетушка устремила опечаленные глаза в затененный угол комнаты. Взгляд юноши был такой же, как у отца.

— Как я страшилась, что придется пройти и через это,— вздохнула она.

Кости подошел и, опустившись на табуретку рядом с ней, склонил голову к ней на грудь. Госпожа Матильда тихо гладила своими белыми изящными пальцами его лоб и тонкую нить зарубцевавшейся раны.

В КОТОРОЙ РЕЧЬ ИДЕТ О ПОСЛЕДНИХ
ОТЗВУКАХ ВЕТРА 1888 ГОДА

В августе 1896 года госпожа Матильда, как и в прежние годы, возвратившись из Оглинзь, приехала провести начало осени в Бучуменах. Дни одиночества, проведенные на водах, сменялись здесь обычно подобием оживления и деятельности. Старые слуги, которых она оставила при господском доме, заполняли каморы и подвалы вареньями, копченями и соленьями. Котнарский виноградарь два или три раза приезжал для получения приказаний относительно новых вин и яблок нового урожая. В эти же дни Фишел Блок, старшина еврейской общины, приносил в новеньких банковских билетах арендную плату горожан, счет которой велся по старым боярским книгам. И Филипп Наквич, теперь арендатор ее доли бучуменского поместья, тоже приносил положенные деньги за месяц до дня св. Думитра. Все это заполняло дни госпожи Матильды, хотя и не могло рассеять тяжелой тоски, которая, как червь, точила душу: много уже лет прошло, а Филоти и Кости по-прежнему избегали и чуждались друг друга. На этот раз она приехала полная решимости попытаться любой ценой сблизить отца с сыном.

Возле главного подъезда она увидела бледное лицо Ленцы Георгиу. Жена бывшего писаря была в каком-то сером переднике, который закрывал ее всю, от шеи до ботинок, с белым воротничком, как у школьницы. Стан ее был стянут черным ремешком. В двух глубоких боковых карманах лежали ключи и разная мелочь.

Она обеими руками схватила обтянутую перчаткой руку госпожи Матильды и подняла ее к своим губам. Потом помогла хозяйке выбраться из широкой коляски и при этом то боязливо взглядывала на нее, то обращала вопросительный взор к Фице, новой горничной госпожи.

— Хорошо доехали? — озабоченно спросила она. — Мы получили известие вчера утром, и Георгиу тут же приказал Димаки отправиться в Оглинзь.

— Коляска пришла во-время, — отвечала госпожа Матильда, — и погода в пути была хорошая. Не знаю только, все ли Фица упаковала в чемоданы, не забыла ли чего.

— Целую ручки, ваша милость, — возразила цыга-

ночка тоненьким певучим голоском,— я как есть ничего не забыла.

— Хорошо, посмотрим. А у вас тут, Ленца, мир и тишина?

— Слава богу, все спокойно,— со вздохом отвечала Ленца.

Госпожа Матильда бросила на нее долгий взгляд и протянула руку для поцелуя слугам, толпившимся у подножки коляски. Потом неторопливо поднялась по ступенькам. Цыганочка и Ленца последовали за ней.

Комнаты, выходящие в сад, были свежевыбелены и чисто прибраны, окна широко раскрыты. Госпожа Матильда перенесла спальню в ту комнату, которую она предоставила Кости во время его болезни. Хозяйка внимательно осмотрела все кругом суровым, как показалось Ленце, взором.

— Не прикажете ли принести холодной и теплой воды? — осведомилась жена Георгиу кротким, послушным голосом.— Если угодно, и ванна готова.

— Очень хорошо, Ленца, ванна прогонит дорожную усталость. До вечера мне предстоит кое-какие дела и необходимо написать несколько писем.

Ленца вышла с опущенной головой, чтобы самой приготовить ванну. Фица молча помогала госпоже раздеваться.

— Что стряслось с Ленцей? — спросила вполголоса госпожа.

— Кто ее знает,— отвечала цыганочка, не выпуская шпилек, которые она держала в зубах.

— Она как будто чем-то озабочена и обижена.

— А может, и нет ничего такого, ваша милость. Я выведу у тетушки Рарицы.

Пока госпожа купалась, Ленца внимательно осмотрела еще раз покои, чтобы убедиться, все ли на своем месте. Она вложила в раскрытую книгу узкую шелковую закладку, вышитую неяркими цветами. Госпожа Матильда заметила ее, как только вернулась в свои покои.

— Ты положила сюда этот *signet*¹, Ленца? — спросила она, беря шелковую ленту и внимательно разглядывая ее.— Она мне нравится.

— Амалия, старшая дочка, ее вышила,— отвечала Ленца своим кротким голосом. Потом закрыла окно и

¹ Закладка (франц.).

придвинула кресло к столику.— Уже несколько дней, как по вечерам стало прохладно,— прибавила она.

Госпожа не ответила. Она опустила в кресло и продолжала смотреть в окно на косо освещенный солнечными лучами сад. Потом подняла глаза на Ленцу и внимательно посмотрела на нее.

— Ты хочешь мне что-то сказать, Ленца,— проговорила она.— Ты чем-то обеспокоена.

Ленца помолчала и осмотрелась.

— Мы здесь одни,— продолжала госпожа Матильда.— Говори, в чем дело.

— Ничего, милая барыня,— нерешительно промолвила Ленца.— Вы, может, сами лучше моего знаете. Тут у нас ходили такие слухи...

— О чем речь?

— Разве вы не получили на водах письмо? — отважилась Ленца.

— Что за письмо?

— От содержанки Комана. Она величает себя «мадам Коман», но всем известно, что они не венчаны. Уж не знаю, по какой причине, только заставила она нового писаря,— сама-то никакого образования не имеет,— написать вам на курорт письмо, полное глупостей и наговоров на наш счет.

— Не понимаю.

— Против Георгиу, против меня. Кусок хлеба в горло не лезет из-за этих недругов.

— Я никакого письма не получала, Ленца.

Ленца подняла глаза, чтобы удостовериться, что ей нечего бояться. Но госпожа Матильда глядела в окно.

— Милая барыня,— вдруг вырвалось у Ленцы, которая с трудом сдерживала слезы,— я ждала вашего приезда, как пришествия Христа. Давно потеряла я всякий покой. И как взгляну на бедного Георгиу, страшно мне становится. Вы узнали наши страдания и помогли!..

— Успокойся, моя милая,— мягко проговорила госпожа Матильда.

— Да, милая барыня, вы помогли нам в самые трудные и страшные дни. Можно ли забыть, как вы поверили мне, когда я здесь плакала и клялась в невинности бедного Георгиу. Он ни в чем не виноват,— другие получали деньги, устраивали сделки, а он подписывал по глупости да из доверия к людям. И пришлось ему отбывать наказа-

ние вместе с остальными. Какие годы прожили мы, осиротевшие женщины, в нашем домике,— врагу не пожелаю. И друзья перестали нас узнавать, и слова доброго мы больше не слышали. Было у Георгиу немного земли, я ее продала. У мамы имелись какие-то домишки в Яссах, и те тоже продала. И все-таки, что бы мы делали эти два года одни, коли бы вы не снизошли к нам? А теперь уж и не знаю. Глаза, что ли, он им колет, мой Георгиу, оттого, что вернулся из заключения и был принят счетоводом при усадьбе? Чего же бы они хотели — и мадам Накович, и содержанка Комана, и другие? Чтобы я побиралась у них под окнами? Да я скорей в колодец брошусь.

— Ленца,— проговорила, улыбаясь, госпожа Матильда,— теперь, когда ты отвела душу и высказала все, вытри глаза и займись своими делами. Если бы я и получила письмо, то знаю, как мне нужно поступить, ведь я с тобой давно знакома.

— А ведь вы и взаправду получили письмо! — с еле сдерживаемой яростью воскликнула Ленца Георгиу, быстро смахивая слезы.

— Не получила.

— А я была в этом уверена. Нам рассказывали порядочные люди.

— Видно, у вас очень много друзей, моя милая.

— Нет, мы измучены и напуганы,— вздохнула Ленца. И, горячо схватив руку госпожи, крепко поцеловала ее, с силой сжимая в своих руках.

— Ты забыла, Ленца,— продолжала госпожа Матильда,— что и в прошлом году, когда я вернулась с курорта, между нами произошла сцена, напоминающая сегодняшнюю.

Ленца опустила голову. На руку госпожи закапали слезы.

— Успокойся, дорогая, и оставь эти мрачные мысли. Как поживает твой муж?

— Благополучно, милая барыня. Целует у вас ручки и не осмеливается явиться, но просил передать, что все в порядке и доходы в этом году хорошие.

— Больше ничего у вас не случилось?

— Особого как будто ничего. Слышать, будто господин Евгение Чорней собирается просить вас крестить хотя бы его второго мальчика. Знает, что это невозможно, а все-таки осмеливается...

— Кто знает? Может быть, и дам согласие крестить,— задумчиво молвила госпожа Матильда.— Значит, бедная Лауренция опять родила?

— Родила. Только не понимаю, почему она никак не потолстеет. И красота ее поубавилась. А ведь все у нее есть, хотя Чорней и не дает ей в руки ни копейки.

— И это известно?

— Да, так говорят. Госпожа Аглая даже объявила ему войну по этой причине, да что она ему может сделать? Впрочем, Накович и Чорней ладят меж собой. Только на одном рапсе в этом году заработают они не знаю сколько сот тысяч.

Ленца успела забыть о своих горестях и с живостью продолжала перечислять тьму новостей, которые ей казались особо важными. Они частью уточняли или кое-что добавляли к сообщениям, которые она передавала раньше в письмах. Госпожа Матильда слушала с улыбкой и любовалась страстностью, которой дышало все, о чем бы ни говорила эта смуглолицая женщина.

Много позже в дверь прокралась Фица и спросила своим тоненьким голоском:

— Барыня, тетушка Рарица справлялась, не пожелаете ли вы осмотреть каморы?

— Завтра утром, Фица. Сейчас я устала с дороги. Как она ладит со своим Манолое? — продолжала госпожа, обращаясь к Ленце Георгиу.

— Хорошо ладят. Я вижу, она все жиреет. Вы и не узнаете ее, милая барыня.

Госпожа Матильда рассмеялась и снова повернулась к Фице.

— Она была такая же, как ты, Фица. Чего ты ждешь? Есть еще что-нибудь?

— Да, вас желает видеть одна особа.

— Нельзя. Сегодня я никого не принимаю. А кто это?

— Барышня господина Филиппа.

— Мэриоара?.. Ну пусть пожелает,— согласилась госпожа Матильда.

Ленце почудилась некоторая нерешительность в последних словах хозяйки, и она обрадовалась. Вскочив со стула, она поспешила по своим делам.

— Входи же. Уточка, входи...— приглашала госпожа Матильда.

Ленца, делая вид, что сильно занята, прошла, потупившись, мимо девушки, торопливо отыскивая какой-то ключ в связке, которую достала из кармана передника. Дойдя до передней, она бросила яростный взгляд назад. Оглянулась — и заметила в нескольких шагах от себя бывшую горничную госпожи. Рарица порядком раздобрела, смуглое лицо ее блестело, будто смазанное жиром. Она смеялась, обнажая выщербленные зубы.

— Видали? — проговорила она, кивая головой.

— Видела, — с какой-то суровостью в голосе отвечала Ленца Георгиу. — И отдохнуть не дают бедной барыне. Наверное, госпожа Аглая ее послала. Мало они насосались, раздулись, как пиявки!

— Истинно, как пиявки, — горячо поддержала Рарица, вся съежившись от негодования и снова выпрямляясь.

С перекошенным от гнева лицом Ленца Георгиу пересекла коридор и бегом спустилась по лестнице в поисках первого попавшегося, на кого можно излить свою злобу.

— Слушай, Рарица, — повернулась она к ключнице, — пока госпожа здесь, последила бы ты за своим Маноле. Как бы он опять не устроил свистопляску в шинке у Берку.

— Что вы, госпожа Ленца! Не думаю, чтобы это еще когда-нибудь повторилось. С того самого вечера один мой башмак так и остался вдовцом. Другой я изломала на спине Маноле. А в остальном живем дружно, и он меня слушается, будьте покойны.

Госпожа Ленца удалялась быстрыми шагами. Рарица долго смотрела с веранды ей вслед, недовольно что-то бормоча про людей, которые ни с того ни с сего вмешиваются в чужую жизнь.

«В конце концов, — подумала она, — кто знает? Может, француз Кавалье оказался бы порядочней Маноле...»

В спальне госпожи Матильды Уточка вела оживленный рассказ. Теперь она действительно была «особой», как доложила о ней Фица, высокой, с развитыми формами, но глаза и смех оставались те же, детские. И в голосе то и дело слышались шаловливые переливы. Госпожа Матильда не успела даже ни о чем спросить, — она сидела в кресле и с улыбкой слушала, как повествует ей девушка обо всем, о чем только можно рассказать.

Маме очень бы хотелось кое о чем попросить крестную. Она даже надеется сама прийти завтра в усадьбу. Она, правда, прихворнула немножко, — простудилась и два дня

пролежала в постели. Сдается, что речь пойдет о новом госте, которого аист принес в своем клюве Лауренции. Выяснилось, что гость этот язычник, и его надо крестить. Но так как при рождении первого ребенка госпожа Матильда не изъявила особого желания в этом участвовать, то Уточка полагает, что дипломатическая миссия госпожи Аглаи может и не увенчаться успехом. В конце концов Уточка понимает положение и согласна с крестной. Она сама не смогла за эти годы свыкнуться с Чорнеем и все так же не выносит его. Он все равно остался для нее «дедуней», несмотря на то, что Лауренция сердится, когда слышит это слово. И Лауренция права. Ведь он ей муж, хотя и не сделал ее счастливой. Но самым решительным врагом Чорнея попрежнему является Адам. Госпожа Матильда узнала, что взъерошенный брат Уточки уже не пишет больше стихов. Он теперь прилежный студент в дорожном институте в Бухаресте. Большое удовольствие доставит юноша господину Филиппу и госпоже Аглае, когда станет инженером. Так вот Адам никогда не был в состоянии обменяться хотя бы словом с господином Евгением.

— Да? А по какой причине?

— Им не о чем говорить,— серьезно ответила Уточка и принялась делиться с крестной кое-какими сведениями госпожи Аглаи относительно госпожи Минодоры и Якобаке, кассира, сборщика налогов и других, припертых к стене страшным префектом. Едва возникли слухи, что Иримия Петреску вновь будет префектом, коммунальные чиновники буквально помертвели. А прежние давно разбрелись кто куда. Иные дошли до самой Добруджи. Там, говорят, нечто вроде Калифорнии для всех проходимцев. Переехал в Яссы и Шапса. У него есть дочь, Уточка с ней дружила. И еще кое-кто покинул город. Зато понаехали новые лица из других мест.

Госпожа Матильда сперва слушала внимательно, потом отдалась собственным мыслям. Во время рассказа Мэриоара приглядывалась к ней, и сердце ее сжималось. Ее крестная становилась похожа на настоящую старуху. Хотя зубы попрежнему сверкали белизной и волосы еще не совсем поседели, но в ней проглядывала какая-то отчужденность и утомление.

— Я вижу, крестная, ты устала,— сказала Уточка, целуя у нее руку.

— Нет, душенька, ты меня не утомляешь. Я рада тебя видеть.

Оставшись одна, госпожа Матильда встала и позволила. Она приказала Фице подать письменные принадлежности и зажечь лампу. И прежде чем написать первые строки, долго раздумывала, как убедить Кости сделать первый шаг к примирению с отцом. Впрочем, теми же горестями и соображениями может она поделиться и с Александром. Возможно, первый шаг к сближению сделает именно он. Она прекрасно знает, что его непрестанно терзают всевозможные трудности, но, может быть, он-то и окажется более уступчивым. При встрече в конце зимы она заметила, что брат несколько размяк. Он приезжал тогда продавать часть поместья, полученного взамен Бучумен, и пытался навести порядок и в именах сына, оставившего доверенность на его имя. Последнее свидетельствовало о том, что юноша более ожесточен и преисполнен решимости долго не возвращаться из Парижа. Филоти в то время показался ей уступчивее. Посмотрим. Она напишет им обоим. Одному в Париж, другому в Ниццу.

Госпожа Матильда возлагала некоторую надежду именно на эти официальные, деловые отношения отца с сыном. Они вынуждены переписываться, вынуждены объясняться, особенно сейчас, когда непрекращающиеся денежные затруднения заставили Филоти через нее попросить Кости продать Фундены ради спасения второго имени, Мэрджиненов. Кости дал согласие. Он был доволен, что получит, наконец, крупную денежную сумму: у него были большие расходы, и он влез в долги. Кости ни за что не желал получать помощь от госпожи Матильды. У него имеются свои права и собственные деньги. Теперь между этими людьми, из-за которых она была обречена на такое одиночество, должно быть, завязалась более оживленная переписка. Потому-то Александру и вернулся так спешно на родину, когда сестра находилась на водах в Оглинзь. Только один день провели они вместе. В данный момент он, возможно, еще в Бухаресте. А вернее — уже в Ницце. На всякий случай надо написать ему и на бухарестскую гостиницу тоже.

Было уже поздно, когда госпожа Матильда сложила письма и запечатала конверты. Еще долго после того как, потушив лампу, удалилась Фица, лежала она, задумчиво

глядя перед собой в темноту широко раскрытыми глазами. Сон поборол ее волнение только к полуночи, когда второй раз пропели петухи — мелодично и будто из какой-то призрачной дали...

* * *

На следующий день, отправив письма на станцию, госпожа Матильда повеселела: возникшие надежды и лучезарное августовское утро вливали в ее душу бодрость. Она вспомнила о вчерашних тревогах и страхах Ленца Георгиу и с удовольствием решила окончательно ее успокоить. Потом распорядилась, чтобы Димаки к девяти часам ожидал ее с коляской в нижнем конце деревни, и, захватив с собой Стаматаке, брата Фицы, вышла в своей обычной дымчатой вуали, с эбеновой тросточкой в руке. Стаматаке был смуглый курчавый четырнадцатилетний парнишка. Он чрезвычайно гордился боярской фуражкой с козырьком, которой с трудом прикрывал копну своих волос. Не менее гордился Стаматаке и голубым сюртуком, хотя сюртук и был для него чересчур широк. Мальчонка еще и мечтать не смел о сапогах и ходил босой. Однако ноги его были до того черны и блестели, как отполированные, что казалось, будто он ходит обутом. Символом его службы являлась кизиловая палка, которую он держал в руке, шагая позади боярыни. Палка предназначалась для приведения в чувство задиристых деревенских псов.

Госпожа Матильда миновала сад и направилась к чистенькому домику, огороженному дощатым забором. В прежние дни здесь жил счетовод, теперь тут властвовала Ленца Георгиу. Муж ее сидел среди своих книг в конторе, а она стремительно выбежала навстречу госпоже, сверкая глазами от удовольствия и радости.

— Пришла проведать, как вы тут живете, — смеясь, сказала Матильда, указывая вокруг рукой, в которой держала тросточку. — А затем пойдешь со мной; я с прошлого года не бывала в деревне.

— Охотно, — поспешила ответить Ленца. — Я только что собиралась отправиться к вам.

Госпожа Матильда перешагнула через порог и, пройдя небольшую переднюю, вошла в чистую горницу с диванами и белыми занавесочками на окнах. Из низкой двери соседней комнаты вышли ей навстречу четыре дочери

госпожи Ленцы и ее мать, госпожа Ирина. Все четыре девушки были одеты на один манер, в черных передниках, все с челками. В их лицах проглядывало нечто от мрачной уродливости отца. Но улыбались они ласково и застенчиво. Госпожа Ирина была седа как лунь, но с черными и живыми глазами. В течение нескольких мгновений госпожа Матильда испытывала в душе какое-то новое чувство: она была окружена улыбками, точно сиянием любви.

— Кто преподнес мне вчерашний подарок? — обратилась она к Ленце Георгиу.

— Амалия, — торопливо отвечала мать, делая знак глазами, чтобы девушка подошла поближе. — Только год остался ей до окончания профессиональной школы. Ведет себя хорошо. Но мы все равно должны благодарить только вас.

Госпожа Матильда легким движением достала из-под перчатки золотой перстенок с рубиновым камешком и вложила его в руку девушки, которая, сделавшись внезапно совершенно пунцовой, потянулась губами к руке боярыни.

— У тебя четыре дочери, — задумчиво промолвила госпожа Матильда, когда они вышли во двор.

Обе женщины вторично пересекли сад, затем вступили в парковую аллею и через калитку вышли к церкви. Сопровождаемые на расстоянии цыганенком Стаматаке, они спустились в деревню меж плетней и крытых камышом домиков. Время от времени госпожа задавала какой-нибудь вопрос, и Ленца спешила ей ответить, даже более подробно, чем это было нужно. Хозяйка задумчиво слушала ее, и лучи этого сияющего утра переполняли ее радостью, словно добрая весть.

В деревенских домиках сразу стало известно о неприятном посещении. Матери выходили к воротам, отгоняя лохматых собак и ребятишек в длинных рубашонках и, сложив руки под передниками, застенчиво озирались в ожидании приближения боярыни.

— Задержитесь на минутку, если вы ничего не имеете против, — шепнула немного погодя Ленца Георгиу. — Аника, жена Георге Бребу, давно хочет попечалиться вам. Она заходила ко мне несколько раз и рассказывала... Материнские горести...

— Что у тебя? — спросила госпожа.

Женщина сделала несколько шагов и, опустив голову, остановилась возле своих ворот. Сухой и черной, похожей на крюк рукой схватила она руку госпожи и, вытянув шею, поцеловала перчатку.

— Что с тобой, Аника?

Женщина явно обрадовалась, что ее назвали по имени. Но потом опять вздохнула и подняла заскорузлую руку к глазам.

— Милая барыня,— простонала она,— припадаю к ногам вашей милости с просьбой.

— Говори. У тебя горе? Ты вдова?

— Нет, милая барыня. Муж мой работает на молотилке, вместе со старшим сыном.

— У тебя двое сыновей?

— Да, ваша милость. Меньшой мой находится в ученье и больно хорошо учится. Да вот горе мне с ним... Уж вы, ваша светлость, выслушайте меня и помогите. Как ушел деверь Андроне в монастырь, осталась я без подмоги; и муж мой то и дело обижает меня и бьет.

— Ничего не понимаю,— проговорила госпожа Матильда, оборачиваясь к своей спутнице.

— Деверь Андроне заботился о мальчике,— торопливо пояснила та.

— А теперь ты не в состоянии платить за ученье?

— В состоянии, ваша милость. Андроне оттуда посылает ему немного денег. Только когда деверь жил тут, с нами, был он, стало быть, ближе к мальчику. А теперь ушел аж в самый Немецкий монастырь. И не знаю, милая барыня, что случилось с моим мальчиком, только не желает он с нами знаться и нет о нем никаких вестей... Кто знает? Может, стыдится нас,— сам-то ведь живет там среди бояр. И муж мой говорит, что я одна во всем виновата.

— Что же я могу тут сделать? — спросила в недоумении госпожа Матильда.

— Окажи милость, кормилица наша, поговори с кем-нибудь там в Яссах, пусть позовут его к себе и пожурят. Ведь он у нас неплохой. Должно, кто зелье ему какое дал...

Госпожа Матильда повернулась к Ленце. Веки ее часто-часто мигали.

— Люди злы,— торопливо продолжала женщина, поднимая ко рту сухие руки,— а мальчик красивенький, умный...

— Хорошо, я посмотрю, наведу справки...— проговорила госпожа, оглядывая крестьянку прищуренными глазами, словно видела нечто необыкновенное.

Она молча двинулась дальше, о чем-то раздумывая и не задавая никаких вопросов спутнице.

— Аника считает, что приворожили ее сына,— проговорила Ленца.

— Кто же?

— Женщина какая-нибудь. Как, по-вашему, возможно такое?

Госпожа Матильда с улыбкой взглянула на Ленцу; казалось, слова эти развеселили ее. Однако она и сама не понимала, почему словно легкий туман упал вдруг на душу, а в памяти, из неведомых далей, возник образ бабки Урсэрицы, которую однажды вечером позвали к ней няньки, чтобы «заговорить» свинку. На всю жизнь запомнилось тогда лицо старухи, ее кожа, похожая на скорлупу грецкого ореха, и глаза, как у филина, и противный запах табака. Это было еще в годы рабства,— с тех пор прошло около полувека. Землянки цыган попрежнему стоят за речкой на краю деревни. А там, где начинаются поля, еще до сих пор остались старые каменные фундаменты и следы погребов. Там в старые годы что-то произошло.

— Я проходила по этим местам еще с матерью, когда была девочкой,— взволнованно проговорила госпожа Матильда.— И она мне рассказала историю этих развалин, только сейчас я ее уже забыла...

Погрустневшая и молчаливая, подошла госпожа Матильда к коляске. Сев на свое место, справа, она подперла щеку рукой, и окружавший ее мир исчез. Ленца Георгию осторожно пристроилась слева, стараясь не потревожить дум госпожи. Коляска медленно покатилась обратно к усадьбе. Лошади шли шагом, но как медленно они ни подвигались, нельзя было надолго задержать весть, которая поспешала навстречу госпоже Матильде.

То была весть, молнией примчавшаяся по проводам с другого конца мира. Чиновник, согнувшись среди стучащих аппаратов, принял телеграмму и недовольно приступил к ее расшифровке, потому что была она на иностранном языке. Разобрав, он был поражен ее содержанием и торопливо перенес полученный текст на чистый лист бумаги. Известие это, сопутствуемое в своем молниеносном

Полете каким-то неведомым демоном с круглыми водянисто-зелеными глазами, попало в руки почтальона Георгицэ. Получив приказ как можно скорей доставить бумагу в усадьбу на холме, Георгицэ незамедлительно пустился в путь, даже не положив телеграмму в сумку. Казалось, невидимый демон известий сидит на плечах почтальона и следит за телеграммой своим неподвижным взором.

Когда коляска достигла окраины города и свернула в аллею парка, госпожа Матильда заметила Георгицэ, ожидавшего ее у ворот усадьбы с белой бумагой в руке. Сердце ее забило перед таинственной вестью, и прозрачная мгла замерцала перед глазами. Седобородое доброе лицо Георгицэ куда-то исчезло,— она видела перед собой только зеленые и круглые, изменчивые, как время, и лукавые глаза демона.

Госпожа Матильда опустила веки. Коляска остановилась. Георгицэ протянул бумагу.

— Что случилось? — спросила госпожа Матильда.

— Телеграмма, ваша светлость,— весело отвечал почтальон.— Подпишитесь на квитанции.

Госпожа взяла у него огрызок карандаша и расписалась в получении. Потом достала из кармана черный шелковый кошелек, вынула из него серебряный бан и вложила его вместе с карандашом в протянутую руку Георгицэ. Лихорадочным, коротким движением разорвала госпожа наклейку, развернула телеграмму и сразу охватила ее всю одним взглядом. Ленца со страхом, сама не понимая почему, следила за всеми ее движениями.

У госпожи Матильды вырвался страдальческий стон, словно что-то оборвалось у нее внутри. Пальцами левой руки она впилась в руку спутницы.

— Господи, барыня! — в ужасе закричала Ленца Георгиу.— Что случилось?

— Не знаю,— простонала госпожа и откинула голову назад, с трудом хватая воздух. Глаза ее помутнели.— Не понимаю, что могло произойти...

Правая ее рука, державшая телеграмму, безжизненно повисла вдоль тела...

Лошади остановились. Боярыня, не дожидаясь помощи Ленцы, выпрыгнула из коляски, словно ее подтолкнули, и нашла в себе силы подняться по ступеням. Очутившись в спальне, она упала в кресло возле окна, сорвала с рук перчатки и, надев очки, вторично развернула бумагу. Но

неровно написанные строчки были все те же, с теми же орфографическими ошибками. На телеграмме стояла подпись: «Кости». Он просил ее немедленно приехать в Монте-Карло. Отец опасно болен.

— Что это может означать? — спросила госпожа Матильда изменившимся голосом, передавая Ленце Георгну содержание телеграммы.— Что тут скрывается? Что могло случиться?

— Возможно, ничего серьезного, барыня,— пыталась успокоить ее Ленца.— Я думаю, вам следует поехать, на месте все и узнаете.

— Да, я должна ехать. Разумеется, должна ехать. Так было и в тот раз, когда я получила телеграмму о ранении Кости.

— Вполне возможно, милая барыня, что это и есть или неожиданная болезнь, или ранение.

— Я вижу, Ленца, ты тоже боишься чего-то страшного. Этого боюсь и я. Не знаю, что произошло, но ужасно боюсь.

Она замолчала, пристально глядя перед собой большими немигающими глазами, вся во власти мучительных мыслей, предположений и сомнений.

— Моя дорогая, пусть мне немедленно готовят чемодан в дорогу,— вдруг встрепенувшись, сказала она Ленце.

— Хорошо, госпожа Матильда. Вы сегодня же выедете?

— Конечно, с первым же поездом. Придется заехать в Яссы, а потом уж я не сделаю ни одной остановки до самого Монте-Карло. Ах, эти дни в пути! Я просто не знаю, что буду делать!

— Поедете одни?

— Одна, одна...

Ленца вышла, обливаясь слезами, а госпожа Матильда, наморщив лоб, нахмутив брови, опять устремила взгляд во мглу неведомого. Одни и те же мысли и вопросы то и дело возникали перед ней. Что делает Кости в Монте-Карло? Ведь ей было известно, что племянник находится в Париже. Туда и было направлено ее последнее письмо. Или между отцом и сыном произошло сближение, о котором она ничего не знает? А может быть, Александру и в самом деле болен? Его болезнь печени за последнее время обострилась. Потребовалось хирургическое вмешатель-

ство? Возможно, возможно. Всё возможно. Но в таком случае Кости не преминул бы дать хоть какое-то объяснение, чтобы избавить ее от этого страшного беспокойства. Почему он не осмелился ничего добавить к строкам телеграммы? И зовет ее приехать немедленно. Это похоже на вопль отчаяния. И почему в конце просит он, чтобы она привезла денег? «Привези денег...» Этими словами заканчивается телеграмма. Если Александру находится в тяжелом положении из-за своих обычных историй в казино, он сам бы мог написать ей об этом, как уже не раз бывало. Игра становится все более властной страстью Александру Филоти. А может, он выиграл большую сумму и на него напали ночью при возвращении в гостиницу? Нечто подобное уже случилось прошлым летом. Значит, между Кости и отцом произошло, наконец, сближение, о котором она с такой болью мечтала? Случилось что-то страшное, но это принесло примирение. Ведь бывает, что и в самых трудных обстоятельствах порою вспыхивает луч утешения.

Госпожа Матильда спешно уехала. Под мирным летним небом городок три дня обсуждал и толковал на все лады таинственную телеграмму, а сестра боярина сидела тем временем в мчавшемся по чужим краям черном поезде, ощущая все ту же острую боль в сердце. Усталость и нахлынувшие новые мысли сломили ее упорное стремление отыскать какое-нибудь сносное объяснение. В Яссах Леон Михалович и Шапса доставили деньги, необходимые госпоже Матильде, одновременно давая понять, что за последнее время в делах Александру Филоти произошли изменения, о которых она и не подозревала. Последний недавний и неожиданный приезд Филоти, когда он проездом посетил ее на водах, был вызван продажей поместий Кости, крайне отягощенных долгами Кредитному банку. И боярин, имея при себе полномочия от сына, торопливо заключил кое-какие сделки, принял новые обязательства, снова получил деньги, — частью займы, частью за проданные именья, — и поспешил на Запад. «Разумеется, он все проиграл, — думала госпожа Матильда, — и неожиданно очутился в страшном затруднении».

Именно в эту черную, кружасьую точку неотрывно глядела теперь госпожа Матильда. Отчаяние и слабость усиливались в ней по мере того, как поезд с каждым часом все ощутительней приближался к тому берегу, к той узкой полоске земли, за пределами которой уже ничего для нее

больше не существовало. Незримый демон с лукавыми глазами, спутник телеграммы, неподвижно бодрствовал рядом.

И сколько раз в течение этих пустых дней доставала госпожа Матильда из кожаной сумки неровно исписанный листок бумаги и задумывалась над ним, как и ее невидимый спутник.

В рокоте колес ей слышалось что-то зловещее, говорившее, что теперь впереди только беспросветный мрак. Но в изменчивых глазах ее спутника отражались беглые картины того, что несколькими днями раньше происходило в цветущем городе на берегу Средиземного моря. На одно мгновение сохранил он эти картины, а затем им суждено было распасться и кануть, как в пучину, в мертвую глущину минувшего.

На протяжении всего лета Кости вел обширную переписку с отцом. В его письмах все явственнее сквозило недовольство и даже ярость. Речь шла о денежных вопросах, решение которых все время откладывалось, речь шла о взносах, которые он не получал и в ожидании которых делал долги. Его положение в Париже, день от дня все более мучительное, рождало в нем настроения, которых он раньше в себе не подозревал. Он считал себя богатым человеком, а принужден был испытывать позор нужды. Как раз в это время из писем tante MATHILDE ему стало известно, что отец в Ницце. Однажды в хмурый и душный августовский день, сидя после обеда в кафе «Ля Режанс», верным посетителем которого он состоял уже несколько лет, Кости пробежал глазами небольшой провинциальный листок «Ле пти Монегаск» и нашел то, что искал. Среди имен иностранных принцев, приветствуемых в качестве посетителей Лазурного берега, Кости увидел имя отца. И в тот же вечер, терзаемый горечью, он сел в поезд. Сошел он в Монако и даже не дал себе труда принять ванну. Впрочем, в кармане у него оставалось денег только на обратный билет. Он отправился прямо в отель «Метрополь». Отца там не было. Кости пошел в казино. Глаза его потускнели от усталости, сердце учащенно билось.

В большом залитом ослепительным светом зале он сразу отыскал отца Филоти, как зачарованный, следил за игрой и движением золота и банкнот. Кости сразу догадался, что отец проигрывает последние деньги, которые у него имеются с собой: взор у него был блуждающий и

нездоровый. С тех пор как сын его не видел, отец сильно осунулся и как бы завял; но Кости владело одно лишь возмущение, с этим чувством он и стал пробираться к нему. Александру Филоти не сразу узнал сына. А между тем Кости чрезвычайно походил на него,— он тоже отрастил себе бороду, желая скрыть рубец от раны. Отец встретил его смущенной, бледной улыбкой и последовал за ним к выходу, совершенно истерзанный и убитый. Крупье хладнокровно придвинул к себе не только его собственные последние деньги, но и те, что принадлежали Кости. В несколько мгновений завершилась между безмолвным отцом и сыном эта немая драма.

— Одну минуту, Кости,— спокойно промолвил Александру Филоти.— Я немедленно дам тебе все необходимые объяснения.

Это были его последние слова. Пройдя в спальню, он пустил себе пулю в рот и умер в ту минуту, когда сын в ужасе склонился над ним.

Вот к какому ответу на все свои недоумения спешила госпожа Матильда. В последний час путешествия она уже предугадала катастрофу, и какая-то молодая итальянка, заметив ее, больную и всю в слезах, подошла к ней и предложила свою помощь. Она нерешительно попыталась успокоить путешественницу, ибо сразу поняла, о чем может идти речь, и помогла ей сойти на перрон. Кости неожиданно оказался рядом. Госпожа Матильда не заметила его; а если бы и увидела издали, то не узнала бы. Он производил впечатление человека пожилого, и голова его, склоненная над дрожащими пальцами тетки, уже начинала лысеть.

— Что случилось, Кости,— простонала госпожа Матильда, обнимая племянника.— Я правильно догадалась?.. Ох, я правильно догадалась.

— Да, *tante Mathilde*, произошло, в особенности для меня, большое несчастье.

Она удивленно взглянула на него и заметила его кривую улыбку. Пронзенная до глубины души болью, она задавала вопросы и получила все разъяснения. Багаж был оставлен в гостинице, и госпожа Матильда рассчиталась с извозчиком. Потом они отправились на побережье, откуда веяло соленым дыханием моря. Вытирая украдкой слезы вышитым платочком, госпожа Матильда слушала историю злоключений Кости и вскоре догадалась, что он ведет

ее к кладбищу, где покоятся все потерпевшие крушение на этом счастливом берегу. Шагая друг подле друга среди незнакомых и равнодушных прохожих, они почти бессознательно, не желая быть понятыми посторонними, разговаривали на языке своей далекой маленькой родины.

* * *

В один из последних дней августа, в воскресенье, Лауренция и господин Евгений Чорней обедали у Филиппа Наковича. Госпожа Аглая с большим сожалением говорила о кончине Александру Филоти. Но Чорней, со своим обычным спокойствием и невозмутимостью, безжалостно проговорил:

— Вода и бояре катятся вниз.

Уточку особенно возмутила та кривая, язвительная улыбка, с которой посмотрел на нее этот сухопарый человек.

Она сейчас же встала из-за стола и потянула за рукав Адама, который не проронил за это время ни слова и ел, уткнувшись в свою тарелку. Когда брат поднялся, Уточка бросила на Лауренцию полный жалости взгляд и вышла, сощуриив глаза и высоко подняв голову. Лауренция подумала было, что следует пойти за ней, остановить и приласкать, но лениво осталась сидеть на месте; унылая, преждевременно увядшая, она теперь как будто все время хотела спать.

— Ну, как там мои мальчики? — спросил ее Чорней. Она вяло улыбнулась и ничего не ответила.

Уточка потянула за собой своего друга Адама и попросила немедленно избавить ее от этой невыносимой атмосферы.

— Мы опять поплутаем с тобой на дрожках и поболтаем, — сказала она, обнимая его за плечи.

— Только за этим ты меня и звала? — сердито спросил Адам, искоса взглянув на сестру. — Сегодня не могу. У меня дело...

Слезы повисли на ресницах девушки.

— Что такое? Что такое? — вмешался поспешивший вслед за ними неповоротливый и красный господин Филипп. — Опять вы, друзья мои, ссоритесь?

— Мы не ссоримся, отец. Просто я попросила его погулять со мной...

— Ах, вот что! Ну, ничего, поедешь с папочкой. Кстати, у меня есть дело на току, по ту сторону Серета: надо взглянуть, установлена ли молотилка, завтра пора начинать молотьбу. Да и воздухом подышу после обеда, как рекомендовал доктор, и ты со мной прокатаешься...

Адам уже успел скрыться в свою комнатку.

Уточка накинула шелковую мантилью, заботливо пригладив свои каштановые волосы, надела черную соломенную шляпу и втиснулась рядом с отцом на узкие дрожки.

Господин Филипп тронул коня. Окраинами города они спустились к Серетскому мосту. День был тихий, высоко над землей раскинулось голубое небо. Отец и дочь молчали: каждый думал о своем.

Они уже подъезжали к мосту, когда Уточка заметила вдруг старую мельницу, когда-то приплывшую по реке: она стояла скособочившись, как в первый день, у края роши.

Из-за Серета веяло теплым ароматом буркуна. Он пробудил в душе девушки воспоминания о детстве и о романтической любви к изящной и бледной тени Кости тех времен. Мэриоара все еще представляла его себе молодым и безусым, как тогда. Но он стал другим, и в эти места ему уже не суждено было вернуться.

1923 г.



ПОВЕСТИ



БОЯРСКИЙ ГРЕХ

I



аше имение расположено довольно далеко от богатого рыбой и дичью затона Борчи, по меньшей мере в двух часах езды на лошади по Бэрэганской степи.

Летом 1896 года я остался в имении один с управляющим и работниками, среди обширных, беспощадно опаленных зноем колосющихся полей. К власти пришли *наши*, и отец, политический деятель, был очень занят делами, которые и задержали его в Бухаресте. Мать и обе сестры остались с ним. Я совершенно не знал, что мне делать одному в большом белом опустевшем доме. А молодость требовала чего-то, я томился и не находил себе покоя. Вот, может быть, в поисках этого «чего-то» я и начал ходить в свободное время на охоту к Езеру.

Там, на Езере, я первый раз в жизни влюбился, там же чуть было не окончил свои дни.

Степь я очень любил. И детство мое и молодость прошли в Бэрэганской степи. Летом обжигаемая солнцем, зимой обдуваемая ветром, ровная, пустынная и печальная, лишенная рек и прохлады лесов, она все-таки была самой дорогой моему сердцу землей.

Тут не увидишь ни гор, уходящих высоко-высоко в небо своими синими гривами, ни дремучих лесов, с их вечными суровыми песнями; не услышишь даже кукушки,

предвещающей счастье в ту пору, когда по склонам гор, пенясь, катятся ручьи, когда покрываются цветами луга и рощи, полные пернатых гостей. Зимой ветры завывают над бескрайней снежной пустыней, с редкими, как бы брошенными в пространство, печальными селами; а летом предстают взору оголенные земли или огромные колосающиеся поля, на которые солнце льет потоки расплавленного золота и где, согнув спины, словно под тяжелым непомерным грузом, работают люди. И все-таки в этих местах, лишенных обычных красот природы, я как-то по-особому чувствовал прелесть зари, когда, бывало, мчал меня мой быстрый конь без всяких дорог и тропинок по гладкой степи. Печаль сумерек таила в себе что-то неизведанное, скрывавшееся за этим безбрежным степным морем. Молодость, смутное томление влекли меня в родную степь, и я находил в ней все новые и новые красоты.

Утром я просыпался вместе с первыми лучами румяного солнца, пылавшими на стеклах окон. Быстро одевшись, я выходил на улицу. Там у крыльца, возле белых акаций, стороживших наш дом («дворец», как называл его покойный батюшка, царство ему небесное), — меня уже дожидался оседланный конь. Степные дали тонули в тумане; над нашими колосистыми полями заливались жаворонки. Вместе со мной отпразднлся в степь и управляющий, низенький человек с маленькими сверлящими глазками и длинными усами. Я его недолюбливал, и дорогой мы почти не разговаривали. Кони шли легкой рысью, бесшумно и легко ступая по мягкой земле. Всю дорогу нас сопровождали чудесные песни жаворонков, выводивших в поднебесье свои мелодичные трели. Бескрайняя нива с созревающим хлебом, темноватая в низинах и отливающая золотом на возвышенностях, слегка волновалась под дуновением утреннего ветерка.

Мы направляли лошадей по мокрому от росы межам и скакали по полям, на которых работала целая армия молчаливых жнецов, — мои мысли были в это время где-то далеко-далеко...

Вскоре наступал нестерпимый полуденный зной и заставлял нас искать спасительную тень. Но и в тени меня мучила жажда, которую нечем было утолить. Знойный воздух вился передо мной кругами, и взор мой устремлялся в безграничную даль. В такие минуты у меня на душе становилось так тоскливо, я чувствовал себя таким

одиноким, что в голове невольно рождался вопрос: «Зачем я живу на свете...»

К вечеру, чтобы развлечься, я снова ездил на коня и отправлялся на одну из ближайших маленьких станций со строениями из красного кирпича, затерянными в кустах белой акации, которые росли вдоль бесконечного прямого железнодорожного пути. Время от времени мне попадались одиноко стоящие у дороги корчмы. Иногда оттуда доносился шум людских голосов, замиравший вскоре в вечерней тишине. Затем я приезжал на станцию, дожидаясь там поезда, приходившего откуда-то издалека, чтобы через несколько минут снова скрыться в дымчатой дали. В окне сквозь покрывавшую стену зелень показывалась иногда головка разодетой словно в праздник женщины. По перрону медленно проходили железнодорожные служащие, обмениваясь приветствиями со знакомыми. Слышалось пыхтение паровоза. Поезд уходил. В тишине вечерних сумерек вокзал казался совсем маленьким и одиноким. В раздумье возвращался я домой. Конь бежал, быстро цокая копытами. Со всех сторон меня обступало безмолвие. С востока захватывая всю ширь полей, словно волны, набегали тени. Порою с какого-нибудь полустанка, как плач в безбрежной степи, доносился печальный звон колокола: дин-дон!

Солнце, давно уже скрывшееся за темносиним горизонтом, все еще посылало свои последние лучи, заливая розоватым светом высокие, неподвижно стоявшие в небе облака. Отдаленные села, которые раньше угадывались по легким дымкам, поднимавшимся ввысь, теперь, в сгустившейся вечерней мгле, замелькали редкими цепочками огоньков, затерявшихся в степи; они мерцали, словно светлячки, в беспредельном пространстве и сливались со звездами.

Я приезжал в пустой дом и, грустный, ложился в постель, не зная, что делать: я не мог ни читать, ни писать, — ужасная тоска овладевала мной.

Драгомир, наш управляющий, сверлил меня своими маленькими глазками, будто читая в моей душе. Не раз он, покручивая ус, улыбался и давал мне понять, что для такого, как я, молодого боярина, найдется лекарство от скуки.

— Если бы вы согласились... Вы только не сердитесь... Здесь у нас нетрудно найти какую-нибудь шустрюю бабенку, а то и девушку прехорошенькую... Хм! — и он пристально смотрел на меня.

Но я не питал симпатий к Драгомиру и ни за что на свете не хотел открывать управляющему мои тайны и слабости. Я обрывал его и каждый раз отсылал прочь. Сам я все чего-то ждал. Но ожидаемое не приходило, и тоска с еще большей силой одолевала меня.

В один прекрасный день, однако, Драгомир заставил меня прислушаться к его словам.

— Нигде в мире нет такой охоты, как на Езере...— как-то вскользь обронил он.

Обрадованный, я повернулся к нему: наконец, у меня появилось новое развлечение.

— Что, что ты сказал, Драгомир?..

— Я про Езер говорю... Мать моя! Какая там охота! Прямо дух захватывает...

— Тогда все приготовь... поеду на охоту...

У Драгомира заблестели глаза. Он не мог скрыть свою радость: теперь он будет оставаться один и снова сможет обделять свои делишки. Он тут же начал рассказывать мне про Езер всякие баснословные чудеса. Всю ночь я не спал, мечтая о том, как буду охотиться в придунайских болотах. Наутро встал, взял ружье, сел на коня и поехал.

Так начались мои путешествия на Езер.

Первая охота на Езере окончилась неудачей.

Было это так. Оставив коня в корчме на окраине близкого к озеру села, я спустился к воде недалеко от железнодорожной линии. Белая решетка железнодорожного моста тянулась через все болото. Кое-где в болоте по грудь в воде стояли лошади, лениво жевавшие траву, пучки которой виднелись на сверкавшей от солнца воде. Дальше, за этими мелкими, полувывсохшими болотами, начинались рощи старых ив, окаймлявшие обычно большие, глубокие озера. Я шел с ружьем в руке, прислушиваясь к плеску воды и шелесту ивовых ветвей, не отрывая глаз от этих сырых рош, где царил полумрак и было много дичи. Вдали быстро пролетали утки; цапли тяжело размахивали большими серыми крыльями над метелками камыша; слышались крики рябчиков и лысух,— однако я был слишком далеко от них. Для охоты мне нужен был проводник, хорошо знающий здешние места охотник, и лодка, на которой можно было бы добраться до дичи. Поэтому я оставил птиц в покое: пусть себе скользят по блестящей глади воды, пусть поднимаются длинными косяками к багрянцу

заходящего солнца. Завороженный красотой этих мест, я долго бродил без определенной цели. Странно звучали в сумерках тысячи птичьих голосов, чудесно переливались под последними лучами солнца краски на болоте.

Когда я возвратился в корчму, хозяин, покосившись на мой пустой ягдташ, произнес:

— Видно, не удалась охота?..

— Да, нужна лодка...

— И лодка, сударь, и человек, знающий место... Если вы еще раз заглянете в наши края, я научу вас. Знаете что? Скажите мне только слово — и Марин сейчас будет здесь... Вы действительно хотите охотиться?

— Конечно, хочу!

— Ладно... Тогда я пошлю за Марином... Он, сударь, большой охотник... И не только охотник, но и рыбак. Уж поверьте мне, боярин. Пойдите только с ним на охоту, сами увидите.

Хозяин корчмы говорил воодушевленно, видно было, что он гордится и Езером и Марином.

— Хорошо, когда в следующий раз приеду, позови его.

— Позову, сударь, два слова — и вы договоритесь, — заторопился хозяин корчмы, подняв глаза к потолку и выставив вперед указательный палец правой руки. — Вам только придется угостить его водкой, боярин... Стаканчика два, три — сколько не жалко... и сделка состоится! Это я вам говорю... Даю честное слово! Я, сударь, был капралом в армии, в артиллерии!.. Меня зовут Санду Попеску!

Вдруг он умолк и посмотрел на меня, опустив голову на грудь как бы для того, чтобы лучше насладиться моим удивлением. Затем улыбнулся и указательным пальцем правой руки стал разглаживать коротко подстриженные черные усыки, будто углем нарисованные на его полном красном лице.

— Ну вот, можно сказать, что дело сделано! — произнес он и взглянул на меня маленькими веселыми глазками. — Так когда же вы приедете?

— Завтра... Только постарайся приготовить для меня ужин получше...

— Еще бы, конечно... заставлю жену курицу зарезать. У меня и корова есть, сударь! Честное слово! Я был капралом в артиллерии! Приготовим ужин на славу. Можно считать, что дело сделано... Вы какое блюдо больше всего любите?

И, снова улыбаясь и склонив голову на грудь, бывший капрал посмотрел на меня.

— Стоп! — встрепенулся он, вытянув вперед указательный палец.— Что может быть лучше хорошего жаркого? Да, да, жаркое и чиорба...¹ Чего же еще? Позову Марину, и дело сделано... Честное слово!..

Хозяин стоял у ворот, уперев руки в бока, в широких, будто надутых воздухом штанах, и провожал меня счастливым взглядом, пока, сливаясь с тенями Бэрэгана, я мчался на своем Корбе в направлении бледнеющего, почти угасшего заката.

На следующий день около четырех часов пополудни я, подъехав к корчме, соскочил с коня. Завидев меня, Санду стремглав выбежал из дому, на ходу крикнул валявшемуся на солнцепеке малышу:

— А ну-ка, мигом за дядей Марином, слышишь, поживей!

Пока Санду ставил моего коня под навес, пока он отдавал Анне, своей жене, распоряжение отрубить голову пеструшке, пока расхаживал с широкой улыбкой на лице по комнате с низким, сильно закопченным потолком, явился и старый охотник Марин. За ним, словно жеребенок за маткой, бежал мальчик.

— Вот он, видите,— с гордостью произнес Санду, жестом указывая на охотника.

Это был низкорослый, коренастый старик с сухим лицом, на котором выделялась темная редковатая и спутанная борода. Он без улыбки, пристально посмотрел на меня круглыми зелеными глазами, придерживая правой рукой приклад ружья, которое висело у него на плече. Его черная, большая, с длинными узловатыми пальцами рука почему-то показалась мне страшной.

— Так это ты и есть Марин?..— улыбнулся я и замолчал, не зная, что бы еще сказать старику.— Что ты пьешь? — спросил я.

— Водку... Стакан водки — больше ничего не надо,— медленно и тихо глухим голосом проговорил он.

— Один, два, три,— пей сколько захочешь,— улыбаясь и потирая руки, проговорил Санду Попеску.

Охотник помолчал минуту, уставившись в землю, потом снова поднял на меня свои круглые глаза.

¹ Похлебка с мясом.

— Вы боярин из Сарацень?

— Да, да!.. Это боярин Никулицэ! — поспешил выкрикнуть хозяин корчмы и осторожно поставил на стол три полных стаканчика водки.

Охотник взял стакан и, полузакрыв глаза, не спеша выпил. Потом поставил его на место и вытер ладонью всклокоченные усы.

— Я слышал,— заговорил он усталым голосом,— что в Сараценьях людям живется лучше, чем в других местах...

Санду не дал мне и рта раскрыть. Он взмахнул рукой с протянутым указательным пальцем:

— Как? Очень хорошо! Живут, как у Христа за пазухой! Это говорю тебе я, дядя Марин... Даю честное слово!

Старик кивнул головой. Хозяин корчмы поднес ему второй стакан водки. Старик, также не торопясь, выпил и этот. Затем он засунул руку в кармашек своего широкого пояса и, не найдя там ничего, с досады плюнул:

— Нету!..

— Чего?

— Табаку! Табаку! — воскликнул Санду.— Не беспокойся, дядя Марин, боярин Никулицэ даст тебе целую пачку! Это же такой человек,— захлебывался бывший капрал,— такой человек! А видел ли ты, какой у него конь? Не конь, а прямо змей, дядя Марин!..

Охотник распечатал поданную ему Санду пачку табаку и достал из-за голенища сапога черную трубку. Он дунул несколько раз в мундштук и постучал чубуком о край стола.

Затем, протянув мне левую руку, большую и черную, он громко произнес:

— Нет! У нас здесь нет людям житья! Меня обобрал еще покойный боярин. А при новом, который приехал на место умершего, я и вовсе стал нищим... Осталась только старая хатенка да вот это ружье — больше ничего.

В голосе охотника слышалась глубокая, скрытая боль, а его зеленые глаза, пристально следившие за мной, как-то странно сверкнули.

Хозяин корчмы незаметно подмигнул мне и негромко кашлянул. Затем, взяв ружье из рук Марина, протянул его мне:

— У вас, боярин, ружье *центрального боя*! Я знаю, ведь я служил капралом в артиллерии... А у дяди Марина старинное... Но очень хорошее,— знаете, как оно бьет!

— Если б оно было плохое до сих пор...— мягко и уже снова спокойно молвил охотник, набивая табаком трубку.

— Да, да, дядя Марин говорит правду! — воскликнул Санду Попеску.— А как насчет стаканчика водки?.. Что скажешь, дядя Марин, а?

Марин отрицательно покачал головой и вскинул ружье на плечо.

— Нет, с меня хватит! Теперь идем,— обратился он ко мне.— Солнце садится...

Мы отправились к Езеру. У ворот, как и раньше, стоял Санду, оперев руки в бока, и, весело улыбаясь, смотрел нам вслед.

Всю дорогу до самых плавней Марин не вымолвил ни единого слова. Он шел, попыхивая трубкой, и смотрел куда-то вдаль. Облачка голубоватого табачного дыма поднимались к полям его позеленевшей от дождей и времени шляпы и почти мгновенно таяли в прозрачном воздухе. Шагал он медленно, не спеша. Его высокие, до колен, сапоги, которые он тяжело ставил на затвердевшую землю, издавали двойной звук: сначала слышался удар каблука, а потом уже шлепок всей толстой подошвы. Широкие шерстяные штаны рыжеватого цвета и черное пальто из грубошерстного сукна были усеяны большими пятнами крови и жира. Под косыми лучами солнца в складках одежды зеленоватым светом поблескивали налипшие рыбы чешуйки.

Мы спустились прямо к плавням. Разбросанные домики села с вьющимися из труб светлыми дымками остались позади и ясно вырисовывались на чистом небе. В заводи среди пригнутого камыша стояла черная просмоленная лодка, привязанная толстой веревкой к колу, который был вбит в топку грязь.

— Это моя лодка! — впервые за всю дорогу заговорил Марин.— Здесь я и весла прячу. А вон, видите, на холмике над камышом в ивовых зарослях, там моя избушка. Все, что у меня осталось!..

При этих словах лицо его снова помрачнело и в голосе прозвучала грусть.

Этот человек мне нравился, хотя говорил он мало и как-то странно на меня смотрел. Весь его облик, грустные нотки в голосе говорили о том, что он прошел через большие испытания. Горести оставили неизгладимые следы на

его лице. Я глядел на него, и мысли мои все обращались к старому боярину и к новому. Я думал о буре чувств, которые были погребены в тайниках души старого охотника, о невольной прорвавшейся у него жалобе: «Осталась только старая хатенка да вот это ружье — больше ничего!..»

Мне захотелось сказать ему что-нибудь ласковое. Но в этот момент он повернулся ко мне и, глядя на меня своими большими глазами, оживленно и громко произнес:

— Давайте, боярин, в лодку! Я сяду на весла — и тронемся...

Мы медленно стали продвигаться среди камышей. Слышался мягкий звон колокольчиков деревенского стада, протяжное мычание коров, человеческие голоса, звучавшие так отчетливо и ясно, что казалось, будто люди разговаривают где-то совсем рядом, здесь, в плавнях. Потом мало-помалу звуки, доносившиеся из села, стихли, и мы поплыли по узеньким стежкам, пробитым в камыше, тихо шуршавшем в золотых лучах предзакатного солнца. Иногда поблизости слышались короткие, быстрые всплески воды, и вслед за этим почти над нашими головами, в узком просвете неба, с легким свистом проносилась черная тень. Старый охотник, поворачивался ко мне и шептал:

— Лысуха...

И снова мы в молчании пробирались дальше. Затем тишина вдруг опять неожиданно нарушалась резким кряканьем, которое выводило меня из задумчивости, и утка, шлепая крыльями, с шумом поднималась над красноватыми метелками камыша. Но, увы, слишком далеко для того, чтобы ее можно было достать выстрелом из ружья.

И тут мы попали под навес стоявших купами ив.

Солнце уже склонилось к самому горизонту. Его последние лучи золотистой пылью пробивались сквозь густые сплетения листьев и трепетали на неподвижном темном полотне воды. Спутанные ветви ив образовывали черные арки, под которыми в мертвой тишине двигалась наша лодка, оставляя за кормой дорожку разбегавшихся по воде чешуек стального цвета.

Мы остановились между двумя дуплистыми ивами, опустившими свои густые кроны до самой воды. Перед нами расстилалось огромное зеркало озера, в котором полыхал багровый закат, а с обеих сторон густой стеной стояли камыши, едва заметно колыхавшиеся под неуловимым дыханием ветерка.

Марин высек кресалом огонь, зажег трубку. Растопырив пальцы, он зачесал за уши свои седые волосы.

Я приготовил ружье. Плавно, по два раза шелкнули взведенные курки.

Солнце, утопавшее в кровавых волнах, почти совсем слилось с горизонтом. На противоположном берегу озера из-за камышей показалась утка-лысуха с выводком уже больших утят.

— Надо следить! — шепнул Марин, поворачивая ко мне свое неподвижное лицо. — Пусть солнце совсем сядет...

И он продолжал посасывать трубку.

— Дядя Марин, — сгорая от желания сказать ему что-нибудь хорошее, тихо произнес я.

— Ай?

— Плохо тебе жилось при старом хозяине, который умер?

Его зеленые глаза остановились на мне, и он вынул изо рта трубку.

— Много пришлось вытерпеть... Очень много. А теперь при новом разе смогу я снова терпеть? — Глаза его словно ожидали ответа. — Ведь из-за старика у меня прахом пошло то небольшое, что я нажил... Из-за него и жена моя сошла в могилу!..

Во взгляде его появился недобрый огонек. Он стиснул зубы и протянул мне черную узловатую руку.

Старик хотел сказать еще что-то, но вдруг взглянул вверх, глаза его сверкнули, а руки схватили ружье. Послышался шум, похожий на свист ветра: большая стая уток круто развернулась над нами.

Мы выстрелили почти одновременно. По ближайшим рощам старых ив прокатилось громогласное эхо. В ответ из камыша раздались пронзительные крики птиц, и несколько уток тяжело шлепнулось в воду. Остальные, словно подхваченные бурей, резко повернулись и, взметнувшись ввысь, скрылись за вершинами деревьев.

II

От самого Марина я мало что мог узнать о его жизни. Старый охотник большей частью молчал, а если и начинал рассказывать, то говорил очень мало и неохотно. Хозяин же корчмы Санду, хотя и болтал без умолку, или не мог

ответить на те вопросы, которые меня интересовали, или же притворялся, что не понимает, о чем я его спрашиваю. Бывший капрал часто прерывал меня, по-приятельски улыбался, неизменно каждый раз выставляя указательный палец, опускал голову на грудь, беспрерывно клялся честным словом и без конца повторял, что служил в артиллерии. Ох, и хитрая же лиса был этот господин Санду Попеску! Он незаметно заставлял охотника выпивать несколько стаканчиков водки — боярин платит! — и, не считаясь с тем, был ли табак в карманах Марина, или не был, обязательно распечатывал пачку — боярин платит! При этом на его румяном, полном и круглом, как луна, лице сияла такая счастливая улыбка, что мне ничего другого не оставалось, как молчать и платить.

Впрочем, я несколько не сожалел об этом. Наши охотничьи вылазки были очень удачны. Я не переставал восхищаться искусством Марина, тихо проводившим нашу лодку по самым сокровенным местам болота, хорошо ему знакомым. Плавни кишели утками, рябчиками, дупелями, всякого рода живностью из царства пернатых — пугливых, круглоглазых и длинношеих, с блестящим оперением. И в самом Марине, в гибком повороте его шеи была пугливость птицы. Но в то же время острый, пронизывающий взгляд его больших глаз, зеленых, как стоячие воды Езера, почему-то будил во мне смутное беспокойство.

За одну неделю страсть к охоте полностью овладела мной, словно вошла в плоть и кровь. Как только солнце начинало клониться к закату, я садился на коня и галопом мчался в корчму, где меня обычно уже поджидал Марин в обществе болтливого Санду. Я брал для охотника графинчик водки, две пачки табаку, и мы спускались вниз, к камышам. Первый же птичий крик, раздававшийся в тишине над болотом, заставлял меня насторожиться. Широко раскрытыми глазами я шарил по длинным стежкам в камыше, по его красноватым метелкам, по темным кронам склоненных ив, меж которых блестели звезды. Малейшее колебание воды заставляло учащенно биться мое сердце. Теперь я уже безошибочно мог определить, дрожит ли камыш от пробирающейся по воде птицы, или же его колышет ветер. Я научился различать звук рассекаемого воздуха, полет уток, и мягкие, едва слышные взмахи крыльев серой цапли, и шорох рогоза, когда по нему

шелестиг ветерок; я хорошо знал клекот орлов, парящих в вышине в поисках добычи, трубящий крик цапель и резкое гоготание серых гусей. Все время, пока я находился в лодке, напряженно выискивая глазами дичь, сердце мое учащенно билось, весь я был поглощен одной лишь мыслью, одним чувством.

Марин тихим голосом, в скупых и отрывистых фразах посвящал меня в тайны этой человеческой страсти. Но большей частью он молчал, попыхивая трубкой, а выкурив ее, набивал снова, приправляя курево одним-двумя глотками водки.

Мало-помалу, хотя это и стоило мне больших трудов, мы немного сдружились, и я узнал кое-что о его прежней жизни, которая так сильно омрачила его душу.

Старый боярин — боярин Леонидэ, как называл его Марин, — ни в чем не знал удержу. В обращении с крестьянами он никогда не обходился без брани и хлыста, считая крестьян своими рабами. Именно боярин Леонидэ заставил Марина взяться за нелегкий труд рыбака и охотника, хотя Марин тяготился этим всю жизнь, но в конце концов охота въелась в его кровь вместе с тяжелыми испарениями болота, с его дүхами и лихорадками. Тяжелое горе, пережитое Марином еще в молодости, тоже было связано с именем покойного барина. Хотя охотник и не говорил мне ничего определенного о своем несчастье, я постепенно как будто понял то, о чем он умалчивал. Речь шла о его жене, которая умерла, зачихла «от горести и печали».

О молодом хозяине Марин тоже говорил очень мало и весьма туманно. Вернее, он вообще ничего не хотел рассказывать о нем. Мое любопытство возросло еще больше, когда я узнал, что новый боярин даже и не жил в имении. Лишь изредка, обычно осенью, он приезжал на месяц, на два.

— А что у тебя с новым боярином вышло, дядя Марин? — как-то спросил я.

— У меня? С ним? Ничего! Когда он приезжает, я ему доставляю рыбу и дичь. Вот и все. За это он разрешает мне удить и охотиться в плавнях весь год... У меня только и осталось: ружье да хатенка...

Он устало посмотрел на меня своими зелеными глазами и покачал головой. Лицо его помрачнело.

Как-то раз Марин скупно бросил:

— И вы боялись бы, как я...

— Кого? Молодого боярина? Ты же говорил, что у тебя с ним ничего не было...

— А с прежним разве у меня что-нибудь было? Это у него было... А я ничего против него не имел.

— Ну...

— Вот и «ну»? Ничего, и все!..

Из таких разговоров, конечно, трудно было что-то понять. У этого человека была слишком скрытная душа: его сердце окаменело от старой, затаенной и неугасавшей ненависти. Несмотря на мое хорошее отношение, казалось, он и меня считал виновником своих несчастий. Иногда Марин смотрел на меня таким же взглядом, как на дичь. Глаза его начинали вдруг блестеть. Часто он совсем не отвечал на мои вопросы. Весь он, высохший, со всклокоченной бородой, с глубокими, непроницаемыми, как воды Езера, глазами, дышал недоверием и злобой к боярину, который оставил ему только ружье да старую хатенку и навлек на него большое и непоправимое несчастье.

И как бы я ни относился к нему — я для него все равно был барином. Хотя он старался владеть собой, в его словах нередко проглядывало недовольство и еще что-то, тревожившее меня. С необъяснимой робостью я часто поглядывал на его огромные черные руки с узловатыми пальцами.

Постепенно, однако, это стало проходить. Марин как будто начал забывать боярина. Вначале я был учеником Марина, а теперь превратился в его товарища. Особенно дружелюбно он стал относиться ко мне после того, как в конце недели я вложил в его руку, которая так пугала меня, две монеты по пять лей.

В глазах его блеснули зеленые молнии, и он улыбнулся довольной улыбкой.

— Большое спасибо, боярин, дай вам бог здоровья... Это не для меня деньги...

— А для кого же?..

Марин вдруг вскинул глаза и посмотрел на меня. Затем медленно перевел взгляд на головку своей трубки и не ответил на мой вопрос. Однако он все-таки хотел показать, что мой поступок тронул его, что он мне благодарен.

— Боярин Никулицэ,— откашлявшись, начал он,— вы ведь никогда не бывали в плавнях на утренней заре...

— Нет...

— Ну, тогда вы еще ничего не видели и не знаете. На заре — вот когда настоящая охота... Я и охочусь и рыбу ловлю только по утрам... Конечно, и вечером можно охотиться, но разве сравнишь вечернюю охоту с утренней! Можете приехать на рассвете?

— Могу, дядя Марин..

— Ну, тогда приезжайте как-нибудь утречком... Хоть завтра. Хотите? Уж я прокачу вас по озерам... О-го-го! Вот где настоящая красота!

И я заметил, как на миг потеплел его взгляд. Он почесал в затылке, трубка еле держалась в уголке его рта.

Я был вне себя от радости. Меня охватило горячее нетерпение поскорее попасть на такую охоту, какой я еще никогда не видал.

— Значит, завтра... Я непременно приеду!

— Приезжайте, боярин, не пожалеете!..

Марин быстро заработал веслом, направляя лодку через заросли камыша и рогоза к берегу.

Летний вечер дымчатой пеленой окутал Езер. Большой железнодорожный мост казался длинной белой лентой, протянутой под синим куполом небосвода. Сзади нас, над плавнями, медленно поднимался легкий туман; еле заметный ветерок доносил острые гнилые испарения болота.

Марин, сидевший на веслах, греб сегодня особенно старательно: было видно, как напрягались от усилий мускулы на его шее. Он часто поплеывал на ладони, иногда хватался за пучок камышей, рывком подтягивая лодку. Борта лодки с легким плеском разрезали воду, оставляя за кормой небольшие слегка дрожащие круги.

Слова, неожиданно произнесенные Марином, вывели меня из задумчивости:

— Вы не сердитесь на меня, боярин... Такой уж я человек, глупый... неученый...

— Отчего же мне сердиться на тебя, дядя Марин?

— Да я, видите ли, не могу много разговаривать о всяких мелочах... Больше молчу, потому такой уж у меня характер — скрытный я... Тяжело мне... сколько я выстрадал, одному богу известно!

— Полно, дядя Марин, я нисколько не сержусь. За что я должен сердиться на тебя?

— Вы не подумайте, боярин... Санду, он болтун...

Марин вдруг замолчал, поплевал на руки и, не говоря

ни слова, начал грести с еще большим напряжением. Он как будто сожалел о том, что не удержался и сказал лишнее. Я сидел и думал о страшной буре страстей, разыгравшейся еще тогда, при старом боярине, «при том, который умер».

III

Едва перевалило за полночь, когда я поднялся с постели. Драгомир, особенно заботливо ухаживавший за мной с тех пор, как я начал свои поездки на охоту, еще с вечера отдал нужные распоряжения: конь мой уже стоял у крыльца. Почуяв меня в темноте, он тихонько и радостно заржал и влажной мордой коснулся моей руки.

Конюх подтянул подпругу. Я ощупал охотничью сумку, проверил курки и вскочил в седло.

Ночь был теплая. Большие пятна облаков закрывали звезды. Бэрэганская степь молчала, расстилаясь окаменевшим морем в таинственной тишине. Ни человеческого голоса, ни крика петухов — ничего. Тьма высилась непроницаемой стеной и будто расступалась передо мной, по мере того как конь быстрой рысью уносил меня вперед.

Нетерпенье заставляло меня часто пришпоривать скакуна. Небо между тем все плотнее затягивалось облаками, и когда легкий ветерок, тянувший от плавней, ласково коснулся моего лица, я почувствовал на щеке каплю дождя.

«Пропала сегодня охота! — подумал я. — Будет дождь!» На душе стало так тяжело, словно я понес какую-то невозвратимую утрату.

Несмотря на непроглядную темень, я быстрее погнал коня. Вдруг передо мной вынырнуло село, черневшее неподвижными глыбами изб. В корчме Санду, расположенной на краю его, ближе к воде, не было видно ни огонька.

Множество мыслей мгновенно пронеслось у меня в голове.

Что мне делать с конем? Где поставить и укрыть его от дождя? Вчера, прежде чем отправиться к себе в Сарацини, я условился с Марином, что приеду на исходе ночи, чтобы во-время добраться до озер, но забыл попросить Санду встретить меня и поставить лошадь. Как быть теперь? Пока Санду проснется, пока оденется да пока

вылезет из своей корчмы, пройдет немало времени. А Марин между тем подождет-подождет и, подумав, что я испугался непогоды, уйдет. А может быть, дождь еще до утренней зари перестанет? Нет, время не терпит. Надо ехать прямо к плавням и разыскать Марину, а там видно будет.

И я погнал коня к тому месту, где всегда стояла лодка Марина. Восток, лежащий в стороне Дуная, покрывала плотная темнота. С неба сыпал мелкий теплый дождик, который постепенно становился все сильнее.

Я нашел место, где обычно привязывалась лодка, но ее там не оказалось. На сыром берегу тлело несколько поленьев, отрубленных от старого дуплистого ствола и, по-видимому, зажженных еще вчера с вечера Марином, для того, чтобы мне легче было его отыскать. Почему же нет лодки? Вероятно, Марин пришел пораньше и уплыл в плавни. Но ведь мы условились, чтобы он ждал меня. А возможно, он еще и не приходил.

Для такого молодого и страстного охотника, как я, все эти пустяки много значили. В молодости человеку малейшая неудача кажется большим несчастьем. Пока я стоял и строил различные предположения, дождь вымочил мне лицо и руки.

Я повернул ружье стволами вниз и стал ждать. Куски старого дерева едва тлели. Они шипели и потрескивали, выбрасывая нити беловатого дыма. Я свернул папиросу, прикурил ее от головешки, плотнее запахнул свою тонкую летнюю куртку и, опершись в раздумье о седло, продолжал ждать. Ночь все еще никак не хотела уступать место рассвету. Над оставшимся позади меня селом, а также над расстилавшимся передо мной Езером царила мертвая тишина. Легкий шум дождя в камышах был едва слышен. Я задавал себе все одни и те же вопросы и терялся в догадках, не зная, что мне в конце концов предпринять.

Обернувшись, я вдруг заметил невдалеке на берегу огонек. Он дрожал и маячил, словно красная звездочка. Да ведь это хатенка Марина. Как я раньше не подумал, что могу застать его дома? Мне ничего не оставалось другого, как пойти к нему и спросить, как быть дальше.

Я взял в левую руку повод коня и, медленно ступая по скользкой и липкой грязи берега, пошел к избушке охотника.

Мне казалось, что огонек был совсем близко, но прошло порядочно времени, прежде чем я добрался до него. Ночная мгла вокруг меня постепенно рассеивалась.

Приблизившись к огоньку, я рассмотрел в темноте низенькую хатку, крытую камышом. Свет из нее выходил через единственное оконце величиною с ладонь. Перед хаткой была небожшая расчищенная площадка. Позади скорее угадывались, чем виднелись, двор и садик за дощатым забором.

Я крикнул:

— Дядя Марин!..— и подождал некоторое время.

Никто не откликнулся.

С конем на поводу я подошел поближе и еще раз громко крикнул:

— Дядя Марин!

Кто-то отодвинул дверной засов. Я уже было приготовился заговорить о дожде, об охоте, но вдруг застыл на месте с раскрытым ртом. В двух шагах от меня с лампой в руке стояла девушка, которой было, наверно, не более двадцати лет. Подняв лампу над головой, она старалась рассмотреть меня.

— Кто здесь? Тяти нет дома...

Она тут же умолкла, заметив меня. Будто испугавшись чего-то, она отступила и хотела уйти в хату. Я поспешно сделал шаг вперед.

— Дяди Марина нет дома?

— Нет. А вы боярин из Сарацень, правда?

Я утвердительно кивнул головой и подумал, что бы еще сказать девушке. Она опустила лампу ниже, на уровень своей груди. Свет падал на ее чистое, смугловатое лицо с красиво изогнутыми черными бровями и чудеснейшими глазами, в которых светилась улыбка. И вот тут, на пустынном берегу Езера, в темноте ночи, под дождем, шум которого я перестал замечать, в этом великом безмолвии, перед девушкой с такими красивыми глазами, которая вдруг явилась мне словно из-под земли, с лампой в руке, меня охватила какая-то странная дрожь. Что-то теплое разлилось по всему телу, поднялось к лицу, зажгло глаза. С губ моих готов был сорваться поток безумно смелых слов. Ярким пламенем вспыхнула молодость, любовь, возникающая из мрака и неизвестности, и вдруг повлекла меня, словно сильная волна, к девушке. А она стояла передо мной и улыбалась.

Наконец, она заговорила, опустив веки:

— Тятя отправился было на Езер. Но пошел дождь, и он думал, что вы не приедете... А теперь отец проверяет верши, которые еще с вечера поставил на хорошее место...

Ее нежный голос звучал настоящей музыкой. Свершилось! Моя решимость зрела с каждым мгновеньем. Глаза горели.

— Я долго ждал его у костра и удивлялся, почему он не приходит...

— Нет, он был там...

Я сделал шаг вперед. Она еще отступила. Тогда я торопливо произнес:

— Знаешь что? Я сейчас привяжу коня и зайду в хату немного посушиться... Промок до костей!

Она отступила от двери, и я вошел. Девушка последовала за мной. Лампа в ее руке осветила небольшую комнату с низким потолком, очаг, в котором догорали остатки хвороста, чистые стены. В глубине стоял сундук. Приданое девушки выпирало из него горой.

...Вот пришла любовь, жгучий трепет которой давно ожидала моя молодость, и завладела всем моим существом. Виною этому был дождь, ночь, таинственность незнакомых мест и свет лампы, осветившей мне такие большие черные глаза... Девушка с гладко зачесанными, заплетенными в косы волосами, одетая в голубое ситцевое платье, туго перехваченное узким пояском, и в белую безрукавку с вышитыми наплечниками, смотрела на меня темными, как ночь, глазами и не знала, что сказать. Когда она поставила лампу около очага, я как будто заметил в них испуг.

— Вот это хорошо. Я и не знал, что у дяди Марина есть взрослая дочь...— торопливо проговорил я.— Да еще какая дочь!.. Он ничего не говорил мне.

Девушка молчала, подперев руками подбородок и устремив глаза на огонь лампы.

— Как тебя зовут?

— Кива!

Я раздумывал, что бы еще сказать.

— Я поговорю с дядей Марином, чтобы он не держал тебя больше взаперти...

— Нет, не надо! — поспешно сказала девушка.— Не говорите ему ничего!

В ее голосе прозвучал неподдельный страх.

— Почему?

— Тятя убьет меня, если узнает, что я позволила вам войти в дом...

— Тогда почему же ты все-такипустила меня?

Она как будто раздумывала.

— Но вы ведь сказали, что сильно промокли...

В ее больших глазах светилась доброта.

— Хорошо, Кива... Вот за то, что ты пожалела меня, я куплю тебе серьги...

Она улыбнулась и ничего не ответила.

Некоторое время мы молчали. Где-то приглушенно запел петух. За окном начинало светать. Кровь волной хлынула мне в лицо. Я весь горел. Я не мог произнести ни слова, да мне и нечего было говорить. Я сделал шаг в сторону девушки, она вздрогнула. Протянув правую руку, я обхватил ее стянутую поясом талию и почувствовал, как Кива, напрягая все свои силы, подалась назад, пытаясь отстраниться от меня. Я обнял ее обеими руками. Теперь она могла отвести в сторону только голову. Лицо ее побледнело. Губы, с которых не сорвалось ни звука, были плотно сжаты. Правая рука, которой она сопротивлялась, упершись в мою грудь, постепенно слабела и, наконец, совсем упала. Я крепче сжал Киву в объятиях и начал целовать ее глаза. Она еще пыталась сопротивляться; и вдруг ее губы слились с моими в горячем поцелуе. Черные глаза девушки пылали пламенем.

— Скоро тятя придет домой,— сказала она голосом, в котором звучала грусть.— Светает! Уходите! Вот его голос...

Девушка поспешно отворила дверь. Уже забрезжил пасмурный рассвет; над бесконечным простором Езера поднимался туман, и пелена его неподвижно висела во влажном воздухе. Откуда-то с воды, летя через ивовые роши и заросли камыша, то нарастая, то спадая, несся громкий протяжный крик.

Девушка тихо сказала:

— Вот уже подплывает...

Отвязав повод и закидывая его коню на шею, я спросил:

— Почему он кричит?.. Что он такое говорит?

— Ничего. Так просто кричит. Это значит, что я должна подойти к берегу, взять у отца рыбу, приготовить поесть,— ответила Кива и, быстро взглянув на меня,

опустила глаза. Щеки, за минуту перед тем бледные, зарумянились, словно спелое яблоко.

Я хотел еще что-то сказать ей и снова прогянул было руку, но она быстро увернулась от меня.

— Приеду завтра утром! — произнес я дрожащим голосом.

Кива ответила не сразу. Потом прошептала, отвернув лицо:

— Завтра не приезжайте, завтра воскресенье... отец будет дома...

— Тогда я приеду в понедельник... в это же время...

На это Кива ничего не ответила и, повернувшись, быстро вошла в хату. Притворив за собой дверь, она с шумом задвинула засов. Свет в окне погас. А с востока, сквозь нагромождения рваных туч, пробивалась розовая заря и заливала потоками света старое болото. Дождь все не прекращался, но уже не лил, а лишь чуть-чуть накрапывал. Голос, доносившийся с берега, умолк. В тишине, которая снова легла на эти пустынные места, в туманной мгле раннего утра я сел на коня и пустился, словно подгоняемый кем-то, в Сарацини.

IV

В моем сердце пылала любовь, первая любовь! Запершись один в своей комнате, я горел, словно в жару. На улице шел дождь. Я припоминал каждое мгновение, которое провел наедине с Кивой, перебирал в памяти мельчайшие подробности, каждый ее взгляд, губы мне жег ее горячий поцелуй, воспламенявший кровь. Теперь, вдали от девушки, я думал о том, что мог бы вести себя смелее. Я тосковал по ней, по ее глазам, успевшим метнуть в меня свои молнии, по ее поцелую, опьянение которого еще не прошло. Я словно ощущал на своей груди теплоту ее упругого, словно налитого, тела. Я весь был поглощен одной мыслью, одним страстным желанием: поскорее увидеть Киву.

Первая любовь! О ней я только читал в книгах да знал кое-что по разговорам. Я мечтал, как мечтают, наверно, многие юноши о стройной девушке, об уединенном лесном уголке, об усыпанных цветами лугах, о ручейке, журчащем в тиши вечерних сумерек, о шепоте, клятвах и обе-

щаниях. Но как далеки оказались все мои представления о любви от той внезапной, иссушающей душу, сладостной болезни, которая с такой непреодолимой силой влекла меня к дочери охотника, живущего там, на берегу озера. И с какой поразительной быстротой все это произошло! С одного взгляда, от нескольких случайных слов! Я даже не мог как следует собраться с мыслями. И вообще не мог ни о чем думать. Мысли разбегались у меня в голове и снова собирались в одной точке, и тогда передо мной возник образ Кивы...

Я строил в голове различные планы, мысленно производил страстные речи. А время текло медленно-медленно, как капли дождевой воды, мягко скатывающейся с крыши. Мне хотелось вскочить на коня и помчаться к Киве. Но, одумавшись, я сдержал себя,— это было бы безумием. Невозможно передать словами, как я провел ночь на воскресенье, каким я был разбитым весь следующий день и ночь,— казалось, она никогда не кончится; каждая минута ожидания вызывала у меня лихорадку. Если вы люди, то вам знакома любовь, от которой содрогается все существо человека и мутится разум.

В понедельник, задолго до рассвета, я уже мчался галопом на своем Корбе по степи, раскинувшейся под ясным и безлунным ночным небом, усеянным золотыми огоньками. Конь бежал так быстро, что ветер свистел в ушах.

Когда вдали сверкнул Езер, я умерил бег своего скакуна. Сделав большой крюк, я по берегу подъехал к домику Марина. В окошке, как и прошлый раз, светился огонек.

Сердце у меня сжалось. А вдруг Марин не уплыл на озера? Что я тогда стану делать? Тревожила меня и другая мысль. Девушка ведь при моем отъезде так ничего и не ответила мне. Что станет с моим бедным сердцем, если она не захочет меня видеть? В голове пронеслось еще много различных мыслей, которые появлялись и исчезали, словно вспугнутые птицы.

На расстоянии ружейного выстрела от домика я спешился и повел дальше коня на поводу. Хотя шел я медленно, сердце мое бешено колотилось, дыхание было тяжелым.

Оставив коня поблизости от дома, я подошел и замер перед дверью. Хотел окликнуть, но кого? Может быть, охотник еще не ушел? Да и голос вдруг перестал мне повиноваться.

Наконец, я очнулся. Голос Кивы, прозвучавший совсем рядом, спросил за дверью:

— Это ты, тятя?

— Нет, Кива, это я, отвори...— едва пробормотал я.

Ответа не было. Может быть, девушку мучили сомнения; может быть, она думала, что не следует впускать меня.

— Разве ты не узнаешь меня, Кива? — умоляющим голосом произнес я.

Быстро скрипнул засов. На пороге стояла Кива. Она была бледна. В ее темных глазах сверкали отблески лампы. Стиснув зубы, как в тот миг, когда я поцеловал ее, она стояла неподвижно, в нерешительности.

Дрожа от волнения, я протянул руки. Девушка резко, словно от толчка, отпрянула назад и тихо, едва слышно простонала:

— Тебя застанет тятя!

Я шагнул в сени, и она забилась в моих объятиях. Затем вдруг затихла, прижалась к моей груди, обхватила меня руками за шею, и я почувствовал теплоту ее тела, ее горячее, опьяняющее дыхание.

▼

Моя душа обрела, наконец, покой. Вернувшись домой, я вышел в поле посмотреть, как идет молотьяба. Весело, чего никогда не случалось раньше, говорил я с Драгомиром, который был удивлен этой неожиданной переменой в обращении; я пообещал рабочим водки и долго смотрел, как быстро движутся они меж золотых снопов, как ловко работают цепями, оглашая воздух громким говором и веселыми шутками.

После полудня я отправился на Езер. Конь шел ленивой рысцей. Господин Санду, хозяин корчмы, ждал меня, как обычно, стоя на пороге, уперев руки в бока и дружески улыбаясь.

— Опять вернулась хорошая погода, сударь! Что вы на это скажете, а? Вас уже дожидается дядя Марин...

И тотчас вслед за этим, громко топая тяжелыми сапогами и испытующе глядя на меня своими зелеными глазами, на крыльце появился старый охотник.

— Тогда я не стал ожидать вас...— проговорил он низким, усталым голосом.— Погода была плохая... Я знал, что вы не придете...

Под его взглядом я вдруг почувствовал странное беспокойство. Я отвел глаза в сторону, поглядел на коня, которого Санду вел в конюшню. Но суровое и печальное лицо старого охотника опять стояло передо мной. Я повернулся и внимательно посмотрел на него. Не догадывается ли он? Не чувствует ли чего?

Но Марин ничего не подозревал, да у него и не было никакого повода для этого. Спокойно набив табакотрубку, он взял ее в рот и окинул меня долгим взглядом.

— Что с вами, боярин Никулицэ? Плохо чувствуете себя? Вы как будто осунулись, похудели... Утомились, видно, а?

— Да, я много ездил по полям...

Усталым, однако, я себя вовсе не чувствовал и не понимал, что такое со мной. Давила какая-то тяжесть, неясное беспокойство.

Я невольно покосился на огромные, с узловатыми пальцами руки охотника. И мною вдруг начал овладевать страх перед этими большими руками, которые могли задушить меня в одну минуту, перед долго сдерживаемой ненавистью старика, которая могла неожиданно прорваться и всей силой обрушиться на меня.

Я и сам не мог бы отдать себе отчет в моем чувстве. Эти страхи возникали во мне и тут же исчезали, как легкое дуновение ветра.

Поставив коня, хозяин корчмы принес водки, распечатал и дал Марину пачку табаку, а потом остановился передо мной, оперев руки в бока:

— Сударь, у меня цыпленок жарится для вас, и уху я поставил варить, дядя Марин поймал карпа в Езере... Даю честное слово, будет сделано, как в ресторане! — И он протянул вперед указательный палец, словно хотел его мне подарить.

И тот вечер и еще много следующих вечеров провел я на охоте в плавнях. По утрам мне было не до того. Иногда Марин спрашивал меня:

— Почему вы не придете, барин, как мы договаривались, на заре?.. Увидели бы настоящую охоту!..

— Хорошо, хорошо, дядя Марин, как-нибудь приеду,— торопливо отвечал я.— Но завтра утром навряд ли...

Сердце мое сжималось, я отводил взгляд от старика и решительно прибавлял:

— Нет, завтра у меня много дел, я не смогу приехать...

Каждое утро, перед восходом солнца, мой Корб, словно ветер, летел по росистой степи к Езеру. Если в домике на берегу не мерцал огонек, я с тяжелым чувством задумчиво и медленно возвращался назад, когда же свет в окошке горел, меня заливала волна счастья. Веда коня за собой, я медленно подходил к знакомой двери, и тут же до меня долетал мягкий, испуганный голосок:

— Это ты, тятя?

Мое сердце, словно раненая птица, сильно билось в груди.

Наша любовь не могла дольше мириться с теми утрами, когда лампа не светилась в окне.

В такие дни Кива с устремленными в одну точку, испуганными глазами приходила к дуплистому дереву, росшему недалеко от берега, среди переплетавшихся с камышом трав. При малейшем шорохе она настораживалась, тихий стон срывался с ее губ, когда я обнимал ее. Она крепко прижималась к моей груди и, бледнея, дрожала, как в ознобе.

— Что с тобой, Кива? — тихо спрашивал я.

Но у нее едва хватало сил, чтобы ответить:

— Ох! Если узнает тятя... если он узнает... горе будет тогда моей головушке! Я очень боюсь его гнева...

Ее опасения отчасти разделял и я. Но мои страхи были гораздо слабее и являлись скорее беспокойством перед неизвестностью. Ведь я любил эту девушку со всей силой своих двадцати двух лет.

Теперь мне не было никакого дела ни до имения, ни до поручений отца, ни до чего другого, кроме моей любви! Меня даже не интересовали письма, приходившие из Бухареста; я словно видел чудесный сон. И мне ни за что не хотелось просыпаться.

Драгомир с довольным видом покручивал усы и насколько не стеснял меня. Он весело встречал и, хитро ухмыляясь, провожал меня, чтобы на свободе устраивать свои дела. Но мне было безразлично все, что он мог натворить в мое отсутствие. Я желал только одного: чтобы весь мир оставил меня в покое.

Казалось, что и для Кивы вся жизнь заключалась теперь в нашем любовном шепоте. Она со страхом под-

жидала меня и с ужасом в душе расставалась со мной. Она похудела, лицо ее осунулось. В блеске ее глаз чувствовалось затаенное страдание. Она смотрела на меня стыдливо и покорно. Но страх перед гневом отца, глубоко сидевший в этой сильной натуре, порой прорывался в ее словах, глядел из ее больших глаз. И тогда словно чье-то холодное дыхание проносилось над нашей любовью.

Кива была простая девушка. Она не умела говорить красивых слов. Но свежесть чувств подсказывала ей своеобразные суждения о многих вещах. Она прекрасно понимала, что совершила ошибку, что молодой боярин уйдет от нее. Но что она могла с собой поделывать? Чувство, более сильное, чем страх перед будущим и чем ясное сознание своей ошибки,— чувство, пробужденное пылом молодости, заставило ее броситься в пропасть очертя голову. Меня поразили ее слова, высказанные тихим, прерывистым голосом, когда она робко дала мне понять, что я перед ней ничем не обязан.

Как-то на заре, когда мы встретились в нашем укромном местечке под сенью дерева, Кива сказала мне с волнением в голосе:

— Пускай тятя даже и узнает обо всем — мне кажется, я ничего не испугаюсь... Я тогда скажу ему, что иначе не могло быть...

— Когда это «тогда»?

— А когда все откроется... Сейчас я этого очень боюсь, а тогда, может быть, и не будет страшно... Когда он топтал каблуками мать... я плакала, будто и меня он собирался убить. Но маму он не убил!.. Она сама умерла, позже... У нее было слабое сердце... Я тогда была совсем маленькой, но все хорошо помню...

— А отчего, Кива, это произошло?

— Я все поняла,— ответила девушка, посмотрев на меня с застенчивой улыбкой.— Мама жила со старым боярином... Отец кричал, что убьет меня, что я не его ребенок, что я поганая и он бросит меня собакам... Я все поняла. А потом мать умерла!

Я с тревогой взглянул на нее и, наконец, понял, почему всегда таким мрачным и суровым был старый охотник. И, может быть, то, почему такой необычной была любовь Кивы. Однако я все еще не осознал ошибки, совершенной мною по молодости! Я даже не мог понять, в чем она со-

стоит. Но грустные дела минувшего, воскресавшие передо мной, вызывали в душе какую-то боль.

Кива, сидевшая рядом, задумалась, устремив вдаль неподвижный взгляд своих больших черных глаз. Потом произнесла мягким голосом:

— Мать моя грешила с боярином... Видно, на мне лежит проклятье!..

И тут же прибавила, рассмеявшись:

— Оставь, Никулицэ, все это пустяки; может быть, еще никто ничего и не узнает!

Она закрыла глаза и склонилась ко мне, ожидая поцелуя.

В мутном свете утренней зари я ехал верхом в Сарацини, опьяненный любовью. Но в мои сладостные грезы порой врывались тени матери Кивы и старого боярина. Тогда, давно, тоже была любовь, может быть, похожая на мою, и боярин без малейшего угрызания совести, не дав себе даже труда заметить это, разбил две жизни. А теперь я разбивал жизнь дочери Марина. Возможно, дочери тех двух, которые больше уже не существуют... Что же будет дальше?

Я не представлял себе конца моей любви. Каждый прожитый день озарял мою душу ярким светом, каждый миг был наполнен безграничным счастьем, и мне казалось, что это счастье будет длиться всю жизнь, как бесконечной будет и моя молодость. Лишь по временам, словно очнувшись от сладкого сна, я замечал, что меня неотступно преследует суровый и гневный образ старого охотника...

Передо мной, теряясь в туманной дали, расстилалась плоская, без единого холмика, без деревца Бэрэганская степь. Я ехал один под огромным куполом неба, занятый мыслями о своей любви и терзаемый смутным беспокойством. Легкий ветерок, веявший над степью, ласкал мне лицо.

Где-то далеко-далеко печально прозвонил два раза станционный колокол. Сквозь туман блеснули первые лучи восходящего солнца.

VI

Наши встречи длились до начала осени. Задолго до рассвета я приезжал к Езеру, пробирался, точно вор, подалее, стороной от села, привязывал где-нибудь у

опушки рожицы коня и, как всегда, с бьющимся сердцем направлялся к хорошо знакомому местечку. Над плавнями царила тишина, только изредка раздавалось хлопанье крыльев или короткий одинокий крик птицы. Кива, в простеньком ситцевом платье, в ботинках на высоких каблучках, гладко причесанная, уложив венком косы, с сияющими глазами, поджидала меня. Когда я подсаживался к ней, лицо ее расцветало счастливой улыбкой, она протягивала руки ладонями ко мне, словно защищаясь.

Никто ничего не подозревал. Места, по которым я проезжал верхом, были безлюдны и лежали вдали от села, — никто не мог заметить моих приездов и отъездов.

К вечеру обычным путем я отправлялся к Езеру и останавливался в корчме Санду. Бывший капрал тут же появлялся передо мной с водкой и табаком для Марина, болтал о всякой всячине и весело улыбался, как старому приятелю. Марин тоже всегда был во-время на месте. Он стал относиться ко мне еще дружелюбнее. Пока мы спустились к берегу, он сам рассказывал или расспрашивал меня о том, что творится в мире. Добравшись до места засады, мы умолкали, сосредоточенно глядя на озеро, прислушиваясь к малейшему шороху, готовые каждое мгновение нажать на спусковой крючок ружья. Порой я даже забывал, что Марин отец Кивы. Ведь я никогда не видел их рядом, никогда не слышал разговора отца с дочерью.

Однажды, когда я, спрыгнув с коня, вошел в корчму, Санду встретил меня многозначительной улыбкой: он как будто хотел сообщить мне по секрету что-то необыкновенное или же расспросить меня о чем-то важном, но не решился. Марин, на своем обычном месте, прочищал трубку. Поздоровавшись со мной тихим голосом, он продолжал заниматься своим делом. Ничто не внушало мне тревоги, хотя Санду Попеску всячески старался показать, что хочет со мной поговорить. Когда мы с Марином уже собрались идти к плавням, Санду подал мне знак, указывая глазами на охотника.

Я строил в уме различные догадки. Может быть, Попеску что-то узнал, может, до него дошел слух и он хочет предупредить меня. Только бы у самого Марина не появилось подозрения... Беспокойство закралось мне в душу, я стал следить за каждым движением старого охотника.

Ничего особенного я не замечал. Марин, как всегда, отвязал веревку, оттолкнул от берега лодку и стал спокойно грести. Лодка послушно скользила по знакомым просекам среди зарослей камыша, под купами верб. Марин говорил очень мало, но это с ним случалось не впервые.

После охоты мы возвратились в корчму, и Санду странно засуетился, как будто не мог решиться на что-то... Наконец, когда ушел Марин и я уже оседлал коня, он подошел ко мне и коснулся рукой моего плеча:

— Боярин Никулицэ...

— В чем дело, Санду?

Он смотрел на меня улыбаясь.

— Видите ли, боярин, сегодня утром, на рассвете... Не вы ли проезжали верхом на коне недалеко от края села к Езеру?..

— А что такое?

— Да так, ничего... Просто спрашиваю. Говорил тут один человек у меня в корчме, что видел вас... А я ведь знаю, что в это утро вы не были с дядей Марином в плавнях...

— Нет, не был...

— А проезжали?

— Но если у меня здесь не было никакого дела, зачем бы я стал заезжать сюда?

— Да, да... то же самое сказал и я дяде Марину. Он все допытывался у того человека, видел ли он именно вас...

— Так, дядя Марин расспрашивал, не я ли это был? Нет, у меня утром много других дел... Мне даже на охоту выбраться некогда...

— То же сказал и я... Но дядя Марин не переставал допытываться... А тот человек потом уже стал говорить, что не знает наверняка, что ему, может, и померещилось...

— Ну ладно... Но почему все-таки дядя Марин так настойчиво спрашивал его? Разве он сам не знает, что меня здесь не было? — сказал я и почувствовал, что и спрашиваю и отвечаю слишком уж легко. Пора прекратить этот ненужный разговор. Санду, попрежнему улыбаясь, смотрел мне в глаза. Я смолк.

— Ну, тогда все... Я хотел лишь узнать... И только.

Его хитрые глазки будто ожидали от меня признания. Я быстро вскочил в седло и пришпорил коня. Охваченный беспокойством, я дорогой начал перебирать в памяти каждое движение старого охотника, вспоминать его косые

взгляды. Я подумал о Киве, о наших встречах на утренней заре, которых я так нетерпеливо дожидался... Затем в голове моей снова всплыл образ дяди Марина, промелькнуло множество мыслей. Но я не пришел ни к какому решению и не отказался от очередной ночной поездки к Езеру.

На следующее утро я, как всегда, хотя и с некоторым беспокойством, направился к знакомым местам, на этот раз сделал крюк больше обычного. Меня встретила Кива, глаза ее блестели, теплая, трепетная, она застонала, словно от боли, когда я сжал ее в объятиях, и мои тревожные мысли рассеялись как дым.

Однако на третий день, когда я, долго кружа в окрестности, повернул на знакомую тропинку, конь вдруг начал поводить ушами. Спрыгнув на землю, я взял в руки ружье. И в молочном тумане предрассветной мглы я неожиданно увидел рядом с собой Киву. Она крепко обняла меня и прильнула губами к моему рту. Я затрепетал от жгучего поцелуя, как в первый миг нашей любви.

Положив мне руки на плечи, она прошептала:

— Стой, не ходи дальше, возвращайся назад... Я прибежала, чтобы сказать тебе об этом...

Я окаменел. Она смотрела на меня блестящими глазами и, казалось, улыбалась. Ее горячее дыхание обжигало мне лицо.

— Что случилось, Кива?

— Не знаю... Вчера тятя весь день молчал и все смотрел на меня... Потом, когда я вечером подавала ему ужин, он неожиданно спросил: «Почему ты так похудела? Почему на тебе лица нет? Что с тобой?» — «Ничего, тятя, — ответила я. — Что со мной может быть особенного?» И покраснела... Тогда он закричал на меня: «Что за еду ты мне подаешь?..» Ударил по лицу... Потом кулаком в грудь... Я упала на пол... Я поняла... До него, наверное, что-то дошло...

— Нет, Кива, не бойся... Откуда до него могло дойти?..

Я старался говорить твердо, но чувствовал, что голос мой дрожит. Уткнувшись лицом мне в грудь, девушка рыдала.

— Если он узнает, если узнает, тогда он и меня будет топтать ногами, как мою мать. — Она посмотрела на меня сквозь опущенные ресницы. — Если он узнает, он убьет меня и бросит в Езер, Никулицэ... О! Ты не знаешь моего отца... Я-то знаю его, насмотрелась!..

Ее слезы жгли мне руки.

Она хотела еще что-то сказать и вдруг встrepенулась, выпрямилась. Затем, нагнув мою голову, она дважды поцеловала меня в глаза со вздохом любви и печали и, повернувшись, исчезла в тумане, клубившемся волнами над болотом.

На душе у меня было тяжело. Я был в смятении. Перед глазами словно начертанный кровью встал вопрос: «Правда ли это? Подозревает ли он только или все узнал?» Слабый утренний ветерок донес до меня легкий шум шагов и чьи-то голоса. А может быть, мне показалось. Я почувствовал, что у меня кольнуло в сердце. Почти в беспамятстве я вставил ногу в стремя и бросился в седло.

VII

Весь день меня мучило болезненное желание — узнать, которое заставило меня, чуть только время перешло за полдень, с предчувствием чего-то недоброго стрелой полететь в корчму Санду, а оттуда — направиться к лодке, которая, как всегда, ожидала меня.

Я внимательно присматривался к корчмарю, к старому охотнику. Нет, как будто ничего особенного не произошло. Я уже начал рассуждать: «Некоторое время не буду приезжать по утрам, и все успокоится. Старику, конечно, ничего неизвестно. Да откуда ему знать?.. В нем незаметно никакого беспокойства».

Вот он с трубкой во рту не спеша отвязывает веревку, прилаживает весла и осторожно укладывает ружье на носу лодки. Мимоходом посмотрев, хорошо ли я уселся, он погружает весло в мутную воду. Мы трогаемся и медленно входим в заросли рогса, а потом на камышовую стежку.

Сегодня мы как будто немного запоздали. Солнце уже садилось за нагромодившиеся на горизонте горы темно-синих туч. На водяных просеках поблескивали рыжеватые солнечные блики. Над нами со свистом проносились стайки уток.

— Не опоздаем мы сегодня, дядя Марин?

— Зачем же? Нет, не опоздаем!..

Мы постепенно подвигались все дальше вглубь Езера. Тысячи голосов живых существ, населяющих плавни,

наполняли шумом камыши — как это бывает перед непогодой. На западе, среди покрывших половину неба туч, вдруг возникла на всем их протяжении извилистая золотая тропинка. Казалось, в вышине застыла в угрозе изломанная молния.

— Быть грозе, дядя Марин!..

Охотник, не поворачивая головы, продолжал усиленно грести. Из его трубки поднимались маленькие кольца табачного дыма.

Стена облаков на западе внезапно расступилась, и в образовавшиеся просветы забили багряные лучи заката. Вода плавней до самых ивовых зарослей, чернеющих вдаль, казалась кровавой.

Лодка сделала большой крюк по огненной воде. Потом свет начал медленно угасать. Отчетливее послышались всплески воды под веслами. Облака на западе снова сошлись, и тут же по болоту протянулись тени. Шум в камышах стих. Одинокая цапля, медленно хлопая крыльями, пролетела вдалеке, время от времени издавая громкие протяжные крики.

Наша лодка скользила под ветвями ив, потом снова вошла в камыши, которые, казалось, перешептывались, склоняясь друг к другу стеблями. Легкий туман, поднимавшийся над Езером, как теплое дыхание живого существа, постепенно окутал нас. Свет все больше меркнул, как бы глядя на окрестности из-под опущенных век.

— Дядя Марин, где мы остановимся? Неплохо было бы здесь, направо, под ивами...

Старый охотник будто востропнулся, однако не повернулся ко мне. Трубка у него во рту уже не дымилась. Он с еще большей силой налег на весла.

— Мы едем в другую сторону? — забеспокоился я.

Марин молчал. У меня заныло внутри. С небывалой силой вспыхнула давно мучившая меня тревога. В голове вихрем пронеслись воспоминания об утреннем появлении Кивы, о голосах, которые я как будто слышал... Я хотел приподняться, спросить... И тут мое сердце бешено забило: лодка вошла в заросли камыша и ткнулась носом в большое дуплистое дерево. Марин поднялся. Покачнувшись, я тоже встал и вышел на берег возле устланного водяными травами знакомого ложа. Место наших встреч! Словно молния ослепила меня. Я закрыл глаза. Я понял!

— Ты понял? — с трудом проговорил Марин, приблизив ко мне лицо. Его круглые глаза жгли меня, пронизывали. Я почувствовал совсем близко его шумное дыхание. — Зачем ты обманул мое дитя?..

В правой руке я держал ружье. Левая бессильно висела вдоль бедра. Что-то холодное, словно змея, обвивалось вокруг моего тела, охватывало меня целиком. В горле у меня пересохло, язык отяжелел. Я не мог произнести ни слова. Я понял, ясно понял, что должно произойти! Я представлял себе и то, что уже, возможно, случилось. Мой напряженный слух как будто улавливал в шорохах камыша доносящийся откуда-то издалека голос существа, которое гибнет или уже погибло в болоте:

— Никулицэ! Никулицэ!

Я встрепенулся... С моих губ помимо воли сорвался вопрос:

— Где Кива? Что ты сделал с ней?

Охотник захохотал. Его круглые глаза блестели, как воды Езера. Вдруг голос, чужой голос, глухой, усталый, наводящий ужас, — и все-таки это был голос Марина:

— Где она? Что я сделал с ней? Я-то? А ты, ты что сделал с ней? — И он снова ощерил зубы, продолжая неподвижно стоять передо мной.

— Боярин! Мироед! Слышишь! Ты поступил так же, как поступил когда-то тот, другой, который умер!.. Он опозорил мою жену, чуть не пустил меня по миру, преследовал меня... Теперь мироед снова показал себя!.. Снова показал. Что ты сделал, собака! Отвечай, пес, зачем ты обесчестил мою дочь? Зачем погубил ее? За что ты отравил мне жизнь?

У меня не было сил даже сдвинуться с места. В страшном голосе старого охотника звучала давнишняя, затаенная ненависть, ненависть всепоглощающая, не имеющая названия, ненависть, может быть, всего оскорбленного бедного люда. Я очень хорошо понимал в тот момент, что он безжалостно раздавит меня, что у меня нет никакой надежды ни на спасение, ни на прощение.

Руки, огромные руки охотника, с проступившими на них толстыми, как веревки, венами, с растопыренными узловатыми пальцами, потянулись ко мне. Они двигались, медленно приближаясь, будто какие-то фантастические звери, готовые вгрызться мне в горло. В мозгу молнией пронеслась мысль: «Если я сейчас же, сию минуту, не взведу

курки и не выстрелю в Марина,— все кончено. Пальцы схватят меня мертвой хваткой за горло и задушат!»

Не знаю, сколько времени мы стояли так друг против друга, не знаю, долго ли длился безумный ужас, от которого окаменели мои руки. Мне казалось, что прошла вечность. За это время я успел только окинуть взглядом пространство Езера, окутанное туманами, тайнами и нарастающей в полосах крови темнотой, да подумать о Киве, жива ли она еще, или лежит, вытянув вперед руки, среди водорослей, в глубине черных вод.

Я уже почувствовал на себе тяжелые руки и увидел почти перед самым лицом злобные, горящие глаза, но туг ружье мое наклонилось и согнутый палец правой руки вздрогнул.

Раздался оглушительный грохот, нарушивший глубокое спокойствие старых ив. Я провалился в бездонную тьму.

Когда я открыл глаза, надо мной горели звезды, рядом лежал мертвец с белыми застывшими глазами, а я все еще ощущал сжимающийся вокруг моей шеи железный аркан.

1905 г.



КРОТЫ

Осенью Ницэ Лепэдату пришел в Илишень, в имение помещика Жоржа Аврэмьяну, с котомкой за плечами и увесистой, вытертой до блеска палкой в руках. Он поднялся на вершину холма и остановился у кошар, разглядывая помещичью усадьбу с прудом внизу, в долине. Вокруг раскинулись пустынные земли, простиравшиеся к востоку до самой реки Прут. Много десятков верст прошел Ницэ и не видел человеческого жилья; просторы между реками Жижие и Прутом были в то время почти необитаемы.

Минуя амбары, Ницэ услышал голоса и равномерный стук веялок в одном из сараев. За сараем неподвижно стояла тощая лошадь и, опустив голову, дремала под осенним солнцем. Кудлатая белая собака выскочила неизвестно откуда и с яростным хриплым лаем бросилась под ноги пришельцу. Лепэдату, отбиваясь от нее палкой, не спеша направился к сараю, откуда доносился шум веялок.

— Эй! Кто там? — услышался тонкий голос, похожий на блеяние овцы, и в дверях сарая появился небольшого роста старик без шапки, с взъерошенными волосами. — Что тут такое? Пошел, Колцун! — прикрикнул он на собаку. — Пошел в свою конуру, чтоб тебя семь чертей!..

Бросив в собаку палкой и загнав ее в конуру, старик, повернувшись к Ницэ, внимательно посмотрел на него.

— Э-э-э... — удивленно произнес он, — да ты, парень, видать, не из наших мест. Я тебя никогда здесь не видал... Что же тебе тут надо?

— Верно, дедушка,— ответил Лепэдату,— я иду изда- лека, с юга...

— Тебя кто-нибудь послал сюда?

— Нет. Сделайте милость, дедушка, скажите, кто хозяин этого имения, смогу ли я здесь устроиться на работу?

— Ладно, парень,— проговорил старик своим тонким голосом.— Раз уж ты забрел в наши края, то работа для тебя найдется. Имение большое... И помещик наш чело- век хороший.

— А как зовут его?

— Боярин Жор... Так все его и зовут, боярин Жор Аврэмю... Да ты иди к нему во двор, переговори сам...

— Хорошо,— тихо сказал Ницэ Лепэдату.

Старик посмотрел на него маленькими живыми гла- зами. Ницэ показался ему усталым, лицо его было покрыто черной дорожной пылью. Зеленые глубоко сидящие глаза грустно смотрели из-под густых бровей. Бритва, видно, давно уж не касалась его бороды. Пышные, закрученные кверху усы не закрывали ему рот. Время от времени Ницэ кончиком языка облизывал сухие, обветренные губы.

— Очень пить хочется,— с трудом выговорил он.— Сделайте милость, дайте мне, пожалуйста, кружку воды...

— А почему бы нет?.. Было бы грешно отказать тебе,— отвечал старик.— Пойдем ко мне в землянку,— привет- ливо пригласил он.

— Меня зовут Настасе Тентя,— улыбаясь, говорил он по дороге в землянку.— Я служу тут давно... пережил уже три поколения хозяев. Многих усталых парней, вроде тебя, поил водой. За это, может, и мне кто поднесет осве- житься на том свете.

Не переставая говорить, он торопливо шел, шаркая по сухой земле тяжелыми постолами из сыромятной кожи. Ветер пузырем вздувал рубаху из грубой домотканной холстины, слишком широкую для маленького и слабого старческого тела. Высокие, обширные сараи с навесами, под которыми люди веяли и очищали зерно, остались по- зади. Тентя привел Лепэдату к своей землянке; сначала спустился по ступенькам он сам, а вслед за ним в неболь- шую комнату с обмазанными глиной стенами вошел и путник. В углу стояла печь, дымовая труба которой ухо- дила прямо в крышу землянки. У стен стояли лавки,

покрытые грубым рядом. В глубине землянки виднелось круглое отверстие с замазанным стеклом, таким маленьким, что к нему едва можно было прильнуть глазами и носом. Дневной свет проникал в землянку главным образом через отворенную дверь. У очага, на маленькой трехногой скамеечке, сидела девушка лет двадцати; она безуспешно пыталась разжечь кукурузные стебли. При появлении старика с гостем она подняла голову от печки, удивленно взглянула на незнакомого человека и, машинально оправив ситцевую юбку и полотняную рубашку, улыбнулась.

— День добрый! — сказал Ницэ Лепэдату, посмотрев на нее.

— Благодарствую, дяденька!

Настасе нашел за дверью ведро, постучал по нему носком постола и быстро проговорил тонким голосом:

— Хм... Девушка на выданье... а ведро пустое... Возьми же ведро, Маргиолица, да принеси студеной воды, подай усталому путнику, пусть прохладится.

— Сейчас схожу, отец, — зардевшись, торопливо ответила девушка; взяв ведро, она быстро вышла, опустив голову и потупив глаза.

— Так-то вот... хм... — оживился Настасе. — Вот она одна у меня и есть, а что случилось с женой — не знаю. Как ушла от меня лет двенадцать — тринадцать назад, так и нет ее до сих пор. Дочь — девушка хоть куда, да только скучно ей здесь по целым дням одной... Церкви у нас нет, чтобы пойти в воскресенье. У Серета и у Молдовы я не видел ни одной деревеньки без попа и без церкви. Там и люди, должно быть, другие. А у нас даже хороводов не водят. Когда еще я был парнишкой и жил в других местах, хозяева устраивали хороводы. А у нас будто нет хозяев... Живешь, как богу угодно. А ведь она тоже живой человек, молодая, хочется и ей погулять. Невелика радость сидеть со мной в землянке.

— Верно, — устало вздохнул Лепэдату и опустился на лавку.

— Так-то вот... хм... — продолжал старик. — Здесь станешь дикарем... И дочка растет, как в лесу. Иной раз бывает она, правда, у помещика в доме. Научила ее там разному мадама: как с людьми разговаривать, как ходить... Раза два на базар ездила в город Сэвень — вот и все, что видела дочка моя.

— Что ж, люди живут, как могут,— мягко заметил Ницэ.

— И то правда... хм... А я рад, когда здесь появляется душа человеческая. Есть хотя бы с кем словом перебраться. Ты, значит, издалика идешь, с юга?

— Да, с юга... Но это не так далеко.

— Может быть, из самых Ясс?

— Нет, Яссы далеко. Я там никогда не был. Я тоже бедняк, вырос без родителей...

— Так-то вот... хм! — снова вздохнул Настасе и поднялся.— Вот и дочка с водой идет...

Торопливо шлепая босыми ногами, вошла запыхавшаяся девушка. Большие глаза светились на ее смуглом лице. Она спустилась по двум ступенькам в землянку, взяла на шестке глиняную кружку, наполнила ее водой и подала путнику. Ницэ Лепэдату выпил залпом и попросил еще. Выпив вторую, он вытер губы и усы рукавом рубахи и, возвращая кружку, сказал с оживлением:

— Хорошая вода! Дай тебе бог здоровья. Пусть исполнятся все твои желания.

— Так-то вот... хм, лучше воды, знать, нет ничего на свете,— вставил старик.

Девушка кротко улыбалась. Поставив ведро с водой за дверь, она снова уселась на трехногой скамеечке, у очага. Ницэ Лепэдату заметил, что она зарделась пуще прежнего. А ее прическа стала глаже и аккуратнее, чем раньше. Уж, верно, она посмотрелась в источник и освежила лицо и волосы чистой водой.

— Ну, что же мне теперь делать? — спросил Ницэ.

— Что делать? Сначала ты с нами поешь. Мы ведь тоже люди... Потом пойдем с тобой туда, на помещичий двор. Я думаю, что ты останешься у нас. Боярин Жор всегда нуждается в рабочих руках.

— Ему нужны люди для ухода за скотом,— вмешалась сидевшая у очага Маргиолица.

— А ты откуда знаешь? — удивленно спросил старик и, покачав головой, улыбнулся.

— Слышала... когда была там, в доме помещика...

— И то... хм... Человек для ухода за скотом нужен будет,— уверенно заключил старик.

От долгой дороги и зноя Ницэ Лепэдату чувствовал себя очень усталым, но вода, отдых в землянке и обед, приготовленный девушкой, возвратили ему бодрость. Он

стал рассказывать о себе, о краях, откуда пришел, и о помещиках, у которых работал. Затем дал старику поговорить о своем. Ницэ глядел на девушку и чувствовал себя в этой землянке как среди своих.

После обеда старик с Ницэ отправились к помещику. Маргиолица, стоя на пороге, провожала их взглядом. Она думала о том, что если парень не устроится, то снова пойдет скитаться по свету и никогда уже больше не возвратится в их землянку, чтобы повидаться с ней. Девушке стало грустно. По выражению глаз и по разговору Ницэ показался ей добродушным человеком. Она была не прочь, чтобы он пришел к ней в землянку, сел на лавку, посмотрел бы на нее и попросил кружку холодной воды.

Солнце клонилось к западу, погружаясь вдали, у холмов, в прозрачные гряды облаков. Дул сухой ветер. Вокруг, насколько хватал глаз, виднелись вспаханные поля, жнивье, полосы кукурузы; в долине неподалеку сверкал пруд; на небольшой возвышенности чернел колючий кустарник. Нигде не было видно ни лесов, ни садов, ни сел. Над этим ровным пространством висел беловатый свод небес. Старик и Ницэ медленно шли по полевой дороге, поднимая черную пыль, которой ветер окутывал их, а потом относил на жнивье и на буйные сорняки, росшие на межах кукурузных полей. Стайка скворцов и галок, выпорхнув из-за амбаров, некоторое время парила в воздухе и спустилась в ложбинку.

— Хм! Ну вот мы и дошли,— сказал старик.— Сегодня суббота, помещик, наверное, дома. В субботу он раньше возвращается с поля.

— У него большое имение? — спросил Лепэдату.

— Что-о-о? — с удивлением уставился на парня старик.— Сколько видит глаз и еще того дальше... Страсть какое огромное имение. Самое крупное, больше этого не бывает. А если бы оно было еще больше, как бы его и обработать тогда? Раз я спросил помещика: «Боярин Жор! Куда вам столько земли и денег?»

— И что же он вам ответил?

— Что он ответил? Хм!.. Ничего не ответил. Засмеялся, да и все.

Ницэ покачал головой и улыбнулся. Улыбнулся и старик, встряхнув прядями волос.

— Вот здесь, в долине, двор со всеми пристройками,— сказал он затем, указывая черными костлявыми пальцами

на белевший в ложбине у пруда низкий деревянный дом, окруженный сараями и крытыми соломой хлевами.

— Страсть какое огромное имение у помещика,— повторил Настасе.— Боярам нужно много комнат... «Боярин Жор,— как-то спросил я,— зачем вам четыре таких больших комнаты? Что вы в них делаете?»

— И что же он ответил?

— Что ответил? Хм! Ничего не ответил. Засмеялся...

У крутого склона холма, в долине, недалеко от помещичьего двора, виднелся длинный ряд землянок, и обыкновенных, и с двухскатными покрытыми землей крышами, и вырытых прямо в обрыве. Последние были забиты с фасада досками или заплетены прутьями ивняка, обмазанного тонким, уже потрескавшимся слоем глины. Над трубами землянок вился дымок. Маленькие, с кулак, окна поблескивали в косых лучах солнца. Нигде не было никаких заборов. У дверей землянок бродили коровы и свиньи. Куры рылись в кучах мусора, возвышавшихся около землянок наподобие грязных, лохматых шапок.

— Здесь живут кроты,— пояснил старик.— Те, кто работает в имении...

— Видно, много батраков у помещика...

— Хм!.. А ты что думал? Разве там, откуда ты пришел, не такие помещики? Конечно, у нашего самое большое имение... Потому он и берет людей отовсюду... Одни уходят, другие приходят... В страдную пору помещик привозит работников и из других, густо населенных сел... Хотя жители этих нор все делают.

— И у нас так,— тихо проговорил Лепэдату.— Я тоже вырос в землянке...

— Вот как? Хм... В землянке, значит... А в других местах люди живут в домах. Кто его знает, может, зимы у них не такие... Раз я спросил помещика: «Боярин Жор, говорю ему, мы в своих землянках зимы и не чувствуем... А вам в вашем доме не холодно?»

— И что же он вам ответил?

— Что ответил? Ничего не ответил. Он засмеялся и сказал, что дом отапливается. Кто его знает...

— Это дело привычки, дедушка Настасе. Наша жизнь протекает и в земле и под открытым небом. Знаешь, какие иногда бывают холодные зимы?.. А мы живем в хлевах вместе со скотом. Нам не привыкать. А помещик есть помещик... У него другие привычки...

— У него, вишь, и кожа другая,— заметил Настасе, и оба рассмеялись.

Они спустились в долину, миновали землянки. Перед домом помещика работали несколько человек, одетых в грязные отрепья: во дворе поили скот, вели под уздцы лошадей, сутились у колодезного журавля.

— Боярин вернулся? — крикнул им старик.

— Пришел, пришел! — хрипло ответил кто-то.

— Вот и хорошо,— буркнул старик себе под нос.

Помещичья усадьба стояла открытая, не огороженная забором. У сараев возились люди. Одни заводили лошадей в конюшню. Другие гнали стадо рогатого скота, поднимая до самых небес тучи густой пыли. Слышались голоса чабанов, призывающие, понукающие, угрожающие. Временами раздавалась грубая ругань и удары дубинок по бокам скотины. В тучах черной пыли печально позвякивали колокольчики.

— Много скота у нашего помещика!..— с некоторой гордостью произнес Настасе.

Они обошли низкий бревенчатый дом и остановились у заднего крыльца. Подождали некоторое время. В окне между тем несколько раз промелькнула тень женщины.

— Это мадама, которая за домашним хозяйством смотрит у помещика,— прошептал Настасе.

Тень проплыла снова. На этот раз она остановилась у двери и отворила ее. На пороге показалась маленькая худенькая женщина, бледная, с жгуче черными глазами и острым носом. На ней было темное платье, гладко причесанные волосы были покрыты черным платком.

— В чем дело, дедушка Настасе? — спросила она пронзительным голосом.

— Нам нужно поговорить с боярином...

— Хорошо... А почему ты не присылаешь во двор свою дочку? У нас много работы.

— Маргиолицу? — уклончиво произнес старик.— Ей дома нужно было управиться. Но я ее пришлю. Почему бы и не прислать?..

— А какое, скажи, у тебя дело к боярину? — еще более пронзительным голосом спросила маленькая женщина.

— Вот этому парню надо с ним поговорить.

«Мадама» пыливо оглядела Ницэ Лепэдату и захлопнула дверь.

— Хм...— улыбнулся Настасе.— Вот она всегда так! Крута на поворотах наша монашка, резко говорит...

— Какая монашка? — удивился Ницэ.

— Да вот эта. Она ведь из монастыря приехала, а теперь ведет здесь хозяйство. Горячая женщина! Так вот она и разговаривает всегда, хочет, чтобы мы чувствовали ее власть. Только сердце у нее не злое... Она часто говорит с Маргиолицей, многое ей рассказывает. Что с ней поделаешь? Знать, не от хорошей жизни она приехала в нашу пустыню.

Женщина снова, как черная тень, промелькнула в окне. Затем послышались тяжелые шаги, и в дверях показался боярин. Старик и Ницэ разом сняли шапки. Господин Жорж Аврэмьяну, человек еще молодой, крепкий, с добрым загорелым лицом, стоял на пороге, заложив руки в карманы, и улыбался.

— А... это ты, Настасе,— хриловатым голосом протянул он.— Ну, что нового расскажешь?

— Что нового, боярин Жорж?.. Пока все хорошо.

— Так...— снова улыбнулся помещик, позвякивая в карманах ключами.— А каким ветром тебя занесло сюда? На кого же ты покинул амбары?

— Я их без надзора не оставил, боярин Жорж... Там достаточно толковых людей. А потом я и на дочку могу положиться.

— Ну, разве можно полагаться на дочку? А это кто такой? Зачем ты его сюда привел?

— Это? — Настасе, повернув голову, посмотрел на Ницэ так, будто увидел его впервые.— Это парень, который только сегодня пришел к нам...

— Как его зовут?

Дедушка Настасе молча взглянул на Ницэ и сделал ему знак головой.

— Ницэ Лепэдату,— произнес парень, вертя в руках помятую шляпу.

Старик кивнул головой и как будто задумался. Он в первый раз услышал это имя, и оно показалось ему странным¹.

— Ницэ Лепэдату? — повторил хозяин.— Откуда ты?

— Из Негоешть.

— Это из-под Ясс? А что тебе здесь надо?

¹ Лепэдату — покинутый, брошенный.

— Он хочет устроиться на работу, боярин Жор, за скотом ходить,— вмешался Настасе.

— За скотом?.. Хорошо. Бумаги есть?

— Нет,— ответил Ницэ.— Там у нас никто их не требует.

— Так? Ну, и ладно. В таком случае они и мне не нужны. Только веди себя хорошо. А почему ты ушел от помещика из Негоешьть?

— Не подумайте только, боярин,— тихо сказал Ницэ,— что я плохой человек. Я бедняк, это верно. Нет у меня ни родителей, ни дома. Ничего у меня нет, кроме рабочих рук. Но я честный... Десять лет проработал я у помещика из Негоешьть, а он мне все платил, как подростку... Я подумал, что мне пора уже получать настоящее жалование, как взрослому человеку, и попросил прибавки. Помещик отказал... Вот я и ушел. Жалко, конечно, десять лет проработал как раб, но что поделаешь? Я решил, что где-нибудь найду себе кусок хлеба... Ну, и ушел этой ночью. Шел, шел, пока не попал сюда... Если вы меня примете, боярин, я буду исправно работать.

Господин Жорж слушал молча, позвякивая ключами в кармане брюк. Для новых, необжитых земель, которые впервые обрабатывал он, нужны были именно такие люди, как Ницэ. Они-то и растили господину Жоржу его стада, сеяли на полях пшеницу, которую он сбывал в Галаце. В этом пустынном глухом краю приходилось довольствоваться любой рабочей силой. Кому принадлежали рабочие руки, откуда они являлись,— этим меньше всего стоило интересоваться. Да и что толку в этом? Ведь тут не обыкновенные места — их называли «где-то в степи». Здесь, вдали от городов и цивилизации, хозяином был он один. Сборщики налогов брали столько, сколько считал нужным помещик. Военные власти не преследовали дезертиров, судебные власти — осужденных. Дорог сюда тогда еще не было. Не было также во владениях Жоржа ни школ, ни церкви. Здесь была земля, которую следовало обрабатывать, и помещик ничем не брезгал. Поэтому господин Жорж не очень-то расспрашивал Ницэ Лепэдату. Он видел перед собой бездомного нищего, у которого не было ни отца-матери, ни родной деревни. Парень с виду здоров и трудолюбив, а для помещика этого было вполне достаточно.

— Хорошо, Ницэ,— добродушно сказал помещик.—

Я возьму тебя скотником. Если будешь хорошо работать, я тебе буду честно платить. Ты получишь сермягу, а когда понадобится — козух, обувь и шапку. В пище не будешь нуждаться... У нас, слава богу, всего вдоволь. Спать будешь в землянке вместе с другими батраками. Только веди себя хорошо. Я по лицу все узнаю.

— Хозяин, — тихо проговорил Ницэ. — Я вырос на этом деле. Я всегда работал. Думаю, что вы останетесь мною довольны.

Помещик вынул из кармана записную книжку, внес туда имя нового батрака. Затем они договорились относительно жалованья и обязанностей Ницэ. Помещик все написал, закрыл книжечку и сказал:

— Все. Теперь иди со стариком, а завтра ты приступишь к работе.

Господин Жорж вынул серебряную монетку и дал ее Ницэ.

— Ну, в добрый час. Будь примерным работником!

Новый батрак поцеловал у хозяина руку и повернулся к старику. Помещик скрылся за дверью. Они надели шапки и пошли к землянке.

— Видишь, вот ты у нас и остался... — весело проговорил дедушка Настасе.

— Я очень рад, — ответил Ницэ. — Давайте выпьем по стаканчику, дедушка Настасе.

— Ладно, парень, ладно. Но у нас здесь нет корчмы. Только в субботу вечером кто-нибудь из наших едет верхом за водкой. Ну, ничего, после выпьем за наше знакомство. Я думаю, что ты останешься у нас... Правда, боярин сговорчивый человек?

— Да, он человек молодой и прямой, — задумчиво ответил Лепэдату.

Солнце зашло. Над землей повисли холодные осенние сумерки. В землянках зажглись огни. Слышно было мычание коров, лай собак, разноголосый говор людей. Иногда в наступавшей тишине слышался топот лошадей, протяжное ауканье где-то на склоне холма. В красном зареве заката с испуганным карканьем и криком вдруг поднялась и тут же скрылась в сумерках длинная вереница ворон и галок.

Старик и Ницэ подошли к землянкам; со всех сторон неслись голоса вернувшихся с работы людей. За хлебами, у подножия холма, трещали костры. Люди варили

мамалыгу. Их черные тени причудливо изгибались в отблесках пламени.

Приблизившись к костру, старик и новый работник почувствовали запах мамалыги. Из большого котла, в котором варилась баранина, клубился густой пар. Батраки ждали ужина. Это были люди разные и по обличью и по одежде. У одних был кроткий вид и белокурые волосы, у других — мрачные лица и сверкающие глаза. На некоторых из них была белая одежда жителей сел на берегах Молдовы, на других — темное платье, какое обычно носят жители степей. Здесь встречались и широкие войлочные шляпы и плетеные, шитые красными нитками, соломенные «брили». Кое-кто носил выгоревшие от солнца и полинявшие от продолжительных дождей рыжие шапки. А подростки от десяти до двенадцати лет ходили вовсе с непокрытыми головами; защитой от непогоды и жары им служили густые, растрепанные волосы. Сидели здесь и женщины в коричневых платках и безрукавках. Лица у них были более грустные и почерневшие, чем у мужчин. После рабочего дня они чувствовали себя усталыми и разбитыми. Позади камышовой изгороди весело пылал костер, отбрасывая фантастические тени от этой пестрой толпы. Худой мальчишка с длинной шеей вытаскивал время от времени из громадной кучи камыша охапку и бросал ее в огонь.

Настасе и Ницэ опустили на землю. Один из работников приглаживал готовую мамалыгу мешалкой. Другой стоял с огромным уполовником возле чугуна с бараниной. Остальные, изголодавшись, ждали с глиняными мисками в руках. Никто не обратил внимания на чужого человека. Получив, наконец, по куску мамалыги и по миске варева с бараниной, батраки молча принялись за еду и начали понемногу осматриваться. Тогда только в розовых отблесках костра они заметили парня и вступили с ним в разговор.

В этот вечер повичок отвечал на вопросы многих, но мало кого запомнил. Позднее, когда большая часть батраков, насытившись, ушла, а у костра осталось лишь несколько человек, Ницэ Лепэдату удалось ближе познакомиться с некоторыми работниками имения. Среди них были Георге Барбэ — самый старый пастух, Михалаке Прескурие — охотник боярского двора, и старик Иримия Издраил, стороживший амбары в долине. Они сидели, как

обычно в субботу вечером, и ждали парня, уехавшего верхом за водкой.

Вокруг было тихо. Помещичий дом был освещен, горел свет и в некоторых землянках. Только изредка в этом освещенном уголке мира, стиснутом со всех сторон молчанием пустыни и потонувшем в море темноты, мягко звучали голоса, напоминавшие о чем-то родном и близком.

Вскоре приехал парень с водкой. Усевшись вокруг костра, люди потчевали друг друга и вели разговоры о тяжелых осенних работах, о приближении зимы. Вдруг конский топот разорвал ночную тишину. Вот он приблизился, а потом затих у изгороди.

— Санду Фалибога едет,— ухмыльнулся Настасе Тентя.

— Правда твоя. Это он,— раздался из темноты суровый, неприятный голос. И тут же в свете костра показался сухошавый человек с длинной шеей и с глазами, горящими в глазницах, словно в двух черных ямах. На шее у него болтался кнут. Человек засмеялся, открывая рот с двумя выбитыми передними зубами.

— Я прискакал,— быстро заговорил он,— прямо с ветряной мельницы... Знаете, как господин Настратин ищет своих лошадей? Страшное дело...— Санду весело смеялся, и глаза у него сверкали.— Ого, да у вас водка? — воскликнул он, заметив кувшин.— А ну-ка, подайте-ка мне кружку...

Фалибога выпил, огляделся и увидел Ницэ Лепэдату.

— А это кто? — коротко спросил он, поднимая голову. Когда он разговаривал, кадык двигался у него вверх и вниз.

— Новый работник, приставлен к скоту,— улыбнулся Настасе.

— Так... Откуда?

— Из Негоешть,— спокойно ответил Лепэдату.

— Как зовут?

— Ницэ.

— Ницэ? А дальше?

— Ницэ Лепэдату.

— А зачем пожаловал к нам?

— Приехал работать.

— Так... Хорошо... Посмотрим...

Бросив на Ницэ свирепый взгляд, Санду опрокинул еще кружку водки и поперхнулся.

— Ух, и крепкая эта чертова водка! А почему ты сбежал из Негоешьть?

— Не сбежал, а ушел по доброй воле.

— Так... Увидим. Значит, ты к скоту... Смотри, парень, под моим началом работать будешь. Меня зовут Санду Фалибога... Ты слышал обо мне?

— Что ж, если вас зовут Санду Фалибога, то желаю здравствовать. А слышать я о вас не слышал.

— Ну, так услышишь и узнаешь. Будешь стараться — сработаться со мной. Если нет — берегись! Видал бы ты, как господин Настратин ищет своих лошадок! — воскликнул Фалибога и, запрокинув голову, хрипло рассмеялся. — Я наблюдал за ним в сумерках с вершины холма. Пусть господину Настратину будет известно, что с нами шутки плохи. Я вор и знаю толк в лошадях, как и во всем прочем. Его табуны без конца топтали наши луга и пастбища. Наш боярин сам видел свои истоптанные поля, а лошадей там и в помине не было. Ну, как ты поймаешь разбойников господина Настратина и заставишь возместить убытки, когда они действуют так осторожно, угоняют табун еще до рассвета! «Ладно», — подумал я и сегодня ночью пробрался на своей верной Альбе в поместье Настратина, к конюшням. Колокольчик на Альбе тихо позванивал — динь-динь, ну, и все лошадки полегоньку да помаленьку пошли за мной... Уж я-то знаю, как с ними обращаться. Ну, вот и привел их. Теперь они у нас в усадьбе, а господин Настратин мечется и не находит себе места. Посмотрим, во что это ему обойдется. Раньше он травил посевы нашего боярина, сколько душе угодно, а теперь — шалишь! Фалибога не спит... Вот они, мои сторожа — кнут и ружье! Для меня что пастух, что управляющий — все одно: лишь бы не видеть их лошадей на нашей земле... Я здесь служу честно. И на том поклялся. Вот мы и травим чужие посевы, а наши... никто уж травить не будет.

Фалибога замолчал и гневно посмотрел вокруг.

— А где же кружка? — закричал он. — У меня пересохло в горле! А ты, Лепэдату, женат или нет? — повернулся он к Ницэ.

— Нет, не женат, — коротко отрезал тот.

— А я женат. Жена у меня чертовка. Ездит верхом и стреляет из ружья не хуже, чем я.

— Ну и пусть себе на здоровье,— не глядя на него, произнес Лепэдату.

Фалибога даже не донес кружки до рта.

— Ты...— нахмурил он брови,— как ты со мной разговариваешь?

— Как спрашивают, так и отвечают,— тихо проговорил Ницэ.

— А работать тебе разве не со мной придется?

— Ну и буду работать.

— И ты меня не боишься?

— Нет. Не боюсь.

Фалибога вскочил и рванул с шеи кнут. В тот же миг поднялся со своего места и Ницэ Лепэдату, выхватив из своей котомки палицу,— тяжелую дубинку с медным набалдашником и кизиловой рукояткой.

— Послушай, Фалибога,— проговорил Лепэдату,— я человек смирный... добрым словом ты можешь из меня раба сделать... Но если по-дурному... Тогда пеняй на себя... Я не из тех, которые боятся.

Фалибога, наклонив голову, исподлобья взглянул на Ницэ. Парень смотрел ему прямо в глаза не мигая.

— Ну, хватит, хватит! — вмешался дед Настасе.— Какого черта, люди добрые! Только познакомились и уже волком смотрите друг на друга.

— Вы правильно говорите, дедушка Настасе,— мягко произнес, повернувшись к старику, Лепэдату и убрал палицу.— Я ничего не имею против кого бы то ни было и рад дружить со всеми... У меня на сердце нет ненависти.

— Так будешь мне другом? — гневно спросил Фалибога и расхохотался, открывая свой рот с выбитыми зубами.— Хороша твоя палица, Лепэдату!.. С таким другом ты спокойно можешь прожить на этом свете. Слушай-ка, мне все-таки хочется выпить с тобой по кружке водки... Но слушаться меня тебе придется так или иначе. Ты ведь еще молод, а я уже сед...

— Ладно, пусть будет по-вашему, дяденька,— ответил Лепэдату и взял протянутую ему кружку.

Санду Фалибога присел у костра, скрутил цыгарку и, закурив, быстро вскочил на ноги.

— Прокачусь-ка я до Валя Лупулуй¹, проверю все и вернусь...— хрипло бросил он и, щелкнув кнутом, вышел

¹ Волчья долина.

с цыгаркой в зубах. Тотчас послышался частый топот Альбы, сначала близкий, потом все более отдаленный, пока не замолк совсем в ночи.

Оставшиеся у костра некоторое время молчали. Дедушка Настася бросил охапку камыша в костер, Георге Барбэ пододвинул к свету кувшин с водкой. В землянках погасли огни. Только звезды мерцали в темной вышине, да чуть шелестел все еще не успокоившийся ветер.

— Такого зрителя, как Фалибога,— произнес охотник Михалаке Прескурие,— у нашего боярина еще не было и не будет... Носится по имению, словно ветер... Никогда еще хозяйское добро не охранялось так, как сейчас.

— Откуда он? — спросил Лепэдату.

— Не знаю,— ответил Прескурие.— Никто не знает, откуда он взялся... Но как Санду появился здесь, известно всем. Это помнят все. Однажды летом в стогу прошлогодней соломы заночевал человек... Узнав об этом, мы позвали его к костру и накормили. Он нам сказал, что пришел издалека и что его ищут конные жандармы. Бог его знает, где он раньше был. Откуда-то удрал, может быть с каторги... Помещику донесли, что в имении появился чужой человек. Да он сам его видел и на стогу и в кукурузе, но не тронул. Ну, а жандармы разве когда заглядывают в наши места? Опять же, если беглеца не оставить в покое, он может разозлиться и поджечь пшеницу, а то и напасть где-нибудь в овраге... И вот как-то вечером боярин подошел к сараю и увидел Санду... Он поговорил с ним по-хорошему и взял на службу. С тех пор Фалибога у нас. Помещик заполучил себе верного слугу, который не знает ни отдыха, ни жалости.

— Он и на самом деле кажется человеком суровым и усердным,— заметил Лепэдату.

Израил Иримия, самый старый из всех присутствовавших, задумчиво взглянул на Ницэ.

— А тебе, парень, много, наверное, пришлось вытерпеть, там, откуда ты пришел... Я вижу по человеку. Вижу, что много пережил.

— Кому из нас, дедушка, не приходилось переживать? — ответил Ницэ.— Родителей у меня нет. Я рос сиротой, обивая пороги у чужих. Одни колотили меня, другие жалели. Поэтому я и научился ценить хороших людей. Доброе сердце — это божий дар. Я сызмальства узнал труд. Что еще сказать вам? Работал я честно. Когда бро-

дил по берегам Прута и Жижие, я слышал, что где-то есть большие села, огромные города, в которых живет много людей. Но только меня туда не тянуло. Мне казалось, что там, где людей поменьше, жить легче. Да если бы и захотел, я не смог бы поехать в те края, уж очень я был бедный. Работал я не покладая рук, но помещик мало платил бездомному пареньку. Я жил в землянке, ел, что давали, и работал покорно, как лошадь. А теперь я решил: пришло время и мне поискать свою долю. Так я очутился у вас и здесь, должно быть, и останусь. Куда мне в большие города, где много людей? Я привык к скоту; с ним я вырос, и мы понимаем друг друга.

— Эх, парень,— сказал Издраил,— нерадостно, очень нерадостно, видно, тебе жилось и все-таки, скажу тебе, мне жалко тех, кто жизни не знал, кто не видал красоты городов. Надо бы хоть в молодости на них посмотреть. Вот я слышал от некоторых, будто огненные телеги какие-то появились, сами едут... Говорят, дома есть теперь такие высокие, в три и даже в четыре яруса. А людей там, и днем и ночью, как у нас по дороге на ярмарку в Совенах. Сейчас, на старости лет, у меня уже нет особой охоты посмотреть на все это. Так-то, Ницэ, вот мы и собрались здесь за кружкой водки, люди из разных мест: ты — из степей, Михалаке Прескурие — из-за Прута, Георге Барбэ — с гор, он пришел еще мальчишкой. Все мы собрались здесь, в этой необозримой пустыне. Вот я, старик, не сегодня-завтра умру, но и меня господь привел сюда... На все воля божья! Я, парень, в молодости был еврей, и внушил мне господь мысль, vykрестился я, вот уже семьдесят лет, как расстался с теми, которые распяли господина нашего Иисуса Христа... Теперь я молдаванин, православный, и живу вместе с вами, в этом уголке земли по милости божьей.

— А знаешь, дяденька Иримия, откуда я пришел... — послышался голос Настасе Тенти, похожий на бляющие овцы. — Я пришел издалека... Вот уже лет двенадцать или тринадцать, как ушла от меня жена в город и я остался один с моей Маргиолицей. Так-то вот... хм... нынче суббота, мы сидим и болтаем, пьем водку. И сколько уж годов прошло, как мы так собираемся по вечерам каждую субботу... Вот этот парень, Ницэ, сейчас еще молод, но придет время, и он будет так же выпивать, вспоминая нас, стариков. Так и проводим мы время, сами по себе, без

попа и без церкви. Забытые богом люди, живем в пустынном краю.

Георге Барбэ рассмеялся и тряхнул седыми длинными волосами.

— Все то же, парень, околько я помню, говорят — и этот еврей, и эта овца, дедушка Тентя. Начинают они о разном, а все сводится к одному... После того как выпьем водку, идем и ложимся спать. А я, парень, с гор, у нас там кругом леса. Видел ты когда-нибудь такой лес, в котором можно упрятать десять, нет, сто поместий таких, как у нашего боярина? И все сосна... А через лес речка бежит. Шумит и шумит... Как у нас здесь ветер зимою... Там совсем иная жизнь... Когда-нибудь я, может, еще и поеду туда. Все время об этом говорю... Уже состариться успел в пастухах у помещика, а туда, где прошла моя молодость, так и не вернулся. Хоть бы умереть там довелось...

Долго сидел Ницэ Лепэдату, слушая рассказы собравшихся у костра. Время от времени подходила его очередь брать кружку с огненным зельем. И чем больше он пил, тем слаще становилась истома и глубже охватившее его умиление. Голоса раздавались глуше, отдаленней. Вот они уже совсем еле слышны, словно шепот осеннего ветра сквозь камышовые стены загона.

Ницэ приступил к службе на следующий день, в воскресенье. Санду Фалибога повел его в загоны и там прочел ему грубоватым голосом наставление:

— Вот, парень, наш скот. В первом загоне дойные коровы, во втором — яловые, дальше телки, бычки — все размещены по порядку. Ты будешь пасти дойных. Для них надо выбирать лучшие места, в ложбинах, где еще осталась зеленая трава, или же там, где есть пырей.

— Ладно, дядюшка Санду, пойдёмте, покажите мне эти места.

— Хорошо... Хотя ребята их знают... Эй,— крикнул Фалибога подросткам,— вот привел вам этого человека, слушайте его, иначе горе вашей шкуре! Ну, выпускайте скот!

Мальчуганы отодвинули засовы, и скот начал выходить из загона. Это были небольшие бурые и сивые коровенки, резвые, с острыми рогами. Мальчики гнали их вниз, к пруду, покрикивая и щелкая бичами. Вслед за ними поднималась туча черной пыли и волнами плыла во все стороны.

— А теперь, парень,— сказал Фалибога,— садись на эту серую лошадь. Тут у седла дубина, а вот и кнут... Да смотри в оба с этими ребятами за помещичьим добром, не растеряйте коров.

Они уселись на лошадей и поехали вслед за стадом. Фалибога продолжал все в том же наставительном тоне давать свои разъяснения и читать нравоучения.

— Эй, Ницэ! — вдруг проговорил он, глядя из-под нависших бровей на нового работника.— Вчера ты от меня чуть было не получил...

— А за что, дядюшка Санду?

— Ты не спрашивай меня за что. Я не люблю, когда мне противоречат.

— А разве я в чем-либо перед вами провинился? Почему вы на меня так сердито глядели?

— Серdito? — воскликнул Фалибога и смерил парня долгим взглядом.

— Да, сердито... Что я вам сделал?

— Послушай, ты, паренек... Я бы тебе посоветовал... — хриплым голосом протянул смотритель, — я бы посоветовал тебе одну вещь, — чтобы ты со мной обращался, как с тонким стаканом. Иди к своему скоту, — круто повернув Альбу, крикнул он. — Будь здоров!

Ударив лошадь плеткой, Фалибога исчез в густых облаках пыли.

Дорога вела к сужавшемуся концу пруда; стадо двигалось медленно, позвякивая колокольчиками. Солнце всходило из-за медных туч, окрашивая легким румянцем дорожную пыль. Ровный, спокойный свет разлился над холмами и долинами. Усадьба и землянки остались далеко позади, миновали и тихий пруд со стаями лысух. Вскоре колокольчиков не стало слышно: коровы, опустив головы, начали щипать траву, покрывавшую заболоченный лужок.

Ницэ Лепэдату верхом на своей серой лошадке объезжал стадо. Мальчуганы украдкой поглядывали на него, когда он проезжал мимо них. Время от времени в утренней прохладе слышались их ребяческие голоса. «Куда пошла, Попадья, назад!» — кричали они на отделявшуюся от стада корову. Потом голоса смолкали, тишина снова воцарялась на широких просторах, изредка нарушаемая лишь тихим звоном колокольчиков. Животные, рассыпавшись по лужку, медленно подвигались, пощипывая

сочную траву. Иногда над лугом пролетал шур, и его посвистыванье слышалось в вышине; казалось, он заблудился и неизвестно какими путями попал в эти пустынные места.

Лепэдату слез с коня и, привязав его, стал беседовать с мальчиками. Он расспрашивал их о повадках коров, об их кличках. Ребята водили его по стаду и все охотно рассказывали. Затем Лепэдату узнал, как зовут мальчуганов, чьи они. Некоторые из них жили вместе с родителями в землянках; другие же прибыли сюда из далеких деревень. Это были сироты, которые скитались по белу свету в поисках куска хлеба. Лепэдату ласково расспрашивал мальчиков и, прислушиваясь к их голосам, думал о этих новых местах, где ему теперь придется жить, о том, что ему готовит будущее.

Прошел октябрь. Было еще сухо, Ницэ Лепэдату обошел со своим стадом все именье от края до края. Теперь он уже знал все дороги, родники, пруды и болота; знал имена людей и клички животных, выходы Фалибоги и прихоти боярина. Иногда Ницэ ходил на мельницу молоть овес, а по вечерам с помощью других жителей землянок и мальчуганов-подпасков приправлял овсяной мукой скудный осенний корм скота.

В общем жизнь пока была не очень тяжелой. Но Ницэ знал, что скоро начнутся бесконечные дожди, заморозки, а потом и зимние вьюги. Тогда труднее будет управляться со скотом под защитой камышовых стен и соломенных крыш. Гоняя стадо, он видел людей, которые чинили старые хлевы: заделывали глиной дыры, меняли сгнившую солому на крышах. Помещик всегда находился тут же среди рабочих, поторапливал их и руководил работой. Молодой боярин, как заметил Лепэдату, сам управлял своим именьем. Вставал он с зарей и до позднего вечера разъезжал в легкой бричке, запряженной низкорослыми лошадками. Он поднимался на холмы, спускался в долины, успевал побывать и у пахарей, и в овчарнях, и в хлевах, да еще и в амбары заглянуть. Всюду он о чем-то расспрашивал, кого-то бранил, сердился, потом смягчался и ехал дальше. Его загорелое лицо, живые глаза свидетельствовали о кипучей энергии, которая была направлена на то, чтобы любыми средствами сколотить себе состояние. Ницэ вспоминал слова дедушки Настасе: «Зачем ему столько земли и столько денег?»

В тихий ноябрьский день — это было в субботу после обеда — Ницэ направился в землянку к старику Настасе.

Он не был там с тех пор, как появился в имении. Все как-то не мог выбрать время.

Старик возился около веялок, под навесом. Услышав яростный лай собаки, бросившейся под ноги Лепэдату, он взял палку и вышел навстречу гостю.

— Ах, чтоб тебя семь чертей... Пошел, Колцун!..— выругался старик.

Собака, рыча, отскочила в сторону, и Ницэ подошел поближе. Старик радостно заулыбался.

— Так, так,— заговорил он своим тонким голоском.— Ты у нас не был, наверное, с месяц.. С того дня как прибыл... Ну, рассказывай, что поделываешь?..

— Все хорошо,— ответил Лепэдату, положив перед собой толстую палку, и оправил висевшую на боку котомку.

— А с Фалибогой как живешь?

— Как живу? Хорошо.

— Так, так! Хе... хе... Я сразу увидел, что над тобой он измываться не будет. Ничего не поделаешь. Служба. Приходится со всякими людьми сталкиваться.

— Свое дело делаю, и мы ладим...— ответил Ницэ.— А вы, дедушка Настасе, все с зерном возитесь. Как из родника течет, не кончается...

— Да так уж всегда в нашем имении...— с гордостью проговорил старик.— Год был хороший, урожайный. Много понаехало подводчиков, выгребали да выгребали зерно. А сколько денег получил за него помещик?! Ой, как много денег! Я как-то хотел его спросить об этом, но увидел, что он сердится из-за засухи, и не стал приставать.

— Оно и верно, засуха — беда для земледельцев,— заметил Ницэ.

— Она ни для кого не хороша, парень! Но что поделаешь? Я сказал боярину: ведь это все от бога, хозяин. Захочет бог, и дождик будет.

— А боярин что, засмеялся?

— Нет... Покачал головой, нахмурился и пошел к себе. Что поделаешь? Хоть он и боярин, а у него тоже свои заботы. Хм... Так-то вот. Пойдем в землянку! — пригласил старик Ницэ, кивнув головой.

Они прошли среди амбаров мимо ворохов половы и кукурузных початков. Шум веялок внезапно стих. Ницэ

поднял глаза и увидел промелькнувшее в дверях землянки лицо Маргиолицы.

— Дочка... Эй! — крикнул старик и засмеялся.— Слышишь? Маргиолица!.. принеси немного холодной воды... У тебя, наверно, и сахару кусочек найдется. Опять пришел тот человек, которому пить хочется...

Лепэдату улыбнулся, видя, как девушка проворно выбежала из землянки с ведром в левой и глиняной кружкой в правой руке.

— Сейчас я не очень устал, и жажда меня не мучает, как тогда,— проговорил Лепэдату.— Ну, как поживаешь? — спросил он девушку.

— Да так и поживаю, дяденька,— покраснев, ответила Маргиолица.— Одно дело — хозяйничаю...

— Она еще в усадьбе побывала,— вмешался старик.— Выучила ее там мадама кружева вязать. Сахару ей дала... Ну-ка, Маргиолица, подай гостю воду и сахар, как у помещиков.

Девушка, застенчиво улыбаясь, вынула из-за пазухи бумажку и медленно ее развернула. Достав два куска сахара, один протянула гостю, другой отцу. Потом поставила перед ними кувшин с водой и кружку.

Ницэ сел на свежееобмазанную завалинку, старик опустился на охапку кукурузных стеблей. Девушка стояла рядом с ними, и Лепэдату, откусывая сахар, заметил, что она одета в белую рубаху, с кружевами на рукавах и у шеи. Ее гладко причесанные волосы блестели, а толстые косы были уложены короной. Она будто стала выше ростом, красный пояс туже стягивал ее тонкую талию. Ницэ смотрел в ее загорелое лицо, но девушка отводила свои карие глаза.

— Этот сахар пахнет васильками,— заметил Ницэ, наполняя кружку водой.

Маргиолица улынулась, глаза ее сузились и заблестели.

— Так оно и есть,— подтвердил Тентя.— У всех девушек привычка носить всякий бурьян на груди.

— Васильки — это не бурьян, отец,— обиделась девушка и, взяв ведро и кружку, быстро спустилась в землянку. Некоторое время она возилась там, между тем как мужчины продолжали разговаривать. Когда старик замолчал, Маргиолица снова показалась в золотистом свете солнца и робко присела на край завалинки, как это пола-

гается девушке на выданье. Тентя поднялся и пошел посмотреть на поросят, жалобно повизгивающих в свинарнике. Лепэдату дружелюбно улыбнулся девушке:

— Я еще вчера надумал зайти к вам. Мне посчастливилось: сегодня хорошая погода.

— Осень стоит теплая... У меня даже цветут хризантемы,— сказала Маргиолица.

— Откуда у тебя эти цветы? Здесь они редко встречаются.

— Мадама мне подарила летом два ростка. У нее много цветов. Она посоветовала посадить их в глубине землянки с солнечной стороны и положить немного навоза под корень. Теперь они уже большие, красивые и скоро зацветут.

Глаза парня и девушки встретились, оба улыбнулись.

— В наших землянках цветов не видать,— сказал Ницэ.— Мельник из долины говорит, что в других местах видел большие сады с деревьями и цветами. Он немец и долго скитался по свету. Чего только он не знает... Однажды он мне рассказывал, что был в таких больших гордах, которые и в два дня не обойдешь. Он видел мельницы с огненными машинами, как молотилка нашего помещика, огромные мельницы, в которых размалывают зерно со всего края, он видел поезда...

— А это что такое? — с любопытством спросила девушка.

— Не знаю... слышал, что это вроде каких-то паровых телег... Быстро ходят... И в дождь и в снег... Очень быстро. Только что были здесь, глядь, а их уж и след простыл.

— Сколько чудес на свете,— прошептала девушка,— как в сказке... У нас ничего этого нет...

— У мельника и часы есть,— добавил Ницэ.

— У нашего помещика тоже,— вставила Маргиолица.— Мадама мне их показывала.

— Так бы и пустился по свету, посмотреть бы... — улыбнулся Ницэ.

Девушка не ответила, она сидела задумавшись. Бесконечный послеобеденный покой осеннего дня наполнял грустью окружающее. Все смолкло. На близких полях сверкали длинные шелковистые нити паутины: подхваченные легким ветром, они как серебристый пух носились по воздуху. Парень с девушкой сидели одни на завалинке. Оба молчали и чувствовали какое-то тайное влечение друг

к другу. Из кустов бузины, на краю кучи гнилого мусора, вдруг показалась ласка. Она остановилась, озаренная лучами солнца, и тревожно посмотрела на парочку черными глазками, похожими на булавоочные головки. Ее белая шкурка, чистая, как первый снег, отливала мягким голубоватым цветом. Ласка исчезла так же внезапно, как и появилась. Молодые люди посмотрели друг на друга и снова улыбнулись.

В сумерках со смутным ощущением зарождающейся любви в душе Ницэ Лепэдату отправился на работу. Войдя в хлев, он вместе с подпасками засыпал овсяной солодой в корыто. Вскоре пришли женщины с подойниками. В землянках и в камышовых загонах загорелись огни. Мало-помалу все затихло под темно-голубым сводом небес, усыпанным золотыми звездами. Лепэдату, завернувшись в кожух, лег на спину на охапке соломы рядом со скотом. Глядя в небо, он вспоминал названия самых крупных звезд, о которых еще в детстве слышал от стариков. Ему нравилось одиночество, ни о чем не хотелось думать. Он сомкнул глаза и увидел у своего изголовья горящие глаза Маргиолицы, увидел ее, словно во сне, рядом с собой. Он понял, что любит девушку, тоскует по ней, и, открыв широко глаза, он огляделся вокруг и прислушался. В хлеву было тихо, только коровы продолжали пережевывать свою жвачку. Тишина царила и в землянках и в помещицьем доме.

Ницэ поднялся, затянул потуже пояс. Нашупал с левой стороны палицу, перекинул через плечо кожух и направился к амбарам. У одного из амбаров, где собрались старики, еще горел костер. Ницэ повернул туда и, приблизившись, ясно расслышал хриплый голос Фалибоги и блеяние Настасе Тенти. Тогда он без колебаний пошел в обратную сторону, быстро поднялся на холм и не останавливался до тех пор, пока не увидел в темноте очертания сараев. Он тихонько обошел их, чтобы пробраться к землянке сзади. Но белый пес почувал человека и поднял бешеный лай. Он каждый раз наскакивал на пришельца из темноты, будто хотел сбить его с ног. «Колцун, Колцун...» — ласково позвал Ницэ. Но пес не унимался. Защищаясь палкой, Ницэ медленно подвигался к землянке.

— Кто там? — раздался грубый сонный голос из сарая, где стояли веялки. Вслед за этим послышался мелодичный голосок Маргиолицы, которая кликала собаку.

Колцун смолк. Успокоился и сонный голос. Лепэдату быстро подошел к землянке.

— Это вы, дяденька? — спросила девушка.

Ницэ ничего не ответил, подошел, взял ее за руки и стиснул их.

— Я сразу подумала, что это вы... — прошептала девушка. — Вам чего-нибудь надо?

— Мне хотелось увидеть тебя, — глухо произнес Лепэдату.

Он обнял Маргиолицу, она не сопротивлялась. Ницэ прижал ее к себе и почувствовал запах васильков.

— Милый, — прошептала девушка, — приходи завтра, тогда поговорим... А теперь уходи, отец идет.

Ницэ не успел и подумать, как она выскользнула из его рук. Он только увидел, как девушка шмыгнула в землянку, закрыв за собой задвижку. Колцун снова яростно залаял.

— Эй, кто там? — опять послышался сонный голос из сарая.

Ницэ незаметно скользнул к дороге, по которой пришел, и спустился в долину.

«Ну и девка, змея, — подумал он. — Знает, что сказать, и понимает, как вести себя ночной порой. Она, кажется, засмеялась, когда затворила дверь. Прежде всего, видно, надо подружиться с псом. А я вроде ей нравлюсь... — улынулся он. — И ведь словно знала, что я тороплюсь!»

Ницэ бормотал и улыбался. «Да, да... это любовь...» — с радостным волнением думал он, и все в нем трепетало. В каком-то забвении он пришел к себе в хлев, улегся на охапку сена и снова устремил глаза в небо, не чувствуя ночной прохлады, охлаждавшей его горячий лоб.

Через несколько дней прошли небольшие дожди. Потом наступила полоса бесконечного осеннего ненастья. Серая стена нависла над горизонтом, из свинцовых туч моросил холодный дождь, заливая жилища, сараи и опустевшие загоны. Жирная земля всеми порами впитывала боду, превращаясь потом в липкую непролазную грязь, в которой увязали животные и люди. Целую неделю жители землянок ремонтировали сараи для скота. Теперь они стали приносить туда корм. Но животные понуро стояли, тесно прижавшись друг к другу, в камышовых крытых соломой хлевах и едва касались корма. Вокруг, куда ни глянь, была холодная слякоть.

Люди сидели в землянках у огня. Пообсохнув, они, накрывшись мешками, снова выходили во двор, шлепая по грязи постолами.

Фалибога и в такую погоду не успокаивался. Он рыскал на Альбе повсюду, как черт, натянув на голову капюшон, сделанный из мешка, выгонял людей на работу. В такую погоду и помещику становилось скучно сидеть без дела в своем доме: пшеница продана, свиньи откормлены, все расчеты произведены. Однажды, оставив монашку и бухгалтера, Фалибога и всех своих людей, он сел в бричку и отправился веселиться в город. Вскоре после его отъезда дожди пошли еще сильнее, и Фалибога, глядя на залитые водой поля, с удовлетворением повторял:

— Молодец наш боярин! И везет же ему!..

Но в имении и без помещика все шло своим чередом. Амбары трещали от добра, у всех батраков были сермяги и кожаные сапоги, Фалибога попрежнему бодрствовал и попрежнему был зол, как бульдог. Работая целыми днями под дождем, в грязи, Ницэ Лепэдату некогда было и думать о любви. За все это время он только один раз побывал в знакомой землянке. В ней было сыро, тесно и холодно... Маргиолица по-дружески улыбнулась ему. Но тусклый свет, едва пробивавшийся через крохотное оконце, делал ее лицо сумрачным. Они сидели втроем и беседовали: старик, Маргиолица и он. К вечеру все замолчали, не о чем было больше говорить. Печальные сумерки наполнили землянку. А на дворе все шумел и шумел непрерывный мелкий дождь.

Лепэдату вышел от Маргиолицы, страстно мечтая о весне. Девушка, стоя на пороге землянки, проводила его глазами. Он надвинул капюшон на шапку и пошел, скользя по грязи. Задумчивый спускался Ницэ в долину к хлеву, вспоминая тот осенний день, когда он впервые почувствовал, что любит Маргиолицу. Ему стало грустно, он был недоволен; тяжела зима для бедных людей, которые живут под землей, как кроты.

Приблизившись к хлеву, он увидел верхом на лошади Фалибога, который, несмотря на проливной дождь, видимо поджидал его здесь.

— Что ему от меня надо? — пробормотал Ницэ и еще глубже надвинул на голову капюшон. Он хотел пройти мимо смотрителя, но тот грубым окриком остановил его.

— Подожди, подожди, паренек... Откуда ты идешь?

Ницэ ощутил морду лошади у своего локтя. Фалибога спешился и подошел к Лепэдату.

— Где ты был? — коротко спросил он, схватив парня за руку.

— Отстаньте... — сердито ответил Ницэ. — Что вам надо? Мне и без вас тошно...

— Как ты смел оставить скот и уйти?

— Если и оставил, то в полном порядке.

— Послушай, Лепэдату, у нас с тобqй старые счеты. А теперь ты меня застал в подходящем настроении!..

— Вижу. Вы с самого начала, дядя Санду, стали придирааться ко мне, но из этого ничего не выйдет. Я занимаюсь своим делом, а вы занимайтесь своим, — решительно сказал Ницэ и направился к хлеву.

— Постой, постой... — раздраженно крикнул Фалибога, схватив его за руку и повернув на месте. Ницэ вырвал руку.

— Что вам от меня надо, дядя Санду? — крикнул он.

— Хозяин здесь сейчас я, и ты не имеешь права так разговаривать со мной! — выпучив глаза, заорал Фалибога. — Слушай, ты, почему так долго идет дождь? Мне это надоело. Почему на улице такая грязь, что в ней утонуть можно? Почему я нигде не нахожу себе места? Я сердит, и мне нужно сорвать на ком-нибудь свою злость, огреть кого-нибудь кнутом. Эй, Лепэдату, дай-ка хлестну тебя разок!

Фалибога оскалил зубы. Ницэ, насупившись, откинул капюшон на плечи и подался назад.

— Ага!.. Не нравится! — продолжал орать смотритель. — Ну, погоди же, коли тебе не нравится...

Фалибога отпустил лошадь и, сделав два шага вперед, взмахнул своим черным кнутом.

— Послушай, Лепэдату, — снова закричал он, — если ты вздумаешь сопротивляться, я разорву тебя, как цыпленка! В прошлом, дорогой, у меня было чем похвастаться. Теперь я хочу, чтобы и ты боялся меня так же, как все... Чтобы дрожал, как только услышишь имя — Фалибога.

— Но что я вам сделал? — теряя терпение, проговорил Ницэ.

Не успел Фалибога замахнуть на него, как парень бросился к нему, поймал руки смотрителя, завернул их за спину и скрутил их его же кнутом. Задыхаясь от злости, Ницэ бросил его на землю, навалился всем телом и поднял

медную палицу. Фалибога стонал, водил своими страшными глазами и глухо ругался. От ненависти он часто дышал, от него разило водкой.

— Ну, чего ты хочешь? — крикнул Лепэдату. Взгляд его помутнел. Он наклонился над Фалибогой. Капли дождя, блестя, стекали по палице.

— Ницэ, дорогой, пошади, не убивай меня!..— вдруг прохрипел в ужасе Фалибога.

Лепэдату, вскочив на ноги, сунул палицу за пояс. Взгляд его смягчился, и он помог зрителю подняться с земли.

— Я вас не убью, дядя Санду... Зачем мне вас убивать,— торопливо проговорил Ницэ.— Мне лучше уйти отсюда и поискать где-нибудь в другом месте свой горький кусок хлеба, чем тут драться с вами. Еще, пожалуй, дойдет и до греха. Вот вам мешок, наденьте его, а то дождь, садитесь на Альбу и поезжайте к землянкам. А меня вы здесь больше не увидите!

Лицо у Фалибоги посинело.

— Что ты сказал? — произнес он.— Почему ты не ударил меня палицей? Я не думал, что ты ее носишь с собой, даже когда идешь к дочке Тенти.

— Оставьте меня, дядя Санду. У меня не такое сердце, как у вас.

Ницэ надвинул капюшон на самые глаза и остановился в нерешительности: то ли ему вернуться к скоту, то ли уйти куда глаза глядят.

Фалибога пристально смотрел на парня, будто дожидаясь чего-то. Потом ухватил его за локоть и повернул лицом к себе.

— Послушай, Ницэ, не уходи,— сказал он хрипло.— Я хочу помириться с тобой...

Лепэдату улыбнулся.

— Почему ты смеешься? — воскликнул Фалибога.— Не веришь? Я когда-то был страшным человеком, Ницэ. И правда, что я затаил против тебя зло в душе... Я обидел тебя, а ты... Вижу теперь, что и ты хлебнул горя, и поэтому я хочу помириться с тобой!

— Оставьте меня, дяденька! — с горечью повторил Лепэдату и собрался идти.

— Не обижай меня, Ницэ,— воскликнул Фалибога.— Я хочу помириться... И давай выпьем с тобой. Пошли!

Фалибога резко схватил его за правую руку и потянул

к себе. Лепэдату молча пошел за ним под моросившим в тоскливых сумерках дождем. Никто не слышал и не видел, что произошло между ними. Жители землянок укрылись в своих норах; тусклый, печальный свет в окошках еле мерцал в мокром тумане.

Два человека, с трудом передвигая ноги, шагали по размякшей земле. Лошадь, опустив голову, плелась за ними. Они остановились около землянки, рядом с опустевшим загоном, где обычно собирались в субботние вечера старики. В тот день тоже была суббота. В землянке горел свет. Георге Барбэ, дедушка Иримия Издраил и Михалаке Прескурие, сидя в тепле, заканчивали свой ужин. Два подростка сушили одежду у большого очага, в котором пылали охапки тростника.

Фалибога ударом ноги отворил дверь и вошел в землянку в сопровождении Ницэ Лепэдату.

— Эй, Грекушор,— окликнул Санду тщедушного и невзрачного на вид подростка.— Поезжай-ка на Альбе ко мне домой и скажи Яне, чтоб принесла сюда кувшин вина. Слыхал? Ну, живо!..

Паренек, словно тень, отделился от печки и исчез, будто его унес ветер.

— Люди добрые! — хрипло заговорил Фалибога, раскрывая беззубый рот,— мне хочется угостить этого парня.— И он похлопал Лепэдату по плечу.— Что между нами было, то было... а сегодня мы помирились! Верно, Лепэдату?

Ницэ ничего не ответил.

— Ну же, скажи, человек, слово,— неистово заорал смотритель.— Ты еще не знаешь Фалибогу. Я, хоть и злой, как пес, только запомни, парень, что исподтишка я не кусаюсь! Садись, Ницэ, на лавку, вот тут у огня, да снимай мешок с головы.

И Санду сорвал белый капюшон с головы Лепэдату и темный со своей. Затем усадил парня на лавку, а сам резко опустился на маленькую скамеечку у печки.

— Что скажешь, дедушка Издраил? — засмеялся он.— На улице дождь... до чего мне это надоело. Будто туман окружает меня и душит... у вас здесь в землянке лучше. Мне сегодня хочется немного выпить...

— Дождь от бога, ничего не поделаешь,— улыбнулся Иримия Издраил.— А выпить?.. Ну что ж, почему не выпить, если желание есть.

— Дело не только во мне, добрые люди. Мне этого парня хочется расшевелить... Что же ты молчишь, Ницэ?

— А что мне говорить? Я лучше послушаю, что вы скажете...

— Ладно! Я вижу, ты еще сомневаешься... Ну, ничего...— Санду шумно вздохнул и обвел всех взглядом.

— Дедушка Барбэ, промочите-ка свою свирель... Сыграйте нам что-нибудь, как вы умеете.

— Сыграю, почему не сыграть? — глухо ответил Георге Барбэ из глубины землянки.

Все смолкли. Фалибога, опустив голову, смотрел в пол. Вдруг он устремил свои горящие глаза на дверь.

— Это ты пришла, Яна? — спросил он громко.

Дверь отворилась, и в ней показалась крепкая женщина, небольшого роста, рыжая, с густыми бровями. Сбросив с головы мешок, который служил ей защитой от дождя, она, смеясь, огляделась вокруг, а потом, подбоченившись, направилась к Фалибоге.

— Чего ты раскричался? — сказала она низким, почти мужским голосом.— Пришла и кувшин принесла...

Следом за ней вошел Грекушор с кувшином. Фалибога тотчас же налил вино в глиняные кружки и стал угощать присутствующих.

— Давно здесь не было вина,— весело проговорил он.— А это старое вино. Я привез его от одного еврея из Сэвень. Первую кружку я всегда поднимаю за здоровье моей Яны, с которой я живу в любви и согласии и которая последовала за мной нивесть из каких дальних сторон. И за здоровье Ницэ Лепэдату я пью, чтоб узнал мое сердце. А Барбэ пусть сыграет нам что-нибудь на своей свирели!

Санду отпил из кружки и передал ее Яне. Выпили и все остальные. Выпил и Лепэдату под горящим взглядом смотрителя. Барбэ заиграл на свирели горную песенку.

— У нас в горах свирель звучит иначе,— остановившись, произнес он.— Играешь на горе, и будто все долины и ущелья отзываются.

— Что ты там рассказываешь, Барбэ! — воскликнул Санду.— Послушай-ка лучше, что расскажет тебе моя Яна о тех временах, когда мы с ней скитались по горам.

— Много мы объездили сторон,— мечтательно начала Яна, приблизившись к огню.

— Да, весь свет,— подхватил Санду.— Сколько лесов и полей проехали мы верхом на лошадях. Опасное тогда было у нас ремесло, опасное,— улыбнулся он, как бы охваченный приятными воспоминаниями.

Выпили еще вина. Глаза Фалибоги сурово заблестели. Поднявшись с кружкой в руках, он выпрямился и хрипло зашел:

Эх, Яна, Яна и еще раз Яна...
Стели постель, я вжну спьяна,
Как пенится пурпурное вино
На развилке дорог,
Там, где винный погребок.

— Помнишь, Яна? — возбужденно воскликнул он, озаряемый пламенем очага.— Так я пел тебе, когда звал с собой скитаться по свету... Много страданий ты мне причинила, Яна. От любви и горя моя душа стала мрачнее омота... Мою песню пел со мной Илие Рагозан... И я смотрел на тебя, а ты глядела в другую сторону...

Эх, одну я знал девчонку,
Полюбил я всей душой...
В горе горьком безутешный,
Вот и запил я с тобой.
Пил вчера я, пил сегодня,
Месяц пил, судьбу кляня,
Да в вине не понял смака,
Хоть и пропилил я коня.

Фалибога пел хриплым голосом, не спуская глаз с жены. Вернее, даже не пел, а говорил, растягивая слова. Затем он с жадностью выпил вино и крикнул Лепэдату:

— Эй, Ницэ, друг! Видишь ты эту женщину? С ней вместе мы вели разбойничью жизнь! Сколько рек прошли, сколько лесов пересекли, по каким пустынным местам бродили... Всего не упомнишь. Были мы, парень, в Добрудже, в Бэрэгане и на той стороне Прута... Поднимались в горы и спускались в долины... А сколько лошадей мы украли и продали! Я по тюрьмам сидел, бежал, а Яна меня везде находила. Теперь, люди, добрые, я стал верным слугой... Но вы все равно не знаете, кто я... Бывает, порой вспыхнет у меня горячее желание. Пошел бы снова... Как посмотрю на Яну да выпью немного... «Айда!» — зовет меня глазами Яна... Я и пошел бы, да кости мои говорят: «Отдохни!» Тяжелы они стали.

Разве мог я думать,—
Кто ж о том гадает? —
Что любовным мукам
И конец бывзет!

Поиграй еще немного, Барбэ... Тоскливо мне!.. Яна снова глазами манит: «Айда!»

Женщина улыбалась, освещенная пламенем. Лицо ее хранило следы былой красоты, глаза светились страстью. Она посмотрела на Фалибогу, и в ее памяти ожило прошлое, полное волнений и дикого разгула. Свирель Георга Барбэ зазвучала так грустно, так нежно, будто перед сидящими в землянке открылась залитая осенним солнцем долина Прута, и со всех сторон неслась к ним песня бескрайних просторов. Охмелевшая Яна, смахнув тыльной стороной руки набежавшую слезу, рассмеялась, глядя в одну точку.

— Послушай, Ницэ,— сказал Фалибога, тяжело ворочая языком,— разопьем-ка еще одну кружку! Ты человек крепкий и, кажется, пришел оттуда, где много церквей и попов. У тебя совсем иная душа... Ты умеешь и жалеть и грустить, я таким не был.

Из теплой землянки они вышли поздно, была уже темная осенняя ночь. Старики собирались спать. Один Георг Барбэ, завернувшись в сермягу, вышел посмотреть на быков и чем заняты подпаски, которые ночевали вместе с ними в хлевах. Ницэ Лепэдату и Фалибога шли рядом, а Яна впереди них.

— Яна,— сказал Санду,— иди домой и ложись спать. Я еще объеду именье, проверю... Скоро вернусь.

Женщина скрылась в темноте. Фалибога привел свою кобылицу.

— Ницэ, возьми-ка своего коня, и поедем вместе...

Они спустились к хлевам. Лепэдату сел на коня, и они поскакали под непрекращавшимся холодным, безжалостным дождем. Долго они ехали рядом. Ницэ едва узнавал местность. Санду же пустил лошадь рысью, будто это было днем.

— Сегодня вечером я, кажется, хватил через край, но все равно в имени меня считают хозяином,— сказал он.

Они осмотрели хлева, проехали берегом раздувшегося пруда, мимо мельницы, поднялись к Гриумэрунту, к кошарам и только в полночь очутились у границ имени. Кое-где возле строений тихонько скулили в своих кону-

рах продрогшие от дождя овчарки. Дальше, в пустынном поле, Фалибога и Лепэдату ехали, словно сквозь черную стену, отступавшую перед ними.

— Время самое подходящее,— сказал смотритель,— уж я-то знаю. Придут два-три молодца и уведут самых лучших коров, если не смотреть в оба.

Проезжая мимо амбаров и хлевов, Санду крикнул сторожам, и те ответили ему сонными голосами. Так же сонно и глухо ворчали собаки; тявкнув раз-другой и снова будто впадают в оцепенение, придавленные дождевой мглой.

К помещицкому двору смотритель с работником добрались поздней ночью.

— Монашка спит в свое удовольствие, одна в боярском доме...— прошептал Фалибога.— Счетовод стар, напялит колпак на свою лысину и тоже укладывается вместе с курами. Им-то что? Хоть все сгни да пропади пропадом. Помещик веселится; кто его знает, где он... Может, за границей... А здесь вор Фалибога сторожит его добро... Странные вещи бывают на свете... Ну, спокойной ночи, Ницэ!.. Иди отдыхай и ты!..

Лепэдату задержал коня.

— Дядя Санду, погодите,— проговорил он.

— Что такое?

— Дядя Санду, простите меня за все, что случилось...

— Ты, Ницэ, божий человек. Иди ложись и думай о себе да о дочке Тенти,— улыбаясь, проговорил смотритель.

Фалибога потонул в ночи. Лепэдату слез с коня и завел его в сарай. Найдя свободное местечко среди коров, он, завернувшись в кожу, лег и положил под голову палицу. Прежде чем уснуть, он еще некоторое время думал с сомнением о словах и поступках боярского смотрителя. Затем мысли его перенеслись к дочке дедушки Настасе. Она ему показалась очень далекой, где-то за морями, словно исчезнувшей в осенних туманах и вьюгах надвигающейся зимы. Он заснул под доносившиеся с неба жалобные крики неизвестных, сбившихся с пути птиц.

Через неделю дожди прекратились, но погода все время стояла сырая. Над полями плыли серые туманы. Солнце не показывалось, будто навсегда ушло в какой-то другой мир, согревать другую землю. Люди верхами на конях гнали скот на водопой, потом загоняли его обратно

в хлева. Батраки в сермягах, промокших от непрерывных дождей, с трудом пробирались по грязи к амбарам и сараям. Только голос Фалибоги попрежнему раздавался во всех концах поместья, и его белая лошадь рысью мчалась по лужам.

Ницэ Лепэдату весь день просидел в сарае. Он выбирал постолы для себя и для мальчиков-подпасков и договаривался со скорняком Исаилэ о кожухах. В сарае были навалены горы овечьих шкур и сыромятных кож, заготовленных на постолы. От них шел тяжелый запах говяжьего жира. Через настежь открытые с двух сторон двери Ницэ были видны неясные, подернутые дымкой дали.

Исаилэ, старый лысый цыган, с черным лицом и белой бородой, сидя на корточках и ловко прокалывая иглой овечью шкуру, неторопливо рассказывал:

— Я, парень, был крепостным господина Иордаке, отца нашего молодого боярина. Жили мы тогда на берегах Молдовы, в других имениях. Смотрители там были тоже из крепостных... Они избивали нас кнутами и заставляли работать до потери сознания.

— Я слышал, будто в тамошних местах много сел? — спросил Ницэ, растягивая руками желтые постолы.

— Да, да... Там не такие хозяйства... У каждого хозяина дом, сад, огороженный забором. А здесь... на этих землях жили когда-то татары. Вот и Антон, мельник, то же говорит.

— Отец нашего боярина был богат? — спросил Ницэ.

— Еще бы! — цыган сверкнул белками глаз и покачал головой. — Поместья, скот, а батраков-то сколько!.. Какие усадьбы в Аврэменах!.. Пять сыновей у него было и четыре дочери... И всем оставил по имению. Ну и хозяин был господин Иордаке. Здоровенный мужчина, с большими усами... Все его боялись. Госпожа Профирица дрожала, как былинка, когда старый боярин сердился... И вот, смотри же, как получилось. Видно, молодой научился у старого... Смотрителем у Иордаке в Аврэменах был тогда Некулай Арнэуту — такой же злой и усердный, как наш Фалибога. Некулай Арнэуту тоже в свое время разбойничал, отбывал наказание на каторге... Боярин оттуда его и взял, с каторги, и привез в имение, чтобы нагонять страх на людей... Тогда люди были поленнее.

Цыган рассказывал и смотрел в открытую дверь, будто вызывал из тумана свои воспоминания. Лепэдату нарезал острым ножом ремни для постолов.

— Я,— продолжал Исаилэ,— младшего сына боярина, нашего господина Жора, на руках носил, сказки ему рассказывал, учил ездить верхом. Тогда я был помоложе. Ну, а теперь он вырос, стал взрослым, а я постарел. Но все же вспомнил обо мне и взял сюда, под свое крылышко. Жаль только, что он губит свои юные годы в этой пустыне. Человек молодой... А молодость своего требует. Ведь здесь мы живем, как отшельники. Мне-то что, я всегда могу уйти к своим цыганам, к скорнякам, таким же столетним старикам, как я, но боярин в цвете лет... ему другое нужно.

Снаружи у дверей послышались легкие шаги и женские голоса.

— Кто там? — нехотя спросил Исаилэ, подняв голову.

В сарай вошли, очищая ноги от грязи, монашка и Маргиолица. Затем послышались неторопливые, тяжелые шаги, и над закутанными в платки головами женщин показалась старая шапка, трубка и похожая на всклокоченную пряжу из рыжих и белых ниток громадная борода немца Антона.

— Эге,— тихонько потянул Исаилэ.— К нам идут люди... Сейчас повеселимся немного.

— Добрый день...— торопливо кивнула головой монашка.— Чем вы занимаетесь?

— Целую руку, целую руку...— пробормотал Исаилэ.

— Вот готовим людей к зиме...— ответил Лепэдату, улыбнувшись Маргиолице.

Антон переложил трубку из одного угла рта в другой и уселся на кучу овечьих шкур. Он что-то бормотал, потряхивая бородой, отчего трубка его то опускалась, то поднималась.

— Гутборга, гутборга! ¹ — улыбнулся, кивая головой, скорняк Исаилэ.

Немец, вынув изо рта трубку, тоже улыбнулся.

— Как вы поживаете, Исаилэ? — спросил он на ломаном румынском языке.

— Вот шью кожухи, что со мной сделается?

¹ Добрый день (искаженное нем.).

— Корошо, корошо...— кивнул немец и снова сунул трубку в рот.

— Он говорит — хорошо,— объяснил Исаилэ Ницэ.

— Дедушка Исаилэ,— визгливо проговорила монашка,— здесь у вас должны быть лисьи шкурки, которые привез господин Антон...

— Да, да,— подтвердил немец.

— Есть,— ответил скорняк.— Я выделал их как следует... Теперь только шубку сшить из них...

— Я их застрелить,— прервал его немец.

— Верно, ты убил лисиц, а я обработал шкурки,— заметил Исаилэ.

— Гут, гут ¹,— помахал трубкой Антон.

Старик Исаилэ отложил в сторону кожух, который он шил, и кряхтя поднялся с места. Из темного угла он достал лисьи шкурки, поднес их к открытой двери и развернул перед монашкой. Даже в туманном свете они ласкали глаз своим красновато-белым отливом.

— Красивые были звери...— тихо проговорил скорняк.

— Принесите их ко мне во двор...— мотнув головой, приказала монашка и уселась на перевернутом вверх дном бочонке... Маргиолица встала рядом. Она была в сермяге пепельного цвета, с черным платком на голове, бросавшим тень на ее глаза.

Немец постоял в задумчивости и вдруг, словно обращаясь к своей трубке, произнес:

— Я скажаль, барин делай гут — женится.

— Как женится? — удивился Исаилэ.

— Да вот так говорит господин Антон,— выпалила монашка.— Он был с нашим боярином на базаре, еще до начала дождей, покупал там железо...

— Абер, но я бил даже в Боташань...— вставил Антон.

— Да, да... Там он кое-что и видел и слышал. Он был у каких-то помешиков и понял, что боярин женится...

Бледное лицо монашки передернулось, в ее черных глазах отразилась тень беспокойства и обиды.

— На ком же он женится? — с любопытством спросил Исаилэ и опустил на колени кожух.

— Есть такой помещик, толстяк унд богач...— ответил Антон.— Зовут ему господину Ионашку... у него много

¹ Хорошо (нем.).

имение и Вэлень... Пять тысяч фэлчь¹ леса... и только одна дочка...

— Господин Ионашку Разу,— вспомнил Исаилэ.— Так это ведь тот, который приезжал к нашим господам в Аврэмени... Я его знаю. И девочку знаю: тогда она была маленькая, тоненькая, белокурая... Это его внучка.

— Значит, ты его знаешь? И все это правда? — опустив глаза, прошептала монашка.

— Ну, конечно, знаю,— весело продолжал скорняк.— Господин Ионашку, наверное, очень стар... А жена у него, я слышал, умерла.

— Да, да...— поддакнул немец.— Старый бояриня нет... А молодая фэйн, фэйн² и нежная, как цветок.

— Хм... значит... к нам едет хозяйка,— сказала монашка и деланно рассмеялась, посмотрев на Ницэ. Он вздрогнул, так как думал в это время о другом.

— Я очень рада, что к нам едет молодая хозяйка,— тихо заметила Маргиолица.

— Почему? — повернулась к ней монашка, сверкнув глазами.

— Не знаю... но мне кажется, что все у нас будет по-другому.

— Перемены обязательно будут, когда она придет,— вставил Исаилэ.— Такой молодой боярыне потребуется красивый дом и конюшни с первоклассными лошадьми... Посадит боярин и деревья и цветы для нее...

— О! — снова поддакнул немец,— и лакированный бричка понадобится...

— Верно...— согласился скорняк, взглянув на монашку.

— Если это знатная барышня, как она будет жить в такой пустыне? — раздраженно произнесла монашка.— Разве можно жить в этой глуши? Здесь нет ни развлечений, ни музыки, ни театра, как в большом городе. Уж я-то знаю, я видела другое... Я жила в Яссах...

Люди изумленно слушали ее.

— Так и должно быть...— сокрушенно пробормотала Маргиолица.

— Там все есть. Не знаю только, как я согласилась похоронить себя здесь,— показывая свои гнилые зубы,

¹ Старая румынская мера площади, около 1,5 га.

² Красивая (нем.).

продолжала монашка.— Что вы скажете, Ницэ? — рас- смеявшись, обратилась она к Лепэдату.

— Что мне сказать? Если они любят друг друга, им и здесь понравится...

Монашка пристально, с улыбкой, посмотрела на него. Маргиолица насупилась и, отвернувшись, начала уси- ленно рассматривать заваленный шкурами амбар. Она неторопливо надвинула платок на лоб и вздохнула.

Экономка, словно отпущенная ветка, вскочила с места.

— Дедушка Исаилэ, берите лисьи шкурки и пойдите со мной. Только заверните их во что-нибудь...

— Иду, иду, сейчас,— заторопился Исаилэ и отложил в сторону кожух.

— А вы, Ницэ, зайдите сегодня или завтра вечером ко мне. Я хочу с вами кое о чем поговорить...

— Хорошо,— ответил Ницэ, глядя на нее с недоуме- нием.

Поднялся и Антон.

— Пойду на мельницу...— пробормотал он.— Пришел к вам, говорил мало-мало... трубку курить... Теперь пойдем.

— А ты разве остаешься здесь? — спросила монашка Маргиолицу.

Девушка подалась назад и торопливо проговорила:

— Нет, нет... мне надо домой... Меня ждет отец...

— Ну хорошо. Потом приходи к нам,— бросила эконо- мка и, отвернув свое бледное лицо с черными глазами, быстро вышла, виляя всем телом.

Дедушка Исаилэ взвалил на спину лисьи шкурки и медленно побрел следом за ней.

— Хм! — бурчал он,— надо бы спросить Фалибогу... А то, если узнает, будет сердиться на меня...

Немец задумался и, шаркая тяжелыми сапогами, бор- мотал что-то непонятное в свою трубку. На пороге он по- вернул свою большую бороду к Лепэдату и спросил:

— А как ты поживайт, Ницэ? Абер приходи к нам, на мельницу... будем беседовать... Я, как остался без жены... Очень одолевой скука. Ну, до свидания! — И он ушел, попыхивая трубкой.

В амбаре наступила тишина, ярче стал пепельно-серый свет.

Ницэ легко поднялся со своего места и подошел к Маргиолице. Он улыбнулся и хотел взять ее за руку.

Девушка подняла платок, открыла лицо и, откинувшись назад, испуганно посмотрела на него.

— Ницэ,— быстро проговорила она,— не ходи туда, на барский двор...

Лепэдату опустил руки и внимательно посмотрел ей в лицо.

— Почему?

На глазах девушки показались слезы.

— Не ходи, Ницэ... Я сейчас узнала, что за сердце у монашки. Не ходи!

— Что с тобой, Маргиолица? Чем ты взволнована?

Девушка посмотрела на него, и взгляд ее горел гневом и любовью. Она приблизилась и протянула к нему руки. Лепэдату еще не понимал, что случилось, но, когда он почувствовал у своей груди трепетное прикосновение девушки, его охватила горячая волна. Он обнял Маргиолицу за плечи. Девушка затрепетала в его руках, Ницэ крепко поцеловал ее в губы.

— Не пойдешь? Скажи, что не пойдешь,— повторяла она и в каком-то диком порыве смотрела на него.— Приходи сегодня вечером к нам, в землянку... Я куда-нибудь отошлю отца из дому... Приходи, и мы поговорим...

Девушка вздрогнула. За амбаром снова послышались шаги, и раздался визгливый голос монашки:

— Маргиолица!.. Иди сюда... Маргиолица, где ты? Дедушка Исаилэ, вы меня не ждите, идите, а я вас догоню.

Девушка вырвалась из объятий Лепэдату, быстро надвинула платок на лоб, еще раз шепнула «приходи» и с потемневшим от ненависти лицом выскочила наружу.

Лепэдату остался один. Опьяненный, он опустился на пол рядом с овечьими шкурами и постоломи. Взяв нож и стрекало, попытался было приняться за работу, но все валилось из рук. Перед глазами стояла землянка, где сегодня его будет ждать Маргиолица.

Когда Исаилэ вернулся из боярского дома, Ницэ все так же сидел, уставившись в одну точку. При первых словах старика он вздрогнул.

— Я был в помещицьем доме,— сказал Исаилэ.— Посмотрел бы ты, в какой комнате живет наша монашка... Вся в дорогих коврах... Да ты... Что с тобой, парень? Ты как будто не в себе...

— Нет, ничего, дедушка Исаилэ,— улыбнулся Ницэ.— Так, задумался...

Старик хитро подмигнул...

— Знаю, знаю, о чем ты, парень, думаешь. В твои годы и я думал об том же самом...

— Нет, дедушка, я не о том...

— Знаю, знаю,— настаивал скорняк.— По лицу видно. Да мне что? У меня и своих забот-хлопот хватает...

Старик, склонившись над козухом, замурлыкал песню.

— Ты не прислушивайся к моему пению... Это песня моей молодости...— произнес он и запел громче протяжным, грустным голосом.

Вдруг оба рассмеялись и посмотрели друг на друга. Затем они смолкли, и глаза их снова устремились в раскинувшиеся перед ними печальные, подернутые туманом, дали...

По мнению Ницэ Лепэдату, дочка Тенти была не такой, как все девушки. Пылкая в любви, она обладала ясным умом. Он по ночам приходил к ней и, опьяненный ее ласками, зачастую до рассвета оставался в землянке, когда старика не было дома. Маргиолица, поставив лампу на припечке, начинала тогда строить планы, говорить о том, как сложится их жизнь.

— Я так думаю,— рассудила она однажды.— Весной мы с тобой пойдем к помещику и скажем ему, что хотим пожениться. Пусть он нам поможет завести хозяйство... Говорят, в других местах так делается...

Лепэдату удивлялся ее мыслям, и они ему нравились.

— Нам нужно справить свадьбу в церкви, с попом... Здесь люди забыли эти обычаи,— продолжала она.

— Верно,— соглашался Ницэ.— Справим свадьбу похристиански... А потом сходим к примарю.

— Если нужно будет, сходим...— задумчиво промолвила девушка.

Однажды, уже попрощавшись, Ницэ вдруг рассмеялся и спросил:

— Послушай, Маргиолица, что тогда произошло с тобой в амбаре? Помнишь, когда ты просила меня не ходить к экономке?

— Ну, а ты у нее был?

— Нет, я не пошел. Но меня удивило... Ты что, ей враг? Ведь ты бываешь у нее... Она тебе желает добра...

— Не знаю, так что-то нашло тогда на меня.

— Я не пошел; она, конечно, могла обидеться, но я подумал бог весть что...

Девушка улыбнулась, и опустила голову на грудь парня.

— Если и обиделась, то это уже давно прошло. Оставим монашку в покое.

Возвращаясь к своим коровам, Лепэдату думал: «Ну и лукава же дочь старика, змея, лисичка-сестричка! Зачем она меня мучает, за нос водит? И что бы я для нее только не сделал? Ведь видит девка, как дорога она мне!»

В конце ноября подул сильный северный ветер и разогнал туман. Показалось желтоватое, немощное солнце. Подернулись ледком болота и лужи. А вечером, когда медью окрасился горизонт, нагрянули тучи и вьюга, прилетевшая с ледяных морей, стала носить в воздухе снежный пух. Зима началась буранами.

Когда совсем стемнело, в хлев к Ницэ пришел Фалибога.

— Никогда так не начиналась зима,— сказал он,— плохой признак, дружок!

— Да,— ответил Ницэ,— зима здесь тяжелая, но все в руках божьих.

— Кожух у тебя хороший? Постолы в порядке? Тогда повернись к ней спиной, и пусть пройдет мимо.

— А что еще можно делать? — рассмеялся Лепэдату. Смотритель поехал верхом к другим хлевам.

Вокруг помещичьей усадьбы жизнь кипела сильнее, чем в любое другое время. Чабаны переводили овец в долину, в хлева. С приближением зимы обширное хозяйство помещика стягивалось в одно место. Злой, холодный ветер как будто всех расшевелил. В этот первый зимний вечер люди сновали по усадьбе, оживленно разговаривали, кричали в буран, сзывая собак.

Ницэ Лепэдату, вывернув кожух шерстью наружу, прошелся вдоль длинного ряда коров. Затем он окликнул Сэрмана, сторожевую собаку, которую подарили ему подпаски, и, достав из мешка большой кусок мамалыги, бросил ей.

— А у тебя, Сэрман¹, есть кожух на зиму? — шутил Ницэ, похлопывая собаку по морде

¹ Сэрман — бедный, бедняга.

Шерсть собаки отливала черным блеском на белом покрывале первого снега. Ницэ немного постоял, подумал, всматриваясь в темноту. С тех пор как он помнил себя, со времен далекого детства, когда он только начинал службу пастуха, зима всегда вызывала в его душе беспокойство. Ее суровость он ощущал так, как будто на него дохнуло ненавистью с чужих берегов.

— Пошли, Сэрман, к землянкам,— позвал он.

Захватив с собой собаку, Лепэдату в накинута на плечи кожухе пошел навстречу разыгравшемуся бурану.

В лачугах слабо поблескивал свет. Лепэдату вошел в землянку к старикам, присел на лавку у печки и задумался. Собака легла у его ног. Иногда в землянку, чтобы выкурить трубку, весь в снегу заходил кто-нибудь из работников или пастухов. Старики с озабоченными лицами вспоминали тяжелые зимы прошлых лет. Говорили они об этом так, словно речь шла о войнах или о каких-либо других суровых испытаниях. В наступавшей время от времени тишине слышался вой бурана, похожий на шум воды. Проникавший в трубу ветер колебал язычок пламени коптилки.

На следующий день утром вьюга утихла, но снег еще шел целые сутки. Потом сразу ударил мороз. Люди выходили из своих землянок, как из-под земли, и протапывали в снегу тропинки. Дым столбом поднимался кверху. Голоса звучали сухо и резко, как звон стекла. Фалибога и Лепэдату разъезжали верхом на лошадях и осматривали стога соломы и сена, которые работники грузили на сани. Пастухи отгребали снег от загонов, где помещались овцы. Ослепительно белая, незапятнанная снежная пелена простиралась до самого горизонта. И только большие стаи черных ворон, как дымовая завеса неожиданно спускавшиеся с вышины, усеивали черными движущимися точками эту сверкающую белизну.

За два дня до праздника Никулае, в полдень, со стороны стоявших на холме сараев вдруг донесся серебристый звон бубенцов и, разрастаясь, слышался все ближе и ближе к долине. Молниеносно по землянкам распространился слух: едет боярин Аврэмьяну. Люди высыпали из своих нор, словно муравьи. Выходили женщины, босонogie дети — все вытягивали шеи, всматривались поверх крыш землянок вдаль.

И действительно, помещик мчался в санях, запряженных цугом; звенели разноголосые бубенцы. Фалибога и Яна вышли из землянки в новых полушубках и спустились к помещицкому дому.

— Ой, Санду! — удивленно воскликнула Яна. — Таких красивых саней я еще не видала.

— Помолчи, — сказал Фалибога. — То, что в санях, пожалуй, покрасивей будет...

— Где? Я не вижу...

— Я-то вижу, у меня рост повыше и шея подлиннее... Поднимись на цыпочки и увидишь...

— Ах, Санду! Она будет нашей хозяйкой... Какая хорошенькая барышня!

Господин Жорж приехал в свое имение с невестой и стариком господином Ионашку Разу.

— Все подтвердилось, Яна, — пробормотал Фалибога. — Теперь кто его знает, что будет!

Яна повернулась и, слегка насупившись, искоса посмотрела на мужа.

— Почему ты так говоришь, Санду?

— Ох, Яна. Эта голубка — птица городская. Унесет она нашего боярина из этой пустыни...

Яна ничего не ответила. Она смотрела горящими глазами на сани, которые медленно приближались к дому, на выглядывавшее из мехов розовое личико барышни. Затем она повернулась и, запахнув полы своего овчинного полушубка, незаметно прошмыгнула за спиной Фалибоги.

— Посмотрим, что выйдет из этой чертовой затеи... — прошептала она.

Сани остановились перед домом помещика. На окнах заколыхались и приоткрылись, словно глаза, белые занавески. Затем распахнулась дверь, и на крыльцо крадучись вышла монашка, худая, в лисьей шубке, с застывшей улыбкой на лице, обращенном к приехавшей белокурой девушке. Сани тотчас же окружила толпа людей с шапками в руках.

Первым освободился от мехов и лихо выпрыгнул из саней Жорж. Его смуглое лицо было озарено счастливой улыбкой. Потом, с трудом вытаскивая ноги, вылез старый боярин, толстый и неуклюжий, с белыми усами и черными бровями. И, наконец, выпорхнула с помощью господина Жоржа тоненькая светловолосая девушка в надвинутой

на одну бровь шапочке, с пушистым мехом вокруг шеи до маленьких ушей.

Господа вошли в дом. За ними, смиренно согнувшись, последовала монашка. Люди не двигались с места. Они разглядывали сани, лошадей, кучера в тулупе, крытом синим сукном, и в казачьей мохнатой шапке. Они долго не расходились и после того, как сани отвезли в конюшню, разговаривали о помещиках, о чудесных местах, откуда прибыли эти счастливые сытые люди. Жителям нор приезд их боярина показался светлым видением.

Спустя некоторое время господа вышли из дому. Батраки, выстроившись в две шеренги, жадно разглядывали их румяные, довольные лица.

Жорж Аврэмюну приблизился к своим батракам и, улыбаясь, сказал:

— Вот, люди хорошие, ваша хозяйка..— и так посмотрел в часто мигающие глаза девушки, будто увидел что-то необычайно драгоценное.

— Дай бог ей доброго здоровья,— раздалось сразу несколько голосов.

Старый Ионашку курил, посасывая янтарный мундштук. Задумчиво осмотрев людей, он снисходительно улыбнулся светловолосой фее и проговорил: «Ах, иль сон бьен саль, сэ повр жан!»¹

— Что он сказал? Вы слышали? — переглядываясь, зашептали люди.

Запахнув добротные шубы, господа пошли дальше. Когда белокурая фея увидела землянки, она громко рассмеялась и защебетала:

— Тиен! Кеске се ке са?² Ах! Это жилища. Какие странные! — весело продолжала она по-французски, обратив красивые глаза к Жоржу Аврэмюну.

— Да, ничего смешного в этом нет, здесь мы далеки от цивилизации! — сказал Ионашку, окутывая свое лицо облаком голубого табачного дыма.

— Странно! Очень странно! — прошептала девушка, и в ее голубых глазах промелькнула тень.— Эти землянки напоминают мне рассказы о шахтерах, которые я читала в пансионе.

¹ Ах, они так грязны. эти бедные люди! (франц.)

² Что это такое? (франц.)

Помещики направились к хлевам, а за ними, словно робкое и вместе с тем довольное стадо, шла толпа.

— Мое хозяйство весьма неприхотливое,— смущенно улыбаясь, объяснял Жорж.— Но здесь иначе нельзя. Здесь необжитые земли...

Белокурая девушка ласково улыбнулась ему. Она действительно была очень нежна и красива. Люди, переговариваясь, удивленно разглядывали ее.

— Они говорят по-французски,— шепнул Фалибога Яне.

— Я думаю, что и летом здесь не намного интересней,— снова зашебетала девушка, улыбаясь и вертясь на месте.

— Для меня нет ничего более красивого,— сказал Аврэмюну,— чем бесконечные поля пшеницы. Вот и Фалибога,— продолжал он, увидев зрителя.— Подойди сюда, Санду...

Фалибога выступил вперед и вытянулся, стараясь насколько возможно смягчить суровость своего лица.

— Целую ручку, хозяйка,— нерешительно пробормотал он и протянул красавице свою черную лапу.

— Дай ему руку, пусть поцелует,— шепнул Аврэмюну по-французски. Фалибога поднял глаза на хозяина. Затем поцеловал тонкую ручку в перчатке.

— У тебя все в порядке, Санду? — улыбаясь, спросил боярин.

— Все. Как всегда,— спокойно ответил Фалибога.— Я приду доложить...

— Сейчас у нас нет времени, Санду,— прервал его Аврэмюну.— Мы здесь проездом. Завтра утром оставляем вас.

— И далеко едете, хозяин?

— О да... В Италию. Вы о ней, наверно, и не слыхали.

— Нет, боярин Жор, слыхали и мы,— сказал Фалибога и, вздохнув, бросил мрачный взгляд на Яну.

Барышня вдруг рассмеялась.

— Мне холодно! Мне очень холодно! — стала она жаловаться.— Пойдем домой.— Она схватила руку Аврэмюну и положила голову ему на плечо.

— Я выполнила твоё желание... Мы вполне насладились зрелищем твоего царства на краю света...— Она нежно улыбнулась.— Уедем отсюда... скорей, скорей... И подальше! Туда, где цветы и... песни! Ах, как я счастлива, Жорж!..

Они повернулись и торопливо пошли обратно. Старый боярин старался от них не отставать. Вид у него был недовольный.

— Розина... Розина... на тебя люди смотрят,— укоризненно заметил он.— Будь благоразумна.— И, закашлявшись, с досады швырнул папиросу в снег.

— Слышал, Санду, ее зовут Зыне¹,— улыбнулась Яна, глядя вслед счастливой девушке.

Фалибога что-то пробормотал в ответ. Господа вошли в дом. Через некоторое время Жорж появился один и, подождав Фалибога, громко сказал:

— Санду, пошли на санях человека в местечко и вели привезти из корчмы три ведра водки... Пусть люди сегодня гуляют до самого вечера... Только смотри в оба...

— Понятно, боярин,— ответил Фалибога.— А когда вы вернетесь?

— Когда? — переспросил Жорж.— Нашей молодой госпоже здесь не очень-то нравится... Но я вернусь как можно скорее, постараюсь...

— Приезжайте здоровым, хозяин,— пожелал Фалибога.

Маленькая ручка уже стучала в окно. Господин Жорж повернулся и вошел в дом.

— Да наденьте вы шапки! — хмуро бросил Фалибога толпившимся людям и сам надвинул свою шапку на глаза.

— Пусть Андрей Броаскэ съездит за водкой,— строго добавил он.— А вы идите занимайтесь своими делами! Господа пошли домой, отдыхать. Чего вам еще?

Батраки, разговаривая о важном для них событии, медленно расходились, шаркая по снегу большими, наполненными соломой постололами.

— Эй, Грекушор! — крикнул Фалибога худенькому мальчугану.— Оседлай-ка мою Альбу да приведи сюда... Поеду проверить, как выполнены мои утренние распоряжения.

Смотритель ушел ворча. Умчался и Грекушор, прыгая через сугробы.

Лепэдату ждал господ возле хлева. У его ног лежала овчарка. Ницэ заметил их, когда они еще только направились к нему, и заранее снял шапку. Но сверкающий взгляд очаровательной девушки в белой шубке только

¹ Зыне — фея.

скользнул по нему и тут же обратился в другую сторону. Господа ушли, а Ницэ еще долго стоял на месте с шапкой в руках.

Фалибога, широко шагая, подошел к нему и, ухмыльнувшись, заговорил:

— Ну, Ницэ? Что скажешь? Да надень ты шапку на голову.

— Какая она маленькая и... красивая! — произнес Ницэ.

— Ну? А ты что думал?.. Это чистенькое создание, не такое, как мы с тобой... От нас пахнет дымом и землянкой. А это молочное мясо, выращенное в пухе. Другой человек!

Лепэдату не отвечал. Он, улыбаясь, глядел вдаль, будто нежное видение все еще стояло перед его глазами.

На следующий день переливчатый звон бубенцов снова огласил тишину долины. Мороз стал немного помягче, на ясном, изумрудном небе искрилось солнце. Запряженные цугом кони примчали к крыльцу заваленные мехами сани. Кучер в мохнатой шапке величественно восседал на козлах и даже не считал нужным посмотреть на жалкие лица стоявших вокруг людей.

Батраки собрались, чтобы проводить господ. На крыльце черного хода стоял Фалибога и выслушивал последние распоряжения боярина. Когда он вышел, все смотрели в направлении кошар на холме, где показалась малорослая лошаденка, запряженная в небольшие сани. Фалибога, приставив ко лбу руку щитком, посмотрел на них.

— Это, наверное, господин примарь, — пробормотал он.

Лошаденка, семена ногами, поровнялась с домом и остановилась. Из саней вышел маленький, толстый, городского вида человек, одетый в овчинный тулуп. Высокая остроконечная шапка и большие белые отвороты шубы обрамляли его широкое багровое лицо с маленькими бегающими глазками и рыжими бровями.

— Кто посмотрит за моей лошадью и санями? — обратился он к батракам булькающим голосом тучного человека. Сняв огромные шерстяные однопалые рукавицы, он сдвинул со своих красных бровей шапку и отбросил на плечи воротник.

— Каким ветром вас занесло к нам, господин примарь? — встретил его Фалибога.

Представитель власти обернулся, и его мясистые губы растянулись в улыбке.

— Ах! Это вы, господин Санду!.. Господа приехали, не правда ли? Я их видел вчера, когда они промчались через местечко.

— Приехали! Теперь у нас есть молодая хозяйка...— качнул головой Фалибога.

— Знаю, знаю...— рассмеялся примарь.— Поэтому я и поспешил засвидетельствовать свое почтение...

Люди молча смотрели на него. Примарь немного повертелся на месте, поглядывая в сторону помещичьего дома.

— Пожалуйте сюда, господин примарь, к заднему крыльцу,— указал рукой Санду.

Но тут двери парадного хода широко открылись, и в них показались господа в шубах. Примарь подскочил к крыльцу.

— А! Господин Вылку!.. Какими судьбами? — узнав его, с некоторым удивлением воскликнул Жорж.

— Только что прибыл,— ответил примарь и сделал глубокий поклон госпоже Розине.

— Одну минутку, господин примарь... Только одну минутку! — Жорж взял под руку молодую девушку, усадил ее в сани и укутал пледами. Она смотрела на своего жениха сверкающими глазами, на ее румяном личике сияла улыбка.

— Прекрасная погода,— весело щебетала девушка.— Как бы нам не опоздать! Едем, Жорж, едем!

— Сейчас,— шепнул ей Аврэмяну по-французски...— Мне нужно кое-что сказать этому человеку.

Старый боярин с трудом забрался в сани. Монашка, опустив глаза, смиренно наблюдала с крыльца. Помещик отвел примаря в сторону. Разговаривали они тихо и очень недолго. Господин Аврэмяну расстегнул шубу и начал шарить по карманам. Достав бумажник из бокового кармана, он вынул из него и передал господину Вылку бумажку, которую тот поспешно спрятал.

— Премного благодарен,— заулыбался примарь.— Остаюсь вашим покорным слугой, как всегда...

— Ладно, ладно...— застегивая шубу и не глядя на него, пробормотал Аврэмяну.— До свидания, господин Вылку... До свидания!

— Мое глубокое почтение,— погромче ответил примарь и склонился в сторону белой шубки.

Девушка только прищурила глазки, Аврэмюну поспешно сел в сани. Монашка быстро спустилась с крыльца. Фалибога подскочил с другой стороны саней. Кучер повернулся назад, и все принялись укладывать меха и пледы.

— Санду,— позвал боярин,— смотри, чтобы все было в порядке...

Санду снял шапку.

— Не беспокойтесь. Возвращайтесь в добром здорье...

Поснимали шапки и все батраки.

— Прощайте! — еще раз крикнул помещик.— Трогай, Костак!

Кучер хлестнул кнутом, бубенчики зазвенели, и сани быстро понеслись вверх по белому бесконечному простору. За ними спешил на своей лошадке утонувший в теплой овчинной шубе господин Вылку. Шапка у него была надвинута на брови, меж краями поднятого воротника торчал только кончик носа.

— Вот, Ницэ, видел власть? — сказал Фалибога.— Примарь из местечка, господин Вылку... Хитрая лисица! Как только приезжает боярин, он тут как тут. А в другое время кто его здесь видит? Сунул ему боярин голубую бумажку — и все. Это называется — примарь выполнил свой долг... Мы здесь сами себе власть. У нас нет ни попов, ни примарей... Приезжает раз в год за деньгами сборщик налогов — и все тут!

Фалибога рассмеялся, глядя вслед деревянным некрашеным санкам примаря, которые гнались за красивыми боярскими санями, как цыпленок за курицей.

— Что это ты, Ницэ, стоишь с открытым ртом? — снова заговорил Фалибога.— И вчера тоже... Будто и в самом деле увидел сказочную фею... Надень шапку...

Нежный звон бубенчиков потонул вдалеке. Двор и землянки молчали, словно еще больше помрачнели в морозной тишине. Смотритель отправился по своим делам. Ницэ вернулся к скоту с Сэрманом. А вечером, когда люди собрались у своих очагов, снова зашел разговор о взволновавшем всех необычайном событии, о видении, которое, словно из другой жизни, появилось, промелькнуло и исчезло.

Тихо проходила зима. Люди и животные чувствовали себя хорошо. Ничто больше не нарушало их одиночества.

Только за день до рождества из большой деревни, где жил примарь, в имение господина Жоржа приехали верхом поп и дьякон. Приехали, чтобы известить жителей нор о рождении спасителя. Они вошли в помещичий дом, где их смиренно приняла загрустившая монашка. Побывали они и в землянках. Там их встречали женщины и дети. Фалибога выполнил свой долг по отношению к священнослужителям, и в полдень поп с дьяконом уехали обратно в деревню. Люди провожали их взглядом, пока фигуры всадников не растаяли вдаль, как две черные точки...

В праздники люди ели свинину, как требовал обычай, и пьянствовали. Встречая новый год, они веселились в душных землянках. Чабаны и сторожа, охранявшие амбары, поочередно приходили выпить и закусить. Фалибога, не смыкая глаз, следил за тем, чтобы батраки не курили в соседстве с соломой и камышом. В дни праздников дозволено выпить, но как бы хмель не наделал беды.

Однажды вечером после крещения опять подул легкий ветер. Лепэдату и Фалибога сидели в землянке у стариков и беседовали.

— Ну, половину зимы хорошо прожили,— сказал Фалибога,— посмотрим, какова будет вторая половина...

— Надо думать, что зима свое возьмет, как всякая зима,— улыбнулся Ницэ.

— Верно... Волки ее не съедят. Но я всегда после крещения начинаю думать о весне. Зимой тоже живешь, но как-то простора нет. Вот и моя Яна тоскует по весеннему солнышку.

Фалибога уселся поудобнее у очага.

— Весной и барин приедет...— задумчиво произнес Прескурие.— Прилетит вместе с журавлями.

Фалибога покачал головой.

— А красиво, когда растают снега,— вздохнул он.— Поля зеленые, как лягушка. В небе жаворонки поют. Повсюду журчат ручейки, покрываются пеной. А пахнет, аромат-то какой, трудно передать. Так сладко, что даже моя Альба, и та дрожит от радости и ржет. Вместе с боярином Жором мы выезжаем в поле верхом и намечаем, где начать пахать, где будет весной пастбище, где сенокосы... Боярин любит нашу черную землю...

— Как ему не любить нашу землю? — подал голос из угла Иримия Издраил.— Немало мест повидал я за свою жизнь, мои руки много копались в земле... Но здесь...

Здесь земля иная. Бог создал ее, чтобы она давала плоды, о каких никто на свете не слышал... Кукуруза растет такая, что скрывает с головой всадника... Пшеница всегда выше груди, зерно большое, тяжелое... А почему? Видно, бог благословил эту землю...

— Потому и жил наш боярин в такой пустыне, — добавил Фалибога. — Он никуда не выезжал, как будто у него здесь была любовь... С утра до позднего вечера боярин Жор торчал вместе со мной на поле. В середине лета мы с ним отправлялись в Сэвень, куда наезжают из далеких сел жнецы и где устанавливаются цены. Обрати мы возвращались с целой оравой... Жнецы шли по полям с серпами, как войско... Вот почему любил наш боярин эти места. Они давали ему богатые урожаи... Здесь благословенная земля.

— Во время косовицы, вот когда хорошо, — раздался из глубины землянки голос Георге Барбэ. — Мужчин и женщин столько, что в сараях ступить негде... Разговор, смех, песни по вечерам у костра... Так-то оно, когда много народу.

— Поговори, Барбэ, поговори еще! — заметил Фалибога. — Тогда ведь самое твое время. И поешь и с девушками заигрываешь... Вспоминаешь свою молодость...

— Что толку в моем заигрывании? — пробормотал Георге Барбэ. — Стар я для этого. А когда человек стар, остается только подложить под него охапку соломы и поджарить на огне, как поется в песне...

Все рассмеялись. Дедушка Иримия кивнул головой, указывая на Лепэдату:

— Вот такой парень, полагаю, летом не станет скучать.

— Кто знает? — ответил Ницэ. — Может быть, летом у меня другие мысли будут...

— А какие мысли?..

— Оставьте его в покое, — сказал Фалибога, — это секрет... Незачем тебе знать их, старик... До того времени, Георге Барбэ, возможно, придется на свадьбе играть...

Все смолкли. Никто больше ни о чем не спрашивал. Только старик Иримия тихо вздохнул.

— Дал бы бог!

В трубе завыл ветер.

— Будет перемена погоды, — заметил Михалаке Прескурне.

Снова наступила тишина. Санду Фалибога глухо спросил:

— Как вы думаете, где сейчас наши господа?.. Нельзя узнать. Говорят, что страна Италия находится на теплом море... Там не бывает морозов и все время стоит весна... Мне боярин рассказывал, когда мы с ним ездили по полям.

— Кто его знает, где находится эта страна...— вздохнул Ницэ.

— Если она на море...— вставил Михалаке Прескурие,— стало быть, на самом краю света... Туда улетают журавли и ласточки... Удивительно, как могут туда добраться люди...

— А очень просто,— сказал Фалибога.— Сейчас есть поезда, которые мчатся, как стрела.

Опять стало тихо.

— А разве люди там живут лучше? — спросил Ницэ Лепэдату.

— А то как же? — ухмыльнулся Фалибога.— Зачем туда поехали наши господа? Чтобы им было лучше!.. Я тоже удрал бы от зимы, если б мог... Хотя зачем мне собственно удирать? Я уже свыкся с ней...

— Мне кажется, что боярин поехал только ради своей барышни,— сказал Ницэ.— Она ведь такая тоненькая и бледная... Я еще не видел таких девушек... Это она туда потащила нашего боярина. Ты разве не видел, как он смотрел на нее? Как на какую-то драгоценность! Сейчас они, наверное, болтают и веселятся...

В трубе снова протяжно завыл ветер, огонь коптилки заколебался и едва не погас.

Смотритель поднялся, отыскал свою шапку и кнут.

— Пойду взгляну, что делается во дворе,— сказал он.

— Пойду и я...— проговорил Ницэ, натягивая на плечи кожух.— Ребята, наверное, заждались меня.

Как только они вышли из землянки, им сразу ударила в лицо пурга, а в поле их встретил пронизывающий холодный ветер.

— Эх, чертовщина! — сплевывая, крикнул Фалибога.— Прямо в рот лезет!

Ницэ запахнул покрепче кожух. Фалибога направился к своей землянке.

— Невозможно! — простонал он.— Надо еще что-нибудь надеть... Ты, Ницэ, сегодня ночью не отходи от скота. Кто его знает, что может случиться в такую пургу!

— Да я и так всегда сплю вместе со скотом! — уходя, ответил Ницэ.

Вначале у него появилась мысль пойти повидаться с Маргиолицей, немного поговорить с ней. Но потом он передумал и направился к хлевам. На земле и в воздухе творилось что-то невообразимое. Ветер колол лицо тысячами ледяных иголок. Мелкий снег забивался во все складки одежды. А с вышины будто низвергался бесконечный снежный поток.

По дороге к хлеву Лепэдату заметил, что вьюга усиливается. Пастухи, тесно сгрудившись в одном углу, ждали его. Сэрман встретил Ницэ у двери и стал вертеться у него под ногами. Хотя коровы неподвижно стояли в полумраке, Ницэ чувствовал, что они беспокойны. Они то и дело поднимали головы и тревожно прислушивались к пурге. Снег яростно хлестал по камышовому строению. С незащищенной южной стороны просачивались в него с боков и сверху капли. Иногда ветер свистел и бил с такой силой, что ветхое помещение содрогалось, словно под ударами невидимых тяжелых крыльев.

— Дядюшка Ницэ, — спросил подпасок Нистор, — сегодня волки опять придут к хлевам, правда?

— Молчи... У нас хорошие собаки и ружья... К тому же в такую пургу даже звери не выходят из своих берлог...

— Дядюшка, как же вы будете здесь один?.. Страшно!.. Слышите, будто волны шумят...

— Я вижу, ребята, вы не на шутку испугались вьюги... — тихо промолвил Лепэдату. — В ваши годы и я боялся... Ну, идите спать...

Подпаски вышли и затворили за собой камышовую дверь. Лепэдату прошелся до самого конца хлева и прислушался к дыханию животных.

Затем он вернулся, закутался в кожу и лег на охапку сена, на своем обычном месте.

Рядом с ним стояло заряженное ружье, — впрочем, Ницэ больше полагался на свою медную палицу. Он достал ее и положил так, чтобы она была под рукой. Потом он снова опустил на сено.

Ницэ долго лежал задумавшись. Ему не спалось. Вокруг все гудело. Перед ним встали картины его детства, прошедшего среди чужих людей. Он не помнил ни отца, ни матери. С завыванием ветра в голове его рождались

горькие мысли. Потом он подумал о своей любви, и снова у изголовья как будто появилась Маргиолица. Сзади, за его спиной, через камышовую стену проникал ветер, принося с собой мелкую снежную пыль. Вверху, над его головой, вздувалась крыша. И вдруг где-то совсем рядом послышалась какой-то странный шум.

«Сильный, однако, буран!» — подумал Ницэ.— Свист и напор ветра не ослабевал ни на минуту.

Казалось, какая-то сверхчеловеческая сила пыталась оторвать от земли и унести ветхие стены постройки. Завывание и стоны слышались отовсюду, словно безнадежные одинокие призывы о помощи.

— Конец света,— прошептал Лепэдату.

Испуганный скот стал сбиваться в кучу. Будто почуяв чьи-то шаги, зарычал Сэрман.

— Ну, ну, будь умницей, никого нет, Сэрман! — проговорил Ницэ и поднялся. Он старался взглянуть в темноту и думал, как успокоить скот. Но и собака и коровы раньше человека почувствовали неладное. А когда это дошло и до человека, было уже слишком поздно. Со страшным, резким шумом затрещали стропила строения. Обезумевшие животные с ревом кинулись в разные стороны. Под этим новым напором хлев начал рушиться. Коровы ринулись в образовавшиеся проломы. Сэрман издал отчаянный визг, похожий на человеческий плач. Обломок камышовой кровли, словно громадное крыло, свалился на голову Лепэдату. Он зашатался, как пьяный, и наклонился, чтобы отыскать свою палицу, как бы в защиту от врага. Ветер с грохотом выстрела ворвался в хлев, и пурга ослепила Лепэдату. Все это произошло в одно мгновение. Вокруг слышался рев животных. Ницэ упал на колени. Только он хотел подняться, как вся соломенная крыша рухнула и придавила его своею тяжестью. Ницэ подумал — это конец. Мгновенье еще он слышал вой собаки, который тут же потонул в завываниях бури.

В это время Фалибога возвращался верхом на Альбе в свою землянку. Порыв ветра донес до его слуха рев скота, треск распадавшегося хлева и протяжный вой собаки. Фалибога быстро свернул с дороги и хрипло крикнул:

— Эй, Лепэдату! Эй! Где ты? Что случилось?

Спрыгнув с коня, смотритель бросился вперед. Ослепленный снегом, он шел с вытянутыми руками, нащупывая

дорогу. Услышав приглушенные стоны Лепэдату, остановился. Сначала Фалибога хотел было бежать к землянкам звать людей, но затем стал сам действовать. Ничего не видя, он разрывал руками связки камыша и разбрасывал их по сторонам. Иногда он останавливался и, прислушиваясь, кричал: «Отзовись, Ницэ! Это я, слышишь! Эй, Ницэ!» Стоны Лепэдату стали более явственными, и наблюдатель закричал во мраке:

— Люди добрые! Помогите! — Вдруг его осенила мысль. Он схватил ружье и два раза выстрелил. Но грохот выстрелов заглушила вьюга.

Санду снова стал в отчаянии разрывать руками камыш, пока, наконец, не нашупал кожух, а под ним теплое тело Лепэдату. Он вытащил парня из-под обломков и укутал его. Затем вскочил на лошадь и помчался к землянкам, взывая о помощи.

В ту ночь Ницэ был на волосок от смерти. Его принесли в землянку к старикам с разбитой головой и придавленными ногами. Вскоре, несмотря на вьюгу, пришла Яна, обложила больного намоченным в водке хлебом и поставила у изголовья восковую свечу. Старики хлопотали до самого утра. Ницэ непрерывно стонал, лежа с закрытыми глазами. Утром прилетела Маргиолица, словно вьюга принесла ее. Увидев Ницэ, девушка зарыдала, сжала руками голову и упала ничком на землю, рядом с лавкой, на которой он лежал.

Три дня и три ночи больной не приходил в сознание. Только на четвертый день он открыл глубоко запавшие глаза, в которых отразился с трудом проникавший в землянку тусклый свет.

Обо всех этих событиях, случившихся в те времена, когда земли между Жижие и Прутом были мало обитаемы, мне рассказал недавно один из жителей Бордеен. Однажды летом я приехал в село, где он был старостой, и остановился на его дворе, обнесенном плетнем. Хозяин отвел моих лошадей в глинобитную конюшню, выбеленную и окрашенную в голубой цвет с крапинками, а мне предложил отдохнуть на широкой завалинке. Это был мужественного вида румын с пышной шапкой волос и с короткими седыми усами. Густые брови оттеняли его глубоко сидящие глаза. При ходьбе он немного прихрамывал:

видимо, у него было какое-то небольшое увечье. Хозяин любезно угостил меня холодной водой, а жена его пригласила отведать наваристого супу из курицы, приготовленного в честь моего приезда. Два проворных парня работали по хозяйству в опрятном сарае и в загоне для скота. После обеда хозяин уселся рядом со мной на краю завалянки.

— Маргиолица,— позвал он мягким голосом жену,— иди сюда, выпей с нами стаканчик вина! — Выполнив мою просьбу, женщина отошла к ткацкому стану, а хозяин, Ницэ Лепэдату, начал рассказ о своей жизни в имении помещика Жоржа Аврэмюну. Он рассказал мне все, вплоть до страшной ночи, когда чуть было не умер, о болезни, которая продолжалась до самой весны.

— А весной,— сказал он, глядя на меня с улыбкой,— я встал на ноги и вышел из землянки на ласковое солнышко. Когда же прилетели ласточки и зацвели полевые цветы, я окончательно оправился. Вскоре после этого вернулся боярин, и мы с Маргиолицей попросили у него и у боярыни разрешения повенчаться.

Но для этого надо было отправиться в Яссы. Жена Аврэмюну не захотела возвращаться в нашу пустыню, но поженить нас согласилась за мою верную службу, когда хозяева были у теплого моря. Вот тогда и пришлось нам пройти немало мест, повидали мы и города и благоустроенные села. Наше поместье и клочок земли, которым наделил нас барин, показались нам после этого особенно пустынными. Да, с той поры, как мы увидели хорошие хозяйства, бегущие поезда да и многое другое, мы решили во что бы то ни стало выбраться из землянок... Протекли годы, мы построили себе дом, а потом нашему примеру последовали и другие.

Боярину нашему, бедняге, пришлось некоторое время спустя уступить просьбе молодой хозяйки и купить себе имение в другом месте. Земли, которыми он здесь владел, перешли в чужие руки. Потом эти же земли были распроданы разным хозяевам, кое-что перепало и нашим кротам. Многие из них здесь осели, построили себе хаты. С тех пор и у нас что-то вроде деревни, теперь и мы уж не так оторваны от мира...

В то время как дядюшка Ницэ рассказывал мне все это, на дороге перед воротами показались люди, возвращавшиеся с работ; парни пели, и их голоса уносились

ввысь, дрожа в тишине сумерек. Я оглядел окрестности, склоны, покрытые пашнями, небольшие лужи с валками скошенного сена, бесконечное жнивье, уходящее к югу, и спросил хозяина:

— А что же сталося со старым помещичьим домом?

— Новые хозяева разрушили его,— ответил он,— и построили там, на холме, другой. А когда и тот пришел в ветхость, помещики, появившиеся позднее, выстроили уже кирпичный дом посередине поместья. Хозяева менялись здесь, как скотные дворы когда-то. Ну, а теперь они уже так часто не меняются, все стало прочным. Я слышал,— прибавил, улыбаясь, хозяин,— что скоро поблизости, через долину реки Жижие, пройдет железная дорога.

— Да, да...— ответил я.— Вот как времена меняются. А Фалибога? Что сталося с Фалибогой и Яной?

Лепэдату помолчал раздумывая.

— Видите ли,— сказал он,— Фалибога был странный человек... Он как необъезженный степной конь... Когда он увидел, что одни владельцы сменяются другими, похуже да пожадней, Фалибога и его Яна сели на лошадей да и переехали на противоположный берег Прута... А там неизвестно куда девались. От них не осталось и следа, как от перелетных птиц.

Некоторое время Ницэ всматривался в лиловатую дымку, застилавшую даль.

— Да,— продолжал он,— не будь Фалибоги, я бы тогда погиб. Правда, я не особенно доверял ему, но все-таки у него было доброе сердце. Каждый год я справляю по нем христианские поминки... Может быть, его уже нет в живых, ушел туда, откуда не возвращаются...

Так говорил мне Ницэ Лепэдату в час летних сумерек. Когда он закончил свой рассказ о людях, с которыми ему довелось жить, о стариках, о монашке и обо всех других, обитавших некогда там, в землянках, я пошел спать удовлетворенный, будто прочитал книжку, в которой все приходит к развязке: и хорошие и плохие; и так же, как после всякой хорошей книжки, я долго не мог заснуть: мне казалось, что тени прошлого примешиваются к аромату сена, положенного мне в изголовье.



В ЭЛИНАШЕВ ОМУТ

1



амилии и прозвища у них были самые удивительные. Отца Костаке, у которого борода мочалкой, прозвали «Земля-горит», потому что его тощая, высокая, сутуловатая фигура с утра до вечера носилась по улочкам и закоулкам села. Писарю от родителей досталась фамилия Лепешка, но в народе его называли еще «Вертиголовкой», потому что он напоминал ту птицу, что весной чирикает на верхушках деревьев, а головка ее беспрестанно вертится, как на шурупе. Примаря Дэскэлеску, шуплого человечка с маленькими черными глазками, прозвали «Сусликом». Что же касается «Тальянца», господина инженера Джованни Шагамоци, то у жителей долины Бистрицы он значился просто-напросто «господином Шагомовцы». Он был бородат, коренаст, с брюшком, а в левом углу рта у него неизменно торчала короткая трубка.

В то лето господин Жувани, поп Земля-горит, Вертиголовка и Суслик были неразлучными друзьями и каждый день в послеобеденные часы сходились в трактирчике на горе Кот потолковать о том о сем. Там, между вековыми елями, имелось уединенное местечко, откуда можно было видеть, как внизу, в долине, прозрачное небо отражается в водах Бистрицы. Когда солнце погружалось в туманы

горы Чахлэу, господин инженер со стаканом в руке выходил из-под елей и восторженными криками приветствовал гору, будто сказочного царя-великана, в мантии из пурпура и золота, с бородой и кудрями из тумана. Лево́й рукой он театральным жестом поднимал стакан, а правой срывал с головы широкополую шляпу и хриплым баритоном так чудно бормотал что-то на своем языке, что трое остальных покатывались со смеху.

Успокоившись и высморкавшись в красный платок, поп восклицал:

— Ну и комик этот «Тальянец»!

Дэскэлеску и Лепешка чокались с инженером и, придав себе торжественный вид, молча потягивали вино.

Равнодушным к горам, к шумным восклицаниям, к смеху оставался лишь хозяин кабачка — господин Лейбука Лейзер. Он был «дрептар», то есть полноправный гражданин, так как в 1877 году перешел Дунай солдатом. Ему тоже дали прозвище — «Слезинка», потому что, когда он стоял в часы одиночества за стойкой, весь утонув в черной бороде, погруженный в мысли и планы о судьбе своих шестерых детей, на кончике его острого носа часто повисала блестящая капля.

Лейбука Лейзер был серьезным человеком, и потому не тратил времени, подобно Шагомовцы, на созерцание Чахлэу и Бистрицы, а тем более на патетические речи. По части же учености, особенно когда дело касалось его книг, в которых буквы походили на пауков, сам господин инженер не мог с ним справиться. Иногда они наперебой принимались толковать библейские изречения, жестикулируя на все лады и растопыривая пальцы, увязая в доказательствах, как в болоте, пока не поднимался батюшка Земля-горит и, простирая руки, будто собирался проклясть их, как антихристов, говорил:

— Да оставь ты этого язычника, господин Жувани, а то вино станет теплым.

Итальянец, питавший к вину большую слабость, смеясь, возвращался к приятелям, брался за стакан и вынимал трубку изо рта, а ученый спор так и оставался неразрешенным. Еврей молча стоял, опершись о дверной косяк бревенчатого дома, и в зрачках его спокойных, задумчивых глаз виднелось отражение четырех приятелей, которые угощали друг друга, чокались и опрокидывали стаканчики.

Господин Лейбука относился с некоторым презрением к этому уголку мира, куда он попал, чтобы заработать кусок хлеба для себя и своих детей. Рабочие с лесопилки, итальянцы, которые работали на строительстве большого шоссе и каменных мостов,— все приходили сюда, в тень, и с поразительной беспечностью спускали у стойки свой заработок; пили, ели, галдели. Все наслаждались жизнью, прожигая и растрачивая ее на песни и веселье, на вино и любовную тоску. Солнце, земля, воды Бистрицы, белые стада, позванивающие медными колокольчиками на холмах, лесная прохлада, живые арки водопадов и прочая суэта этого мира — все имело для них смысл, которого он не понимал. Суета сует,— думал Лейбука.— Все мечутся, спеша к смерти. И ничего после себя не оставляют. Они смеются и поют,— им неведом, как патриарху Аврааму, суровый долг упрочить силу рода, укрепить его для будущего терпением, страданиями и лишениями в настоящем. Они улыбаются солнцу, лесу и реке. А он, Лейбука, живет в тени своей хижины, в пустынных, равнодушных горах. Сколько раз вскакивал он темной ночью дрожа, и сердце его замирало от ужаса: ведь он понимает, что деньги, которые непрерывно текут к нему на стойку, могут пробудить кровожадные страсти. Лейбука знает об опасности; знает, что не сможет устранить ее ни силою своей руки, ни мужеством,— и все-таки он с отвращением, с боязнью продолжает жить здесь, потому что так нужно, потому что он должен вырастить шестерых детей: четыре сына и две дочери, дай бог им долгой жизни...

У господина писаря Лепешки была одна неприятность, «история», к которой он упорно возвращался, словно «лиса в курятник»,— как говорил со злорадной усмешкой поп Земля-горит. В этот августовский полдень Вертиголовка снова заговорил о ней, и зеленые глаза его затуманились. Под навесом ветвей, за еловым столом сидели лишь четверо друзей. «Бугай» — как называли горцы гудок на лесопилке — еще не известил о конце работы, и Лейбука дремал, стоя на пороге, прислонившись головой к дверному косяку, как всегда безучастный и к яркому свету знойного дня, заливающему долину, и к горам, которые отчетливо вырисовывались на светлом зеленоватом небе. Господин писарь с какой-то ненавистью глядел на село, разбросанное по горе и пригоркам, на белые домики,

крытые дранкой и огороженные дощатыми заборами, на серые тропинки, спускающиеся к Бистрице, на поросль молодых елей, на стадо овец и далекую деревянную церквушку на невысоком холме.

Он говорил хрипловатым голосом:

— Кто я такой в конце концов, чтобы надо мной насмеялась племянница тетки Параскивы? Сегодня утром, когда я шел в примэрию, опять ее встретил. «Слушай, говорю, Мэдэлина, ты знаешь, кто я и что я могу. У меня, если рассержусь, рука тяжелая!»

Примарь толкнул его локтем, показав глазами на Лейбуку. Лепешка равнодушно оттопырил губу:

— Он не слышит, а если и слышит, то должен молчать. «У меня рука тяжелая, говорю. Уже год, видишь ли, как я за тобой бегаю. А ты, словно царица какая, кривишь губы и отворачиваешься...»

— А она что ответила? — спросил, как обычно, инженер, облакачиваясь на стол и подпирая ладонью подбородок.

— Старая история, — вмешался батюшка. — Опять ты ее спросил, опять она тебе не ответила, и опять ты жалуешься.

— А мне думается, что она, наконец, поняла: теперь дело уже идет о жизни и смерти, — сурово проговорил Лепешка.

Его товарищи подняли глаза и с сомнением уставились на него.

— Гм! Что же, долго мне еще терпеть, на медленном огне жариться? «Школу, говорю, я закончил, образованный, и в гимназии учился, первым все классы прошел, другого такого и не найдешь здесь у нас, в Поноарах. Работа у меня не тяжелая, мне не приходится, словно каторжному, гонять плоты в Пятра, бороться с волнами, бурями да скалами, как некоторым другим. С моим умом и пером я могу тебя в шелках и жемчугах водить, как королеву... В прошлом году, когда ездил в Яссы, я привез оттуда альбом в голубом бархатном переплете, написал в него стихи и подарил тебе на именины. Прочитать-то ты прочитала и поняла, но сделала вид, что не понимаешь. Послал я тебе через тетку твою Параскиву весточку; тетка тебя учила быть послушной, чтобы все добром кончилось... Каждое воскресенье я в церкви бываю, глаз с тебя не свою...» И знаете, что мне девка ответила?

— Что же она тебе ответила? — пробормотал итальянец, не вынимая трубки из рта

— Что недаром, мол, меня зовут Вертиголовкой. Как вам это нравится? «Дорогая Мэдэлина, говорю, нехорошо так. Знаю я, что у тебя на уме. Знаю, с кем ты встречалась у Вэлинашева омота и в чьи глаза глядела. Мне все известно, есть у меня кого приставить, чтобы тенью ходил за тобой. Так ты что же, решила загубить свою жизнь с таким горемыкой, как Илие Бэдишор? Ведь он, девка, только и знает горы да Бистрицу и то не дальше долины. Ведь он даже Ясс в глаза не видел. Он все равно что дикарь: босой, лицо черное, подмышкой топор. Только и умеет, что плоты по Бистрице гонять да водку пить. А когда начнут трепать волны и бури, вылезет на берег и отсиживается в каменной норе. Одно слово — плотогон! И умрет он той же смертью, что отец, — либо на острых скалах, либо в водовороте; и волны выбросят его вместе с илом и мусором где-нибудь у поворота... Где твоя голова, что ты в нем нашла? Красив? — нет! Умен? — тоже нет. Бродяга какой-то. То же самое тебе и тетка говорила...» И знаете, что она мне ответила? — продолжал писарь, угрюмо глядя на своих товарищей.

— Ну? — подзадорил его инженер, перекатывая трубку из одного угла рта в другой.

— Спросила, отец я ей, что ли, или брат?

— Понятно, — встрепенулся отец Костаке и, воспользовавшись удобным случаем, наполнил стакан.

— Тут уж я, господа, рассердился... «Если на то пошло, говорю, так и знай: я его и в солдаты отдать могу. Вот уже год как я тебя избрал, чтобы жить нам вместе, в любви и согласии. Уже год я чахну от любви. Говорил я тебе об этом и стихи писал. А ты меня оценить не можешь! Так пусть же он отправляется, пусть ему скулы свернут в армии. Там и сложит он свои косточки...»

— Подлил масла в огонь! — философски заметил инженер.

— Э, нет! Сначала она перепугалась.

— В солдаты его не могут взять, — вмешался при-
марь. — Он единственный сын вдовы.

— Да, она мне тоже потом это сказала. Но я ответил, что все равно его отправлю. «Я, говорю, милая, все могу». Тут она опять испугалась. А потом рассмеялась, скривила этак губы, отвернулась — и была такова... Вот теперь вы

мне и скажите, может так дальше продолжаться? Я мечусь, покоя не знаю; как увижу ее,— дрожь пробирает. Введет она меня в грех.

Лейбука метнул с порога взгляд своих черных глаз и снова принял вид человека, разомлевшего от жары и полуденной тишины.

— Лейзер, вина! — крикнул писарь.— Того же, никорештского. Нравится мне оно. Но что толку, все равно не освежает... Так почему, скажи на милость, не могут его взять? — продолжал он, повернувшись к примарю.— На что же в конце концов мы начальство здесь, в деревне? Если уж нельзя настоять на своем, когда этого хочется, на кой черт и жить на свете?

— Живем, чтобы выпить стаканчик доброго вина,— ответил батюшка Земля-горит.— А мертвых не воскресить. Что тут поделаешь? Отец его Илие давно, верно, сгнил на дне Бистрицы.

Шагомовцы серьезно смотрел на Вертиголовку, попыхая трубкой.

— Слушай, писарь, так нельзя,— проговорил он тихо.

— Гм! — крикнул Лепешка, доставая нижней губой кончик уса и покусывая его зубами.— Вы, господин Джованни, не вмешивайтесь. Предоставьте нам самим делать, как знаем. Я вижу, что это трудно,— потому-то у меня на душе и кипит... Сам не знаю, до чего дойду, но Илие Бэдишора я должен скрутить в бараний рог. Мысль эта, как птица, свила гнездо вот здесь, в голове. И высидит птенцов обязательно,— осклабился он, принимая графин с вином из рук Лейбуки.

— Давайте стакан, господин «Тальянец». Опять ты косяк подпираешь, Лейзер? Что может понять такой человек, как ты? Все со своей хозяйкой да с щенками своими. Нет ему счастья ни в стаканчике малом, ни радости под одеялом. Чего улыбаешься, господин Лейзер?

— А я и не улыбаюсь.

— Гм. Кто тебя знает, о чем ты думаешь. Дураки мы все, а?

— Я этого не говорю.

— Не говоришь, зато думаешь. Откуда тебе знать толк в жизни? Глуп, кто не наслаждается ею, зря его мать на свет родила. А я добиваюсь своего удовольствия сегодня, потому что завтра меня, может, уже не будет. Человек — что трава в поле! Так, господин Джованни? Вы ведь

изучали философию... Выпьем еще по стаканчику — вот мы и будем в выигрыше.

— По правде говоря, в выигрыше-то здесь будет один хозяин,— заметил отец Земля-горит.

— Ну нет, выиграем от этого мы. Я вот поднимаю стакан за ваше здоровье и радуюсь, что мы опять вместе. Не трактирщик радуется, а я. И попрошу его принести еще графинчик. Господин Лейзер, проснись и похлопочи насчет винца. Мне хочется выпить с друзьями; за кого, я сам знаю. Говорю вам, господа, все будет хорошо. Придет день, когда она повиснет у меня на шее... А если нет, останется только одно: головой в Бистрицу.

— Ничего, она уgomонится,— заверил его примарь.

— А кто ее знает? В ней сам черт сидит,— мрачно закончил Лепешка, устремив взгляд куда-то вдаль, в невидимую точку.

Лейзер, все такой же невозмутимый, принес вино. Друзья выпили, но для писаря попрежнему все было затянуто туманом. Позже, когда в горах проревел «бугай» и с лесопилки, как муравьи, поползли по тропинкам рабочие, четверо друзей поднялись и вышли на солнечный свет. Они были немножко навеселе. Писарь шагал нетвердо, что приводило в восторг отца Земля-горит, который, подмигивая инженеру и примарю, криво усмехался, обнажая острый клык. Они шли к Поноарам, будто окруженные золотистым пухом. Над горными долинами и оврагами царило величавое спокойствие. Далеко над горой Чахлэу, застилая солнце, стояло лиловатое облако, словно окаймленное застывшей молнией. А в мирной тишине заката от большого шоссе, которое строил Шагомовцы, с песнями поднимались в гору рабочие-итальянцы.

II

По склону горы к трактиру шел человек. Это был высокий босой плотогон в засученных до колен штанах. На левой согнутой руке у него висел топор топорischem вниз. Он оглядел встречных какими-то белесыми глазами, казавшимися страшными на его бронзовом, тронутом оспой лице. Правой рукой снял шляпу и пожелал доброго вечера. Его рыжие волосы, блеснув в огне заката, поднялись вверх, словно вздыбленные ветром. Он тут же снова спрятал их под шляпу, будто спеша уберечь от опасности.

Писарь остановился. Внимательно глядя на него, спросил:

— Откуда ты, Петря?

— С затона, господин Матейеш. Все на плотях работал.

— А теперь идешь в трактир?

— В трактир.

— Я, пожалуй, останусь,— обратился к своим товарищам Лепешка.— Надо кой о чем потолковать с Петрей Царкэ. Завтра, надеюсь, встретимся, как положено.

— Ну, уж это *беспременно!* — сказал вдруг инженер, а остальные прыснули со смеху.— Наш девиз — постоянство.

Царкэ смотрел на них, вытаращив глаза и разинув рот. Потом он подумал, что батюшка, примарь, а в особенности писарь, научились, видимо, говорить по-итальянски, и усмехнулся.

Оставшись наедине с плотовщиком, Лепешка долго припоминал, для чего он его остановил. Побудило его к этому что-то смутное, неожиданно мелькнувшее в голове... Петря Царкэ был известен в горах своей подлостью и темными делами. Он любил проводить время в корчмах, в шумном кругу друзей; он быстро вспыхивал и не знал жалости. Немало разбил он голов и переломал ребер; частенько приходилось жандармам тащить его, связанного, в кутузку. Что-то темное было у него в прошлом и с военной службой. И писарь знал об этом. Невыясненным оставалось также дело с попыткой ограбления кассира горной лесопилки. В этом был замешан и сам писарь: укрыл тогда Петрю — своего человека, который принес им немало пользы во время парламентских выборов,— здоровая глотка и огромный кулак Царкэ совершали тогда чудеса в корчмах города Пьятра.

— Вот что, Царкэ,— сказал вдруг писарь.— Я хотел тебя спросить, не встречал ли ты сегодня Бэдишора.

— Илие? Видал, как же: он на плотях работал. Да ведь мы с ним — как немец с турком. Проходим один мимо другого: я ничего не говорю, и он ничего...

— Почему же?

— Да уж такой он человек. Мы с ним вместе и стакан вина не распили. Он все больше с бабами. Пока усы не побились, весь заработок вытряхивал в подол матери.

А теперь ходит за юбкой Мэдэлины, как привязанный. Что ж! Всякому свое.

— Значит, и ты знаешь, что он волочится за девкой?

— А кто же этого не знает? Я вот сюда, а он вверх по берегу Бистрицы.

Лепешка вдруг посмотрел на него расширившимися, налитыми кровью глазами.

— Пошел на свидание с ней?

— Конечно, господин Матейеш. И что вы на меня так смотрите? — усмехнулся плотовщик. — Злая это болезнь, как погляжу я, господин Матейеш. Кое о чем доводилось слышать от людей. Но я думал, все прошло. А теперь сдается мне, что сынок Ирины тебе как сучок в глазу.

Писарь пристально, не мигая, смотрел на него.

— Так, значит? — удивленно протянул Петря, и даже какая-то веселость прозвучала в его голосе. Он вынул кисет, развязал его и скрутил здоровенную цыгарку. Пристроив ее в угол рта, он, пока высекал искры, глядел на трут и кивал головой, словно отвечая на заданные самому себе вопросы. Выпустив из ноздрей две струйки дыма, по-свойски, еще на шаг подвинулся к писарю.

— Выходит, господин Матейеш:

От болезни сляжешь — охнешь,

От любви же сляжешь — сдохнешь.

Я буду твоим лекарем. Ведь мы с вами ладим, живем в дружбе. Как говорится: «Рука руку моет». Кто знает, господин Матейеш, что может случиться. Возможно, Илие тоже отправится к рыбам в каком-нибудь омуте, как и его отец.

При этом он опять ухмыльнулся и потряхнул головой, словно обрадовавшись собственной мысли.

— Он к Вэлинашеву омуту пошел? — спросил Лепешка.

— Да. Есть там одно местечко — красота райская! Так мы еще посмотрим, что нам делать, еще поговорим. Идет, господин писарь? Может, и у меня будет какая-нибудь неприятность или, как говорит бабушка, «история»... Так я к тебе прямо и приду, господин Матейеш. Ты человек образованный, знаешь, как чего в книги записывать. Не приведи бог, какая-нибудь беда, ты меня и прикроешь крылышком. Ну, что скажешь, господин Матейеш?

— Мы еще поговорим, — тихо ответил писарь.

— Конечно. Всего хорошего.

Царкэ двинулся дальше, глубоко затягиваясь толстой дыгаркой и как будто подпрыгивая на ходу. Он поднимался все выше по склону горы, выделяясь черным силуэтом на розовом фоне заката. Сверху, со стороны трактирчика, долетал неясный шум, в котором выделялось тонкое треньканье струн. Внизу, в излучине Бистрицы, отражалось далекое небо цвета фиалки. Два невидимых колокольчика прозвенели на разные голоса со стороны села.

А по одинокой тропинке, все думая об одном, шел писарь туда, куда несли его ноги.

В самом деле, Петря Царкэ прояснил его смутную мысль. Теперь писарь понял, зачем остановил его. Как будто странный зверь, внезапно вставший между ними, вселился в него и сжал его сердце. Возбужденный намеками плотовщика и вином Лейбуки Лейзера, господин Лепешка, исполненный решимости, шагал по направлению к омуту Вэлинаша. Недоумение и давняя злоба терзали его. Как, неужели этот босяк, дикарь может стать ему поперек дороги? Что за черт заставляет женщин делать все наоборот? Сначала он думал, что это с ее стороны просто игра, и даже слегка радовался: девушка не так легко сдается, как другие. Ему хорошо был знаком путь к сердцам, проложенный при помощи хитрых слов да нитки бус... Таких слов у него хоть отбавляй, а нитку бус он носил в нагрудном кармане, в бумажке, обвязанной голубой тесемочкой. Но Мэдэлина все равно отворачивала голову. Тоненькая и гибкая в своей черной катринце¹, она проносила мимо него, еле достойная его взглядом, «словно какую-нибудь собачонку», — думал он.

Вот этого-то писарь и не мог переносить! Вначале он вскипал от гнева, а потом начал биться, словно опутанный невидимой сетью. Обессиленный, он чувствовал, как его уносит потоком страсти. А теперь, с тех пор как узнал, на чьи опаленные солнцем лапы склоняется белый, как у царевны, лоб девушки, он кипел лютой злобой. Очувшись на дороге за крайними хатами деревни, господин Матейеш очнулся... Оказывается, он свернул с дороги к омуту. Куда же он идет?

В хлевах мычали коровы, по дворам разводили огонь под таганами. Пахло кипяченым молоком. Протяжные

¹ Домотканная шерстяная юбка.

голоса перекликались на холмах. Писарь встретил мужчину, ровным голосом пожелавшего ему «доброе вечера», затем быстрым плавным шагом мимо прошла женщина с прялкой за поясом... Вслед за ней показался тонкий силуэт, который смутно вырисовывался в густеющих сумерках, но писарь сразу узнал его, и сердце заколотилось у него в груди. Это была Мэдэлина.

— Добрый вечер,— сказал Лепешка и остановился.

Девушка, не задерживаясь, тихо ответила:

— Добрый вечер.

Господин Матейеш повернул обратно и пошел за Мэдэлиной. Он заговорил с легкой издевкой:

— Куда это ты, Мэдэлина? Нельзя ли мне узнать? Может, будешь столь добра и остановишься на минутку, барышня?

— Могу. Что вам нужно? — спросила тонким, певучим голосом девушка.

Она остановилась и повернулась к писарю лицом. Глаза у нее были большие, косы уложены короной. В белой рубаше, в тесной катринце, сужающейся книзу, к голым щиколоткам, она стояла неподвижно и ждала. Приблизившись к ней, он почувствовал запах базилика. Глаза у писаря загорелись.

— Мэдэлина,— обратился он к ней,— ну почему ты не хочешь меня понять?

— Так это вы хотели мне сказать? — И девушка добродушно рассмеялась.— Оставим, господин Матейеш, разговор до другого раза.

— А почему?

— Почему? Этого я вам сейчас не скажу. Сходите к тетушке Параскиве, она вам скажет...

Лепешка, вздрогнув от нахлынувшей радости, хотел было схватить ее за руку. Но она уже шла дальше своим легким шагом и скрылась в тени дощатого забора. Смущенный, господин Матейеш постоял минуту в раздумье. Как-то непонятно было все это. И только когда он зашагал по направлению к дому тетушки Параскивы, в голове его мелькнула смутная догадка, что девушка просто хотела ускользнуть от него. И все же минутная радость вселила в него надежду: может быть, осуществится, наконец, то, чего он так жадно желал. В светлых сумерках писарь прошел вдоль заборов к домику с двумя елями, в котором жила тетка Мэдэлины.

Мэдэлина знала, что скоро взойдет луна. Иначе ей было бы страшно идти берегом реки под высокими елями. Спрятавшись в тени за поворотом, она постояла несколько минут, чтобы удостовериться, не преследует ли ее господин Матейеш. Она лукаво улыбнулась в темноте, и черные глаза ее заискрились, как играющая в лунном свете речная рябь. Потом она быстро зашагала вперед, спустилась крутым оврагом прямо к Бистрице и пошла дубняком.

Очутившись затем под навесом еловых ветвей, девушка перестала что-либо различать, словно ей прикрыли глаза. Сердце ее забилося. Выбравшись из перелеска, как из сумрачной пещеры, она как будто попала в совсем иной мир. В лиловой дымке показалась над деревьями громадная красная луна. По Бистрице протянулся живой мостик из золотой чешуи и заскользил в гору между рекой и луной.

Из расщелины скалы, словно после долгого выжидания, внезапно забила струйка воды. Босые ноги девушки быстро ступали по белой тропинке. Речная ласточка пронзительно крикнула два раза и скользнула над самой поверхностью воды. Бистрица разливалась здесь широким плесом и отдыхала в тихой дремоте под сенью развесистых ив. Мэдэлина остановилась. Вдруг она коротко вскрикнула и тут же рассмеялась. Чьи-то руки обхватили ее сзади за плечи, под левым ухом она ощутила мягкое прикосновение коротких усов Илие Бэдишора.

— Это ты? Как ты меня напугал!

Парень, освещенный луной, появился перед ней. Он был выше ее, в круглой соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, в коротеньком сумане¹ на плечах, с балтагом подмышкой. Он, как ребенка, обхватил Мэдэлину одной рукой, и глаза его блеснули в глубоких глазницах, когда он привлек ее к себе, чтобы поцеловать. Она отстранилась, откинув назад голову. Потом притихла и прильнула к его плечу, с трепетом вновь ощущая прикосновение небольших мягких усов...

Прямо перед ними в свете луны лежал таинственный старый омут Вэлинаша. С давних пор носил он имя безвестного парня. Никто не помнил Вэлинаша, но песню о

¹ Армяк.

нем распевали повсюду в горах. Много раз на посиделках певала ее с девушками и Мэдэлина. А потом на этом же самом берегу и ей явился парень, как в старинной песне. Теперь он обнимает ее, а она думает о любви и страданиях былых времен.

— Я немножко запоздала,— тихо заговорила девушка.

— Случилось что-нибудь? — озабоченно спросил Илие, что-то уловив в ее голосе.

— Ничего не случилось. Только на писаря наткнулась. Но я живо от него избавилась. Послала потолковать с тетушкой.

Она развеселилась, засмеялась. Потом снова понизила голос:

— Он и вчера остановил меня...

Илие молчал. Мэдэлина прильнула к нему и спрятала голову на его груди.

— Я так расстроилась, Илиеш. Он говорит, что в солдаты тебя сдаст.

— Кто? Писарь?

— Он. Но я ему ответила, что этого нельзя сделать. Правда ведь, нельзя?

— Нельзя,— неуверенно ответил Бэдишор.— Матушка-то вдова...

— Ну, конечно, у него одни только пакости на уме. Как увижу его, так бы и плюнула да побежала, словно от нечистого. Он и тетушке Параскиве грозился. И теперь она мне на все лады голову забивает: обвенчается, мол, он с тобой и будет холить как боярскую дочь... и платье-то тебе справит городское, сапожки лаковые. Но я ее не слушаю и слушать не хочу,— продолжала, ласкаясь, Мэдэлина, и сверкнула полными слез глазами.— Мне люб мой Илиеш...

Парень нагнулся и поцеловал ее в глаза, чудесные, как темные, бархатные цветы. Девушка тихо засмеялась, потом, снова нахмурившись, продолжала:

— Тетка, может быть, и проделывала бы со мной бог знает что — притесняла, била и за постылого выйти заставила бы. Да она не посмеет, потому что живет и кормится моей землей, которая досталась мне от родителей,— продает с моей делянки лес. А я притворяюсь, что не замечаю, лишь бы оставила меня в покое. Почему ты молчишь, Илиеш, чем ты недоволен?.. Когда поплывешь в Пятра? Правда, что ты собираешься туда?

— А ты откуда знаешь?

— Да ниоткуда. Просто вижу и чувствую. Я сегодня смотрела с горы, как ты плоты вяжешь.

— Да я не потому сердит, Мэдэлина. Через неделю вернусь обратно.

— Возвращайся скорей, Илие. Целую неделю буду тосковать. Хотя бы дождь лил все дни, чтобы из дому не выходить.

Парень улыбнулся. Она ребячливо боднула его лбом.

— Я вижу, ты все смеешься. Нет, пускай дождя не будет, чтоб и тебе ничего не грозило на реке. Я узнаю, когда ты вернешься, и буду тебя ждать здесь. Об остальном ты не печалься. Так и состарится бедный господин Матейеш, слоняясь за мной и уговаривая. Он все водится с начальством да с господами, которые понаехали к нам в горы. Вот и пускай ищет себе городскую. На что я ему? Я девушка простая. Уже год, с самого преобразования, другого люблю. Ну скажи, Бэдишор, что и ты меня любишь!

Парень не находил слов для ответа. Он гладил ее по голове, как ребенка, и чувствовал, что умирает от любви.

Луна ярко освещала их. Они подошли ближе к берегу, сели под ивой, и на блестящей поверхности омута возникла их черная двойная тень, словно рожденная чарами единения.

Ни один листок не шелестел. Вся долина, вплоть до фантастических туманов на гребнях гор, молчала. Омут, казалось, застыл. Девушка тихо шептала, припоминая дни, когда зародилась их любовь. Ей нравилось попискивать, как цыпленок, под крылышком Бэдишора.

Год назад, скромной девчонкой, она, робея и с замиранием сердца, опутив ресницы, в первый раз вышла на хору¹. Тогда и увидела она среди парней Илие под вековыми елями, возле корчмы Булбука в Поноарах.

Звенели голоса и струны. По обычаю горцев, крестьяне — и мужчины и женщины вместе — пили водку. Здесь быстро вскипала кровь, разговор был горячий. Все отдавались веселью безудержно, со страстью, как бурному потоку. У женщин, одетых в белоснежные рубашки с цветной вышивкой и в узкие, облегающие стан катринцы, блуждала на губах какая-то томная улыбка. Белолицые, нарумяненные, разукрашенные цветами и стеклянными

¹ Народный танец и место, где происходят танцы.

бусами, с изменчивым, словно река, взглядом, они сильно отличались от высохших и измученных рабынь, крестьянок равнины. Они вырастали в тени лесов, под грохот горных бурь; жизнь их была не особенно тяжелой, трудились они не так уж много и считали, что на свете они живут только для того, чтобы холить свою красоту и любить.

Когда Мэдэлина очутилась в этом людском водовороте, тетка Параскива толкнула ее в толпу девчонок и сейчас же ушла к каким-то кумовьям, которые делали ей знаки, поднимая кружки с вином. За девичьим кругом парни, по обычаю тех мест, одни выплясывали на лужайке стремительный неистовый и бурный танец. Это было своего рода состязание на виду у всей деревни и, главное, у девушек. Там-то и увидела Мэдэлина Илие.

Он шел впереди длинной цепи танцоров и гордо вел их за собой. Ни на кого не глядя, он двигался и выкрикивал с какой-то особой страстью слова песни. Мэдэлине она была хорошо знакома:

За мной, парни, мне знакомы
Все тропинки в лес зеленый.

Но Илие выговаривал эти слова с нежностью, с любовью, сразу отозвавшейся в ее сердце. Немного спустя начался танец парами; Мэдэлина сама подошла к Илие и смело улыбнулась. А когда он обхватил ее за талию, первая пожалала ему руку. Опьяненная, счастливая, взволнованная, с бьющимся сердцем, девушка все-таки заметила робость парня и сразу же почувствовала в себе гордость и силу. Давно ли она была глупой девчонкой? И внезапно вот превратилась в лукавую женщину. Она походила на серый бутон, который с первыми же лучами солнца распустился и зацвел чудесным цветом.

Бэдишор рос тихим, скромным парнем, сыном вдовы. Он ходил неслышно, говорил негромко. И вдруг познал мучительное и сладкое чувство. Теперь жизнь его и страсть слились в одно. В серьезной и строгой, немногословной любви Илие было что-то от горных тайн и туманов. Мэдэлину он считал благом, которое призван защищать до своего смертного часа. Илие не высказывал вслух своих сомнений, и под градом докучных вестей, которые, смеясь, сообщала ему девушка, оставался молчаливым. Она же угадывала его напряжение, читала в его душе, как в душе ребенка, порой ее охватывала дрожь, будто перед

опасностью, и именно потому она еще больше любила его.

Странное ощущение, что она безраздельная повелительница Бэдишора, но вместе с тем и маленькая букашка, которую он может раздавить пальцем, Мэдэлина впервые испытала прошлой зимой. Теперь, прижавшись к груди парня и говоря совсем о другом, она об этом вспомнила.

В деревне была свадьба. Вдоль черного леса, по замерзшей Бистрице, под жужжанье семиструнных кобз и пистолетную пальбу растянулся разукрашенный свадебный поезд. Малорослые кони быстро мчали сани между белыми стенами берегов Бистрицы, по звонкому ледяному настилу. Изредка, на поворотах, на непокрытые головы девушек падал с деревьев иней. Писарь господин Матейеш догнал на своих санках Мэдэлину. Смеясь и шутя, он обхватил ее; остальные девушки визжали, словно напуганные волком. Мэдэлина смеялась: ей нечего было бояться писаря. Но когда она обернулась и увидела среди дружек Бэдишора,— он смотрел на нее из-под нахмуренных бровей, как из глубины пещеры,— сердце ее сжалось в крупинку и тут же расширилось от безграничной радости.

— Илие,— сказала тихо девушка, вспомнив теперь об этом,— я тебя иногда побаиваюсь.

— И побаивайся, Мэдэлина,— ответил Бэдишор,— ведь у меня только ты одна и есть... Я думаю так... он был в учении...

— Ты о господине писаре?

— Да. Он был в учении, да научился только злу. Здесь, в примэрии, он всем заворачивает, что хочет, то и делает. Разве народ разбирается? Скажет Лепешка, что так в книге написано,— люди пошарят в кимире и платят. С примарем он ладит, с попом ладит, с купцами тоже. Сидит, как дракон у источника, все требует и все глотает. Капли воды нельзя получить, не заплатив ему дани. Но мне с ним делить нечего. Пусть поступает, как хочет. Пути наши не сходятся. Я на Бистрице со своими плотами, он в примэрии со своими книгами. Но к тебе-то чего он привязался? Я вот терплю, но яду во мне все больше. И в конце концов ему не поздоровится.

— Будь умным, Илие,— решительно сказала девушка.— Нас никто не может разлучить.

— Ладно, Мэдэлина, буду,— мягко ответил Бэди-

шор.—Я как Бистрица: налетит на нее ветер, она и замутится. Я вот все думаю: кому какое дело до нас? И хочется мне иногда, как дикому зверю, схватить тебя и скрыться в щазу.

— А пусть себе люди говорят, Илиеш. Пусть и тетка Параскива долбит мне с утра до вечера... Она спрашивает, куда иду, а я в ответ: «За земляникой». — «Что ты, девка, какая сейчас земляника?» — «А я нашла, тетушка Параскива. Сладкая такая, и уж как мне нравится». Ничего со мной тетка не сделает, Илиеш!

Парень обнял Мэдэлну и прижал к груди, восхищенный ее словами.

— И не забудь, Илиеш, в Пьятре про бусы...

Смеясь тоненьким голоском, она извивалась в его объятиях, гибкая и упругая, как струна. Не скоро выбрались они из своего убежища на яркий свет луны. Они шли, как в дымке сна, как в царстве тишины. Они даже не сознавали, что эта ночь опустилась на землю только для них, почти не замечали ее, обняв друг друга, замкнувшись в свою любовь, будто в раковину. И только много позже девушка вздрогнула, услышав фантастический хохот филина. Птица пролетела сквозь светлую лунную мглу, как сквозь серебряный пух, бесшумно взмахивая крыльями, потом сом плеснул хвостом по воде, рассыпая на стремнине звездочки и зеркальные осколки. Парень с девушкой вошли под черный навес ветвей, а омут все так же блестел под луною, торжественный и печальный.

IV

Господина писаря Матейеша Лепешку раздирало множество мыслей и планов. В голове у него бушевала буря.

Сидел ли он в примэрии, сражаясь с бумагами и с людьми, разбирая ссоры, ходил ли по селу, или выпивал с приятелями в кабачке Лейбуки Лейзера — он не переставал думать о своей неудаче и строил планы.

Время от времени сказывались и результаты его раздумий.

Однажды в полдень в воротах тетки Ирины, матери Илие Бэдишора, появился сборщик налогов Гьцу. После того как вышла хозяйка с подоткнутым подолом и уняла собак, господин сборщик принялся осматривать хозяйство:

пересчитал двух телят, пару лошадемок, полюбопытствовал, что за узлы в доме, и стал что-то прикидывать в уме, глядя в разные стороны косящими глазами.

— Что такое? Чего ты там считаешь и высчитываешь? — испуганно спросила вдова, поправляя на голове косынку.

— Меня господин писарь прислал,— сказал Гыцу.— Вы подати не заплатили.

— Да заплатили мы! Как это так «не заплатили», бог с тобой! Тебе же и платили!

— Мне? Что-то не помню. Квитанция у вас имеется?

— Есть квитанция. Парень мой тоже был тогда дома. Ты ему как раз и дал квитанцию. А я ее положила за икону. Есть, как же, есть.

— Тогда ладно. А то господин писарь подумал, что вы не хотите платить государству. Сын твой в армии не служит, подати вы не платите. Так пусть идет в суд и отвечает...

— Какой такой суд? — воскликнула женщина, глядя округлившимися глазами на представителя власти.

Гыцу с улыбкой потер острый нос, поправил съехавший к уху засаленный галстук и тихонько кашлянул.

— Не знаю, тетка Ирина. Пусть отвечает. Он чем занимается? Сидит на берегу реки и держится за юбку племянницы тетушки Параскивы. Нет, такой парень, как он, богатырь, пусть идет в солдаты, чтобы выполнить свой долг и завоевать свои права. Так и сказал господин писарь: «Почему он не занимается хозяйством матери? Был бы он разумным парнем и оставил в покое девок, никто бы его тогда и не трогал...»

— Так разве же он виноват? — раздосадованно закричала хозяйка.— Привязалась к нему девчонка; я даже собиралась, как встречу ее, спросить, чего ей дался мой парень.

Тетка Ирина внезапно утихла и, хитро улыбаясь, пристально посмотрела в глаза сборщика, острые, как у хорька.

— Что до меня,— сказала она, заговорщически понизив голос,— я была бы рада-радехонька, если бы исполнилось желание бедного господина Матейеша.

— Какое там желание, при чем тут господин Матейеш? — защищался Гыцу, поглядывая по сторонам косыми глазами.

— Ладно уж, ладно, теперь я понимаю, куда дело клонится. Вы хотели запугать бедную глупую женщину. А разве мне нужны неприятности? Зачем мне выпускать из дому работника и одной маяться? Он у меня еще пока не жених. Ничего! Я, господин Гыцу, в лепешку расшибусь, а девчонку отважу... А насчет податей скажи господину писарю, что мы заплатили, раз уж ему не спится из-за этого!

С таким ответом и отправился Гыцу по тропинке к приэри, поглаживая свой острый нос и поправляя галстук на длинной тонкой шее.

К тетке Параскиве он заявился на другой день утром и застал Мэдэлину среди пестрых хохлатых кур. Она кормила их зерном и разговаривала с ними.

— С добрым утром, дочка, — сказал господин сборщик.

— Здравствуйте, господин Гыцу. Каким ветром вас к нам занесло?

— Никаким не ветром. Проходил мимо и решил зайти посмотреть, дома ли кума Параскива.

— Дома, как же! — И девушка принялась с какими-то напевными переливами в голосе звать: — Тетушка! Тетушка! Поди сюда! Тебе письмецо от господина писаря пришло.

Нос у господина Гыцу побагровел. Удивленный такой смелостью, он оставил галстук возле уха, как вещь ненужную и безжизненную, и смотрел растерянно на тетку Параскиву, которая вышла на крылечко и, подбоченясь, нерешительно поглядывала то на него, то на девушку.

— Тебе, как я вижу, сейчас недосуг, — выдавил, наконец, сборщик. — Загляну в другой раз. Или в воскресенье, в корчме...

— Ладно, господин Гыцу, — проговорила тетка Параскива, скрестив на груди короткие толстые руки, и посмотрела на Мэдэлину долгим взглядом, как на какую-то редкостную диковину.

— Какого черта ты ему наговорила, девка?

— Ничего я ему не сказала, тетушка Параскива. Разве я что понимаю? Я глупая девчонка.

— Что верно, то верно, — закивала старуха, низко опустив голову. — Была бы разумной, поступила бы как я тебя учу.

Девушка опять принялась кормить кур. На губах у нее играла лукавая улыбка, а глаза затуманивало воспо-

минание о ночах, проведенных возле омута. Старуха махнула рукой, будто девушка ушла, исчезла и ей не с кем больше разговаривать. Она вернулась к своему ткацкому стану.

Как-то после полудня, когда в тени у входа в кабачок только что уселись Вертиголовка и Шагомовцы, прибывшие первыми на обычное место встречи, за их спиной выросла фигура Петри Царкэ. Он поздоровался, осмотрел всех своими белесыми глазами и прошел в кабачок.

Лейбука окинул его внимательным взглядом, пропустил в дверь и последовал за ним. Вскоре сидевшие снаружи слышали злой голос Петри: он требовал выпивки. Через некоторое время хозяин появился снова и, как обычно, прислонился к косяку. Краешком глаза он следил за оставшимся внутри плотовщиком. Писарь и инженер медленными глотками потягивали вино и любовались высоким зеленоватым небом. Задев Лейзера локтем, вышел вдруг Петря. Мутными глазами посмотрел он на друзей и, видимо, приняв какое-то решение, остановился прямо перед ними.

— Что такое, Петря? — спросил Лепешка.

— Ничего особенного, господин писарь. У меня к вам заявление.

— Какое заявление? Говори.

— Да вот, я рабочий человек. С утра и до вечера, значит, вожусь с этим топором да с елями. Другого дела у меня нет. Больше я ничего и знать не знаю. А господин начальник донимает меня.

— Какой начальник?

— А жандармов, Алеку Дешка. Донимает меня, и всё тут. Скажи ему, что я знаю да кого подозреваю в том деле с кассиром лесопилки, на которого ночью кто-то напал, чтобы ограбить.

— Хорошо, но ведь это уже дело конченное. Открыть ничего не смогли.

— Ничего не могли раскрыть, господин Матейеш, это вы верно говорите. Вот и не знаю, чего еще нужно господину начальнику, что он ищет? Говорит, будто свидетель нашелся.

Лейбука Лейзер, казалось, дремал на пороге, но глаза его горели живым огнем. Они окидывали понимающим взглядом высокую фигуру Петри Царкэ и всматривались в его дикий облик.

— Я так и подумал, господин Матейеш. Какой еще может быть свидетель? И чего меня донимает господин Дешка? Я подумал, господин Матейеш, что вы снова возьмете меня под свое крылышко!

Царкэ охмелел от выпитой у стойки водки, но он знал, о чем говорит и чего требует, и в упор глядел на писаря.

— Какой там свидетель! — сказал, улыбаясь, Лепешка.— Ничего, Петря, иди себе и успокойся. Я поговорю с господином Алеку Дешка, разберемся. Тебе бояться нечего. Раз ты за собой никакой вины не чувствуешь...

— О том-то я и говорю, господин Матейеш. Никакой вины за собой не знаю.

У Лейбуки мелькнула на лице тонкая улыбка.

— Трудно установить правду,— поддакнул инженер, наливая вино в стаканы.— Было уже темно и поблизости ни души.

— На воре была маска,— тихо заметил Лейзер.— Никто не мог его узнать.

— Какой тут еще свидетель? — опять заговорил, смеясь, писарь и пристально посмотрел на хозяина.— Таким свидетелем, со всякими там подозрениями, может быть и Лейзер.

— Возможно, только я не свидетель,— торопливо и энергично возразил Лейзер.

Господин Лепешка продолжал:

— Со своими подозрениями мог явиться и кто-нибудь вроде Илие Бэдишора, который ищет по ночам клады на берегу Бистрицы.

— Вот где истина! — крикнул, смеясь от души, Шагомвцы.— Ходит и ищет клады! Ему одному известно, что за звери бродят ночью по тропинкам.

Петря Царкэ сверкнул глазами и ухмыльнулся во весь рот.

— Правда, господин Матейеш. Это, наверно, он и есть. Теперь я даже знаю, что именно он. У меня с ним старая история из-за одной девушки. И он, вражий сын, подкапывается под меня, распускает слухи. Непременно узнаю, он ли это, господин Матейеш.

Плотовщик тряхнул головой, как будто и впрямь удостоверился и остановился на определенном решении. Потом он снова вошел в дом, таща за собой Лейзера.

Несколько дней спустя, в одно из воскресений, под

елями у старика Булбука было большое гулянье. Молодежь водила хороводы. Люди постарше выпивали и похваляли вино старика Булбуки. Были там рабочие со всех окружающих гор, итальянцы с большого шоссе, господин Шагомовцы и какие-то немцы — машинисты с лесопилки. Дед Павалаке Булбук, громадный, плечистый, с выпирающим из-под безрукавки животом, с белыми усами на красном лице, прохаживался взад и вперед, расставляя кружки и подшучивая над женщинами. Сквозь разногласный гомон еле пробивались мяукающие, замирающие звуки скрипки. Но парням и этого было достаточно: они танцевали, разгоряченные и охмелевшие, с разгоревшимися глазами. Девушки казались более сдержанными и мягко притоптывали по земле сапожками с медными подковками. Петря Царкэ поднялся с лавки и, слегка пошатываясь, пошел к танцующим. Он остановился на пороге с неопределенной улыбкой на губах, глядя, как прыгают и кружатся пары в танце, называемом кэрэшел. Сначала ему показалось, что все кругом двоится в каком-то тумане, потом он различил Бэдишора и Мэдэлину. А ведь не зря поднялся он с лавки: он знал, что девушка здесь, значит, и парень неподалеку. Царкэ оставил кружку недопитой и вышел наружу, охваченный желанием подраться. Нужно же было что-то сделать ради дружбы с писарем.

Вдруг невдалеке от танцующих показался и сам господин Матейеш Лепешка. Девушки, подталкивая друг друга локтем, со смехом зашептали одна другой на ухо: «Вертиголовка! Вертиголовка!» Потом, вытягивая шеи, стали искать глазами Мэдэлину. Появление писаря придало решимости Царкэ. Все так же неопределенно улыбаясь, он пошел вперед, задел плечом одну пару, потом другую и, наконец, тяжело опустил свою руку на плечо Мэдэлины. То был знак, что танцорку приглашает другой парень. Илие и Мэдэлина остановились. Но, увидев перед собой Петрю Царкэ, Бэдишор рванул девушку к себе. Как раз в этот миг он заметил и писаря.

— Чего тебе надо? — крикнул он, меряя внезапно вспыхнувшими глазами плотовщика. — Какой ты парень? Не имеешь права приглашать.

Царкэ ослабился.

— А мне вот пришла охота потанцевать с этой девчонкой. Я и музыкантам заплачу и парней угошу!

Танец прекратился. Один из парней положил руку на

скрипку, и песня, задохнувшись, умолкла. Мэдэлина потянула Бэдишора в сторону.

— Тебя писарь подослал,— заревел Илие, сверкнув взглядом в сторону Лепешки.

Царкэ нагнул голову и кинулся вперед. Несколько девушек испуганно вскрикнули. Мэдэлина комочком откатилась в сторону, отброшенная левой рукой Илие. Правой же он схватил Царкэ за голову, не давая ему выпрямиться; остальные парни навалились на них, пытаясь разнять.

Сильные руки оттащили Петрю в сторону, он тяжело дышал и только яростно вскидывал головой.

— Ничего, вдовый сынок, мы с тобой встретимся в другом месте!

Важный, щеголяя узкой городской одеждой, господин Матейеш протискивался сквозь возбужденную толпу, собравшуюся на месте происшествия, и, притворяясь обиженным, спрашивал:

— Что случилось? Кто смеет говорить обо мне?

Илие Бэдишор смерил его ненавидящим взглядом. Писарь сделал вид, что ничего не замечает. Он понимал, что ему здесь делать нечего. Встретившись глазами с Мэдэлиной, он спросил:

— Что такое, Мэдэлина, что случилось?

— Пришел волк с похмелья расстроить веселье,— скороговоркой ответила Мэдэлина. Остальные девушки, склонив друг к другу головы, язвительно хихикали.

Господин Матейеш достал из кармана часы с цепочкой, посмотрел на циферблат, потом хлопнул плеткой из бычьих жил по ноге. Он чувствовал себя так, будто попал в осиное гнездо.

— Пусть кто-нибудь ходит за Алеку Дешка,— грозно приказал писарь и важно удалился прочь от толпы.

▼

Господин шеф произвел небольшой допрос, восстановил порядок и спокойствие, а затем направился медленным шагом в гору, позвякивая саблей о каменистую тропинку.

Господин шеф Алеку Дешка был человек небольшого роста, но хорошо сложенный, широколицый, белокурый и

безбородый. За сморщенную физиономию, которая как будто всегда смеялась, его прозвали «турецкой бабой». И в самом деле у господина начальника жандармского поста было лицо веселой бабы. Глаза же были и не веселые и не бабьи: серые, со стальным блеском, они буравили души и предметы.

Господин Алеку Дешка имел свой взгляд на людей. Он вертел ими, крутил, судил, осуждал и не дал бы за них и ломаного гроша. Были у него свои понятия и о службе, которую он нес. Он прочитал за свою жизнь несколько книг и стремился выполнять свой долг перед властью, как настоящий артист. Когда у него оказывалось «дело», он никогда им не пренебрегал: как искусный часовых дел мастер, шеф разбирал его на части и винтики, вертел, разглядывал со всех сторон и втихомолку делал свои выводы.

Задумчивый, как всегда, Дешка поднимался по дороге в кабачок. Был прохладный вечер, какие выпадают в конце лета, и Лейбука, пожививаясь, закрывал дощатые ставни своего заведения. Увидев жандарма, Лейзер весело улыбнулся и приветствовал его, подняв руку ко лбу.

— Добрый вечер, господин Алеку. Хорошо делаете, что заглядываете к нам. Жена моя только тогда и спокойна, когда вы показываетесь в этих местах.

— Разве? Так пойди же скажи ей, что я пришел, и попроси ее приготовить для меня чашечку кофе со сливками. Я из турок, господин Лейбука, и люблю кофе.

— Я тоже, господин Алеку, хотя и не из турок. Скажу, чтобы приготовила две чашечки.

Алеку Дешка уселся на стуле между елей. Лейбука вошел в свой бревенчатый дом, спеша сообщить жене добрую весть, потом вернулся, потирая руки.

— А стаканчик рому, господин Алеку, не помешает кофе?

— Не помешает, если составишь мне компанию. Я люблю справедливость, господин Лейбука.

— Знаю,— ответил Лейбука, тихо смеясь.— Я вас хорошо знаю, господин Алеку. Вы редкий человек в этих краях. Что же вас привело сюда, господин Алеку?

— Что меня привело? Да ровно ничего,— ответил жандарм.— Сам пришел. Я службы не боюсь, где бы она ни была. И в пустыне не пропаду, господин Лейбука. Я немножко философ. Если нечего делать, я думаю: зачем

создал бог человека? Стараюсь разгадать без свидетелей и без доказательств, кто же все-таки напал на кассира лесопилки. Взгляну на человека — и могу заранее сказать, в какую ночь он попытается нанести визит господину Лейбуке...

Лейзер подскочил.

— Не говорите так, господин Алеку. Вон идет моя жена. Она всего боится.

Мадам Эстер поздоровалась за руку с господином Алеку и, усевшись на стул, стала жаловаться.

— Трудно здесь жить,— сказала она, грустно улыбаясь,— одни заботы и неприятности. Бывают ночи, когда я совсем не сплю.

Жандарм повернулся к Лейзеру и засмеялся.

— Тогда позволь спросить тебя, господин Лейбука, что ты здесь делаешь?..

Лейзер вздохнул.

— Должен же человек заработать себе на кусок хлеба...

— Это так,— тихим голосом согласился представитель власти.

Они помолчали некоторое время. В селе зажигались огни. На одном из склонов, в горах, замерцал, словно одинокий глаз, огонек. Мадам Эстер вздрогнула, укутала шею платком и ушла в дом.

— Так о чем же вы это говорили, господин Алеку? — робко спросил Лейбука.

— Ага, не забыл, значит. Я говорил, что знаю, кто под маской напал на кассира.

— Может быть, я тоже знаю. Думается мне, что и господину писарю известно.

— Возможно,— неторопливо заговорил жандарм, раздувая трут и прикуривая.— За человеком, который это совершил, я все время слежу на расстоянии... А он и знать не знает. Собирается еще прийти сюда как-нибудь ночью, сорвать ставни и пошарить у вас за стойкой.

Лейзер молчал.

— Уж я-то людей знаю,— продолжал Алеку Дешка улыбаясь.— А его насквозь вижу, все знаю, что он задумал. Придет,— а мне уже известно, кто был.

— Господин Алеку,— тихо молвил Лейзер,— лучше бы он не приходил.

— Понятно, лучше бы не приходил. Сорвет ставни,

разобьет стойку, а ты выскочишь взлохмаченный, со свечой в руке. Тут в горячке недолго тебя и топором по голове стукнуть. Конечно, этого нельзя допустить. Уж лучше позову его к себе, расспрошу о других делах,— он и образумится. Думает он прийти к тебе, да не смеет.

Алеку Дешка курил и, наслаждаясь, пил в темноте свой кофе.

— Хороший кофе,— сказал он.— Такой я только в Ясах пил у каких-то армян.

Лейзер снова вздохнул.

— Живем мы здесь, господин Лейбука, среди злодеев. Лесные звери им соседи. Кидаются друг на друга, дерутся и клыками и рогами. Сегодня чуть смертоубийство не произошло.

— Как же это, господин Алеку?

— Петря Царкэ бросился на Бэдишора.

— Выходит, опять он?

— Да. Теперь у него эта забота. Еще одна причина, чтобы отложить визит к тебе. Писарь наш, господин Лейбука, учился в школе, одевается, как и мы, но душа у него все равно дикая. Вот уже целый год он бегаёт за одной девчонкой и теперь дошел до отчаяния. Я молчу, но все вижу. Теперь пустил в дело Царкэ. А сам потом умоет руки — знать не знал, видеть не видел.

— Как это умоет руки? Из-за чего же ему умыть руки, господин Алеку?

— Так-так. Думаешь, я не знаю, чем все это кончится? Знаю, будто я сам господь бог. Горы высокие. Быстрица глубокая. Будут когда-нибудь оплакивать бабы Илие Бэдишора...

Лейзер вскочил встревоженный.

— Не может быть, не может этого быть, господин Алеку! — воскликнул он волнуясь.— Вы странный человек и всегда так меня пугаете. Но вы же не плохой человек. Вы можете что-нибудь сделать, помешать.

— Нет, господин Лейбука, ничего я не могу сделать,— тихо ответил Алеку Дешка.— Страсти здешних людей, как ветер и вода: никто их не остановит... Вот оно как, господин Лейбука! Не видишь, что вытворяет наш писарь? Посылает весточки матери парня, потом идет побеседовать с теткой Параскивой, самой девушке проходу не дает. А здесь, в кабачке, среди бела дня он разве не рассказы-

вал во весь голос о своей страсти? Недавно он об этом же говорил с Царкэ, не так ли?

— Правда. Говорил.

— Так ты сам разве не видишь, господин Лейбука, к чему все клонится? Если я знаю, кто такой Царкэ, если мне известно, что он замешан в этом деле, и если сегодня я видел, как он, словно волк, хотел сцепиться с Бэдишором, то мне не трудно догадаться и о дальнейшем. Но ничего не поделаешь. Могу я за ними уследить? Нет, не могу. Бог с ними! В этих местах человек, вода, звери — все одинаковы, господин Лейбука. А теперь, если тебе не трудно, можешь принести стаканчик рому.

— В один момент. Только я не верю, господин Алеку. Вам просто так нравится — зайти вечерком и говорить подобные вещи. Я очень рад, когда вы приходите. Вы — власть, и мне с вами хорошо, хоть и пугаете вы меня до смерти. Я не верю, что случится так, как вы говорите.

— Что ж, и не верь. Ты человек городской. Там, когда убьют человека, все ужасаются и толпятся, как на ярмарке. А здесь, господин Лейбука, человеческая жизнь — что полевой цветок, как сказано в псалтыре. Вскорости на Бистрице произойдет неприятное событие, и день тот недалек...

Лейзер, сгорбленный, напуганный, застыл на своем месте, а бабье лицо Алеку Дешка сморщилось от странного, беззвучного смеха.

VI

«Турецкая баба» не ошибался: что-то должно было произойти. Из своего жандармского поста возле примэрии, над которым высоко в воздухе полоскался вылинявший от дождей флаг, господин Алеку Дешка с застывшей улыбкой следил за всем, что происходило в долине и на тропинках, все отмечал в своей голове. Его серые глаза, казалось, видели сквозь стены. Он как будто сам присутствовал на совете Петри Царкэ с господином Матейешем. Вот уже несколько дней подряд, в сумерках, плотовщик с топором подмышкой поднимался своей подпрыгивающей походкой к домику писаря.

Господин Алеку Дешка курил, сидя верхом на стуле и опираясь подбородком на скрещенные на его спинке

руки. Дым от папиросы, словно живой, полз и извивался в ярком свете первых осенних дней. Шеф видел и отца Земля-горит, который неумоимо шагал то по тропинке, то по какой-нибудь извилистой улочке.

Батюшка Костаке тоже взялся за дело, намереваясь устроить его по своему разумению и не в ущерб себе. Прежде всего — он был другом писаря. У ворот дома тетки Ирины батюшка всплескивал руками и все удивлялся:

— Как это ты, тетка Ирина, трудолюбивая, порядочная женщина, измученная заботами вдова, можешь терпеть подобное: чтобы девушка соблазняла твоего парня и лишала его человеческого обличья!

— Правда, батюшка Костаке, целую руку... — отвечала вдова. — Подумать только, до чего злые люди пошли в наше время! Какая-то девчонка, кошка драная, а держится за моего Илие и не отстает. И ведь была я у Параскивы, сказала ей... Она, правда, тоже не рада, бедняжка. И жаловалась мне, что никак ей не совладать с таким чертенком. Попробуй собери зайцев в стадо. Как увидела я это, сама подождала девчонку и в упор спрашиваю: «Слушай, девка, почему ты не оставишь моего парня в покое?»

— Вот-вот... А она что?

— Господи, батюшка, если сказать — сам не поверишь... Ничего не ответила. Только постояла вот так да посмотрела на меня. Потом подошла, опустив голову, и поцеловала мне руку. «Тетушка Ирина, говорит, придет день — украдет меня Илие и привезет к тебе на печь. Ты не осуждай меня и не препятствуй, говорит, ведь и сама была такой же. А я Илие зла не желаю». Вот, батюшка, какое она мне слово сказала... Что с ней поделаешь? Я, по правде сказать тебе, батюшка, со слезами на глазах посмотрела на нее, так меня за сердце взяло.

— Вижу, вижу... — сказал с некоторой издевкой отец Костаке. — Вспомнила старину... Знаю уж...

— Эх, батюшка, молодость, ничего не поделаешь! — ответила со вздохом вдова.

Топая быстро по дороге, с развевающимися по ветру полами рясы, отец Костаке появлялся на другой улочке, у другого дома. И Алеку Дешка видел, как он, прислонившись к старому еловому столбу, под навесом ворот, долго махал руками перед носом тетки Параскивы, которая

стояла в подоткнутой юбке и слушала, скрестив руки на груди.

Видел Алеку Дешка и то, как в сумерках писарь неотрывно ходил за девушкой по пятам, и вся деревня видела это. После пережитого унижения у корчмы Булбука Лепешка потерял над собой всякую власть. Когда закат начинал окрашивать розовым цветом скалы, Мэдэлина возвращалась вместе с другими девушками с гор, гоня перед собой коров. А он уже стоял на дороге, похлопывая плетью по штанине. Иногда он останавливался, глядя в одну точку и словно прислушиваясь к звону колокольчиков. «Уставился, как баран на новые ворота», — шептали, хихикая, девушки и приглушенно смеялись. Однажды он решительно преградил путь Мэдэлине, грубо прикрикнув на остальных:

— Чего стали? Идите и занимайтесь своим делом! Слушай, Мэдэлина, — обратился он к девушке, глядя на нее пристально и хмуро. — Хочу тебя еще раз спросить: ты это навеки связалась с другим, а на меня и не посмотришь? Ответь мне.

— Господин Матейеш, мне нечего вам отвечать, — спокойно молвила девушка.

— Слушай, Мэдэлина, разве ты не видишь, что скоро всему наступит конец? У корчмы он надерзил мне при всем честном народе. И теперь не будет мне покоя, пока я не смету его со своего пути. Дело это решенное и скреплено клятвой.

— Господин Матейеш, а греха вы не боитесь? — сказала девушка, окинув его быстрым взглядом.

— Нет.

— Хорошо, но ведь Илие вам ничего не должен. Зла он никому не сделал. Ни к чему вы не придеретесь. Что же вы ему можете сделать?

— Мэдэлина, брось его, — вот и все, что я хотел тебе сказать. Не то душа твоя будет в ответе перед господом богом.

Алеку Дешка видел, как Матейеш Лепешка после этого разговора направился большими шагами к трактирчику. «Надо поговорить с Лейзером, — подумал шеф. — Матейеш теперь будет пить, чтобы разгорячить себя и на что-нибудь решиться».

Сохраняя на лице все ту же застывшую в мертвой улыбке маску, жандарм поднялся со стула, закурил

другую папиросу и не спеша пошел вниз, позвякивая саблей. Он повернул на одну из улиц и остановился у ворот дома тетушки Ирины. Старуха доила корову. Илие вышел из сеней навстречу Алеку Дешке.

— Иди-ка сюда, пройдишь со мной немножко,— сказал ему шеф.

Парень внимательно и озабоченно посмотрел на него. Когда он приблизился, Дешка похлопал его левой рукой по плечу.

— Не беспокойся, парень, я против тебя ничего не имею. Ты человек хороший. Я только хотел спросить тебя кое о чем.

— Спрашивайте, господин шеф, я отвечу,— быстро проговорил Илие Бэдишор.

— Вот, очень хорошо: вижу, ты меня хорошо знаешь. Я не притесняю и не подкупаю. Я человек справедливый, Илие, и, попади я в монашескую братию, мог бы сделаться игуменом, а то и митрополитом. Смотрю я, братец, вокруг и вижу все и понимаю. Я давно знаю, что ты водишься с Мэдэлиной. Только в сердечные дела молодежи я не вмешиваюсь. Бог дал людям любовь, чтобы они забыли о старости и смерти. Но тебе известно, Илие, что Матейеш Лепешка ненавидит тебя?

— Да, господин шеф, но я его не боюсь.

— Хорошо, хорошо. Знаю, что не боишься. Однако, если у него появится товарищ, перевес будет на его стороне. Кто-нибудь, скажем, может прыгнуть тебе в темноте на шею. Камень может на тебя с горы свалиться. Будь поосторожнее, парень. Так я считаю: ты должен остерегаться...

Странно ухмыляясь, «турецкая баба» снова похлопал парня по плечу, потом, покачиваясь, медленно пошел к трактирчику. Илие постоял еще некоторое время, вслушиваясь в удаляющийся и затихающий лязг его сабли.

Очнувшись от дум, парень сделал несколько шагов к Бистрице. Потом, вспомнив слова Дешки, улыбнулся и покачал головой. Широкими шагами он пошел к дому, крадучись пробрался в сени и искал в известном ему местечке балтаг. На ходу он накинул на себя безрукавку и уже в самых воротах ответил матери, которая спрашивала из дому, кто там. Сквозь голубоватые сумерки по наклонной тропинке он спустился к омуту, где ждала его Мэдэлина...

Три дня спустя, в ночь под праздник святой Марии, долину Бистрицы покрыл иней, похожий на мелкое толченное стекло. Узкий серп ущербного месяца освещал тускло-желтым светом склоны гор, ивы, камни, нагроможденные потоками. Утренняя звезда, появившись из-за серой полосы облаков, вошла над горами. В своем домике внезапно проснулся от тяжелого сна господин Матейеш Лепешка, услышав громкий стук в дверь и мужской голос.

— Это я, господин писарь,— кричал снаружи Петря Царкэ.— Открой!

Лепешка еще находился во власти сновидений. Лунный свет проникал в окна, как дымка. Утренняя звезда показалась писарю живым подмаргивающим глазом с лучистыми ресницами.

— Открой, господин Матейеш!

— Что такое? Чего ты кричишь? — спросил писарь, отодвигая задвижку.

Плотовщик, смеясь, вошел в комнату, и на Лепешку пахнуло крепким запахом табака и водки.

— Что с тобой, человек? Ты прямо из корчмы?

— А как же, от Булбука. Но у меня большие новости, господин Матейеш. Одевайся и немедля поедем. Теперь уж ему не вывернуться, господин Матейеш. Я сколько времени слежу за ним. Теперь-то он попался нам в лапы.

— Ты о Бэдишоре говоришь?

— О ком же еще? О бабушке, что ли? Вчера вечером приходит в корчму представитель фирмы, какой-то еврей, даже имени его не знаю. Ему, видите ли, нужен плотовщик, чтобы обязательно сегодня, в день святой Марии, сплавить двадцать больших плотов из устья Бараза,— завтра он хочет отправить их дальше, в Пьятру. У них там свои дела, отсрочки не терпят. Работают по часам. Ну, а люди наши, конечно, отказались. Завтра, то-бишь сегодня, праздник, день отдыха. В корчму надо заглянуть — христиане как-никак... Что до меня, то я и не подумал ехать.

— Подожди, Петря, подожди,— прервал его писарь.— Какая же тут связь все-таки с Бэдишором?

— Вижу, не хочешь ты меня слушать, господин Матейеш... Вот как было. Представитель ушел. Мы, значит, остались, выпили еще по рюмочке водки, поговорили о

том о сем... Стало уже поздно. И вдруг заходит один из наших, Тимофте, и говорит, что нашелся человек, готовый в праздник гнать плоты. Кто же это такой? Илие Бэдишор. Он жаднее всех на деньги. Ни корчма, ни веселье ему не нужны. Дадут хорошую цену — он и поведет плоты. Тимофте говорит, что он уже отправился к реке.

Заразившись воодушевлением плотовщика, писарь засуетился и стал одеваться.

— Теперь или никогда, господин Матейеш,— продолжал между тем Царкэ, наклоняясь к самому его лицу.— День праздничный: в горах и на Бистрице никто не работает. Отправляется он один. Если разобьется о скалы, значит бог наказал его за то, что работает в праздник.

Губы Царкэ, освещенные луной, растянулись в черном оскале. Он слегка покачивался и постукивал пальцами по лбу, восхищаясь собственным планом.

— Пошли, господин Матейеш! Не мешкай! Возьмем коней... Свершится наказание божье, а мы уже здесь... Поговорим с людьми, зайдем в корчму и будем вместе со всеми удивляться, когда станет известно, что сынок отправился искать папашу на дно реки.

Лепешка уже не владел собой. Словно в лихорадке искал разбросанную по комнате одежду. Вся ненависть, скопившаяся за многие месяцы, усиленная отчаянием и пережитым унижением последних дней, кипела в нем, туманя рассудок. Он кинулся к Царкэ, схватил его за горло и глухо застонал:

— Замолчи! Замолчи! Еще кто-нибудь услышит. Никто не видел тебя, когда ты сюда заходил?

— Никто, господин Матейеш, не беспокойся. Я рыжий, из лисиц...

Развеселившись от собственной шутки, Петря Царкэ хлопал рукой по сумке, висевшей у него на боку.

— Захватил я с собой и немного бодрящего: флягу со спиртом. И так мне весело, господин Матейеш, будто на охоту собираюсь.

Писарь рывками натягивал на себя пальто. Затем толкнул Царкэ плечом.

— Ну, чего стоишь? Пошли.

— Идем. Идем. Только как насчет коней?

— Есть. Мы их под самым лесом найдем. Другого, думаю, ничего с собой брать не надо?

— Да к чему нам, господин Матейеш? Избави бог!

Мы и пальцем его не тронем. Бистрица сама с ним и справится!

— Правильно,— пробормотал писарь. Он почувствовал, что его охватывает холодная дрожь. Съежившись, он вышел на улицу, дважды повернул ключ в двери и, глубоко вздохнув, будто сбросил с плеч огромную тяжесть, быстро зашагал в гору. Теперь он знал: к устью Бараза он уже не может не пойти; он чувствовал: в этот день непременно произойдет что-то страшное, чему он уже не в силах помешать. Зато потом придет, может быть, успокоение и та вождеденная минута, которой он так страстно желал.

Когда писарь с Петрей на неоседланных конях взметнулись на гребень горы Вэтуй, чтобы ринуться оттуда в ущелье Бараза, сквозь туман проглянуло солнце. Великое молчание царило над лесами и окаменелыми волнами гор. Слева из ущелья, где был монастырь, донеслись далекие, мерные удары колокола; потом, словно переливы песни, некоторое время звучали подголоски. Оба товарища ненадолго остановились, глядя вниз, в ущелье, на плес, над которым плыли обрывки светлого тумана...

По другой стороне, скалистой тропинкой, завернувшись в тулупчик, ехала верхом по-мужски горянка. Несколько лошадеенок, навьюченных мешками с кукурузной мукой, понуро плелись сзади, привязанные одна к хвосту другой,— видимо, из какого-нибудь равнинного городка в горное селенье.

Господин Матейеш и Петря Царкэ перевалили через гребень и стали спускаться в долину Бараза. В лесистом овраге они спешили. До устья реки оставалось немного. Место было уединенное, и оба надеялись, что на реке не окажется никого, кроме них и Бэдишора. Плотовщик вынул флягу и подал ее господину писарю. Тот было отстранил ее тыльной стороной руки, но, передумав, схватил и, поднеся к губам, сделал большой глоток. Царкэ засмеялся и протянул руку, похожую на звериную лапу.

— Добро! Только и мне оставь, господин Матейеш. Это мое лекарство.

Господин Матейеш нашел шутку уместной и, тоже смеясь, вернул флягу, блеснув на него горящими глазами.

Они решительно прошли между еловых бревен и затаились, внимательно вглядываясь в дощатое здание лесопилки. Там было тихо, не чувствовалось никакого движе-

ния. Справа Бараз, укрощенный плотинами, переходил в широкий спокойный затон, на поверхности которого покачивались белые стволы очищенных от коры елей: бревна и плоты.

Воды притока, задержанные в этом месте и успокоенные, ждали того часа, когда они волеются в оскудевшую от засухи Бистрицу и стремительно помчат плоты вниз к равнине. Здесь тоже было тихо и пустынно. Под зеленоватой блестящей поверхностью затона изредка как молний сверкали похожие на серебряные иглы форели.

— Нет его здесь,— сказал, нахмурив брови, Матейеш Лепешка.— Не приходил еще, что ли?

— Нет, приходил,— ответил Царкэ, шагая между сваями плотины,— только мы чуток опоздали. Плоты должны были находиться на этой стороне, на Бистрице. А теперь их нет. Значит, он недавно отвязал их и уплыл.

Писарь прихватил зубами кончик усов и взглянул на Царкэ злыми глазами.

— Что же мы будем делать?

— Гм, что делать? Есть лекарство от всего, господин Матейеш. Со мной не пропадешь. Я уж дорогой думал, что мы можем его не застать, но в затоне, я знаю, стоят легкие плоты, приплывшие по речке и еще не разобранные. Вот они, можете сами посмотреть. Спустим воду, выйдем с плотами на Бистрицу, и волны помчат нас вдогонку за ним, как на рысаках. Сзади мы на него и нагрянем...

Недобрый огонек сверкнул в глазах Лепешки. Он обернулся к плотовщику, схватил его за плечо и, толкнув вперед, произнес одно только слово:

— Пошли!

Довольно ухмыляясь, Петря Царкэ вытащил из-под безрукавки топор. Оба подкрались к плотине и при помощи блоков подняли на цепях шлюз. По спокойной зеленоватой поверхности затона пробежала еле заметная дрожь, и воды его устремились к Бистрице. С воем урагана хлынула первая волна. Оба приятеля быстро заскользили на легком плоту, пронеслись мимо свайных опор, подпрыгнули в водовороте большого речного русла. По гребням волн они устремились вниз, будто впереди, еле касаясь вод Бистрицы, мчались резвые кони.

— Держись, господин Матейеш! Сейчас мы его догоним! — крикнул Царкэ, стоявший у переднего руля.

Так они плыли некоторое время с большой скоростью и через каких-нибудь четверть часа в самом деле увидели плот Бэдишора, заворачивающий за скалы. Царкэ поднял голову. На прибрежных тропинках никого не было видно. Подгоняемые спущенной водой, они, как пьяные, неслись в кипенье волн. Матейеш Лепешка стоял, согнувшись, и крепко держался за ручку топора, воткнутого в плот. Он пристально смотрел вперед. Во взгляде его было что-то дикое, безумное.

— Догоним его возле омута! — крикнул ему в ухо Петря Царкэ.

Они действительно нагнали парня у Вэлинашева омута, налетев на него из-за поворота. Бэдишор повернул голову и вдруг увидел несущийся прямо на него плот. Нагнувшись, он с быстротой молнии схватил топор. Его противники приближались, не замечая, что следом за ними, подпрыгивая на волнах, несутся стволы елей, вырвавшиеся на свободу из водяной тюрьмы. Словно состязаясь, бревна на скакивали друг на друга, сталкивались и расходились. И когда Лепешка с Петрей протаранили плот Илие Бэдишора, стволы елей, которые неслись им вслед, налетели на них самих. В одно мгновение их плот распался на множество причудливых пловцов, нырявших и снова выскакивавших на поверхность реки.

Матейеша Лепешку ударило концом бревна и швырнуло вперед, он сразу провалился между плотами и больше не появлялся. Так вот что обещала ему сверкнувшая перед глазами утренняя звезда: после стольких козней и волнений такой конец.

Взмахивая руками, как крыльями, двое других еще сохраняли равновесие на развязавшихся бревнах. Затем Илие Бэдишор сбросил с себя безрукавку и с топором в руках кинулся в воду.

Противники находились в этот миг возле самого омута, в узком ущелье между отвесных известковых скал. Издавна это место считалось опасным и было хорошо известно плотогонам. Поэтому у берега, на котором стояло село, с давних пор они выбили в скале у самой поверхности воды углубление, куда потерпевшие могли забраться в минуту опасности. От углубления шли вверх ступеньки, по которым нетрудно было выбраться на берег.

Туда-то и направился вплавь Илие. Несколько бревен, толкаясь, шли с приглушенным плеском прямо на

него. Он нырнул в глубину, не выпуская из рук топора. Только шляпа осталась на волнах и весело подпрыгивала перед бревнами. Отталкиваясь ногами и загребая воду одной рукой, парень вслепую прошел под ними, испуганно отфыркиваясь, выплыл у самой пещеры плотовщиков.

Тяжело дыша, он зацепился топором за выступ скалы и медленно выбрался из воды.

Оглянувшись, он увидел, что Царкэ, с окровавленным лбом, с выпученными глазами и широко раскрытым ртом, сильно загребая руками, плывет к тому же месту спасения.

Бэдишор, словно ужаленный, вскочил, весь напрягся и угрожающе поднял топор.

Петря Царкэ в отчаянии завопил, протянув к нему руку:

— Не бей, Илие. Не бей меня, братец! Пожалей!

Бэдишор, все еще во власти смертельного ужаса, постоял с минуту в нерешительности, будто не понимая, о чем идет речь. Потом, переложив топор в левую руку, он рванул с себя ремень и кинул один конец Царкэ. Тот выбрался из воды и упал замертво, привалившись виском к скале. Потом взглянул на Бэдишора и скорее вздохнул, чем сказал:

— Прости меня, Илие. Я против тебя ничего больше не имею.

Илие почувствовал, как к горлу подступает комок. Он проговорил взволнованно:

— У меня, дядя Петря, тоже словно всю душу перевернуло.

И тут же стал кричать и махать показавшимся на берегу людям.

VIII

К вечеру Бистрица выбросила ниже омута труп господина Матейеша. Когда это стало известно в Поноарах, на месте происшествия появились господин примарь Дэскэлеску, отец Земля-горит в развевающейся по ветру рясе и господин Шагомовцы с трубкой в левом углу рта. Пришел и господин Алеку Дешка со своей застывшей, как маска, улыбкой. И все же он казался хмурым, недовольным, словно был обижен тем, что в своих тайных расчетах

забыл о хитрости волн и о фантастических пловцах. Лейбука Лейзер, пожелтевший, запыхавшийся, смотрел на шефа с нескрываемым восхищением. Остальные жители деревни спокойно созерцали своего погибшего ученого пи-саря. Женщины, прячась друг за друга, вытягивали головы и протяжно вздыхали, прикрывая рот ладонью.

Матейш Лепешка пристально смотрел остекленевшими, недвижимыми глазами в осеннее небо, и из его рта стекали на песок две тоненькие струйки крови.

После того как отец Костаке произнес печальные слова о бренности жизни, сельские власти, отвернувшись от покойника, стали совещаться об устройстве на следующий же день торжественных и пышных похорон в церкви, на холме. Особенную горячность проявлял тут батюшка, доказывая, что иначе никак нельзя. Один Алеку Дешка не участвовал в разговоре, погружившись в размышления, стоит или не стоит начинать запутанные, бесконечные расследования.

— Нет, не стоит,— произнес он вслух, качнув головой, и вздрогнул, оглядываясь кругом.

— Нет, стоит, господин Алеку, и даже обязательно нужно! — воскликнул, обернувшись к нему, священник.

— Мы обязаны выполнить свой долг перед умершим,— серьезно сказал итальянец, попыхивая трубкой и грустно закрывая глаза.

Лейзер поглядывал на них со стороны живым, острым взглядом и молчал.

На второй день состоялись похороны, и на холме у церквушки собралось все село. Небо было хмурое, горный ветер гнал серые тучи, раздирая их в клочья о скалистые вершины. Со стороны Бистрицы медленно поднимались в гору клубы тумана, похожие на белых волков.

Бэдишор, побледневший, с провалившимися глазами, пробрался сквозь толпу, которая слушала голос священника, пеньё псалмов и звон колоколов.

Над опущенными головами людей, сквозь сырой туман, занесенный ветром из ущелья, дрожали голоса, поющие «вечную память». Комья земли загрохотали по белому гробу. И в этот миг бучумы двух приглашенных с гор чабанов издали протяжный, раздирающий сердце призыв; он странно задрожал над долиной и замер в невидимой дали.

Женщины в толпе начали всхлипывать. Илие Бэди-

шор усталыми глазами взглянул на них и среди юбок и платков заметил Мэдэлину, которая вздыхала, подперев рукой щеку. Он не видел ее уже два дня и смотрел на нее так, словно прошли целые годы. Она была бледна и все так же красива. Мэдэлина была отрадой его ночей в пору, когда не гнездился в душе его смертельный трепет. Он смотрел на нее сквозь туман, и ему казалось, что она отдаляется от него, меж тем как бучумы все пели свою надгробную песнь, как в те древние времена, когда в горах не было ни господ, ни лесопилок.

1921 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Несколько слов о М. Садовяну. *Борис Полевой* 3

ПО СЕРЕТУ МЕЛЬНИЦА ПЛЫЛА

(Роман)

Авторизованный перевод М. Фридмана

<i>Глава первая.</i> Показывает, на что способен ветер, пригнавший тучи из неведомых далей	13
<i>Глава вторая.</i> Молодой барин Кости замечает тень в лесу	37
<i>Глава третья.</i> 30 августа был день ангела боярина Александру Филотн Бучуману	54
<i>Глава четвертая.</i> Андроне Бребу желает во' что бы то ни стало подать жалобу	73
<i>Глава пятая.</i> Василе Бребу озорничает	90
<i>Глава шестая.</i> Люди и горести, ушедшие вместе с веком	108
<i>Глава седьмая.</i> Мадмуазель Анет начинает мечтать . . .	130
<i>Глава восьмая.</i> Какого мнения Василе Бребу о суде присяжных	149
<i>Глава девятая.</i> Молодость, занемогшая любовью	169
<i>Глава десятая.</i> Обнаруживается, что Анниша должна была вернуться к своим	188
<i>Глава одиннадцатая.</i> Сложные планы и дела Евгение Чорнея	209
<i>Глава двенадцатая.</i> Кости встречает весну	235
<i>Глава тринадцатая,</i> в которой речь идет о последних отзвуках ветра 1888 года	246

ПОВЕСТИ

<i>Боярский грех. Перевод В. Викторова</i>	267
<i>Кроты. Перевод В. М. Сугоной</i>	300
<i>Вэлинашев омут. Перевод М. Фридмана</i>	356

Редакторы: *А. Сироткин* и *Н. Немчинова*
Художник *В. Вакидин*
Художественный редактор *А. Ермаков*
Технический редактор *М. Позднякова*
Корректор *Л. Чиркунова*

•

Сдано в набор 23/VI 1954 г.
Подписано к печати 10/XI 1954 г. А 06385.
Бумага 84 × 108¹/₃₂—24,75 печ. л.—20,3 усл. печ. л.
20,73 уч.-изд. л + 1 вклейка = 20,8 л.
Тираж 90 000 экз. Заказ № 3256. Цена 8 р. 25 к.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19.

•

3-я типография «Красный пролетарий»
Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

